

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

11



1989



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1989 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЮРИЙ ГОНЧАРОВ — Так хочется оставить всех в живых! Стихотворение	3
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — Пять стихотворений	4
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Незабудка. Небольшая повесть в трех частях от первого лица	7
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ — В этот день, стихи	60
ВЛАДИМИР ЛЕВИ — Автографы, стихи	61
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Архипелаг ГУЛАГ. Опыт художественного исследования. Главы из книги. Окончание	63
ГОЛОСА — Виктор Смирнов, Лев Кокни, Александр Тимофеевский, Борис Сиротин, Равиль Измайлов, стихи	176
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ТАТЬЯНА ЕФИМЕНКО — Жадное сердце, стихи. Публикация и предисловие Е. Витковского	179
ПУБЛИЦИСТИКА	
БОРИС ПИНСКЕР, ЛАРИСА ПИЯШЕВА — Собственность и свобода	184
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
БОРИС ГУСЕВ — Мой дед Жамсаран Бадмаев. Из семейного архива	199
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
Р. ГАЛЬЦЕВА — Русское христианство между миллениаризмом и сегодняшней духовной жаждой	227

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА — «Всю ночь читал я твой завет...». Образ Христа
в современном романе 229
- Ю. ШРЕЙДЕР — Сознание и его имитация 244

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 256

- Мирон Петровский. Жизнь и судьба Михаила Булгакова.
Андрей Василевский. Опыты занимательной футуро(эсхато)логии.

Политика и наука 262

- М. Одесский, Д. Фельдман. Целесообразность или необходимость?

КОРОТКО О КНИГАХ:

- Г. Кружков.— Алексей Королев. Экслибрис. Стихи. ✦
- Д. Урнов.— Тимур Гайдар. Голиков Аркадий из Арзамаса. Документы, воспоминания, размышления.
- Н. Кирющенко.— М. М. Сафонов. Проблема реформ в государственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. ✦
- Ю. Дмитриевский.— Население СССР. 1987 268

- КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 272

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ

★

ТАК ХОЧЕТСЯ ОСТАВИТЬ ВСЕХ В ЖИВЫХ!

И опять те же люди, и опять даль-
ний город, и бок рояля, и выстрелы,
и еще какой-то поверженный на
снегу.

М. Булгаков, «Театральный роман».

Как хочется оставить всех в живых
В конце концов последнего романа,
Но только так, чтоб было без обмана...
И все-таки оставить всех в живых

На перекрестках боен мировых,
В окрестных тупиках и подворотнях,
В еврейских гетто и в казачьих сотнях —
Так хочется оставить всех в живых.

Чтоб на листах тетрадей черновых
Не значились зловещие виденья,
Ни даты жизни — только дни рожденья,—
Так хочется оставить всех в живых.

Сквозь нервные усмешки часовых
Проблескивает прошлое штыками,
Но, заслоняясь голыми руками,—
Так хочется оставить всех в живых.

Быть птицеловом, только без сетей,
Синицу в небо, пряник из кармана...
В последний раз так надо без смертей
В конце концов последнего романа.

Так хочется оставить всех в живых!

АЛЕКСАНДР КУШНЕР



ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

* * *

Мы жили в решающий год, завершающий год,
Какой-то еще, тоже ающий, тающий, прущий,
Всех опережающий, нас выводящий вперед
И к нам придвигающий пышные райские кущи.

Как из парикмахерской социализм развитой
К нам вышел однажды, да так, что его не узнали.
Потом мы привыкли, как водится, к формуле той,
Потом отменили ее или так, замотали.

Ведь есть же другие, французские, что ли, края,
Где битвы за качество нет и геройских надоев...
Интенсификация, о, дорогая моя,
Тебя с эффективностью путаю, смысл не усвоив.

То некомпетентность на всю обругают страну,
То приспособленчество, то, например, пустозвонство,
То очковтирательство... что еще ставят в вину?
Я помню и хуже: вредительство, низкопоклонство...

А тут еще гласность... ну, гласность, понятно, нужна.
И правда... выкладывая всю ее, правду, и совесть.
Совсем не останется слов у нас скоро... Со сна
Ищу — не найду... только «может быть», «значит» и «то есть».

* * *

...Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами...

Тютчев.

Расходились поздней ночью,
В темноте толпились горы,
Туч на них висели клочья.
«Кончен пир, умолкли хоры...»
Под обрывом сохли сети.
Как при лунном мягком свете
Дышит ночь теплом и счастьем!
Как там строки на две трети
Загромождены причастьем!
«Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины...»

Сжала руку над запястьем:
 Друг мой, я ведь не из глины!
 Обходя во тьме заборы,
 Вспомню римские руины...

Стилизация ли это
 Иль античного поэта
 Перевод неадекватный?
 Дым мне мнится ароматный.
 Как же, видел город вечный,
 Небосвод над ним проточный,
 Сумрак статуи увечной,
 Мир почивший, невозвратный,
 Но милей под пылью млечной
 Мне любовный пыл порочный,
 Безоглядный, скоротечный,
 Среди тьмы бесчеловечной
 Друг любимый, полуночный...

* * *

Я поверил бы вам, что во зле
 Мир лежит, да мешает мне море,
 Так припавшее к знойной земле,
 Отражаясь в зеркальном стекле,
 Что стоит под углом в коридоре,
 И узоры на шелковой шторе,
 И любимый роман на столе.

Я поверил бы вам, что лежит
 Мир во зле, но мешает мне гравий
 На дорожке и жесткий самшит,
 Нет упрямей его и курчавей,
 Посмотри, как он густ, глянцевит!
 Я и сам не забуду обид,
 Унижений земных и бесправий!

Я поверил бы вам, что лежит,
 Что понур, что поник, что во зле.
 Но стихи о бегущем проборе
 Влево, дремлющих кленах во мгле...
 Если б нас не держали то в горе,
 То в бесчувственном прахе, в золе!
 Но приветливость в любящем зоре,
 Но улыбка в ночном разговоре,
 Распускаясь, как роза в тепле...
 И потом что же Бог — только в споре
 Аргумент, только довод в чехле?

* * *

Как ночью берегом крутым
 Ступая робко, каменистым,
 Шаг, еще шаг... За кем? За ним.
 За спотыкающимся смыслом.
 Густая ночь и лунный дым.
 Как за слепым контрабандистом.

Стихи не пишутся — идут,
 Раскинув руки, над обрывом,
 И камешек то там, то тут
 Несется с шорохом счастливым
 Вниз: не пугайся! Темный труд
 Оправдан будничным мотивом.

Я не отдам тебя, печаль,
 Тебя, судьба, тебя, обида,
 Я тоже вслушиваюсь в даль,
 Товар — в узле, все шито-крыто.
 Я тоже чернь, я тоже шваль,
 Мне ночь — подмога и защита.

Не стал бы жить в чужой стране
 Не потому, что жить в ней странно,
 А потому, что снится мне
 Сюжет из старого романа:
 Прогулка в лодке при луне,
 Улыбка, полная обмана.

Где жизнь? Прокралась, не догнать.
 Забудет нас, расставшись с нами.
 Не плачь, как мальчик. Ей под стать
 Пространство с черными волнами.
 С земли не станем поднимать
 Монетку — помнишь, как в Тамани?

* * *

В тот год, когда моей ровесницей
 Пленился мистер Гумберт Гумберт
 И, крадучись скрипучей лестницей,
 Боялся, бедный, что загубит
 Мечту, любовь свою преступную
 Неверным словом или шагом, —
 Я барабанную и трубную
 Вел жизнь под пионерским флагом.

Недоедание, равнение
 Направо, окрики, подсказки...
 Учителя, постановление
 О двух журналах ленинградских,
 Но в сжатом виде, приспособленном
 Для классов третьих и четвертых,
 Читали в детстве нам нетопленном,
 Зажатом в рамки мнений твердых.

Итак, не знаю, кто счастливее
 Был, где найдет, где потеряет
 Душа, с какими лучше фильмами
 Ей, что сильнее унижает:
 Маньяк ли, власть ли? Небезение
 Чье больше? Девочка, ухватки,
 Словечки... Странно тем не менее,
 Что с ней бы мог играть я в прятки.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН



НЕЗАБУДКА

Небольшая повесть в трех частях от первого лица

Человек, когда он думает и когда он не думает, а только живет, как ему живется, — это два совершенно разных человека. Мне не надо далеко ходить за примером: я это на самом себе испытал.

Я начал читать рано, но уверяю вас — еще до того, как начал, уже чувствовал разительное расхождение между собой думающим и недумающим, не только психологическое, но, как я сказал бы теперь, будучи уже далеко не молодым человеком, расхождение физическое, биологическое и любое другое.

Да, всякий раз, когда я размышлял над тем предметом, которым был я сам, я ощущал какой-то страх, какую-то боль и боязнь перед открытием или хотя бы перед выводом, который вдруг может стать результатом моих размышлений. Но и жить не думая, даже ребенком, я мог лишь недолгое время, сутки-другие, в течение которых я думающий накапливался в себе самом тоскливым, но требовательным предмыслием, а затем уже и многими вопросами, главным из которых был всегда один и тот же:

ЧТО ТАКОЕ ВРАГ НАРОДА И ПОЧЕМУ Я — СЫН ВРАГА НАРОДА?

Чтобы ответить на этот мучительный вопрос, я, помнится, старался неожиданно взглянуть на себя в зеркало и таким образом подкараулить на своем лице выражение неизвестной, но присущей мне в ражести к советским людям, а то и ко всему живому на свете, я прислушивался к своему голосу — не злобен ли он? — думал о своих ответах учителям на уроках русского языка, математики и географии — чем они отличаются от ответов всех других учеников нашего класса, которые не были ни сыновьями, ни дочерьми врагов народа, но и тут не мог уловить разницы, которая, я это твердо знал, существовала между ними и мной. Любое знание нуждается в доказательствах. Но тут и доказательств не было никаких, а знание все равно, все равно было.

Я подозревал, что кто-нибудь из мальчишек и девчонок нашего класса тоже имеет отношение к врагам народа, может быть, даже не меньше, чем я, — но как я мог об этом узнать? Никак не мог. Уже потому не мог, что, по моему же собственному разумению, никто не должен был довериться мне, а я — никому. И по мере того как я рос, взрослел, тайна не только не рассеивалась (на что я очень надеялся в детстве), она все больше и больше укреплялась в моем сознании, подавляя меня, подавляя во мне все то, чем я мог бы быть, если бы мог.

Тут я начинаю чувствовать, что мною слишком овладевают общие и отвлеченные рассуждения, которыми мне не пристало зани-

маться, если только я хочу говорить о самом себе, о той истории жизни, которая есть не что иное, как я — имярек. Конечно, я не смогу совершенно избежать этих рассуждений и объяснений, наверное, это моя беда, но я постараюсь быть конкретным.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Все-таки я был как все, как все твари на земле, и поэтому любил свою мать — Анну Ивановну Михееву, 1920 года рождения, мать-одиночку. Но вот в чем дело: сам-то я не любил эту свою любовь и знал, почему не любил. Потому что моя мать была единственным на свете человеком, который знал моего отца, знал тайну моей безотцовщины. Знал только для самого себя и больше ни для кого на свете. А я тоже хотел знать и не прощал моей матери ее эгоизма. Ну если и прощал, так не до конца и не навсегда, не дольше чем на несколько дней.

Да, моя мама любила меня, ради меня она и перенесла все то, что ей пришлось перенести и пережить, но откровенна со мной она не была никогда. Может быть, она думала, что, пока я ничего не знаю о своем отце, я буду любить ее, узнаю — и разлюблю? Вполне могло быть и так, я этого не отрицал.

В самом деле, мне-то для чего это нужно было — обязательно знать тайну своего отца?

Для всего на свете — вот для чего!

Без отца, казалось мне, без его почти невероятного, а все-таки участия в моей жизни я этой жизни никогда и ни в чем не пойму, себя в ней не пойму. Я очень рано осознал, что отца у меня нет, в то время как он обязательно должен быть, потом я увидел, что не я один такой, что и еще есть дети без отцов, но они что-то знают о своих отцах, я же — ничего. Вот это ничего и стало распространяться на все мои порывы и понятия, на все, о чем я думал: на судьбы отдельных людей, государств и народов, на прошлое и будущее, на ненависть, которую я к кому-нибудь испытывал, на любовь, которая когда-либо входила в мою жизнь. Впрочем, наверное, в силу все той же неведомой тайны я никогда никого так и не полюбил до конца, и это страшно, и теперь я страдаю от этого.

В свое время моя мама совершила непростительную ошибку: ей надо было выдумать моего отца для меня. Она ведь могла сказать, что он умер, был очень хорошим человеком, но рано умер, еще до моего появления на свет, что ростом он был один метр восемьдесят шесть сантиметров (я был рослым мальчиком), что родственники его все до одного погибли в гражданскую войну, что у нее не сохранилось никакого документа о браке, что он любил крепкий чай (я с детства люблю крепкий чай), что...

Но моя мама не придумала ничего, кроме того что не говорила об отце никогда ни слова. И даже если при ней кто-нибудь из моих товарищей, кто-нибудь из наших соседей в разговоре, который не имел к ней ни малейшего отношения, произносил слово «отец», она вздрагивала, краснела и секунду-другую ни о чем не могла говорить. Уж и не знаю, чем для нее могло быть это слово — «отец»? Проклятием, может быть? Во всяком случае она была уверена, что я не знаю о своем отце ничего, совершенно ничего.

А я знал. И не так уж мало.

Мне было лет пять, когда маму послали из Горького в Москву на какие-то курсы какого-то профсоюза, а она в Москве повертелась-повертелась да и сменяла две наши горьковские комнаты на одну московскую. Я не знаю, для чего она это сделала: чтобы оторвать меня от тех людей, которые и в Горьком могли что-то знать о моем отце? И о моей маме тоже? Оторвать, пока я маленький, ничего не понимаю, а главное — пока не запоминаю? Но она ошиблась — что-

то я запомнил, что-то вдруг всплывало в моей памяти по мере того, как я взрослел.

Я родился в Ленинграде в сороковом году. А в сорок первом кто-то объяснил маме, а может быть, она сама догадалась, что ей, жене репрессированного, надо менять место жительства. Срочно менять. И мама уехала в Горький, ей помогли в этом какие-то родственники. Она переехала в Горький за месяц до начала войны, и это маму спасло, меня спасло — мы не пережили бы блокады, я, годовалый ребенок, конечно, не пережил бы.

Иногда я думаю: если бы отца не арестовали — мы с мамой не уехали бы в Горький, а если бы не уехали — погибли бы обязательно. Значит? Значит, арест отца спас меня? Такая наша жизнь, а моя прежде всего, вся состоит из «если бы». Вот я и чувствую себя не более чем «если бы». Чувствую, что если я и величина, то некая условная.

Несколько раз уже совсем взрослым, бывая в Ленинграде, я пытался разыскать, вернее угадать, тот дом, в котором мы когда-то жили. Может быть, думал я, в этом доме до сих пор живет кто-то из наших бывших соседей, может быть, что-то они расскажут мне, может быть... Ничего я не нашел, никакого «нашего» дома, осталось только впечатление, будто весь Ленинград — это вечная, громоздкая, по линейкам расчерченная загадка. Именно так: старый, пожелтевший лист бумаги, на котором линейки сохранились, а что было написано когда-то между линейками — понять нельзя, ни слова. Мама же говорила, что «наш» дом в Ленинграде был разломан на топливо во время войны, она и места толком не помнит, единственно что помнит — что осталась жива, и не одна, а вместе со мной. Так говорила мне моя мама тихим голосом.

Итак, источником познания моего раннего детства была моя память, какие-то обрывки неизвестно чьих разговоров, которые в ней сохранились, а в основном мои догадки, которые в конце концов и воссоздали следующее жизнеописание моих родителей, в которое я верил всегда, верю и теперь.

Отец мой был дворянского происхождения, белокурый, легкомысленный гимназист, во время первой мировой войны он порывался на фронт, родители его не отпускали. Участия в гражданской войне он хотел избежать, но не мог и попал писарем в белогвардейскую часть где-то под Псковом, а когда вернулся в послереволюционный Питер, не застал там ни брата, ни сестру, ни родителей — они исчезли. Он остался совсем-совсем один, боялся близко подойти к тому уютному особняку, который еще недавно принадлежал его дворянскому роду и ему лично, у него даже хлебных карточек не было, и он не хлопотал о них, бесполезно: разве стала бы советская власть кормить бывшего дворянина и белогвардейца? Так он прожил в Питере, потом в Ленинграде, потом под Ленинградом годы и даже многие годы, как бы и не живя, а только существуя на городских задворках нового времени то в качестве безработного, то в качестве чернорабочего. А потом взял и женился на молоденькой, полненькой и веселой девчонке, дочери рабочего пригородного совхоза, и тем самым резко и навсегда изменил свое социальное положение, приобщился к рабочему классу. Он даже фамилию принял своей молоденькой жены — не знаю, кем он был до женитьбы, но, женившись, стал Михеевым. Проблема была решена, мой отец с запозданием, но стал комсомольцем, стал кандидатом в члены партии, даже кончил какой-то институт, в который до этого несколько раз безуспешно пытался поступить.

Погиб он в начале 1940 года, во время финской войны, когда Ленинград в очередной раз очищали от неблагоденных элементов, потенциально возможных агентов империализма, в частности импе-

риализма финского. Вот тут кому-то, должно быть, и вспомнилось, что в 1934—1935 годы после убийства Кирова и последовавшего затем «кировского призыва» призывался, то есть был арестован, и мой отец. После непродолжительного заключения он тогда был отпущен, но факт оставался фактом: призывался. И вот — второй арест.

Мой отец так никогда и не видел меня, а я — его. Позже, подрастая, я не без знания дела раскладывал всю эту историю по полочкам и, будучи уверенным, что началом всему послужило убийство Кирова и «кировский процесс», читал в Большой Советской Энциклопедии: «1 декабря 1934 года в Ленинграде в Смольном выстрелом из револьвера С. М. Киров был злодейски убит троцкистским выродком, агентом империалистической разведки, членом контрреволюционной зиновьевской подпольной группы по прямому заданию врагов народа — Троцкого, Зиновьева и Каменева»¹.

Я без конца, без конца перечитывал эти строки — всякий раз воспринимал их как нелепый, невероятный и все-таки факт своей собственной биографии. Своей? Конечно, своей: не будь убит Киров, может быть, и мой отец был бы жив? И я бы не стал сыном врага народа?

А что, если, спрашивал я себя позже, уже не мальчиком, но и далеко еще не взрослым человеком, что, если враги народа все-таки были? Все-таки убили Кирова? Все-таки я тоже сын врага народа? Убийство убийству рознь, но когда оно политическое, к нему вдруг становятся причастными тысячи и тысячи людей, целые народы. Сначала народ может быть приобщен к одному-единственному убийству, потом «от» и «до» его уже можно воспитывать на убийствах, потом сделать его убийцей, потом самоубийцей. Конечно, я далеко не сразу пришел к этой мысли, но пришел.

И я понимал: со мной-то проще всего было все это проделать, как-никак я ведь уже был готовеньким сыном врага народа. Верил я этому или не верил — разница небольшая, потому что отрицание своей причастности к убийству уже приобщало меня к убийству — как бы я ни противился. Нормальный человек никогда не должен иметь никакого отношения к убийству, а я уже не был нормальным гражданином, юношей, подростком, другом своих одноклассников, сыном своей матери. Не был. И в конце концов не все ли равно, почему человек ненормален — по причине психического заболевания или потому что ему выпала ненормальная судьба? И в том и в другом случае место ему там — в психушке. И мне очень хотелось пойти и сдаться на милость победителя, иначе говоря, пойти в психушку. Мы с мамой не так далеко и жили от Канатчикова перелука. А что?

«Убийство С. М. Кирова, любимца партии, всего советского народа, вызвало величайший гнев и глубокую скорбь трудящихся».

«С. М. Киров был одним из признанных и любимых руководителей Коммунистической партии и другом великого Сталина. 23 мая 1924 года И. В. Сталин подарил С. М. Кирову книгу «О Ленине и ленинизме» с волнующей надписью: „Другу моему и брату любимому от автора“». (См.: И. В. Сталин. Сочинения, т. 6, стр. 422.)

Нет-нет, я не мог быть нормальным человеком, потому что ни в каком смысле не мог быть один со всеми. А я уже твердо знал, что

¹ Я уже не был мальчиком, когда прочел это в первый раз. Но в своем рассказе я не могу следовать хронологии, а следую за тем предметом, о котором завел речь, следуя теме. Впрочем, ведь и вся-то жизнь не столько хронологична, сколько тематична. И еще: фамилии убийцы я из этого текста так и не узнал. Я узнал ее позже из других источников — Николаев. Имени-отчества Николаева я не знаю до сих пор. Впрочем, я ведь не знаю и отчества своего отца, да и в имени его я тоже сомневаюсь.

высшее счастье состоит именно в единстве всего народа, а выпасть из этого единства — великое несчастье. Единство — это единственный путь к победам, твердо знал я, но я был от этого единства отлучен, и, значит, в жизни моей не могло быть никаких побед, одни только поражения — вот что я еще знал. И понимал.

Мне бы нужно было начать все сначала, всю свою жизнь, доказать, ну хотя бы только самому себе, что мой отец не был врагом народа, но как я мог это сделать? Конечно, были среди миллионов советских граждан и такие, кто когда-то знал моего отца, здоровался с ним за руку, входил и выходил с работы в одни и те же двери, обедал за одним столом, но если бы я даже и нашел таких людей — ты, ты и ты! — что бы они мне сказали? Зачем бы им было что-нибудь говорить мне? Зачем, если человек едет в вагоне метро стоя и завидует тем, кто едет сидя? Зачем ему я, если он пережил бог знает что, а я этого не пережил, но пристаю к нему с вопросами, зараза и сволочь? Ну, а если он узнает, что к нему, к пассажиру, который едет стоя, обращается с вопросами сын врага народа? Куда он этого сына пошлет?

И вот что еще мне было страшнее страшного: из этой же толпы была и моя мама со своим вечным страхом перед моим отцом. Она была плоть от плоти этой толпы, которая меня отвергала, с которой я не мог быть един, даже подумать, помянуть об этом не мог, в то время как мамино единство со всеми окружающими ее людьми было полным, было идеалом, который она всеми силами своей души, всей своей жизнью воплощала ежедневно и ежечасно, гордясь тем, что она — как все, что она всегда со всеми вместе, что все ее понимают, а она понимает всех, что для нее нет и не может быть ничего дороже, чем советский народ, советский человек, чем массы трудящихся, чем...

«А товарищ Сталин? — спрашивал я маму несколько раз в жизни. — Неужели, мама, — спрашивал я, — советские люди тебе дороже товарища Сталина?» «Глупый вопрос, — сердилась мама. — Глупый и глупый, и, пожалуйста, не задавай его больше никогда и никому. И мне — не задавай». «Почему не задавать?» «Потому что это одно и то же — товарищ Сталин и советский народ. Неужели тебе непонятно?!»

Мне было непонятно. Понятнее всякий раз после такого разговора мне становилось другое: не надо, не надо и еще раз не надо что-нибудь спрашивать у моей мамы о моем отце.

Дело было еще и в том, что когда моего отца арестовали во время финской войны, то вслед за этим к маме «приходили» домой и что-то заставляли ее написать — а может быть, только подписать — о моем отце. К ней приходили и ее вызывали куда-то опять-таки для того, чтобы она написала или подписала...

И вот она сделала: написала — подписала.

Но как я мог упрекнуть мою маму, если она сделала это ради меня, ради моей жизни? Если бы не сделала, отказалась, у меня не было бы мамы и меня, наверное, тоже не было или же я был бы воспитанником детдома для детей врагов народа, а что это значит? Тогда бы все на свете, весь советский народ знали бы (если бы, конечно, я остался жив в этом детском доме), что я — сын врага народа. Сейчас об этом знала только моя мама, ну и я догадывался, а тогда — весь народ, каждый встречный-поперечный мог бы меня упрекнуть, ткнуть в меня пальцем: так вот из какого ты дома!

Почему я так думал, откуда мог все это знать?

Не знаю уж, мог или не мог, но только я знал.

Перед тем как мама решила переехать в Москву, к ней приходила старушка, я не помню даже, какая она была, высокая или уже маленькая, уже согбенная, но лицо ее — худенькое, в морщинах, платочек на седой голове и сейчас подсказывают мне, что она была со-

всем низенькая, именно согбенная была она, может быть, даже горбатая, может быть, даже с палкой-кляукой, на которую опиралась при ходьбе. Я, маленький, четырех-, а может быть, и трехлетний, спал в маминой кровати — своей кровати у меня не было, была сперва люлька, потом мамина кровать, — а мама полупшепотом произносила слова:

«О Господи... ради Толика... могла... не могла я тогда... отказаться... Бог простит... никогда в жизни... уехать... уехать... О Господи, такая жизнь... О Господи... узнает — я жить не смогу...»

«Бог с тобой...»

«...удаваюсь...»

«Бог с тобой...»

«...простит... время-то... слова не пророню... заставили... разве я виновата...»

Такую я слышал детскую сказку. И мне казалось, что не одну я слышал такую же детскую... Были и другие, только я не знаю — где я их слышал, от кого и когда.

Действительно сказка, потому что всякий раз, когда позже я ее вспоминал, мне казалось, что и мама и незнакомая старушка то и дело склонялись надо мною и, как в сказке, напевали тихими головами: «Баю-баюшки-баю... Баю-баюшки-баю...» А я ждал маминого тепла, той минуты, когда она ляжет в кровать рядом со мною.

Моя мама в те далекие годы никогда и ничего не напевала ни мне, ни себе, и только много позже у нее будто бы прорезался голос, у меня к тому времени — тоже, и мы нередко вместе пели, опять-таки негромко, чтобы не потревожить соседей, какую-нибудь из песен маминой юности: «Мы родились, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор...» Или: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка, иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!» Или еще: «Шагай вперед, комсомольское племя...» Других песен мама не пела, это что же за песня, говорила она, если она ни к чему не призывает? И — не мобилизует? И я с ней соглашался, я не очень-то любил да и не умел петь — что мама пела, то и я пел, подтягивал ей. Но насчет песен — это отступление, а тогда, в тот вечер — или уже ночь была? — когда к нам приходило морщинистое лицо старушки, я только и делал что ждал: когда же лицо уйдет? Я ждал, чтобы оно ушло, и чтобы мама снова легла рядом со мной, и я снова почувствовал бы покой и счастье от ее близости, от ее тепла, с которым, мне тогда казалось, я не могу расстаться и не расстанусь никогда.

И только много позже — я уже не первый год ходил в школу — сказка эта стала меня преследовать, я стал ее разгадывать, стал ею мучиться, стал ею мучить и мою маму. Конечно, мама не знала, чем я ее мучаю, она только догадывалась, что я обязательно зачем-то что-то хочу узнать у нее о моем отце. И она спасалась от меня, от моих вопросов, от бессловесных взглядов, с гордостью отвечая, что она — как все, что она и все советские люди — это одно и то же, что она этим счастлива и ничего другого не хочет. Не хочет ни о чем другом даже слышать. И говорила мне: «Ты чего это, Толик, на меня смотришь-то? Ну и смотри, ну и смотри — ничего страшного!»

А когда кто-нибудь из моих товарищей, забежав ко мне домой, произносил в разговоре слово «отец», или «папа», или «батя» — она вздрагивала, краснела и на секунду-другую замолкала, потом приходила в себя. Я об этом уже говорил.

Никак не могла мама привыкнуть к этому слову — и мне казалось, что у нее самой тоже никогда не было отца, и я чуть ли не всякий раз совершенно по-разному воспринимал ее смущение. «Какая у меня все-таки мама коварная! — думал я. — Какая жестокая! Бессердечная!» Но бывало, что я думал совсем по-другому: «Если бы моя мама когда-нибудь, хоть однажды проговорила о моем отце —

нас с ней, может быть, и на свете не было бы». И я был благодарен маме. И слава, слава Богу, что она так немногословна и что есть у нее безотказные слова на любые случаи жизни, есть умение быть среди людей, растворяться в толпе, говорить сразу с несколькими людьми, говорить именно о том, о чем говорят они.

Где-нибудь на тротуаре толпятся люди, мама быстро-быстро подходит к ним и, ни о чем не спрашивая, спрашивает:

— Где-где?

— Да за углом вот, третий дом по левой стороне! — отвечает маме кто-то, неизвестно кто.

— Не четвертый, а третий.

— Не третий, а четвертый! — поправляет кого-то кто-то. — Многоэтажка.

— Дают что-нибудь? Во дворе? Это там, где контора?

— Не контора, а управление. Ничего не дают. Там двое мужиков дерутся. Со страшной силой.

— Милицию надо...

— Был один...

— Убежал?

— Их двое, он один... Убежишь.

Еще кто-то подошел:

— Где-где?

— За углом. Третий дом по левой стороне.

— Многоэтажка?

— Ничего страшного... — говорит моя мама, как бы отвечая на любой вопрос, каким бы он ни был.

Так оно и было — «ничего страшного» в мамином произношении могло значить:

все правильно,
иначе быть не может,
будем знакомы,
не бойтесь,
не спешите,
все в порядке
и т. д. и т. д.

Кроме «ничего страшного», у мамы было такое слово как «нормально» — слово-ответ едва ли не на все случаи жизни.

Как живете? Нормально!

Что это за человек? Нормальный!

Как учится в школе Толик? Нормально!

Какая погода? Нормальная!

Сколько себя помню, если я хотел поговорить с мамой о ком-нибудь из наших знакомых, из этого ничего не получалось. Спросишь у мамы о человеке, она пожмет плечами: «Ничего особенного, нормальный!» Я уже знал, что на работе в профсоюзе строителей моя мама кадровик и что поэтому ей положено знать о каждом человеке по крайней мере его возраст, партийность, стаж работы, образование, национальность, семейное положение и еще, и еще что-то, но когда я однажды сказал ей об этом — сказал с упреком, — она ответила: «Так ведь то на работе. А дома-то мне зачем?»

Кроме того, моя мама удивительно быстро терялась в толпе, даже если и было-то всего несколько человек, — вот она среди них, и вот ее уже не видно. Наверное, зная за собой эту странную особенность, мама любила яркую одежду, больше всего — красную, но и в красном пальто или в красном платье она мгновенно терялась среди людей. Когда я был маленьким, я всегда очень внимательно следил за ней: вот она, вот она, вот она — и вот ее нет, как будто бы и не было. Сначала я очень боялся ее исчезновений, но потом привык и не боялся: если я так быстро терял маму, то она меня — никогда, и

захочешь спрятаться — не спрячешься, а только получишь подзатыльник. Правда несильный.

И вот еще — мама моя была красивой: полненькой, беленькой, с розовой кожей и с голубыми глазами, с яркими губами, которые она почти никогда не красила — не было необходимости. И старела она медленно. Было таких года два-три — это когда мы уже переехали из Горького в Москву, — в которые она как-то очень быстро из почти девушки стала женщиной, так мне запомнилось, но когда я подрос и стал замечать на ее лице новые и новые морщинки, они вдруг перестали появляться, и проходили годы, а маму и мужчины и даже женщины называли девушкой.

И это при всем том, что мама никогда не хотела выделяться среди людей, а хотела быть как все. Человек, чем-то особенный, был в ее глазах даже неприличен, она говорила: «Подумаешь, какой нашелся особенный!»

В то же время особенности и характер у нее были. Не надо удивляться: уже в том, как человек скрывает себя, как подчеркивает в себе свое «как все», тоже заключается индивидуальность, это — тоже искусство, причем у каждого свое.

И вот наступил момент, когда я понял, почему моя мама именно такая, а не другая какая-нибудь, — потому что когда-то она исключила из своего сознания, из своей жизни и памяти моего отца. И такого рода исключения стали для нее правилом, а все, что с ней произошло когда-то, она могла высказать всего несколькими словами: «ничего страшного», «ничего особенного» и «нормально». И все. И в каждом человеке ее интересовал не он весь, а только его $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, а может быть, и та $\frac{1}{10}$, которая «как все». Больше того, она и от меня хотела того же — чтобы она была для меня $\frac{1}{?}$ — одна какая-то зная часть себя самой.

Я не сразу с этим смирился, особенно в возрасте между двадцатью и двадцатью пятью годами меня мучила мамина тайна, и я думал: или сейчас — или никогда! (или я навсегда останусь одиноким человеком!) А мама, как это ни странно, кажется, поняла меня, стала ко мне чуть ближе, у нее стало больше слов для меня, она давала мне советы относительно девушек, насчет того, как надо и как не надо жениться, но главного — тайны своего отца — я так и не узнал. Больше того, по прошествии этих лет мне показалось, что я знаю о своем отце меньше, чем знал в детстве.

Дело еще и в том, что я слишком был похож на свою маму, слишком был воспитан ею, а не кем-либо другим. Я дважды был женат, но ни первой, ни второй своей жене — это было ясно как день — не мог открыть, что я — сын врага народа. Такие уж у меня были жены. Я не был уверен, что они никогда не скажут моей маме: «Жена врага...» И вообще какие-либо доводы тут излишни — ни тогда, ни сейчас я никому не скажу, что я — сын врага народа.

У меня двое детей — сын и дочь, но ни сыну, ни дочери я этого тоже не скажу.

Когда умер Сталин, и пришел Хрущев, и повеяло воздухом свободы — моя мама решила снова выйти замуж.

Забегая вперед скажу, что она проделывала эту операцию несколько раз, хотя, как я понимаю, и не испытывала в ней крайней необходимости. Обстоятельства этому благоприятствовали — вот и все.

Обстоятельства были прежде всего квартирные — недаром же мама столько лет работала кадровиком в профсоюзе строителей, вот она и получила полнометражную двухкомнатную квартиру с отдельным санузлом. Правда, мама радовалась недолго: ей пришлось в голову, что трехкомнатная квартира была бы лучше двухкомнатной.

— Конечно, лучше! — доказывала мне мама. — Ты ведь уже взрослый, скоро женишься — что тогда? Куда тогда ты с семьей? Невестка будет, конечно, надеяться на тещу: еще бы — профсоюз строителей! А что я смогу? Ничего я не смогу, нормально ничего: мы свою двухкомнатную на две однокомнатных не разменяем, не бывает случаев, а хлопотать тебе отдельную однокомнатную — нормально нереально. И потом, — говорила мама, — я не хочу жить отдельно от тебя, не нужен мне такой эгоизм. Не нужен! Ты вот вечером на час, на два домой опоздаешь — я глаз сомкнуть не могу, а тут отдельное житье? Не могу себе представить! Я хочу ежечасно внуков нянчить. Тебя было нянчить — это одно, а внуков — это будет совсем другое! Точно, другое. Итак, перспектива ясная — я буду нянчить внучат, а жить буду на кухне. Больше негде как только на кухне! Нужна трехкомнатная квартира.

Мама меня очень любила, всей той душой, которая у нее была. Наверное, она меня любила еще и тайной моего отца — так я думал. Теперь, выходя замуж, мама сказала мне:

— Конечно, Толик, я еще не старая, и это нехорошо, что я до сих пор одинокая женщина с ребенком. Но ты не думай, что я тебе изменила, я не могу, не могу тебе изменить. Нормально — не могу! Буду жить с мужем, а любить тебя одного. — И она гладила меня по голове, и я обнимал ее и снова думал, что, может быть, вот сейчас, вот сейчас и надо спросить маму об отце. Но не мог решиться.

На Двадцатом съезде КПСС выступил Хрущев и рассказал народу о том, что Сталин был злодеем, что враги народа были вовсе не враги, а я был по-прежнему бессилён перед мамой и думал: мама получила квартиру, она вышла замуж, мамина улыбка как бы то ни было, а приветлива, она свободна, но что это такое — мамина ново-явленная свобода? Может быть, она окончательно освободилась от всякой памяти о моем отце? Если так — мне очень стыдно за мою маму и за себя тоже, ее сына.

Мамина такая простенькая улыбка неизменно говорила: кто это подозревает меня в том, будто в моей жизни когда-нибудь происходило что-то особенное? Что-то тайное? Посмотри на меня, сын, внимательно, и ты еще раз убедишься: никогда, ничего! Ведь ты же видишь, я — как все! В то же время я думал, что мама до сих пор любит моего отца. Ну, если уж не любит, так чувствует перед ним свою вину, поэтому и не может по-настоящему полюбить другого мужчину. И выходит замуж она не потому, что полюбила, а потому что для замужества создались подходящие условия. Моя мама всегда любила пользоваться возможностями. Об этом я тоже говорил.

Ну а со мной в то время случилось вот что: я стал знакомиться со своим отцом. Он появлялся перед тем, как мне уснуть, то уже расстрелянный, а то еще живой, молодой, красивый, и тогда, ничего не подозревая о своей близкой гибели, шутил, болтал о пустяках, рассказывал о гимназических учителях, о родителях, о своем доме, о том дворянском гнезде, из которого вышел, которое потерял навсегда, но никогда не жалел об этой потере. Потери были для него совсем-совсем другие, я их чувствовал, но не понимал. Это с людьми бывает: отчетливое ощущение потери неизвестно какой.

В общем-то, встречи с отцом были для меня нелегкими: я знал, что он вот-вот погибнет, а он этого не знал. Получалось, что я обманываю его. Гораздо проще было, когда ко мне являлась тень отца, его отражение после гибели. Отражение всегда покладистее оригинала.

Может быть, из-за тяжести, которую я испытывал, мое внимание сосредоточивалось не столько на судьбе отца, сколько на некоторых нечаянных подробностях, деталях, которые я угадывал. Например, я угадал, что в прихожей фамильного отцовского особняка стояли огромные бронзовые канделябры с приглушенным светом, и это сло-

во — «канделябры» — на какое-то время пристало ко мне, я никак не мог от него отцепиться, и были случаи, что за столом я ни с того ни с сего и довольно громко произносил по слогам:

— Кан-де-ля-бры! Бры! Бры!

Мама, всегда так хорошо, можно сказать, безупречно владевшая собой, вздрагивала: «Что с тобой, Толик?» К тому времени в нашем доме появился уже ее муж, Голубев Александр Александрович, и уж он-то приходил в полное недоумение, опускал ложку или вилку на стол и спрашивал: «Как, как?» Или: «Что, что?» Тогда я наклонялся и ему в лицо еще громче повторял:

— Кан-де-ля-бры! Бры! Бры! Бры!

Воцарялась недоуменная тишина, всем троим становилось неловко, и я торопливо начинал соображать, чем бы мне загладить свой поступок, в чем бы поддержать Александра Александровича. Обычно мне приходила в голову одна и та же фраза, которую он часто повторял и очень любил, когда ее повторяет еще кто-нибудь. Я говорил: «При Сталине был порядок: все знали, чего он хочет, а что хочет Никита Сергеевич? Мамалыги он хочет, вот это всем известно!» «Вот-вот-вот! — восклицал Александр Александрович. — А я разве не то же самое говорю! Честное слово — то же самое!» И Александр Александрович, строитель, заводился всерьез, критиковал пятиэтажки-хрущевки без лифтов, малогабаритные, с совмещенными санузлами. И Калиновку — сверхпоказательную и горячо любимую деревню Никиты Сергеевича — критиковал, и «культ без культа», и еще многое другое — критика была разрешена. По крайней мере за семейным столом.

Тех же, кого преследовали за инакомыслие (в те годы это называлось как-то иначе, не помню как), в нашем доме попросту презирали: такая нынче свобода, а кому-то все еще чего-то надо! Чего? Блажь какая-то. За такую блажь и посадить не грех.

Но в общем-то от маминых мужей по прошествии всего нескольких лет, когда их не стало (мама решила доживать свой век незамужней в моей семье), у меня осталось смутное представление — их анкетные данные, ну и еще кое-что я, кажется, помнил, и только.

Первым (1955—1958) был, как я уже говорил, Александр Александрович Голубев, начальник участка. Он любил выпить и поговорить, но работал так много, что ни для того, ни для другого у него не оставалось времени. Эта вечная его занятость и стала вернее всего причиной разрыва с ним мамы.

Евгений Николаевич Бондаренко (1959—1960) был начальником СМУ, преферансистом и нервным человеком, который только за преферансом, кажется, и успокаивался, почти все остальное время он был возмущен, больше всего — неверностью друзей-сослуживцев. Один случай особенно его поразил, вероятно, на всю жизнь. Случай был такой. Евгений Николаевич пригласил на должность главного бухгалтера СМУ своего давнего знакомого, белокурого, ясноглазого русака Стрелкова. Откуда-то с Орловщины Стрелков был родом или несколько южнее, так мне из рассказа Евгения Николаевича помнится. Однажды по какому-то поводу в беседе с этим Стрелковым Евгений Николаевич сказал, вздыхая: «Ох, как я ругаю своих соотечественников-русаков, как ругаю: бестолковый народ!» И тут Стрелков вскочил со стула, затряс руками над головой и прошептал: «Ненавижу этот народ, ненавижу всей душой! Всю жизнь прожил среди него и чем дальше, тем больше ненавижу! Не народ, а скот! Стадо! Понимаю, понимаю немцев, которые этот народ истребляли!» Евгения Николаевича хватил удар не в переносном, а в буквальном смысле слова, секретарша отпаивала его холодной водой, порывалась вызвать «скорую» — Евгений Николаевич не велел. Стрелков вскоре подал заявление об уходе. Нервозность же Евгения Николаевича, его подо-

зрительность после этого случая возросли. А мама не любила чрезмерно нервных людей.

Владимир Елисеевич Губарев (1960—1962), управляющий трестом Отделстрой, был очень неглупым человеком, но только до тех пор, пока не садился писать. Писал он жалобы, называя их «мое общественное мнение», и рассылал в редакции газет и журналов — чаще всего в «Известия» и в «Новый мир». Даже моя всегда такая покладистая, с редкостно уживчивым характером мама и та недоумевала: «Да хватит тебе, Володя, писать-то! Если мнение твое, тогда почему же оно общественное? Ненормально!» «А я кто — не общественность, что ли? — возмущался Владимир Елисеевич. — Если не я, тогда, спрашивается, кто же такой — общественность?»

Впрочем, моя мама тоже любила иногда писать. Она писала речи, с которыми выступала на профсоюзных собраниях строителей, прежде всего — торжественных. Уже накануне она становилась тоже торжественной, не очень, не до конца, но все-таки в ней замечалась сосредоточенность, строгость, голос у нее становился тихим, как бы для того, чтобы громче зазвучать на следующий день. Она подходила к своей книжной полочке со множеством брошюрок Политиздата и стоя перелистывала их одну за другой, ну а тогда уже и садилась писать. Меня это удивляло, потому что тексты маминых речей многие годы оставались почти одинаковыми, разве только после слов «наш дорогой товарищ...» менялась фамилия, но все равно я любила эти тихие вечерние минуты, когда мы все трое, ничуть не мешая друг другу, за круглым обеденным столом писали каждый свое и от души. Я конспектировал какой-нибудь учебник, Владимир Елисеевич — свое очередное «общественное мнение», а мама — очередную речь.

«Дорогие товарищи, — писала мама, — я счастлива выступить на этом торжественном собрании от лица славного пролетарского отряда рабочих-строителей. Ведь это они создают для советского народа материальные блага — прежде всего жилую площадь. Я, конечно, не ошибусь, если скажу, что человеку нельзя жить без крыши над собственной головой, а эту крышу создаем мы — строители. Сегодня я, дорогие товарищи, с чувством выполненного долга могу рапортовать о достижениях нашего коллектива: план последнего квартала выполнен нами (цифра в пределах от 100,2 до 121 процента), производительность труда повысилась (цифра в пределах от 2 до 8,5 процента). Экономия материалов и финансовых средств составила...»

В тот же день вечером после произнесения речи мама в семейной обстановке возвращалась к этому событию и, немножко смущаясь, говорила: «Слушали — весь зал — внимательно. Смотрели — весь зал — во все глаза... А я и в бумажку не глядядывала, крыла прямо на память...» Признаться, не очень-то я верил, будто маму слушали внимательно, а вот в том, что смотрели во все глаза, не сомневался ничуть — все-таки мама была у меня хорошенькая: все еще розовые, довольно полные щеки, голубые глаза, челочка а-ля комсомол. Фигура несколько полновата, но это уже чисто субъективное восприятие. Отвлекаясь от того, что эта фигура — моя мама, я вполне мог представить себе реакцию «всего зала» — штукатуров, каменщиков, плотников, сантехников и управленческого аппарата.

Мама запросто прощала Владимиру Елисеевичу его пространные «общественные мнения», даже если он засиживался за ними далеко-далеко за полночь, но была у него и другая причуда, посерьезнее — он чем дальше, тем все настойчивее хотел до конца выяснить отношения с мамой: любит ли она его по-настоящему или не по-настоящему, а так себе, самый ли лучший он для мамы муж или все-таки — не самый лучший? Больше того, подозреваю, что он хотел даже выяснить: что за человек был мой отец, когда и почему он расстался с мамой? Иногда мне даже казалось, что Владимиру Елисеевичу хо-

чется узнать о моем отце ничуть не меньше, чем мне (двух предыдущих маминых мужей он почему-то в расчет не принимал).

Добрый и веселый Владимир Елисеевич, уже немолодой, на двадцать лет старше мамы, очень ее любящий, по-своему красивый, с хорошими заработками, — он допускал такие вот нелепости. А мама не любила всякого рода нелепостей. И я был рад этому, потому что Владимира-то Елисеевича я особенно ревновал к маме, мне казалось, что между ними вот-вот явится такая любовь, которая совсем вытеснит из памяти мамы моего отца. Ну, а если так — то и меня тоже вытеснит. До сих пор я думал, был уверен, что мама не столько любит своих мужей, сколько ищет собственную любовь. Она ищет, а я неизменно был уверен, что не найдет. Но тут могла и найти, так мне казалось. И я боялся: что же я-то совсем один, что ли, на этом свете останусь? Без всякой надежды, что когда-нибудь мне удастся приоткрыть мамину тайну?

Правда, вскоре мой страх рассеялся почти до конца, и это было так. Почему-то уже одетый, в пальто, я задержался в прихожей, а Владимир Елисеевич и моя мама, должно быть, думали, что я уже ушел, они были в ванной комнате — Владимир Елисеевич брился, мама умывалась, и они разговаривали между собой.

«Милая, — сказал Владимир Елисеевич маме, — как нам с тобой нынче ночью было хорошо, как хорошо! Ну как будто мы с тобой совсем молодые, совсем молодожены!» «Хорошо-то хорошо, — согласилась мама. — А вот если бы еще я могла родить тебе ребеночка...» «Так за чем же дело стало? Я тебя спрашиваю, спрашиваю — за чем? В нашем возрасте — почему бы еще нет?»

Дверь в ванную была приоткрыта, и я видел, как рука Владимира Елисеевича с зажатой электробритвой легла на обнаженные мамины белые-белые, полные и даже картинные плечи.

«Ребеночка — нельзя. Если бы можно, давно бы был», — сказала мама. «Но почему же, я спрашиваю. Тебе — страшно?» — «Ничего страшного. Но у меня есть сын. Он взрослый. И никого у меня больше не было. И никого теперь уже не будет». — «А я зачем?» — «Ты — муж. Но отец — нет и нет...»

Я открыл дверь из прихожей на лестницу. Голоса замолкли. Но я не вышел. Я вошел в дверь — сделал вид, будто вошел, будто что-то забыл и вот вернулся на минуту домой, а потом ушел снова.

Мне было уже двадцать два года, я учился на последнем курсе строительного института, подумывал о женитьбе. Владимир Елисеевич обещал помочь мне с квартирой, а мама только вздыхала, она была верна себе, не хотела со мной расставаться.

Время шло, но мои отношения с мамой не становились проще, мне нужно было узнать ее тайну: кто был мой отец, что значили давным-давно сказанные ею той старушке слова: «Ради Толика... узнает — я жить не смогу... удавлюсь...» Хотелось поверить, что этих слов я никогда не слышал, сам их выдумал. Но нет — они были, эти слова, были, были...

Мне стоило только совсем немного забыть, и моя мама тотчас предстала бы передо мной ясной и понятной: не очень умная женщина, без каких-то там душевраздирающих сомнений, с приятным голосом... Одним словом — мама как таковая, а что еще мне надо? Ведь в тот раз — после подслушанного в ванной комнате разговора — я прыгал вниз с седьмого этажа через три ступеньки на четвертую и думал, чем бы мне отблагодарить мою маму, как бы запечатлеть ее светлый образ в своей памяти навсегда...

У меня неожиданно, уже после окончания школы, проявились способности скульптора, не бог весть какие, но и не совсем ничтожные, я посещал вечернюю скульптурную мастерскую, учился небезуспешно, руководитель мастерской Андрей Андреевич Круглов даже уговаривал меня бросить строительный институт и целиком посвя-

тить себя искусству. Но у меня и в мыслях ничего подобного не было, тем более что до окончания института оставалось совсем немного. И я вот что решил в тот раз, прыгая через три ступеньки на четвертую: буду очень старательно учиться в мастерской, пусть даже в ущерб дипломному проекту, а потом обязательно сделаю скульптурный портрет моей мамы.

Я уже говорил, что за свою жизнь был женат дважды, были у меня и еще женщины, но я всегда чувствовал, что ни одна из них никогда не была для меня в такой же мере женщиной, как моя мама для каждого из ее мужей. Она умела, ей это от природы было дано, а меня это смущало. Может быть, мне и не надо было всего этого чувствовать, но что поделаешь... И в первом и во втором браке я ждал от своих жен гораздо большего, чем то, что было в их способностях и в их природе. Ждал того неуловимого чутья, которым обладала мама в своих отношениях с мужьями, ждал такого же, как у нее, ласкового спокойствия и незаметного и в то же время сильного ее верховенства над мужчиной (может быть, того самого, которое позволило ей в свое время распорядиться жизнью моего отца), такого уютного в самой обычной семейной жизни.

Моя мама умела все — даже расстаться с очередным мужем. Она говорила:

— Ну, хватит, дорогой... Пожили нормально, и хватит...

— Что хватит? — говорил ошеломленный мамин муж.

— Да жить нам с тобой вместе. Неплохо пожили, и хватит. А то плохо будет. Не надо доводить до крайностей.

— Я удивлен до потери сознания!

— А что удивляться-то? — мило пожимала своими полными плечами мама. — Я тебе никогда не клялась, с тебя никаких клятв не спрашивала, срок прошел, ничего страшного... Жилплощадь, прописку ты за собой сохранил, не на улицу уходишь.

Что верно, то верно: мама всегда на всякий случай выбирала такого мужа, чтобы он имел свою собственную жилплощадь и независимую прописку. Нашу двухкомнатную квартиру она берегла для меня, для моей будущей семьи.

Удивительное дело: на работе мама с утра до ночи была в суете, которую тот же Владимир Елисеевич называл «социалистической суетой», но дома не суетилась никогда, всегда была рассудительна.

О Владимире Елисеевиче, когда он уже ушел из нашего дома, мама, смущаясь, рассказала мне один секрет.

— Толик, — сказала она, — Владимир Елисеевич очень хороший человек, но у него есть один недостаток, о котором мне даже стыдно говорить. Но скажу: он тараканов и мух давит руками. Как увидит где-нибудь на стене таракана, р-раз его ладошкой — и все тут. И мух так же. А потом, хотя бы и на другой день, как прикоснется ко мне... нет, уж лучше не вспоминать.

Сам я как-то не замечал этого недостатка за последним маминим мужем. Но действительно, одно время водились у нас на кухне и в ванной тараканы, потом, когда Владимир Елисеевич ушел, мама вывела их. Не помню чем, кажется, борной кислотой. Я маму понимал: сам я неряха и даже грязнуля, но мама у меня чистюля, Бог знает как брезгует всякой тварью, которая ползает, конечно, ей было очень трудно перенести прикосновения Владимира Елисеевича. Он же, как я замечал, очень и очень был неравнодушен в смысле прикосновений к маме.

Я сказал, помнится, маме:

— Ты бы объяснила Владимиру Елисеевичу, что так нельзя.

— Объясняла. Не понимает.

— Объяснила бы еще раз.

— Еще объясняла. Не понимает — такая привычка. Да он хотя бы и отвык от этого, так я после того к нему бы, верно, не привыкла бы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вот в чем дело: чем больше в какие-то моменты я примирялся со своей мамой, тем меньше — с самим собой, со своей памятью.

«Почему я такой, какой я есть?» — спрашивал я себя и не находил ответа, хотя для меня уже было ясно, что я мог быть совсем не таким. В самом деле — если бы мой отец был жив, жил бы рядом со мной, конечно же, я был бы совершенно иным. Если бы мама рассказала мне все о моем отце — разве я не стал бы каким-то другим? Каким же?

В общем-то, этот вопрос — каким я мог бы быть? — может возникнуть в жизни каждого, но почему-то не возникает, зато ко мне он привязался неотступно, и вот я без конца размышлял о том, что в детстве, в юности да и в зрелом уже возрасте жизнь все-таки представляет человеку варианты самого себя, но он все равно действует как существо безвариантное, беспорядочно хватая все, что попадается под руку, что вне его самого, но в самом себе не ищет, не умеет найти самого себя.

И я то и дело задумывался: был или не был в моей жизни совершенно особенный случай, до которого я был одним, после которого стал другим? Был или не был? Ведь и людей мы запоминаем не вообще, не в целом, а по каким-то отдельным случаям. Мне мамыны мужья, мои отчимы, запомнились не по их характерам и тоже не по их внешности и привычкам, а по отдельным моментам и эпизодам, по тому, например, как я орал в лицо Александру Александровичу: «Кан-де-ля-бры-бры-бры!» — а он, уронив ложку на стол, вконец ошалевший, смотрел на меня; по рассказу Евгения Николаевича о том, как некто Стрелков кричал ему: «Не народ, а скот! Стадо!»; по тому, как Владимир Елисеевич писал в редакцию свои «общественные мнения» и домогался узнать у мамы — любит ли она его по-настоящему или любит, но не по-настоящему.

«А я? — бесконечно думал я. — У меня-то в жизни был ли такой случай, случай-вариант? Или — или?»

Был.

Сначала учение в школе давалось мне без труда, это радовало меня, а маму — особенно, но в классе, кажется, третьем меня постигло вдруг разочарование, даже презрение ко всякому учению. И стал я учиться кое-как, только чтобы маму не вызывали и не читали ей нотаций — это, помнится, была единственная причина, по которой я посещал школу и на скорую руку делал уроки.

Я хулиганил, и это тоже помогало мне жить и не быть пай-мальчиком, пай-пионером, который только и знает, что усердно трубить в горн, кричать «всегда готов!» и прорабатывать на собраниях своих товарищей то за плохую учебу, то за плохое поведение. Может быть, и безотчетно, но я ненавидел всех этих «паев», может быть, завидовал им: мне казалось, что они были счастливы, а я — нет.

Когда же все-таки приходилось трубить в горн, я трубил так, что дребезжали оконные стекла; маршируя в строю по школьному коридору, топал так, что оконные стекла дребезжали еще сильнее; на уроках пения орал диким голосом: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»; на собраниях так клеймил своих в чем-нибудь провинившихся сокласников, что пионервожатая спрашивала у меня: «Михеев! Ты с ума сошел, что ли?» «Ничего не сошел, я просто возмущен! — отвечал я. — Возмущен до глубины души! А вы — нет? Не возмущены?» И вожатая умолкала.

Наша школа была совершенно особенной — в то время как обучение тогда было, помните, раздельное, мальчишки учились в мужских, а девчонки — в женских школах, наша оказалась смешанной. Никто не знал, почему так, что это было и как это называлось: эксперимент,

пережиток прошлого — чуть ли не тридцатых лет, — или же мы преждевременно забежали в ближайшее будущее: уже вслед тому самому году, о котором пойдет речь, почти все школы снова стали смешанными.

Так или иначе, а мальчишки из соседних школ без конца любопытствовали: ну — как? неужели с девчонками за одной партой сидите? Не знаю точно, но думаю, что и у наших девчонок другие школьницы тоже спрашивали: неужели? за одной партой? не может быть!

А ничего особенного — мы со своими девчонками ладили неплохо, они с нами, кажется, и еще лучше. Впрочем, если честно, когда я дежурил в классе или на пионерской линейке, я без конца придирался и к мальчишкам и к девчонкам — не так повязан галстук, неаккуратно лежат на парте книги и тетради, а на ногах — стыд и срам! — грязные ботинки. В классе меня не любили, но я и не нуждался в любви, я ее чуждался, а в чем я нуждался — и сам не знал. Зато я знал, что через нелюбовь ребята приходят к тому, чтобы уважать меня; знал, что если я такой же, как все, тогда уж лучше быть «как все» больше всех. У меня был свой собственный ум, которого ни у кого больше не было: я был сыном врага народа, умело скрывал это, вот это и было моим умом. Мне даже казалось иногда, что я мог бы совершить любое самое страшное преступление и никто никогда его не разгадает, не найдет на меня Шерлока Холмса, никто никогда и ни в чем меня не уличит. Поэтому когда кто-нибудь из учителей ставил мне «неуд», причем, на мой собственный взгляд, совершенно незаслуженно, меня это удивляло: неужели учитель не догадывается, с каким человеком он имеет дело? А что, если этот человек решится за свою обиду жестоко учителя отомстить? Что тогда? Правда, я не мстил, прощал учителей, снова переживая тайну самого себя.

Я подозревал, что в нашем классе могут быть и еще тайные сыны и дочери врагов народа, гадал — кто бы это мог быть? — но не угадывал и думал: наш брат, отпрыски врагов народа, — и должны быть умными и хитрыми. Нас не разгадаешь! Нас не проведешь!

В нашем классе училась одна девочка — Оля, Оля Крутова, и все знали, что отец ее был в плену у немцев, а когда вернулся из плена, его — за то, что был в плену, — отправили в Воркуту, на угольные шахты, на каторгу на десять лет, и он теперь работал там под конвоем, и мне было жаль Олю Крутову, но совсем не потому жаль, что она оказалась в такой беде, а потому, что о ее беде все знали. Это было ужасно! Я просто не мог представить себя в таком же положении, тем более не мог представить маму, я был уверен, что мама умерла бы, кончила бы самоубийством, если бы с ней такое случилось.

Нельзя сказать, что я жил только в этом тайном мире, нет. Иногда на целые недели, а может быть, даже и на месяцы я совершенно забывал о том, что я — сын врага народа, что я так умело обманываю всех-всех без исключения, и моей душе становилось безмятежно в таком забвении, я приходил к выводу, что вообще счастливыми могут быть только люди забывчивые — и никакие другие; и еще я думал, что человек, не имеющий собственных тайн, попросту не может быть умным и что тайны мироздания, если они не заглянули в человеческую душу и не оставили там своего следа, оставляют эту душу пустой и даже уродливой. Приблизительно так я тогда думал, такая складывалась в моем уме теория, складывалась даже и в те дни и недели, когда я пребывал в состоянии забывчивости. Беспокоило меня и еще одно обстоятельство: мне казалось, что в раннем детстве я был гораздо умнее, наивысший взлет моего ума — в прошлом и я его уже миновал.

Ну да, думал я, ведь война все упростила — теперь в каждом классе что ни мальчишка, что ни девчонка — то и безотцовщина, никого этим не удивишь, и все-таки мое положение было особенным, мне помнилось давнее, тоскливое ощущение, только одному мне и свойственное, будто я один такой — без отца, и все обращают на меня

внимание, шепчутся между собой: «Тш-ш-ш, а у Толика нету папы...» «Не может быть!» — «А куда Толикин папа подевался?» И вот в ту самую тяжелую и такую ответственную для меня пору я ни разу не дрогнул, ни словом не обмолвился о том, что я — сын врага народа, хотя я уже понимал это, может быть, даже тверже и определеннее, чем теперь. По прошествии же этих лет, казалось мне, я многое, очень многое узнал, но умнее не стал. Умнее, чем был в раннем детстве. А раз не стал умнее, значит, стал глупее — ум человеческий не стоит на месте, не в одну, так в другую сторону он обязательно двигается.

Я читал газеты, в газетах — о политических процессах, о «ленинградском», «симферопольском» деле, о деле врачей-вредителей, и странно, очень странно — временами я чувствовал себя причастным ко всем этим процессам, к этим вредителям и врагам народа — я, сын врага народа, не мог не иметь хоть какого-то к ним отношения. Враги делали свое дело тайно, и я жил тайно, уже в этом состояла моя общность с ними, и когда их расстреливали, я, пусть и содрогаясь, все-таки думал: так и нужно, слишком уж много становится тайн на земле, и если из жизни уходят «тайные» люди — жизнь тем самым очищается. Господи, прости меня: как страшно я думал в те годы своего светлого юношества...

Впрочем, нет, не совсем так — мысли приходили в голову не только эти, но еще и другие, совсем противоположные. Как хотите, но я ведь никогда не верил до конца, что мой отец — враг. Парадоксально, но факт: мне проще было поверить в то, что я — сын врага народа, чем в то, что отец мой — враг народа. В этом парадоксе меня убеждала мама: если бы отец действительно был врагом, разве она мучилась бы его смертью? Да никогда — чего заслужил, то и получай. Уж я-то знал свою маму, ее логику. Нет, мама не стала бы скрывать от меня истину, она скрывала другое — ошибку, свое участие в этой ошибке, — потому ей так трудно было хотя бы одним-единственным словом, хотя бы перед одним-единственным человеком, перед своим сыном, в чем-то признаться. Я ее понимал.

И себя уже тогда я, кажется, понимал так: огромное количество людей во все времена гибнет вовсе не потому, что они совершают какое-то зло и злодеяние, а по ошибке, проистекающей от зла и злодеяний. Само по себе зло единично, редкостная птица, как, например, орел-стервятник, но в человеческой среде по причине существования зла проистекает бесконечное число ошибок, и миллионы людей рождаются как бы тоже ошибочными, обреченными на несчастье и горе, и в их числе прежде всего те, кто не умеет скрыть тайну своего ошибочного рождения, своей причастности ко злу.

Многое я передумал в ту давнюю школьную пору, многое-многое, но далеко не все мне запомнилось, и, наверное, то, что запомнилось, все-таки было главным в моих мыслях о самом себе и о своей судьбе. Вот и вредители с высоким положением — они могли и не быть вредителями, как не был им мой отец, но ошибочными и опять-таки тайными людьми они были, и вот я их не жалел так же, как я почти никогда не жалел своего отца. Просто-напросто у меня не хватало на него жалости (хватало только любопытства), не мог я под этим крестом и под этим проклятьем всю свою жизнь прожить, что хотите со мной, то и делайте — не мог! Ну, а если у меня не хватило жалости для своего отца — откуда ей было взяться для совершенно чужих людей? Не только чужих, но и чуждых мне, существующих где-то там, наверху, куда мне нет и никогда не будет ни малейшего доступа, где-то там, где обо мне никто никогда и ничего не узнает, где людям совершенно все равно — жив я или уже мертв. Ну, а если так, то и мне, конечно, наплевать, кто там живет, а кто — погибает.

Там был только один человек, которому мы с мамой верили, — товарищ Сталин. Всех остальных мы уже могли подозревать: а не враг ли?

Один, всего один — это так немного, что у нас с мамой просто не хватило бы сил, чтобы отказать себе и в этом немногом. Мы никогда не говорили о том, чему мы не верим, чему не верит она на работе, а я — в школе, мы даже друг перед другом стеснялись и боялись своего неверия: потяни за кончик ниточки — и клубок будет разматываться, разматываться... А вдруг на самом конце нитки окажется Он? Товарищ Сталин? Ведь это же только самые нехорошие, самые отвратительные люди не верят ничему на свете, даже Ему! А мы не могли себе представить, что мы самые нехорошие. Не верить ничему на свете, ото всех скрывать себя — никаких сил не хватит. И вот мы верили товарищу Сталину, верили, что все тяжелое и плохое — это только временно, что чем больше плохого сегодня — тем скорее оно исчерпает себя, пройдет навсегда и настанет то главное, то светлое, то счастливое, ради чего принесено столько жертв и совершенно столько ошибок. И мы вместе со всеми и как все благодарили Его заранее: «Спасибо товарищу Сталину за...» За что-нибудь.

Правда, иногда моя мама теряла веру в будущее. «Не доживу, нет, не доживу!» — вздыхала она, и грусть ее тотчас передавалась мне, и мы грустили вместе, одинаково, хотя у меня не было сомнений в том, что я-то обязательно доживу. Но мне было этого мало, мне хотелось быть там не одному, а с моей мамой, в том счастливом мире, в котором для нее не будет никакой необходимости хоть что-нибудь скрывать от меня.

Так мы грустили вдвоем, хорошие люди, молча удивляясь тому, что вот и новое воскресенье настало, мне не надо идти в школу, маме — в профсоюз строителей, и что прямо над крышей пятиэтажки (№ 29, корпус «б» по улице Автогенной) взошло солнышко, и оттуда же, с той улицы, доносится энергичный гул машин (в те годы запрета на гудки не было, каждый гудел сколько хотел), густой чай у нас на столе — и я и мама всегда любили очень густой чай, — молоко свежее, чайная колбаса, наши 250 граммов — вот они, баночка с медом — вот она, чем, казалось бы, не жизнь? Нет в этой жизни «главного», все еще нет коммунизма, хотя уже вчера до него оставалось рукой подать. Ну что же, придется ждать. Случается, бывает, что к вам в определенный день и час обещал прийти ваш знакомый — прекрасный человек, но — не приходит. Вы ждете его с нетерпением еще и еще час, а его нет и нет, и уже ясно становится, что сегодня не будет. Будет когда-нибудь в другой раз. Придется ждать и верить. И мечтать о том, как, сохранив свою тайну в неприкосновенности, я вырасту и пойду служить в военно-морской флот, на крейсер или на подводку, или на самолет-истребитель, или на бомбардировщик дальнего действия. Отслужив срок, я, пожалуй, останусь в кадрах...

Ну, наконец-то я, кажется, вплотную приблизился к исключительному, к вариантному случаю в своей жизни.

Нынче я то и дело слышу о беспорядках в школе и о том, что мальчишки начинают курить чуть ли не с первого класса. Подумаешь — новость какая! Не знаю, как до войны, но в период послевоенный мы начинали курить если уж не с первого, так с пятого класса обязательно.

Табачок мы сшибали кто как: собирали окурки, сбрасывались на пачку «Ароматных», а то и на «Беломор» по пятачку, а были в нашем классе и такие личности — двое-трое: они беспрепятственно могли чуть ли не ежедневно приносить в класс по папироске. Среди них отличалась одна девчонка — Вадька, по-научному — Аделаида Серебрякова. Девчонка эта была паршивая, некрасивая, всегда могла наябедничать, вот и замаливала свои грехи папиросками. Я никогда не выпрашивал у мамы ни пятачка, кроме как на завтрак, сбрасываться на табачок мне было нечем, и вот я провожал паршивую Вадьку домой, каждый раз получая за это папироску, а то и две. Вадька жила далеко, чтобы

сократить путь, ей нужно было пройти через два глухих двора, через два темных подъезда, она боялась, а я на ее боязни прирабатывал.

Но курить мальчишкам — это сам бог велел, в этом никакого шика. А высший шик, смелость и хамство состояли для нас в том, чтобы запузырить в потолок «катушку». «Катушкой» назывался окуроч, один конец которого расщеплялся на крылышки и густо слюнявился, другой — поджигался, затем этот окуроч двумя большими пальцами запускался вверх, в потолок. В случае удачи он прилипал к потолку и догорал, и тогда на потолке получался черный-черный закопченный кружок диаметром сантиметров пять и даже чуть больше.

Начинается урок, в класс входит учительница — учителей-мужчин у нас в ту пору почти не было, три-четыре человека, включая директора, на всю школу... — входит учительница, начинает что-нибудь объяснять по математике или истории, а на нее никто и не смотрит — все смотрят в одну-единственную точку на потолке. Невольно учительница смотрит туда же, и вот тут-то и начинается. Ладно если это математичка Людмила Андреевна — та, хоть лопни, так ничего и не заметит, будет спрашивать весь класс подряд и всем подряд ставить двойки, а если это окажется биологичка Татьяна Гурьевна? Тем более если историчка Светлана Николаевна? «Хулиганы! — обязательно завопит Светлана Николаевна, и на ее изможденное лицо будет в это время страшно смотреть. Ну, а страшно — это почти то же самое, что интересно. — Хулиганы, вы надо мной издеваетесь, да?» И тут уже и пойдет, и пойдет — и про эвакуацию из Минска в Краснодар, из Краснодара в Ташкент и в Нукус и еще куда-то, и про троих детей, оставшихся без отца, и про отца... Про отца составляло для меня особый интерес: отец троих детей, муж Светланы Николаевны, потерялся без вести в первые же дни войны, а «без вести» тогда значило что-то сомнительное, может быть, что-то и преступное, ведь пропавший без вести мог оказаться власовцем или полицаем каким-нибудь, отступившим на запад вместе с гитлеровской армией.

Светлана Николаевна, наверное по глупости, опускала этот возможный смысл, но я — никогда. Я был особенно чуток к этому смыслу. Вообщем, при таких вот сценах, которые не так уж часто, но все-таки закатывала нам Светлана Николаевна, меня ужасно трясло — зуб на зуб не попадал, мне казалось, что вот сейчас я вскочу, завою по-собачьи и выбегу из класса вон. Но я не вскакивал, не выл и не убегал — убежала Светлана Николаевна, в классе воцарялась тишина, девчонки начинали плакать, а Вадька кричала на всех мальчишек подряд: «Негодяи! Вас за это... вас за это... надо... расстреливать!»

Мальчишки обещали никогда больше не делать такого, не травлять и без того большую душу Светланы Николаевны, мы посылали к Светлане Николаевне дежурного или старосту с извинениями, и дежурный или староста возвращались ни живы ни мертвы, потому что за Светлану Николаевну, оказывается, заступился директор школы Шаров — его мы звали Шрамов, потому что с войны он вернулся с огромным шрамом на лице, — заступаясь за учительницу, он обещал разогнать самый подлый во всей школе класс — то есть наш класс, мы возмущались этим несправедливым эпитетом, девчонки снова начинали реветь, громче всех Оля Крутова, дочь сосланного в Воркуту, а мальчишки, громче всех я, кричали: «Ах так!.. Ну тогда мы ещё посмотрим!» Понять было ничего нельзя, зато можно было — через меня-другой — начать все сначала.

Теперь-то мне очень странно, как все это могло происходить, причем вскоре после окончания войны, победного окончания, которым мы, ребята, вместе со всем народом гордились и еще долго чувствовали себя особенными во всем мире людьми. Но так было, и в один из тех дней, когда мне страшно хотелось хулиганить, я перед уроком истории решил запустить «катушку». На перемене я сказал кому-то, что дежурного срочно вызывают в учительскую, тот сказал об этом

дежурному, дежурный убежал, а я, на минуту оставшись в классе один, быстро поджег «катушу» с сухого конца и запустил ее...

Запустил прямо... в портрет товарища Сталина, который висел посередине стены. Окурочек не загорелся, но задымился, оставил на портрете черное пятнышко с пятикопеечную монету с дырочкой в центре и упал на пол.

Прозвенел звонок, ребята ворвались в класс, позже всех — растерянный дежурный Ленька Колобов, сразу же за ним вошла Светлана Николаевна.

Я не знаю, кто первым заметил черное пятнышко на щеке, точнее между щекой и подбородком, товарища Сталина. Когда я решил посмотреть на портрет, на него смотрел уже весь класс. Светлана Николаевна ходила между рядами и рассказывала что-то о революции девятьсот пятого года очень тихим, замогильным голосом, она же не знала, что случилось. Весь класс смотрел в окна, и она тоже посмотрела, но потом поняла, что смотреть надо не туда, прервала свой рассказ и быстро оглянулась на стену с портретом. И ничего не увидела. Сначала. Но тут же в ней заговорило, должно быть, какое-то нечеловеческое чутье, она поправила на хрящеватом носу очки и тихо, по кошачьи двинулась проходом между стеной и партами.

Светлана Николаевна всегда была небрежно причесана и очень плохо одета, в латаной-перелатаной кофте, в такой же юбке, в стоптанных ботинках, но очки на ней были необыкновенные, должно быть, заграничные, с коричневой, черепаховой кажется, оправой. И когда она внимательно смотрела через эти очки, она видела все: кто и как себя ведет, кто играет в морской бой, а кто списывает, готовясь к следующему уроку. И тут она тоже увидела то, что видел весь класс, и, повернувшись к нам спиной, застыла на месте. А когда обернулась, бледная и тощая, громко прошептала: «Нелюди... Нелюди... трое детей... нелюди...» — и той же напряженной, чуть приседающей походкой пошла, а потом побежала вон из класса.

Долгая была тишина.

Потом встала Вадька Серебрякова и сказала:

— Ребята! Если только я догадаюсь — кто, я скажу. Все равно узнают, зато не будут прорабатывать весь класс.

— Стерва! — крикнул кто-то из ребят, кажется, Венька Страхонин, мой дружок, но Вадька как будто и не слышала его.

— И родителей тоже не будут прорабатывать!.. — сказала она строгим, учительским, хотя и писклявым голоском и замолкла, ожидая, что кто-нибудь ее снова обругает. Но никто не обругал, и она стала говорить дальше: — Надо сделать собрание и обсудить поступок суровым порицанием и дать директору объяснение, что это... нечаянно... Это обязательно — только нечаянно, потому что мы все до одного любим... нашего любимого... — И Вадька заплакала и села и сквозь слезы прокричала снова: — Если догадаюсь кто — скажу!

А я знал, что Вадька знает, ведь это у нее я выпросил папироску, чтобы сделать «катушу». Когда выпрашивал, она спросила: «Зачем тебе с утра? Подожди хоть до последнего урока», — а я сказал: «Мне надо сейчас!» А она сказала: «Зачем? — но согласилась: — Ладно, дам одну... А другую — после уроков, когда проводишь. Проводишь?» — «Провожу!» «Честное?» — спросила она. «За кого ты меня считаешь?» — «Ну бери!» Я взял и еще успел подумать: только бы не обмануть нечаянно и проводить, а то получится свинство!

Ну а теперь я должен был встать и сказать: «Ребята! Это сделал я! Собирайте собрание!» Я уже чувствовал, что стою, уже чувствовал, что говорю, но на самом деле я все еще сидел неподвижно и ждал чего-то. Директора, что ли, я ждал? Чтобы он поднял меня на ноги? Честное слово, если бы директор не вошел в эту секунду, я бы встал сам. Но он вошел. А я остался сидеть.

Директор и на портрет не стал смотреть, может быть, он и по-

смотрел, но так, что никто этого не заметил. Он прошел через класс и встал за учительский столик. В дверях были учительницы — Светлана Николаевна, классная руководительница географичка Софья Семеновна, парторг Колесникова и еще кто-то. Толпа учителей.

Помолчав, директор приказал:

— Дежурный! Встать! — Он, должно быть, не заметил, что дежурный Ленка Колобов уже давно стоит, еще раз приказал: — Дежурный! Встать! — Увидел Ленку, спросил: — Кто?

— Н-не знаю... — ответил Ленка.

— Садись! — Директор ткнул пальцем в Левку Козловского: — Встать! Кто?

— Н-не знаю! — Ленкиным голосом ответил Левка.

— Ты! — указал директор на Славку Волкова. — Кто?

Славка встал, покрутил головой и пожал плечами, а директор заорал:

— Кого спрашивают? Может, дядю Ваню спрашивают? Кто? Кто?

— Н-не знаю... — Славка взглянул на меня, и я понял: знает. Все знают... Весь класс... А пока я об этом думал, на ногах уже стояла Верка Кубрина.

— Понятно! — сказал директор, ничего не спросив у Верки. — Понятнее понятного: коллективка! Поздравляю — доигрались... По всем по вам Колыма плачет. — Он передохнул. — По всем до одного! Колыма!

И тут раздался отвратительный голосок Вадьки, тот самый, которого я, оказывается, ждал уже не первую минуту.

— Василий Егорович, — пропищала Вадька, — спросите у Михеева кто.

— Михеев — кто? — спросил Шрамов, подавшись в мою сторону.

Я встал и сказал:

— Я...

И класс вздохнул громко и протяжно, и Шрамов передохнул тоже, а Светлана Николаевна проговорила в дверях: «Какой ужас... Мне, кажется, плохо... Ужас...» И ее кто-то повел от дверей по коридору.

— Михеев, — даже не очень строго, уже с радостью какой-то сказал директор, — Михеев, в пятнадцать ноль-ноль зайдешь ко мне. Повтори!

— В пятнадцать ноль-ноль... ко мне...

— В кабинет!

— В кабинет... — снова повторил я.

Директор прошелся вдоль доски взад-вперед. Класс теперь уже весь стоял на ногах и молча смотрел на директора. Ждал, что будет.

Директор показал на меня пальцем:

— В пятнадцать ноль-ноль, Михеев, я тебя поучу... Поучу, и ты еще постоишь перед ним... — Он показал на портрет Сталина. — Еще постоишь перед ним по стойке «смирно». И на коленях тоже постоишь!

В классе была тишина.

— Значит, так, — и еще сказал директор, двигаясь взад-вперед вдоль доски. — Значит, уроков сегодня больше не будет. Сейчас все тихо выйдите, тихо оденьтесь в раздевалке, тихо — по домам. Дома сидеть тихо, со старшими особо не распространяться, никуда не выходить, друг с другом не встречаться, не болтать. Читайте чего-нибудь по истории нашей партии. Понятно? Понятно, я вас спрашиваю?!

— Понятно... — ответил кто-то неуверенно.

— Р-р-разойдись! — скомандовал директор и строевым шагом первым вышел из класса.

До пятнадцати ноль-ноль оставалось еще много проклятого времени, и я, не зная зачем, решил идти домой. Мама была на работе, а если бы она и была дома, я все равно ничего ей не сказал бы. Я думал: для чего я иду домой, может быть, чтобы раз и навсегда

покончить с жизнью? Там видно будет, подумал я и стал считать ступеньки школьной лестницы со второго этажа на первый — их было, как всегда, двадцать две. Как всегда, удивлялся я, как будто бы в этой школе, на этих этажах ничего не случилось. Совершенно ничего...

Я оделся, вышел на улицу, присмотрелся к погоде ранней весны, что-то такое послушал, не знаю что, а когда обогнул здание школы, вспомнил, что обещал проводить Вадьку домой. Она здесь, за углом, стояла, ждала меня под козырьком второго подъезда соседнего дома. «У-у-у, дрянь! — подумал я, увидев ее. — Все из-за тебя... Не дала бы мне утром папироску, и ничего бы не было...» Но почему-то я не был сердит на Вадьку, мне хотелось ее ругать, но сердиться на нее не хотелось, не было сил. И я вспомнил, как однажды Вадька подарила мне нераспечатанную коробку «Казбека». Я в тот раз сильно удивился: «Откуда взяла-то? У отца слямзила?» «А тебе какое дело? — ответила Вадька. — Дают — бери. Бери и пользуйся. Мужчины только так и делают». «Скажи пожалуйста! Она и про мужчин знает. Откуда?» «А твое какое дело? Знаю, и все». Так я вспомнил про Вадьку, увидев ее на обычном месте — под козырьком второго подъезда дома № 6 по Свердловскому проезду. Она вышла мне навстречу и спросила:

— Не узнаешь?

— Больно-то нужно! — ответил я. Вадька пошла рядом.

— Вот история так история! — вздохнула она. — С географией. Не часто о таких услышишь. Но я вот что скажу: ты очень-то не убивайся, ты несовершеннолетний, тебе больше десятки в малолетней колонии не дадут.

— В колонии?.. Малолетней? .

— Вот именно! Не могут же тебя держать вместе со взрослыми. Это не по закону. Этого нельзя.

Я заинтересовался и сказал:

— Жаль! Жаль, что нельзя: одному ребенку среди взрослых, может быть, и лучше было бы. Они его любили бы. И давали бы ему лишний кусочек хлеба. У них же дома тоже остались дети, они же по своим детям скучают!

— Вот уж не знаю! — пожал плечами Вадька. — Может, будут любить просто так, а может, будут насиловать. Не знаю, не знаю...

— Ты с ума сошла? Это... это как же так? — Я почувствовал дикий ужас во всем теле.

— Дурачок ты, Толик. Не знаешь как? Правда не знаешь? Или только представляешься дурачком?

Я ударил Вадьку портфелем и заорал:

— Свинья! Как тебе не стыдно издеваться над живым человеком? Свинья!

Вадька отскочила в сторону и уставилась на меня.

— Ну? — спросила она. — Побежишь к матери? А она на работе. Может, ты на работу к ней побежишь?

Мне стало стыдно, и я сказал:

— Паршивая ябеда! Тебя в классе никто не любит. Никто!

— Ну и что? Очень-то мне нужна ихняя любовь! Тьфу!

— Ага, ага! Волосенки в разные стороны, голос кошачий! Таким голосом только и ябедничать! И ростом от горшка два вершка!

— Вадька Серебрякова — уродина? Так и есть! Я тебе и еще скажу, какая она: нос, как у поросенка, глазки маленькие, тоже как у поросенка... Вот смотри... Нисколько не вру!

Но я смотреть не стал, отвернулся.

— Чего ты ко мне привязалась-то? Не понимаю!

— Да уж где тут понять! Вы, ребеночки, все в Ленку Боровскую влюбляетесь и в Дашку Семенову, а они дуры. А вы за них задачки решаете.

— Они — человечные. Я даже и не знаю, которая из них человечнее — Ленка или Дашка!

— Ну, конечно! Только вот почему же они не подождали тебя, не поговорили с тобой после... портрета? Тебя на десятку посадят — ты что думаешь, Ленка или Дашка хоть раз тебе передачу привезут? Да никогда!

— А мне и не надо. Обойдусь без передач.

— Это ты сейчас говоришь, ребеночек. Десять лет без передач — не шутка. Мать-то будет передавать?

— Каждый месяц!

— Хочешь знать, кто будет передавать тебе передачи десять лет? Я буду, вот кто!

— Это почему же ты такая добрая?

— Как почему? По дружбе. И по любви.

Я промолчал. Нужно было сказать Вадьке что-нибудь благодарное, но у меня не получилось. Получилось совсем другое.

— Ябедничаешь — тоже по дружбе? Указала на меня Шрамову зачем?

— Дураку ясно и понятно — зачем, а тебе — нет! Чтобы классу настоящему не пришли коллективку. И родителям чтобы не пришли за воспитание детей в семье. И всей школе чтобы не пришли за воспитание в школе. А ты лично потерял шанс, что не признался сразу. Чистосердечное признание — уже другой коленкор. И Шрамову — тоже другой. Он бы сейчас же сделал собрание, обсудил тебя суровым порицанием, но принял во внимание... Одним словом, дурак ты, Толик... Или ты хочешь весь класс посадить, чтоб одному не скучно было?

— Вадька, а откуда ты все это знаешь? Ты десять лет отбывала, что ли?

— Ну, это не обязательно — все на свете самой отбывать. А вот ориентироваться надо. Я люблю ориентироваться. Отец с матерью шепчутся — я подслушиваю. Соседи ругаются — я тут как тут. Пьяненький Шумихин дядя Коля приходит потрепаться, никто его не слушает, а я уговариваю: «Потрепись, дядя Коля, еще! Когда ты треплешься, у меня задачки решаются хорошо!»

— Хорошо? — удивился я.

— Ну да. Если кругом тишина, никто ни о чем не говорит, не ругается, мне в голову ничего не лезет — ни математика, ни русский язык, хоть плачь!

Все-таки странная девчонка была эта Вадька, вся в веснушках, нос кнопкой. Ну ладно, подумал я, такой девчонкой быть еще можно, а такой женщиной? Если бы, например, Вадька-женщина была моей матерью, пришло мне в голову, что бы я стал делать? Я бы, наверное, удавился! Я бы, наверное, убежал из дома! Ведь каждый раз, когда на щеке или подбородке у моей мамы выскакивал какой-нибудь прыщик, я места себе не находил: с ума он, прыщик, что ли, сошел? Куда это его занесло — на мамино лицо! Мамино лицо всегда было истинно женским. На нем, конечно, могли отражаться какие-то слабости, какие-то мамины грехи, но только не настоящие, а бывшие когда-то. Что было, то было, но больше — ни-ни! Ни капли! Никакой некрасоты, кроме той красоты, которая на мамином лице была, я допустить не мог. Но вот какой вопрос передо мной возник: а могла бы Вадька-поросенок, ябеда Вадька наябедничать на своего мужа, что-нибудь написать на него?

Вопрос меня смутил, но я тут же от него избавился и спросил у Вадьки:

— Плохо, наверное, быть некрасивой девчонкой? А, Вадька?

— Я привыкла. До третьего класса переживала, даже — до четвертого, а потом привыкла, интересно стало. Никто тебя не замечает, а ты — всех.

— А если замуж?

— Найду какого-никакого колониста. Вот ты — через десять лет выйдешь на волю, еще молодой, захочешь жениться. Я тебя и найду.

— А я через десять лет выйду, а тебя не возьму.

— Возьмешь. Десять лет передачами будешь пользоваться, потом откажешься? Или ты и в самом деле хам?

— Конечно хам. Который чуть не сжег... портрет... И одно дело — посылать посылки, а другое — замуж.

— Уж ты скажешь! — не без сомнений пожала плечами Вадька. — Ты что — враг народа, что ли, какой-нибудь?

— Я-то...

И я догадался, почему мой окурочек-«катушка», который должен был лететь в потолок, полетел в портрет товарища Сталина: судьба! Судьба сына врага народа. Вадька таранилась на меня, я — на нее, но я ее не видел. Я догадался, что со мною случилось еще не все. Чтобы окончательно узнать, что со мной вот сейчас должно случиться, я спросил у Вадьки:

— А если я — враг народа? Тогда что?

— Ну какой же ты враг? Чего такого навредил? Завод взорвал? Больницу отравил?.. Поезд под откос... или...

— А что, если я — сын врага народа?

Вадька молчала. Вопрос был серьезный. Подумав, она сказала:

— Тоже не поверю...

— Почему это?

— Почему? Сын врага народа... он бы взял да и... сжег портрет! — Вадька обрадовалась своей догадке. — Конечно, сжег бы! Для врага народа, для сына врага народа — кто первый враг? Знаешь?

— Народ... — ответил я.

— А вот и нет! Для них первый враг — Сталин. Вот они, враги, и хотят убить товарища Сталина!

— Ну разве можно! — испугался я. — Ты что, с ума сошла?! И потом, какая у него, у Сталина, охрана! С пулеметами! С гранатами, еще не знаю с чем!

— Это действительно, — согласилась Вадька. — Но я тебе все равно не верю, будто ты то ли враг, то ли сын. Ты просто дурачок, больше ничего.

— А если это только кажется? Если я на самом деле вовсе не такой? А умный и злой? И завтра взорву школу? Вместе с тобой?

— Где уж тебе. Уж если бы ты был такой... такой вредитель... ты бы хоть что-нибудь, а придумал бы сделать товарищу Сталину.

— И ты уже не носила бы мне передачи?

— Конечно, нет! Что я, дура — кормить врагов народа?

— Вадька, иди домой одна! Мне некогда, — сказал я строго. Я повернулся и побежал назад, к школе. Я бежал и чувствовал, как впервые в жизни во мне выиграл враг народа. Пусть и не в первом поколении, но все равно враг. Вадька бежала за мной, что-то кричала, а я оглядывался и кричал ей: — Вадька, отстань — убью! Ты меня еще не знаешь, а я все могу! Все-все! Отстань! Я знаю, что мне делать, а ты — отстань!

И Вадька отстала.

В школе я прошмыгнул мимо раздевалки, поднялся на второй этаж — никто меня не заметил.

Шел шестой урок, недавно начался. Мне показалось, что в школе гораздо-гораздо тише, чем бывает обычно во время уроков. Через двери классов не доносилось ничьих голосов, и я подумал, что, может быть, и других ребят распустили по домам. Наш класс был закрыт, но мой ключ от дома подходил к дверям, и я вошел. И закрылся изнутри.

Больше всего меня удивило, что здесь ничего не изменилось, все осталось как обычно: черные ряды черных парт, черная доска

и коричневый учительский столик. И портрет товарища Сталина висел на своем обычном месте. Я бросил куртку на парту, сел против портрета и стал на него смотреть, зачем-то пытаюсь представить себе, будто вижу его первый раз в жизни.

Ах вот ты, значит, какой, товарищ Сталин!— думал я, вглядываясь в портрет, который видел каждый день. Что-то ты не очень похож на того молодого грузина, которого я видел недавно,— где бы это я мог его видеть? Картинка в каком-то журнале, называлась, кажется, «Стачка в Батуми» или «Забастовка в Батуми», и там впереди всех стройный и высокий товарищ Сталин, шея повязана красивым платочком, идет вперед и вперед. А за ним, тоже вперед, другие забастовщики, хотя, конечно, они уступали в красоте товарищу Сталину. Я — во сне? Сон был прекрасен, и я во сне тоже был прекрасен своей решительностью и бесстрашием. А еще я был исполнен благодарности к Вадьке — она надоумила меня вернуться сюда, погрузила в этот сон, и вот я хотел насладиться им до конца. Я знал, что сон сию секунду может исчезнуть. Я должен был торопиться, пока я бесстрашен, пока длится мой сон.

Я вынул из кармана спички, положил коробок перед собой на парту и оглянулся — в последний раз я хотел увидеть все, что меня окружает в тот момент, когда я совершу преступление, предназначенное мне судьбой. И... Вадькой. И так, через минуту портрет товарища Сталина будет полыхать огнем — я сожгу его!

Пока я крадучись пробирался по лестницам, я уже представил себе, что наш класс заполнен людьми, которых погубил товарищ Сталин. Столь же невинными, как и я. А теперь я видел их лицо в лицо — они стояли вокруг меня плотной и совершенно неподвижной толпой. Все они были мертвы — мужчины и женщины, старики и старухи, мальчики, девочки и младенцы. Все показались мне смутно знакомыми: где-то и когда-то, может быть, всего один раз в жизни я их видел, на улице или в кино, но сейчас никого из них я не мог узнать — смерть стерла их лица. Они же и мертвые хотели, чтобы я их узнавал, — как будто это могло возродить их к жизни! Совсем рядом со мной, справа, стояла женщина в чем-то блекло-красном, с бледным, худым лицом, в худобе которого я все-таки угадал, однако, ту округлость, которая была ему еще недавно свойственна, в бесцветных ее глазах мелькнула тоже недавняя голубизна, а в тонких губах угадывались другие, чуть-чуть влажные и мягкие губы, и та улыбка, которая всегда действовала на меня своею нежностью. «Мама!» — крикнул я, забыв себя и все вокруг себя...

А потом?

Когда я вспомнил себя, я стоял на коленях перед портретом товарища Сталина и говорил: «Товарищ Сталин! Я никогда больше не буду! Я не буду больше никогда-никогда...» Кто мне приказал так сделать? Кажется, Шаров-Шрамов, а может быть, и мама, вспоминал я. Сталин был ко мне вполоборота и не смотрел на меня. А если бы посмотрел, я бы тотчас умер...

Спустя некоторое время я был в кабинете Шарова-Шрамова. Когда я вошел, он закрыл за мной дверь на ключ и снова сел за стол. Он молча сидел передо мной, я молча перед ним стоял и смотрел на его шрам.

У нас, мальчишек, начиная с класса третьего велся спор, каким образом ранен Шрамов: летел артиллерийский осколок сверху вниз и царапнул его по правой щеке от уха к верхней губе или же это был осколок мины, который летел снизу, с земли, вверх? Теперь я стоял лицом к лицу со Шрамовым и думал: артиллерия! Сверху вниз полоснул осколок Шарова-Шрамова!

Шрамов спросил:

— Ну? — Я пожал плечами, и он спросил снова: — Ну говори!

— Не знаю...— сказал я.

— Чего не знаешь-то?

— Ничего не знаю!— подтвердил я, и это была сущая правда. Я тем более не знал в эту минуту ничего на свете, что час тому назад, кажется, все на свете знал — что мне делать, как делать.

— Зато контрреволюцией заниматься — знаешь!— сказал Шрамов.— Мы там,— ткнул он пальцем в свой шрам,— мы там за него умирали, а вы здесь в это время взросли... выросли и вот — папирской его... Папирской в лицо! Куда мы пойдем с такой молодежью? Ты подумал — куда?

Я снова молчал, и Шрамов спросил:

— Отец-то есть?

— Отца нет.

— И не было? — каким-то образом догадался Шрамов.

— Не было...

Шрамов захохотал:

— Бывает, что у девки муж умирает, у замужней бабы — жених!— Потом он зажал голову руками, посидел молча и еще сказал: — Пожалеешь тут о фронте! Ей-богу, пожалеешь! Там ясность полная: если нежелательный случай — прикажешь его ликвидировать, и концы! Чирик, и все! И СМЕРША ждать не надо: такому-то выдвинуться ночью из окопа на сто метров вперед! Для разведки и слушания!.. Такой-то выдвинулся, его нечаянно с нашей стороны осветили ракетой, а с той стороны обстреляли — и концы, хлопот ни ротному, ни батальонному. Ты меня понял, щенок? Понял, что такое жизнь? На войне? Какое там ясное дело?

Я Шрамова понял.

Я и окопы себе представил, и осветительную ракету в ночном небе, и солдата, прижавшегося к земле в свете ракеты, и самого Шрамова, еще без шрама на лице, видел я — как наблюдает он из окопа в бинокль за тем солдатом. Он и за мной сейчас тоже наблюдал. А я все еще видел и неподвижную толпу, окружавшую меня со всех сторон, и самого себя на коленях перед портретом товарища Сталина; мертвые тени колебались перед моими глазами, и мне хотелось сказать Шрамову: ну что вы со мной разговариваете — я же с ума сошел. Конечно, я при этом чувствовал, что забегаю несколько вперед — с ума я еще не сошел, но вот-вот сойду, — и я ждал этого момента: сойду до конца, а с сумасшедшим какой разговор? И у меня все спокойнее становилось на душе.

Странно, но Шрамов совершенно ничего не знал об ученике Михееве, о том, что Михеев думает, что он чувствует.

— На фронте я никого не боялся,— говорил Шрамов.— Гитлер мне ни о чем, а кого еще-то бояться? А здесь? С ума сойдешь здесь! Там я воевал за полную ясность жизни, да. Там я знал, что я против Гитлера, а здесь? Против кого я здесь? Может, против таких вот сопляков, как ты? Отвечай!

Я сказал по-дурацки:

— Вам виднее.

Шрамов со мной согласился:

— Ну еще бы! Мне виднее, что тебя посадят,— раз! Может, и меня — два! Может, из района кого — три!

— А с мамой что будет?— спросил я.— С моей мамой?

— Сам думай. Твоя мама, не моя, вот сам и думай, щенок.

Нет, подумал я с ужасом, я еще не сошел с ума! А вдруг так и не сойду?

— Вот и у меня тоже щенки растут,— вздохнул Шрамов.— Собственные. Собственной породы. Мы за них воевали, а им и дела нет — того и гляди запустят... в кого-нибудь... окурком. И что тогда? Тогда, спрашивается, за кого же я воевал-то? За что? Окурочек

такой вот махонький бросил не в ту сторону, и... и все! И уже неизвестно — за что ты воевал.— Шрамов захохотал и повторил свою прибаутку:— Бывает, бывает — у девки муж умирает, у замужней бабы — жених!

«А ведь Шрамов-то пьян! — вдруг догадался я.— Сильно пьян!» У нас в школе и раньше говорили, что Шрамов закладывает, но чтобы кто-нибудь видел его подвыпившим?! В школе — никогда. В общем-то, мы любили своего директора, майора в отставке, грудь в орденах, два ордена Ленина! Он историком был, но в нашем классе не преподавал, с нами он общался на субботах, когда мы благоустраивали школьный двор и закрепленный за школой участок ближнего парка. Классы ходили на субботники в порядке очередности, а Шрамов ходил со всеми классами.

Теперь, глядя на Шрамова, я удивлялся: какой обыкновенный, да еще и пьяненький! Я вернулся из класса, переполненного мертвецами, а он откуда? С войны? Но и на войне, наверно, не бывает так страшно... и на войне перед портретом Сталина в ужасе и растерянности никто не становится на колени... Шрамов не понимал, что не моя судьба оказалась в его руках, но его в моих: я бросил окурочек не в ту сторону — и вот мой директор, и моя мама, и многие люди, знакомые и незнакомые, оказались в беде, почти что в таком же смятении, как и я.

— Ну, щенок, что будем делать?— снова спросил Шрамов.— Может, вместе пойдем на посадку?

— Написать надо,— сказал я,— надо написать...

— Писать будем. Будем и будем — рапорты, докладные, объяснения, пояснения. Через час комиссия приедет из районо, может, и с самой площади, и пойдет писать история... Это само собой. Могу персонально написать одному персональному человеку — я его из боя вынес. В тот раз и вынес.— Шрамов ткнул пальцем в свой шрам.— Но страшно: фамилия слишком известная. Из боя его выносить, представь, было не страшно, а писать... фамилия слишком известная, подумает, что с ним не считаются, хотят его подставить. Хуже бы не сделать.

— Написать надо... Объяснить, как было.

— Кому? Писать-то — кому? — спросил Шрамов.— Кому — объяснять?

— Тсварицу Сталину... Иосифу Виссарионовичу.

Шрамов пригнулся к столу, будто я замахивался на него чем-то тяжелым. Он долго смотрел на меня снизу вверх.

— Ну, щенок,— вздохнул он протяжно и бессильно.— Ты, наверное, настоящий контрреволюционер? Настоящий или придурок? Мало того, что ты с ним сделал, ты еще и писать ему хочешь, придурок?! Мало тебе одной десятки, да? Нет уж, извини, я человек немолодой, семейный, инвалид третьей группы — с меня хватит и одной.

Шрамов, кажется, начал трезветь, лицо у него становилось все более растерянным и беззлобным. А мне было все легче и легче, ведь я уже сказал: надо написать,— сказал все, что мог. Шрамов, покачиваясь на стуле, несколько раз приоткрывал рот, хотел что-то сказать. Наконец он проговорил:

— Эх, Россия, Россия — великая страна! Смир-р-на! — заорал он вдруг.— Пош-шел вон, щенок!

Я повернулся и пошел к дверям.

— В школу не приходи, пока не позовем! — крикнул Шрамов мне вслед.

Я вышел из кабинета, словно в бездну шагнул. В которую шагал сегодня уже не один раз, но так и не достиг дна. Бездна бездной, но я почему-то пожалел Шрамова-Шарова: сопьется ведь! Сопьется, как дядя Вася Николаев!

Дядя Вася Николаев был нашим соседом по лестничной площадке, так же как и Шрамов, вернулся с фронта в большом чине, грудь в орденах, и стал вышивать все больше и больше, руки стали у него трястись, с работы и с одной и с другой его выгнали, а потом он и совсем потерялся куда-то... Однажды в подъезде нашего дома мы с мамой встретили жену дяди Васи Николаева и мама спросила: «Ольга, а где твой-то? Василий-то? Совсем что-то его не видно». Ольга, высокая, толстая, но с тощим продолговатым лицом, посмотрела на маму сверху вниз, отвернулась и сказала с обидой: «Нашла тоже, о чем спрашивать. Тоже — нашла!» И мама покраснела, и я, кажется, тоже, и дядя Вася Николаев был тут же всеми нами забыт навсегда, но вот когда вдруг вспомнился, в какой момент.

В школу я не ходил, а дома читал Большую Советскую и брошюры, которых у мамы было множество, поскольку она руководила в своем профсоюзе работой по партпросвещению и кружками текущей политики.

«Контрреволюция,— читал я,— борьба контрреволюционных классов против победившей революции с целью уничтожения ее завоеваний, восстановления экономического господства и политической власти свергнутых классов».

«Тов. Сталин предупреждал, что „рост мощи Советского государства будет усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов. Именно потому, что они умирают и доживают последние дни, они будут переходить от одних форм наскоков к другим, более резким формам наскоков, апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против Советской власти“».

«Контрреволюционная агитация и пропаганда (статья 58¹⁰) предусматривает усиление меры наказания вплоть до расстрела».

«Заговоры являются одной из основных форм борьбы свергнутых эксплуататорских классов против Советского государства».

«Вредительство — причинение ущерба с контрреволюционной целью социалистическому строительству не только в экономической сфере, но и в области науки, литературы, искусства». «...осуждение за вредительство лиц, виновных в опорочивании советских работников».

О том, что со мной случилось, что я совершил, я ни слова не говорил маме, а с часу на час, с минуты на минуту ждал, что ее вызовут в школу. Вернувшись, она скажет мне очень странным голосом: «Ты знаешь, на что я решилась когда-то, чтобы спасти тебя, твою жизнь? А что сделал ты в ответ?» Но проходил день, другой, маму не вызывали. И меня не вызывали. Наверное, мама знала о случившемся, но ни о чем меня не спрашивала, она это умела — не отвечать и не спрашивать, когда не хотела ни отвечать, ни спрашивать.

Спустя некоторое время и я и мама догадались, почему так происходит: заболел товарищ Сталин. Вся страна погрузилась в оцепенение, и вот никому до нас с мамой не было дела.

Пятого марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года товарищ Сталин умер.

Мама горько плакала, я тоже плакал.

Право, не знаю, почему мы плакали. Наверное, как все, так и мы.

Потом я нормально закончил школу, закончил строительный институт. Многие годы я работаю по специальности — жизнь, в общем-то, как жизнь.

И все-таки я всегда чувствовал: моя жизнь проходит под знаком случая, который я до сих пор называю «смертью товарища». Может быть, поэтому я уже никогда не жил, как живется. Не мог — стал для чего-то, не знаю для чего, думающим человеком.

Тем самым, с которого начал свой рассказ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Я никогда не ставил перед собой каких-то непосильных, попросту очень серьезных задач. Но нынче такую задачу перед собой поставил — создать портрет моей мамы. (Я говорил уже, что еще в юности был увлечен скульптурой.) Мы не всегда осознаем свои самые заветные желания, а когда осознаем — уже поздно, слишком много лет прошло мимо. Но я решил: лучше поздно, чем никогда.

Итак, моя мама — очень милая старушка, бодрая, с челочкой а-ля комсомол, все еще свежая и даже румяная, почти без морщин. А лет ей уже... Она и сама стесняется своих лет, по крайней мере их доброго десятка. У мамы молодой голосок, пожалуй, слишком звонкий и торопливый для ее возраста, но сама она нетороплива. Она рассудительна и деятельна, живет со мной и каждую неделю ездит к обоим своим бывшим невесткам, к бывшим моим женам — навещает любимых ею внучку, значительно чаще — внука. Она никогда не приезжает к ним с пустыми руками, этого она стыдится и по мере своих сил и способностей снабжает их раз в год модными джинсами, а еженедельно — дешевенькими, но занятыми авторучками, венгерской колбасой, индийским чаем, польским печеньем, еще каким-нибудь дефицитом. Давние профсоюзные связи и знакомства помогают ей в этом.

Ну, а я, более чем взрослый сын, чем дальше, тем все внимательнее вглядываюсь в черты ее такого простенького и милого лица. Эта внимательность стала моей болезнью. Почему так? В маминой жизни была тайна моего отца, и уже по одному этому она — типичный представитель своего поколения. «Жительница своего времени» — так я назвал бы свой портрет, если бы он удался. У каждого поколения — своя тайна... Тайнами, а вовсе не научными и другими открытиями поколения различаются между собой. Ничего себе задача! Если и выполнима, понимаю я, так только для гения! Конечно, сумасшествие — нормальный человек никогда не поставит перед собой подобной задачи, но кто это сказал, будто я — нормальный? Воспитанный мамой и обществом в духе «как все», разве я мог быть нормальным? Скажу и еще: в мамином лице я хотел бы отразиться тоже, отразиться целиком — такой небывалый был у меня задуман мамин портрет и собственный автопортрет.

Здесь (и ниже) я цитирую моего любимого скульптора — Анну Семеновну Голубкину:

«...Серебристая глина самая лучшая из всех как по своему благородному серебристому цвету, так и по своей тонкой и благородной консистенции... В ней нет ни излишней жирности зеленой, ни грубых частиц желтой глины, она тонка, изящна и послушна... оценить ее — большое приобретение для художника».

Приобретение, которое давно уже состоялось! Я ведь всегда любил не зеленую, не желтую, а именно серебристую глину! Дальше!

«...постараться обдумать как следует модель: почувствовать ее движение, характер, красоту, открыть ее достоинства, а недостатки примирить в характере. Одним словом — усвоить натуру и получить к ней горячий интерес».

И опять я уверен: ни у одного скульптора никогда не было столь горячего интереса к модели и натуре, столь же пожизненного, какой был у меня! Приобретение № 2!

«Надо только, чтобы каждое прикосновение к глине было настоящим, серьезным, правдивым, и работа сама сделается!» — приобретение № 3!

И так далее, и так далее: «...брать у природы целиком то, что у нее есть, только в возможности»; «...смелость не подчиняется правильности не верных по существу духа пропорций и отношений»; «...пример чистой непосредственной техники являют работы детей».

Они передают материал и форму так, как это могут сделать очень большие мастера». (А разве я — не ребенок? Приобретение № 4.)

Однако вот в чем дело: о себе-то, о своей-то жизни с того дня, как умер Сталин, я все еще не рассказал.

Рассказывать по порядку?

Немыслимо хотя бы уже потому, что порядка в моей жизни никогда не было. Хронологии и той не было. Время — было, да, но время и хронология — это далеко не одно и то же. Хронология — только обозначение времени, но не оно само.

Итак, без порядка и без хронологии.

Наверное, это странно — я помню детство, иные события того времени помнятся в таких подробностях, словно они произошли вчера, юность вспоминаю, а потом — словно провал какой-то, и вот уж я сегодняшний. А где же годы, которые мы зовем годами становления? У меня их как будто бы и не было... Где зрелость? Тридцатилетие и сорокалетие — где они? Ну ладно, времени так и не было, одна только хронология, но даже и хронология тоже как-то прижухла. Была — и нет. Такое чувство, будто я растратчик, растратчик десятилетий, что я тот рыбак, который решил сварить двойную уху — первую из сопливых ершей сварил, а для второй настоящей и благородной рыбы так и не уловил.

Десятилетия шли, я шел по десятилетиям к какой-то очевидной цели, а когда оглянулся — ни времени, ни цели, утекли между пальцев, помнится только, что колбаса в магазинах была, мыло было, у мамы были мужья, у меня — жены, а людей сажали только изредка, из моих знакомых никто не пострадал.

Перестройка же оказалась для нас с мамой совершенно неожиданной, неизвестно откуда взявшейся. Мы к ней никак не были подготовлены, слухом о ней не слыхали. К великим революциям люди всегда шли, предчувствуя их, во всяком случае им задолго были хорошо знакомы слова «революция», «революционер», а кто когда слышал, угадывал, вкладывал нынешний смысл в слово «перестройка»? Ну а что означает слово «перестроечник», я да и моя мама до сих пор так и не поняли — революционер это или эволюционер, догматик или демагог, докладчик или слушатель, очередник на жилплощадь или внеочередник, прикрепленный или открепленный? И так можно продолжать и продолжать. Сплошной вопрос, сплошная безответность. Нет-нет, все предшествующие годы никогда не загадывали, не обещали нам с мамой перестройки, а ведь путь, который приводит человека к чему-то совершенно неизвестному и неожиданному, — он как бы и не в счет, что был, что не был — он забыт.

Вот и я забыт сам собой на десятилетия, вплоть до наступления перестройки — п е р е ж и з н и, — и для меня загадка: как я-то в нее въехал? На каких транспортных средствах? Кто мне наворожил? М. С. Горбачев? Конечно, он, так ведь надо было нормальных граждан заранее предупредить, намекнуть. Дать понять. Разве я от него ожидал? Как-никак, он ведь тоже весь н о р м а л ь н ы й — здешний, советский и партийный. Нет, не могу понять — а я-то при чем? Я при всех генсеках и каждое воскресенье ждал прихода светлого будущего. Портреты генсеков в течение многих десятилетий висели на одних и тех же местах. Генсеки, помнится, менялись, и порядок их смены можно припомнить, мои ожидания не менялись ничуть.

Помню вот, наступила хрущевская оттепель, я потанцевал под звуки незнакомых мне прежде инструментов незнакомые прежде танцы, порадовался, что Сталин разоблачен, и постеснялся самого себя — надо же, перед чьим портретом я когда-то стоял на коленях, конечно, неприятно и вспоминать не хочется, я прочитал «Один день Ивана Денисовича» — хорошо, но страшновато, я послушал Евтушенко, Вознесенского и Ахмадулину — тоже хорошо и нестрашно. Я на-

слушался всякой всячины о современной роли кукурузы и, городской житель, технарь, долго еще относился со всем уважением к этой сельскохозяйственной культуре, а целину, кажется, слегка романтизирую и до сих пор. Потом оттепель отошла. Естественно: сразу же за первой оттепелью лето не приходит никогда, еще и еще наступают холода. Но ведь лето все равно наступит обязательно? Вот и коммунизм тоже недалеко, куда он денется-то? Солженицына посадили в самолет и отправили в гости к Генриху Бёллоу, конечно, неловкость, но и то сказать — а откуда Солженицын явился-то — из преисподней, вот откуда... Из той, где я обязательно побывал бы, если бы 5.III.53 не умер Сталин, Иван Денисович и Солженицын там выжили, а у меня пороху, это ясно, не хватало бы. Тем более благоклонно я относился к самому себе на этом свете, да и ко всему белому свету тоже. Ну, конечно, коммунизм и полная свобода запаздывают, ну и что? Днем или даже неделей раньше или позже они придут — нельзя же эти сроки возводить в принцип, это — негуманно и даже вредно, плохо отражается на психике. Принцип в том, чтобы не замечать ничего, что мешает их приходу. Вот при выступлении по ТВ товарища Брежнева поддерживают два молодца, один справа, другой слева, так ведь двое же их, а могло быть и трое?! И не товарищу Брежневу упрек, а тем, кто за ним недосмотрел, но вовремя выпустил его на ТВ. Конечно — неловкости, конечно — нелепицы, но ведь великого без смешного никогда не бывает! Великая революция семнадцатого года тоже без них не обошлась. Но ведь она была, да еще как была-то! Так что — преемственность. А когда при мне говорили о ком-нибудь: «Сознательный товарищ, принципиальный!» — я так и понимал: товарищ, который не замечает. И думал: «Я тоже могу не замечать!» И испытывал при этом чувство удовлетворения. Пусть несколько странного, а все-таки удовлетворения. Человек в принципе думающий, я в те времена и своих собственных мыслей не замечал, а они ведь были тогда, и, помнится, не такие уж глупые.

Дальше.

Не будучи ни в какой мере человеком тщеславным, я кое-что понимал в перспективности собственных целей и задач, особенно тех, которые не требовали от меня каких-то исключительных усилий и способностей. В этом смысле меня вполне устраивал строительный институт, и я поступил в него, окончил его опять-таки при полном одобрении мамы — она как-никак занимала не самый низкий пост в профсоюзе строителей. И мужья, последние три, тоже были у нее строителями.

Единственно что внушало мне опасения, это моя собственная расторопность. Я закончил институт с некоторым запозданием, женился и развелся в первый раз — с запозданием, женился вторично — тоже поздно, а дети у моих жен рождались далеко не сразу, в партию я собирался вступить слишком долго, да так и не вступил, вот и в коммунизм — опасался я — тоже вступаю позже всех. Все уже будут в нем, а я все еще — вне. И я и тут надеялся на маму — она-то уж не пропустит, нет! Нет, это все не выдумка — было, было такое ощущение, такая боязнь — вовремя не заметить наступления новой жизни, какого-то ее перелома. Тем неожиданнее явилась для меня перестройка, а уж ее-то попросту нельзя не заметить, от нее оглохнешь прежде, чем поймешь, что это такое.

Теперь понятно, как прошли, канули мои минувшие десятилетия, тридцать с гаком лет? Может быть, у вас они прошли иначе, у меня именно так.

Примечание ко всему вышесказанному: моей личной жизнью — имею в виду мои женитьбы и разводы — моя мама была не совсем довольна, относилась к ним даже и неодобрительно, но все то, что она называла «морально-политическим фактором», «морально-политическим единством советского народа», включая, разумеется, в это по-

нятие и себя и меня, не вызывало у нее никаких сомнений; она относилась вот эти наши семейные достижения больше на свой, чем на мой счет. Я уже был далеко не молодым человеком, а она все продолжала и продолжала меня в том же духе воспитывать. Я относился к этому иронически, но не отвергал, я к этому привык.

Не знаю, кто из нас ошибался в любви — я или мои жены. Женщины потому так часто ошибаются в любви, что страшно боятся ошибиться в ней, и, если уж на то пошло, в том, что я нынче одинок, я больше виню своих бывших жен, чем самого себя. Второй раз я развелся всего около двух лет назад с прекрасной женщиной Татьяной Васильевной. Мы прожили с ней почти двенадцать лет, она родила мне сынишку Володьку с большими коричневыми глазами, которого я очень любил и сейчас люблю, он же меня любил, но теперь уже не любит. Разве только так, немножко. Что было причиной нашего развода? Как это ни странно — события даже и не нашей семейной жизни, а жизни нашего советского общества.

Я всегда оказывался подавленным такими событиями, как суд над Синявским и Даниэлем, как высылка Солженицына, как присвоение звания Маршал Советского Союза Леониду Ильичу Брежневу (ему же — Ленинская премия за цикл «художественных произведений»), ему же — четырехкратное звание Героя), как новочеркасский расстрел, как афганская война, как проект переброски северных рек в Каспий и Арал, как катастрофа в Чернобыле, — да мало ли что еще в том же роде не давало мне никакого покоя?! Семейного — тоже. Всякий раз, как нечто подобное случалось в России, что-то случалось и во мне, в моем организме и сознании, какое-то крушение и унижение, случалось — как будто я снова и снова опускался на дно бездны или на колени перед портретом Сталина.

Я всегда хотел, чтобы и моя мама тоже переживала крушение, если уж не сама по себе, так вместе со мной и по праву материнства, хотел говорить с ней и, может быть, глупо, а все-таки допытывался у нее: «Да что же это происходит-то? Мама! Что происходит?!» Но мама молчала, и повторялось то самое молчание, которое однажды было между нами в 1953 году, в марте, когда мы ожидали, что я, преступник, покусившийся на жизнь товарища Сталина (на его портрет, но тогда это, кажется, было одно и то же), с часу на час буду арестован, заключен в тюрьму, а дальше и вовсе неизвестно, что со мной случится... Тогда мы оба молчали из страха, позже — из страха перед страхом, который может вернуться каждую минуту.

Так у нас было с мамой всегда, но когда я женился на Татьяне, я был уверен, что этого больше не будет, что всякий раз, когда мне будет тяжело и бессловесно — Татьяна будет помогать мне объясниться с самим собой, и с мамой, и с жизнью, она будет меня успокаивать, будет объяснять мне нашу жизнь. Я очень верил в это. И она верила и обещала: так и будет. Она ведь была умницей, моя молодая и красивая жена. Так оно и было в первые годы нашей совместной жизни и любви, а потом? Потом она стала необычайно интересной для самой себя — интереснее, чем все остальное на белом свете. Это бывает с женщинами — их одолевает чисто женское честолюбие и карьеризм. Они вдруг и на целую голову перерастают своих мужей и в теории и в практике любви, мужья начинают казаться им пигмеями, они сами себе — Венерами, какой уж после этого союз, какая семья? Геракла надо срочно искать, и женщина ищет. И, представьте себе, находит. И когда-то она еще поймет, что снова ошиблась? А поняв, не скроет ли ошибку от самой себя?

Так началось наше отчуждение, и если я говорил о том, что афганская война — это наш позор, наш Вьетнам, милая и красивая моя жена тыкала в меня пальцем: «Вы только посмотрите на него, на совесть нашего народа!» — громко смеялась и рассказывала всем известный анекдот о пессимисте и оптимисте. Пессимист говорит: «Ху-

же быть не может!» — а оптимист отвечает: «Нет, может! Нет, может!» Я злился: «Не каркай!» Она говорила: «Буду каркать! Буду, хоть ты лопни! Подумаешь, какой одуванчик нашелся — не дыши на него! Какой мыслитель — посмотрите на него! Какой философ!» Я-то теперь думаю, все началось с того, что за ней стал ухаживать начальник нашего отдела. К тому же Татьяна была почти на пятнадцать лет моложе меня. Мы развелись. И мне пришлось переменить работу: не мог же я оставаться под начальством человека, который увел у меня жену!

Тут, к слову, надо сказать и о моем первом браке. Наверное, надо, чтобы покончить с темой. Первая жена моя была дура дурой, кургузая и в очках. О себе же непоколебимо твердого убеждения: она жена, она женщина, она мать, она работница (в издательстве «Правда»), и все это — милостью Божьей! Все-то она знала, обо всем судила в последней инстанции и тоже милостью Божьей! А кроме всего прочего, была дикой сплетницей. Уснуть не могла, если с вечера не расскажет по телефону какую-нибудь новость какой-нибудь из своих приятельниц. И утро тоже начинала с телефонных звонков и запросов: что нового? И, еще не узнав новостей, уже знала свое отношение к ним, свою оценку всего на свете. Особенно любила она сплетничать о своих начальниках — непосредственных и тех, что выше. Вообще, не было для моей Нины вопроса волнительнее, чем кадровый: кто куда назначен главным, замом, завом, замзавом. До назначения кого-то ее начальником она могла поливать этого человека грязью с головы до ног, возмущаться тем, что он глуп и неумел, но как только человек этот вступал в должность, она через неделю с придыханием сообщала: «Прекрасный человек! И отношения у нас — прекрасные!»

Нина родила мне девочку — толстенькую и вялую. Ей сейчас почти двадцать лет — страшный возраст для девочки без отца! Еще одна тоска-печаль и забота моей жизни. А все потому, что в свое время я не послушался своей мамы. Изменив своему правилу молчать-помаккивать и не впутываться в чью-то жизнь, хотя бы и собственного сына, моя мама, как только увидела Нину, так и сказала: «Ты бы, Толик, поменьше с этой Ниной. Поосторожней. Не дай Бог...»

Но Бог все-таки дал. А я — взял. Глупый был.

Теперь я свободен. От семейных и еще и еще от каких-то уз. У меня впечатление, что теперь все свободны, но никто не подозревает о том, как много требует от человека свобода. Умения выбирать требует, понимать себя и людей.

Я часто думаю: то ли дело — несвобода! Она сама требует, а вот получить с нее — где сядешь, там и слезешь. И в этом ее преимущество и сила. Но так как я лично никуда не еду, мне разницы нет. Свобода, конечно, приятнее, но капризнее, кроме того — она непредсказуема, что она завтра выкинет — никогда не знаешь.

Теперь перестройка, а что это опять-таки? На мой взгляд, это полная свобода езды (безо всяких правил) на старом, сданном в утиль автомобиле, на котором к тому же на ходу надо менять все четыре колеса.

Недавно я взял с полки орфографический словарь и пересчитал слова, которые начинаются с приставки «пере». Подумать только — их оказалось 2403, вот уж не подозревал! Каждое сороковое — сорок пятое слово великого русского языка начинается именно с этой приставки! Переделка, перестановка, переустройство, перенаселение, переселение, перевалка, перегрев, перерасходовать, переломать, перекопать, перемолоть, перепачкаться, перешивать, перепутать, перепутать, перекрывать, перестать — о Господи, кажется, нет конца-края «пере»! Вот я и воспринимаю перестройку как пережизнь. Но хватит ли у меня сил на пережизнь? Если и на жизнь-то хватало с

грехом пополам? Я думаю: страна наша, будучи Евразией (кусочка Африки ей еще не хватает — вот уж разбогатели бы!), — одна только и могла прийти к такой действительности, больше никто, а я при чем? Я знаю только, что перестройка требует и требует от меня и того и другого, а требовать от нее, говорю же, — где сядешь, там и слезешь. Вот это я знаю. Все остальное о перестройке можно узнать в очердах.

Мы с мамой справедливо делим этот адский труд — я стою по субботам и воскресеньям, она — во все остальные дни. По субботам и воскресеньям я многое что узнаю. Например:

завтра будут введены талоны на соль;
 в Большом театре СССР распространяется СПИД;
 ФРГ выходит из НАТО;
 у Буша заболели зубы — восьмой верхний, двенадцатый нижний (редкость для руководителя великой державы);
 на будущий год в СССР неизбежен голод;
 еще через год — гражданская война;
 начальником штаба одной из армий будет академик?
 на митинге в Лужниках вчера было $\frac{3}{4}$ населения Москвы;
 арендаторы требуют передать им завод «Ростсельмаш»;
 кооперативы заявили, что государственные ссуды они брать будут, а отдавать не будут. Совмин склонен согласиться;
 во МХАТе пять директоров, шестой ведет предвыборную борьбу;
 Каспийское море намечено перебросить в Аральское;
 в Малом репетируется «Дядя Ваня» при полном стриптизе всех без исключения действующих лиц;
 в Волгоградской области на орошаемых землях (стоимость орошения — 12 тысяч рублей на гектар) великолепно произрастает камыш;
 дефицит госбюджета на будущий год составит 182,7 миллиарда рублей;
 все отравлено: вода, воздух, почва отравлены, продукты и фрукты отравлены. Рекомендуются ничего не есть;
 Ельцин перекрепился: из спецполиклиники в районную.

Очередь — это максимально организованная толпа, поскольку каждый твердо должен знать, за кем он, и твердо — кто за ним. Другого порядка, другой логики здесь нет и не может быть, от всего другого очередь свободна, вот она и пользуется своей свободой в разговорах и мнениях, тем шире пользуется, чем демократичнее наступают времена и чем она, очередь, длиннее.

Чего я боюсь, так это чтобы в мое отношение к маме не внедрили очередные отношения. А это очень может быть, это происходит во многих семьях, я наблюдал не раз, как принцип «за кем я, кто за мной» определяет не только режим и порядок в семьях, но и семейный дух и нравственность.

Просыпаясь по утрам, я ощупываю себя: жив ли? где на моем теле синяки, огнестрельные, ножевые или рваные раны?

Я — жив... Оказывается, это не я взрывался в Чернобыле, не я пил отравленную воду в Приарале, не я был на ночной площади в Тбилиси, не я горел в поездах Адлер — Новосибирск и Новосибирск — Адлер, не в меня стреляли в Фергане, не я воевал в Афганистане. Я встаю, спрашиваю у мамы: а что передавали по радио в утренних известиях? Мама встает раньше меня, часам к восьми она уже все знает. Мама меня информирует и кормит яичницей. Мы с ней постановили: будем есть яйца, несмотря на то, что их, по свидетельству прессы, радио и телевидения, есть нельзя. Потом я целую маму и еду на работу в сознании того, что мама моложе меня, что ей ее жизнь вполне по плечу, а мне моя — нет, мне моя как будто и вовсе лишняя, аппендикс, больше ничего.

На работе — особое дело, принцип «ЗА» здесь основополагающий и проникает во все поры нашего конторского бытия. Здесь «кто за кем» принцип отнюдь не стихийный, здесь он непоколебим и свят и внутри и вне — внутри всей конторы и во всех ее внешних связях и отношениях — с прессой, с райкомом КПСС, с Госпланом, с нашими заказчиками и подрядчиками, с местными Советами, с Госкомприродой и даже — с коллегией нашего собственного министерства, всюду мы выступаем как «мы», для которых «все ЗА одного, один ЗА всех!» — не только святой, но и нравственно оправдательный девиз.

Дело-то ведь еще и в том, что вся наша колоссальная контора изо дня в день проектирует те самые каналы, шлюзы и насосные станции, которые тоже изо дня в день клянет наша пресса, недобрым словом поминают радио и телевидение. А это значит, что нам нужно держаться дружно. И если бы, к примеру, я вздумал сказать вслух, что пресса права, я был бы проклят всей нашей конторой на полном серьезе.

Может быть, именно поэтому наш коллектив и не работал весь конец мая и первую декаду июня — мы с особым вниманием следили по телеку за всем, что происходило в эти дни на съезде. Мы знали, что нас там тоже помянут, и, конечно, не раз, и заранее угадывали: кто из депутатов помянет и в каких выражениях? Мы почти ни в ком не ошиблись, в этом смысле съезд проходил будто бы по нашему сценарию. Удивительнее же всего было для меня, что когда на съезде говорилось о низкой производительности труда в народном хозяйстве, о расхлябанности, о никуда не годном качестве проектирования и планирования, о взяточничестве, о кумовстве — никто не принимал этого на свой счет или на счет своей конторы. К кому угодно все это могло относиться и относилось, только не к нам. Ну, если уж кто-то из ораторов напрямую указывал нашу отрасль, тогда одна за другой сыпались реплики:

— Да что он понимает-то? Молчал бы!

— Его бы самого под критику — он бы и в штаны напустил!

У всех нас штаны были сухими — это вселяло в каждого чувство коллективизма, уверенности и даже — гордости. Иногда ораторы совершенно выводили нашу аудиторию из себя. Тогда и реакция была соответствующей. Мужской голос произносил:

— У-у-у... хад!

Голос женский:

— Выраженьица! Прибрать до завтра!

Голос мужской:

— Жизни не знают, а треплются в печати! Стыд и срам! До чего низко пали — за строчку продаются!

— Их бы в пустыню, в Каракумы! И на трое суток — без воды!

— А наши тоже дают! Ну и дают — шайбу за шайбой!

Глядя в телевизор, я чувствовал, что неожиданно для себя вдруг становлюсь публицистом. Я чувствовал, что человек думающий во мне огазетился, я стал думать, а то и говорить газетными фразами, у меня появилась некая «позиция», которая сегодня обязательно должна быть у каждого, а уж справедлива она или несправедлива, это дело второстепенное. А ведь я никогда не любил журналистов, особенно в последние годы, — мне было противно видеть под перестроечными статьями самого «левого» толка те же самые подписи, которые, я это помнил, стояли недавно под виршами Леониду Ильичу и другим «лицам». Конечно, все можно объяснить, но чувство брезгливости при этом не исчезает. Кроме того, меня всегда смущало, что в журналистике описание факта приобретает даже большее значение, чем сам факт. По логике и практике жизни иначе быть и не может и не бывает, в этом сказывается еще одна человеческая слабость, это так, но согласитесь, неприятно, что человеческая слабость становится распространенной и даже высокопочитаемой профессией. Нет, я не лю-

бил журналистов. (Это не значит, что я их ненавидел так же, как возненавидело их нынче руководство нашей конторы и руководство этого руководства.) Не относился я с симпатией и к «левым» съезда, они тоже были кто оппозиционерами, кто — позиционерами, те и другие агитировали, но за какие именно программы, сказать толком не могли, тем более не предвидели они ни последствий, ни результатов своей агитации, и мне хотелось сказать им: вот ты, агитатор, директор института, а ты, завлабораторией, отчитайся-ка, прежде чем агитировать, в достижениях своего института и своей лаборатории! Если действительно достиг чего-то — тогда агитируй и учи, если нет — заткнись и не трепись! В общем, рьяные охотники до трибун всегда претили мне. Сам я никогда не был выдающимся работником, я это сознаю, но, может быть, именно поэтому я всегда различал фальшь других невыдающихся работников, но выдающихся трепачей. В то же время никуда не денешься: не я один, каждый гражданин переживает свой собственный публицистический период, а нынче эти периоды то и дело следуют один за другим.

Итак, перед вами (и перед самим собой тоже) малоизвестный публицист Анатолий Михеев.

Начальства по нашему ведомству при телевизионных бдениях не было, оно было далеко, в других зданиях, в других районах города Москвы, и все-таки коллектив его чувствовал и вел себя так, как будто оно здесь, с нами, как будто с часу на час оно, начальство, пойдет в Кремль, пойдет на Старую площадь для разговоров и запросов, от которых мы зависим и сегодня и завтра с головы до ног. А еще дело в том, что и мы сами и тем более наше начальство — такие знатоки, которым надо поручить следствие над всей нынешней жизнью. Над всей без исключения. Кто-кто, а уж мы-то жизнь рассудим — государственную, общественную, хозяйственную, политическую, культурную — какую угодно. Это наше коллективное и твердое убеждение. Мы готовы им поделиться с кем угодно.

На съезде происходит всякое: могут быть раздоры, но бывает и взаимопонимание. У нас это невозможно — только упрочение нашей конторы и наших принципов, которые, если их распространить на весь мир, обеспечат в этом мире порядок и справедливость. Конечно, это не мешает нам собственную нашу контору иногда и поругивать, в последнее время это даже принято — но только в узком кругу, среди своих и негромко. Конечно, у нас есть и своя оппозиция — те, кто внимательно читает во всех газетах, как нас критикуют, а потом вздыхает. Но и вздыхать в нашей конторе сколько-нибудь заметно не принято, это отступничество. Хочешь повздыхать — иди в сортир. Оппозиция пользуется в коллективе дурной репутацией не то нахлебников, не то предателей: не нравится — катись на все четыре стороны! Небось не катишься, зарплату в конторе получаешь сносную и знаешь, что инженеров нынче в избытке. Что по воскресеньям инженеры вкалывают чернорабочими. У нас был случай, двое инженеров написали в «Известия» критическую — в адрес конторы — корреспонденцию. Конечно, это стало известно, авторы свою статейку отозвали, и теперь они — шелковые, тише воды, ниже травы. Воспитались. Поняли, что к чему: у журналистов свой хлеб, они по строчкам получают, у инженеров — свой, по листам ватмана. Все ясно и понятно. Остается благодарить Бога и коллектив. (Коллектив — предпочтительнее.)

Есть в нашей конторе и свои рыцари. Им критика прессы — бальзам на душу, она им враг и она им необходима — разве могут быть рыцари без врагов? Они готовы составить любой проект и любой проект подогнать под заранее обозначенную стоимость, готовы объявить миллиардные убытки благом для советского народа, так же, впрочем, как и взятки. Конечно, ни приписки, ни взятки своими именами у нас не называются, есть другие слова: «устроить», «учесть», «урегу-

ликовать», «подработать», «помочь», «передвинуть»; есть просто улыбки, кивки, рукопожатия, для которых даже и эти слова излишни. Но все это требует ума. И я бы не сказал — посредственного ума, посредственность в рыцарстве ничего не достигнет.

Ну, например, в проекте заранее надо предусмотреть какой-нибудь просчет — для нужд экспертной комиссии. Эксперты просчет обнаружат, их за это поблагодарят — спасибо, друзья, за ваше ЦУ, проект «дорабатывается». А доработка — это та же премия, доработка удорожает проект на одну четверть, на одну треть, а бывало в конечном результате, что и вдвое. Был случай — в пять раз! И это значит, что соответственно возрастает и бюджет конторы, и штат, и фонд зарплаты, и премиальный фонд. Доработки универсальны, так как устраивают всех — и экспертов, и проектировщиков. По здравому смыслу чем дешевле проект, тем лучше, а для нашей конторы наоборот: тем хуже.

Наши экономисты и сметчики — это зубры, спецы высшей квалификации — они должны быть искусными, знающими на память сотни, если не тысячи инструкций, приказов, положений и приложений к положениям, должны иметь исключительно надежные связи «вверху» (да и «внизу» тоже), в Госплане, в Минфине, в Госстрое, в банках, а главное, они должны отчетливо сознавать, что экономики в стране нет и не скоро она будет, что экономик — это Петр Иванович, Василий Петрович, Василий Васильевич, ну и, конечно, они сами, все те, кто знает, «как это делается», как делается экономик, когда ее нет. Нет показателей себестоимости конечной продукции. Вопреки тысячелетней практике человечества нет ни заказчика, ни подрядчика, и то и другое — это мы сами. Сами себе мы заказываем проект, сами себе проектируем и строим, сами себе сдаем готовые (в кавычках) объекты. А независимая (тоже в кавычках) экспертиза — это дело главного инженера и директора, кого они в независимую включают, а кому дадут под задницу. Способности и возможности такого рода очень ценятся среди нашего руководящего состава.

Еще в последнее время у нас появились экологи, это и вообще помешнице, накладной расход, мальчишки для битья на заседаниях экспертов.

Так или иначе, а вопрос всех вопросов — это кадры. Вот и съезд мы смотрим и оцениваем тоже с кадровой точки зрения — кто куда, на какую должность может быть выдвинут, кто — задвинут; чья рука угадывается в выступлениях такого-то и такого-то, как сегодня действует и проявляет себя шеф и покровитель той или иной отрасли.

Наш Шеф — очень высок, его портрет вывешивался среди десятка других портретов на площадях Москвы в дни торжеств, 7.XI, например, или 1.V. Самое же главное, что наш близок к тем, кто еще выше. Мало того, он там «влияет». Наш Шеф горячо любим нами, он демократичен; иногда приезжает на наши собрания и, если заходит разговор о выступлениях прессы, машет рукой: пусть их! Он — это авторитет, суть и существо самой системы выдвижения, он — ее опыт и мудрость, он ведь лично прошел во-о-он откуда во-о-он куда, и теперь выдвижение всех тех, кому он доверяет, это едва ли не самая главная его обязанность и его призвание. Вот и нынче: съезд голосует, а он рекомендует. Что существеннее?

Итак, мы следим за ним, невидимым, на съезде, угадываем его ходы и действия. Мы отчетливо видим его, невидимого, кто — за него (а значит, и за нас), кто — против него (а значит, против нас).

Нынешний съезд, кроме всего прочего, еще и потому так захватывает нас, что расстановка сил происходит на нем гласно и уж во всяком случае гораздо откровеннее, чем когда-либо прежде. И мы не работаем, не звоним по телефонам, не бегаем в очереди по магазинам, а готовы полуголодом сидеть в большом зале со спущенными шторами на окнах, с географическими картами, вывешенными на высоких стенах (на картах отмечены объекты нашего проектирования и

строительства), с производственными и идеологическими лозунгами еще и повыше этих карт: «Наш труд — в основу процветания социалистического общества!», «Приветствуем съезд народных депутатов СССР нашими трудовыми достижениями!». На съезде перерыв на обед — и у нас на обед, на съезде вечернее заседание тянется чуть ли не до полуночи, и у нас тянется, на съезде объявлен конец рабочего дня — у нас нет, не объявлен, мы еще будем сидеть в зале и обсуждать. Обсуждать — это звучит как жить, творить и надеяться. Вот мы смотрим ТВ, с задних рядов кто-то кричит в первый ряд: «Ребята! Вы что там на оратора-то смотрите, слушаете его? Дайте ему по морде!» «Ничего, — отвечает с первого ряда. — В перерыв мы его обсудим!»

А мне приходит странная и как бы внеочередная мысль: а что, если бы мою маму да в нашу контору? На должность в партбюро, в профком, в отдел кадров, наконец. Она бы... Да она бы все сделала, все обеспечила, что обеспечивают рыцари, но сделала бы это деликатнее. И даже — веселее, и даже — приятнее... Тут на телевидении (то есть на съезде) объявляют перерыв, и ко мне подходит Валувев, мой начальник. Он хочет со мной поговорить, более того, он хочет поговорить о чем-то постороннем, отдохнуть от телеэкрана.

Начальство, было время, подозревало меня в левизне, в сочувствии прессе, но только до тех пор, пока не стало известно, что я увлекаюсь скульптурой. Сначала эти сведения вызвали кривотолки: «Скульптура? Неизвестный тоже был скульптором и убежал в Америку». «Ну и что? Теперь в Америке наши диссиденты не котируются — потерял к ним интерес!» Потеря интереса в Америке к нашим диссидентам всех успокоила и по отношению ко мне тоже упростила окончательный вывод: «Свой парень. Проектирует старательно. Не вздыхает». Валувев спросил меня:

— А ты романчики не пишешь? Не увлекаешься? Лепишь скульптуры и больше ничего?

Он, мой начальник, — мужчина довольно грузный, с редкими седыми волосами, с высоким лбом большого специалиста и с простецким выражением лица большого пройдохи.

— Да, — ответил я, — леплю и больше ничего.

— Монументы? Пешие или конные?

— Только портреты.

— Только? — удивился Валувев. — А это что-нибудь дает?

— В материальном смысле — ничего. Одни затраты. Конечно, можно и заработать, но очень немного. Живописцы — те на портретах зарабатывают.

— Да-а... — протянул Валувев. — А ведь портреты, братец мой, пишутся красками. Масляными. Ну, иногда акварелью. Я знаю.

— Ну что вы, — возразил я, — портреты тоже лепятся!

(Я называю Валувева и на «вы» и на «ты», он меня — на «ты».)

— Как знаешь, как знаешь. Тебе виднее. И много их налеплено у тебя, портретов?

— Ставить некуда. Полки сделал в комнате, и полки забиты.

— Значит, на расширение жилплощади будешь писать?

— Пока нет.

— И не надо, не пиши. Все равно безрезультатно. Живи пока как-нибудь, а там видно будет. И к себе домой меня позови. Приду. Я на художественных выставках бывал. И не раз. В скульптуре, правда, не видел никого, не приходилось. А любопытно.

Ну, а дальше Валувев заговорил о проекте энского канала и о том, что отдел окончательно выбился из графика: «И все из-за съезда! Свалился на нашу шею!» Валувев ушел что-нибудь перекусить в буфете, по случаю съезда там давали свиные сосиски (с собой брать нельзя), а я остался в зале и думал: и почему это мы все такие разобщенные, если все мы такие одинаковые? Или нам нечего узнавать друг в друге? Почему мы больше всего похожи на тех, кого мы в нашем коллективе

презираем? Почему не уважаем друг друга и даже Шеф для нас — это случай, а не закон и даже не последовательность? Тот же Валуев думает, и не без оснований: а Шеф-то чем лучше меня? или мне, Валуеву, недоступны речи Шефа? или Валуев не в состоянии открыть такие спасительные средства для населения нашей страны, как аренда, семейный подряд и самофинансирование, если они открыты людьми тысячу лет тому назад? Вот и я тоже спрашиваю себя: а чем Шеф лучше меня? Он тоже наверняка имеет какое-нибудь отношение к врагам народа — сосланным, раскулаченным, погибшим в тюрьмах. Имеет по одной простой причине: редкий-редкий встретится среди нас человек, который не имел бы к «врагам» ни малейшего отношения... Ну, а потом я прихожу к неутешительному выводу, к которому, однако, и должен был прийти: кому я обязан-то, если не Валуеву? Если не рыцарям нашей конторы? Ведь это они держат на своих плечах наши штаты и наш бюджет. И тех, кто вздыхает, — тоже держат. Вот и я тоже сторонник перестройки глубокой и радикальной, но в то же время я боюсь ее. То, что у перестройки нет альтернативы, — это, конечно, убедительный довод. Но довод — еще не убеждение, а мне нужно убеждение!

Впрочем — хватит, на сегодня кончаю со своей публицистичностью. Пора. Не знаю, какой от нее толк, не уловил и вот продолжаю разговор в личном плане. Значит, так: слишком долго я живу без убеждений. И не я один. В моей жизни не было собственного сюжета. Я не воевал, не болел раком, не сидел в тюрьме, поэтому, наверно, в моей жизни и не было выдающихся случаев, символов и совпадений, кроме разве все того же — в марте 1953 года. Во всем остальном жизнь моя повествовательна, без завязок-развязок, без кульминации. Вспомнить не о чем.

Вспомнить не о чем еще и потому, что моя память слишком мало удерживает деталей. Припоминая какого-то человека, я почти никогда не помню, как он был одет, когда мы встретились в последний раз, а бывая у кого-нибудь дома, позже не могу рассказать маме, сколько и какого размера комнат было в той квартире, где я вчера был. Ничего этого я не помню, но ощущение у меня такое, что я помню все. Этим я отличаюсь от мамы, которая помнит все и всегда — и мебель в знакомом доме, и одежду, и о чем там говорилось, но не знает, почему и зачем она в этот дом попала. И несмотря на это мама сюжетна: если она была в гостях, так и через год ее рассказ об этом событии — все еще рассказ с завязкой-развязкой.

Значит, я не в маму... Значит, я в отца?

Мне хочется выйти на улицу и глубоко подышать свежим воздухом. Я люблю свежий воздух. Иногда мне ничего не хочется видеть, ничего — слышать, но если воздух свежий, я закрываю глаза, затыкаю пальцами уши и дышу, дышу. И мне кажется, что вот так же любил дышать мой отец. Только вот в районе, где размещается наша контора, свежего воздуха нет, кругом заводы, открытые и номерные, все они дымят и чадят, загрязняют атмосферу — дышать нечем.

Как получается-то? — спрашивал я у самого себя, когда глядел в телевизор. Тут съезд, дело расхристанное, но — государственное, у нас в конторе проекты — хоть и губительные, но государственные, дефицит кругом, и опять — государственный...

В какую-то все мы утодили машину — государственную, а где же убеждения, которым я всю жизнь учился, которым меня учили, будто без них — нельзя? Ни шагу нельзя, ни вдоха! Без них ты попросту не человек! Почему же они вот сейчас нам не помогают, таким обученным и сознательным?

Боюсь, а все-таки начинаю думать об убеждениях — что это такое? И получается: убеждения подавляющее большинство из нас выбирают так же, как выбирают специальность: где я могу больше сде-

лать, добиться успеха — в ту специальность я и иду. Я заранее махнул рукой на все то, что мне не нравится. На медицину, например, — что может быть благороднее, чем медицина, но я ее не выбираю, она мне не подходит, да и не могут же все люди быть медиками.

Вот и убеждения: государство социалистическое, значит, и убеждения — социалистические, ясный и понятный выбор, бытие определило сознание. А настал момент, когда сознанию необходимо определить бытие, сконструировать другую государственную машину, и — стоп, не получается.

Речи. Страсти. Столкновения. А конструкции нет. Нет и нет, не пойму — не то потому, что мы все усложняем, не то потому, что упрощаем.

Люди вокруг меня, безусловно, упрощают: идет борьба за власть, идет между за перестройку и против нее, и все тут, и вся проблема, а интерес к ТВ — это интерес к боксерскому рингу, к футбольному полю.

Ну, а я-то что делаю на стадионе?

Я выпадаю из зрелища, потому что у меня есть мама.

Она у меня есть совсем не так, как у всех других, она есть еще и как неисполненный, бесконечно трудный портрет моей собственной работы, и вот уже я в самые напряженные минуты зрелища смотрю на смотрящих и угадываю: а вот в этом лице, все равно — мужском или женском, — нет ли в нем чего-нибудь маминого?

Если бы к моему замыслу существовал один-единственный ключик, один-единственный закоулок-уголок, в котором тот ключик спрятан, — я бы его нашел, добрался бы... Но ответ рассредоточен, он везде, всюду и во всех по мелким-мелким крупичкам, недаром же для мамы всегда так необходимы «все», недаром ее идеал — быть «как все»!

Тайна маминого портрета — тоже «все», уж этого-то она добилась, и мне кажется, что все, кто постарше и тем самым поближе к моей маме, в свое время действительно или только мысленно — это дела не меняет — прошли по тем же самым коридорам того же самого учреждения (с ковровыми дорожками, с ярким светом на потолке?), по которым когда-то прошла и моя мама, чтобы спасти еще не родившегося меня, чтобы погубить уже почти что погубленного моего отца.

Так-то я нынче и живу — между всеми и мамой, между публицистикой и эстетикой, между целым сонмом коварных, а то и разъяренных мыслей и мыслью только одной, между собой бездарным и собой одаренным.

Ох, как трудно, если бы вы знали!

Ведь еще и пожрать что-то надо, и в очередях потолкаться, и газеты почитать, и опять-таки подумать хотя бы и на том хаотическом уровне, на котором я думаю, и на все на это — ты один!

Впору сделать из себя одного десять человек, но не выходит! Трех бы сделать, как бы хорошо: один читал бы газеты, другой толкался бы в очередях, третий лепил бы портрет! Тоже не выходит, как есть один, так и есть. Даже и женщины рядом нет с добрыми глазами, для которой большим счастьем был бы твой, хотя бы и небольшой, успех...

Вот я и думаю: слава Богу, что моя мама — женщина, любящая меня, что, будучи женщиной пожилой, она далека от азарта футбольных полей...

Уж если бы моя мама была моим папой (и если бы мой папа погубил мою маму?), уж он бы был сейчас азартен, так азартен!

И портрета тогда не надо было бы разгадывать никакого, и тайны не было бы никакой, уж это — точно!

Наверное, как и всякий для чего-то много думающий человек, я еще и пишу. Опять-таки что-то вроде публицистики, но — для себя.

Чтобы что-нибудь из своих мыслей не забыть. А почему это нужно — не забывать? Ценность какая — все то, что я помню? Но я пишу на работе и дома, на отдельных листочках и в записных книжках, а всякий раз, когда мне хочется прочесть что-то из написанного, не могу ни строчки найти. Все мои записки лежат, оказывается, совсем не там, где они должны лежать. Я вызываю в свою комнату маму (мы живем в нашей старой двухкомнатной квартире с высокими, 3 метра 5 сантиметров, потолками) и сурово допрашиваю ее: не уничтожила ли она при уборке такой-то и такой-то листочек? Мама пугается: «Нет-нет, Толик! Я никогда, никогда...» Я стыжусь: по совести говоря, я ведь не помню, каким был потерянный листочек — большой, обыкновенного формата или маленький? Или это была записная книжка — красная, синяя или зеленая?

Письма маме, которые я довольно часто обдумывал, до сих пор не написаны, я на это не решился. А если бы решился?

«Дорогая мама! (хотелось бы написать мне)

Сыновья и дочери любят своих матерей, это от природы. Я не природный человек, но все равно люблю тебя, хотя и не понимаю почему. И за что — тоже не понимаю. А если у нас прекрасные отношения, так только потому, что мы не понимаем друг друга. К тому же я не нуждаюсь в природе — для меня изображения на картинах и фотографии лесов, рек, морей, трав и цветов, небес и звезд, животных и птиц интереснее, чем сама натура. В изображениях всегда присутствует то, как это сделано, именно это меня интересует, природа же и натура отрешены от меня как раз потому, что там ничего не сделано, а все существует. Этого я не пойму никогда. Я и сам — изображение чего-то мне неизвестного.

Твой сын Толик».

«Дорогая мама!

Вот я и думаю: если я потерял природу и натуру, не потеряю ли я любовь к тебе? Очень не хотелось бы — другой любви у меня уже нет, осталась ты одна. Я хочу изображать, отражать, воссоздавать — что? Конечно, натуру, но для этого надо натуру любить. И опять и в этом смысле ты — единственная и ты — последняя для меня натура.

Твой сын Толик».

«Дорогая мама!

Я хочу создать твой портрет — не скрывайся от меня. Откройся мне! Поверь мне, что ни для меня, ни для тебя нет другого выхода. В моей жизни не было никаких открытий и в твоей, кажется, тоже. Но все-таки, может быть, у нас случится одно открытие на двоих?

Твой сын Толик».

«Дорогая мама!

Помоги мне... Однажды, когда я еще не родился, ты сохранила мою жизнь. Сохрани ее еще раз.

Твой сын Толик».

Конечно, я не писал маме; но о том, что буду ее лепить, мы договорились, я даже и не знаю, каким образом. Когда, как — не знаю, но договорились. После этого я о письмах думал с недоумением: какой недалекий, какой несчастный человек мог только их выдумать?

До сих пор мы с мамой жили очень просто, «нормально» жили. Днем я зарабатывал деньги на алименты и в наш с мамой семейный бюджет, а по вечерам занимался своим хобби — лепил чьи-нибудь портреты из серебристой глины. Мама получает приличную пенсию и довольно мудро ведет наше немудреное хозяйство. Вот чем была наша с мамой жизнь. Теперь для меня все переменялось — не то чтобы в нашей жизни появился новый смысл, но появилось его ожидание.

И вот еще зимой моя комната превращена в мастерскую. Раньше я работал в Доме художника, в мастерских для непрофессионалов. Туда трудно пробиться, трудно, но можно, и если однажды вам это уда-

лось, выкурить вас оттуда — дело невероятное. Это нужно твердо знать и на все вопросы и директора Дома, и бездомных художников отвечать односложно: в начале следующего месяца... Но свою маму я, разумеется, мог лепить только в своем доме и больше нигде. Да и она — разве пошла бы она куда-нибудь позировать? И мне пришлось отдать молодому и кудлатому вахлаку, забыл его фамилию, свою производственную площадь в Доме художника.

Когда я посадил маму на высокий стул вполоборота к окну, она повертелась-повертелась на непривычном месте, нашла удобное положение, которое устраивало и меня и ее, и спросила:

— А дышать можно?

Я сказал:

— Дыши! А главное — разговаривай со мной. Мне кажется, что без разговора у меня ничего не получится.

Мы поговорили о том, о другом, и мама спросила:

— О чем мне разговаривать?

— О чем-нибудь таком, о чем мы с тобой раньше никогда не говорили. И вообще, чем больше ты будешь говорить о себе, тем лучше будет твой портрет.

Мама задумалась и сказала:

— Ты же знаешь — я о политике люблю. О международной. О внутренней тоже, но гораздо меньше. Все-таки в международной политике у нас потрясения успехи! Вот что значит новое мышление!

— Нет уж, лучше всего ты вспоминай что-нибудь из своей прошлой жизни. Чего-нибудь такое, чего я не знаю.

— Ты? Не знаешь? Да ты все до капельки знаешь. — Мама опять задумалась и сказала: — Нормально!

Мне показалось, что мама догадывается, о чем я хочу у нее узнать и почему хочу ее лепить. Неужели я уже с первого шага совершил непростительную ошибку, насторожил маму, внушил ей какое-то подозрение? Уже выдал себя?

У мамы продолжало сохраняться такое выражение лица, с которым она когда-то писала свои речи для профсоюзных собраний. Спротивляясь этому выражению, я стал думать как можно более серьезно. Смысл жизни, думал я, в осмыслении жизни. Осмысление жизни — это определение в ней назначения человечества и самого себя. Мое назначение — это мамин портрет, над которым я работаю. Итак, моя неопрятная комната — не что иное, как центр мироздания, которому я принадлежу, из которого не смогу вырваться, даже если захочу. Но я и не хотел вырваться, я хотел в него погружаться все больше.

Итак, первый наш сеанс оказался не столько сеансом, сколько тревожным подступом к нему. Такое чувство, словно я что-то уже решительно переделываю, еще ничего не сделав; перестраиваюсь, еще ничего не построив. В общем, перестройка как перестройка. Единственно в чем я был уверен — что я хорошо слепаю мамины плечи. Плечи будут красивыми, выразительными, и в то же время я не должен их омолаживать. Не надо забывать мамин возраст, не надо и скрывать все то, что в ней молодо и красиво.

Ну, а дальше сеансы шли один за другим — тоска, тревога, а еще — тревожные события в стране. Мне казалось, будто я снова и снова страдаю в уфимской катастрофе; я уже горел в вагоне, бежал куда-то среди чада и огня, спасся и только после этого принялся за скульптуру своей мамы, но скрываю от нее, откуда я к ней вернулся, делаю вид, что со мной ничего особенного не произошло. Я делаю вид, она делает вид — да что же, в самом деле, это за сеансы, что это будет за портрет? Я представляю себе, что, наверное, никогда прежде таких и скульпторов не было, каким сегодня являюсь я.

Ежеминутно на меня действует и действует время перестройки-пережизни, я им страдаю, этим временем, а оно страдает мною, и, если бы кто-то очень неглупый назвал сумасшествием мой замысел,

я бы с этим безоговорочно согласился, наверное, с радостью согласился бы, но все равно отступать мне уже некуда.

Вот именно: у меня не оставалось ничего другого, как этот портрет,— таков он был, мой союз с ней, с этой пережизнью; отсутствие альтернатив, когда даже и гражданскую войну объявить некому, потому что совершенно неизвестно, кто и во что горазд...

В таком-то вот состоянии, в таких мыслях и соображениях и начинаю я очередной — сумасшедший — и не знаю уже какой по счету сеанс.

— Мама? — спрашиваю я, до конца, до какого-то исступления преданный сын своей мамы.

— Что... — не отвечает и не спрашивает меня моя мама.

— Мама! — восклицаю я, художник, который света белого не видит вокруг себя — только свою натуру.

— Что... — произносит мама.

— Мама! — взываю я, художник, перед которым только-только забрезжила надежда.

— Что... — отвечает мне моя мама.

— Мама! — вздыхаю я в полном отчаянии, ни на йоту не веря в свой успех.

— Что...

— Мама! — задыхаюсь я в отчаянии и ненависти.

— Что... — отзывается мама неизменным спокойствием, выражением лица, доброту и спокойствие которого я не в силах преодолеть.

Кроме «что», у моей мамы в запасе есть ведь и другие вполне надежные и хорошо знакомые нам ответы: «ничего», «как у всех», «нормально». Как в том анекдоте: взлетает самолет, а на высоте девять тысяч метров в салоне включается динамик: «Уважаемые пассажиры! Наш самолет управляется с земли. Экипажа на нем нет. Прохладительные напитки находятся в передней части самолета. Вся аппаратура работает нормально, нормально, нормально...»

— Устала сидеть неподвижно? — спрашиваю я у мамы как можно более спокойно.

— Нет, ничего. Я ведь немного шевелюсь. Незаметно для тебя. Я хитрая: пошевелилась, а ты и не заметил!

Мы делаем перерыв. Минут на пятнадцать. После того как я выкуриваю две, а то и три папиросы, принимаемся за работу снова. С новыми силами, со старыми, с никакими — сказать трудно. Позирую, мама вяжет шарф. В то же время она знает, когда нужно оторвать глаза от вязания и обратить их ко мне, или вверх, или же смотреть прямо перед собой. Это она знает и не ошибается. Старательность и добросовестность — ее выражение, оно так ни на минуту и не исчезает с того самого дня, как мама начала позировать. Стирает она или прибирает квартиру — выражение это неизменно, другого нет и быть не может. А я снова и снова пытаюсь добиться своего:

— А помнишь, мама, как мы переехали из Горького в Москву и в московской квартире я всех боялся — даже кошек, даже котят?.. Там было много котят.

— Конечно, помню, — говорит мама. — У меня все еще хорошая память. Котята там были у всех кошек рыжие: у всех был один рыжий... папа.

Еще вопрос:

— А помнишь, мама, как я чуть не сжег портрет Сталина в школе?

— У меня хорошая память.

— И тогда ты знала об этом, но ни о чем меня не спрашивала. Ни слова...

— Так было лучше, ни о чем не спрашивать. Я в тот раз подумала и решила — не надо спрашивать, надо жить так, как будто ничего не произошло. Так и случилось: с нами ничего не произошло.

— И сейчас не происходит?

— Сейчас? — удивляется мама. — Ну конечно, ничего.

— А если бы снова такой же случай? Если бы я сегодня... чей-нибудь портрет... Ты бы снова молчала?

— Не дай Бог! Ты знай себе лепи и лепи меня, Толик. И не придумывай ничего постороннего. И помни, Толик: кто-кто, а мы с тобой всегда жили хорошо. Нормально жили.

— Но я же рос без отца?

— Один ты, что ли? Нет-нет, мы жили не хуже других. На хлеб, на молоко, на масло, на колбасу нам хватало. Очереди, конечно, были, но не такие, как сейчас. Кроме того, мы с тобой и через профсоюз всегда чего-нибудь получали. Нет, ничего, жить можно было. Нормально. Как бы хуже не было. Я нынче газеты читаю, а сердце ноет: как бы хуже не было!

Я спрашиваю:

— А ты помнишь, мама, как погиб мой отец? Какие-нибудь подробности помнишь?

— Я и не знала никогда никаких подробностей. Его арестовали ночью. Вот и все.

— Вот и все?

— Тебя еще не было на свете. Ты только-только должен был на свет появиться. Недели через две-три.

— А тебя никогда не вызывали туда? И ни о чем не спрашивали там? И ничего тебе не объясняли?

— Нет, не вызывали. Нет, не спрашивали.

— Мне почему-то помнится какая-то старушка...

— Тебе почему-то помнится, а мне почему-то нет.

Я заглядываю в мамины глаза: небесная голубизна.

У меня в руках остывает глина. Не могу понять, что сделать — снять или набросить глину вот сюда — между щекой и подбородком моей скульптуры. (Именно сюда на портрете Сталина я когда-то угодил папироской.) Не могу изобразить и разгадать той складочки, которая здесь уже есть, в натуре, но не совсем та, которая здесь должна быть.

Что сказать моей маме еще?

«Мама, мы тогда были вместе, я жил в тебе, когда ты говорила что-то о моем отце... в том доме... говорила — чтобы я остался жив... значит, мы убили его вместе. Я в этом сознаюсь. Но пока не сознаешься ты — не будет и твоего портрета. И я так и останусь скульптором неизвестным с маленькой, маленькой буквы».

Ночью не сплю, думаю о мамином поколении. Может быть, оно подскажет мне что-то в выражении ее лица? У меня есть знакомые и среди пенсионеров, простых и союзного значения, и среди ветеранов труда и ВОВ, партийных и беспартийных, — пойти к кому-нибудь посоветоваться, попросить помочь — неужели ни один не откликнется? Я читаю мемуары и воспоминания тех, кто прошел через те же коридоры, что и мама, кто ушел через них дальше — в муки, в ад, в невероятные страдания. Им есть что вспомнить, о чем написать. А маме — неужели не о чем? Она прошла через тот дом лишь однажды, но разве «однажды» — это ничто? Разве «однажды» это значит — не было? И памяти на «однажды» нет, и последствий нет, и отпечатков нет? Я знаю — во мне все это есть. А в маме не было и нет? Никогда не поверю, никогда!

Глина снова теплеет в моих руках — она горячее, а мама снова мне улыбается: удачи тебе, сынок! Я работаю над мамиными бровями. Необычайно важная деталь: я уверен, что глазницы и брови для скульптора — это почти то же, что выражение и цвет глаз для живописца. Спрашиваю себя: ведь я все еще не понимаю, не угадываю мою маму? И отвечаю: так это же прекрасно! Не преодолевая собственного непонимания природы, разве можно ее воссоздать? Так будь же, будь, моя дорогая мама, неразгаданной как можно дольше! Чем дольше, тем великолепно будет результат! Со злостью я кричу:

— Канделябры-бры-бры-бры!

— Что с тобой, Толик? — спрашивает мама. Она удивлена.

— Ты не устала? — спрашиваю я.

— Совершенно не устала, Толик. Если тебе нужно — я целый день буду сидеть неподвижно. Мне приятно хоть что-нибудь сделать для тебя. Только я вижу, ты почему-то волнуешься. Зачем тебе это?

Но мой внезапный энтузиазм — даже страшно — не ослабевает, а набирает силу. До тех пор, пока не приходит совершенно банальная мысль: что это я мечусь-то? Туда-сюда? А до меня-то сколько художников вот так же металось? И теперь я переживаю их муки творчества?! Тьфу! Тьфу, как неприятно пережевывать чужую жвачку! Что-нибудь смешное вспомнить, что ли?

И я вспоминаю, как тщательно мама по вечерам готовила речи для выступлений на торжественных заседаниях строительно-монтажного управления. Заставляю себя засмеяться и, безнадежно веселый, спрашиваю маму:

— А помнишь, как ты громким-звонким голосом произносила речи? На собраниях СМУ?

— Еще бы.

— И вносила предложения по составу почетного президиума?

— Еще бы!

— А вечерами дома ты любила об этом рассказывать. И удивлялась: «Это надо же, какая-то светлая голова однажды придумала — выдвигать почетный президиум, а потом пошло и пошло по всему Советскому Союзу! И вполне возможно — за рубежом!»

— Да, — подтверждает мама, — действительно, тогда был такой на собраниях порядок... — И она вздыхает: — А на нынешних собраниях никакого порядка нет. Кто кого выдвигает, не сразу и поймешь!

На работе я отсиживаю часы, больше ничего. И все так же отсиживают, а зарплата идет, даже повышается. Если бы такое повышение да без инфляции! Валуев по этому поводу все равно не без гордости говорит: «Первые результаты перестройки у нас в конторе налицо! Кто будет спорить, что налицо?»

Теперь одно из увлекательных занятий нашей конторы — определение затрат на Верховный Совет. Сколько стоит проезд депутатов на съезд в Москву и обратно, на комиссии и комитеты в Москву и обратно и еще и еще в Москву и обратно? Сколько валюты потеряно гостиницами? Ведь вместо интуристов в «России» и в «Москве» проживают депутаты. Сколько будет выдаваться на депутатские расходы? Неужели правда, что по 200 рэ на рыло? «Сколько?» — прикидывают инженеры на логарифмических линейках, на компьютерах и просто так, в уме, прикидывают во всех отделах. Конечно, сметный отдел по этой теме — ведущий.

В пятницу во второй половине дня, когда все торопились на дачи, комиссия по «неперспективному» проекту провела заседание. «Неперспективных» за год оказалось почти на сто миллионов рублей, и они были списаны по акту. Угодил в этот акт и проект, над которым работали сотрудники нашего отдела, я тоже работал. Работал, предвидя именно этот акт. В понедельник с утра, закрывшись в кабинете Валуева, другая комиссия с участием парт- и профкома химичила над тем, как сохранить премиальные всем, кто работал над списанными проектами. Я и тут не сомневался: результат будет положительным. В первый раз, что ли? Он и был положительным: премии мы получим даже побольше, чем в прошлом квартале.

Во вторник (партийный день) было открытое партийное собрание по итогам съезда. Я беспартийный, но на открытые хожу всегда. Так принято. Вообще-то на многолюдные общие собрания я ходить не люблю: волей-неволей встречаюсь там с Татьяной, а мне даже издали тяжело ее видеть. Она мелькает среди людей, и я вижу: ей хоть бы что, а мне — плохо, мне больно, меня мучают воспоминания

одно обиднее другого. И в то же время встречи с Татьяной как бы приближают меня к самому себе. Может, это и хорошо?

Помню, когда мы с Татьяной расходились, я был злой как собака, я ни о чем не думал, ни о том, чем она для меня была, ни о том, как буду жить без нее, я был взбешен: она меня обманула, она посмела полюбить кого-то другого, а я — бессилён перед этим другим! До сих пор я готов говорить и говорить об этой обиде без конца. Но не говорю ни с кем. Даже с мамой.

Ну, конечно, мой соперник на голову выше меня — способнее, умнее, находчивее, остроумнее, — но ведь всего-то на голову, на одну! Ведь если Татьяна Ларина² будет метаться от мужчины к мужчине только потому, что один из них на голову повыше другого, так ей всю жизнь предстоит кого-то обманывать?! И вот мы расстались, я расстался с нею с торжеством человека, который оскорблен как никто и озлоблен как никто. Я долго жил в этом чувстве, с год, наверное, перевелся в другой отдел, на другой этаж и в другое крыло нашей огромной конторы, к другому начальнику в надежде как можно реже встречаться со своей бывшей женой и с ее настоящим мужем, но все-таки встречался, и тогда мне хотелось пронзить их презрительным взглядом, чтобы они испытали чувство неловкости и стыда.

Но вот в чем дело: спустя год чувство неловкости и стыда стал, встречая их, испытывать я — то ли потому, что я был на голову ниже, то ли потому, что злоба у меня проходила, я сознавал, что она и не могла быть вечной, и это снова злило меня, но уже как-то по-другому. Только злобой и еще раз злобой я пытался избавиться от любви — средство оказалось никуда не годным. Теперь и любви-то уже не было, а была нелюбовь к самому себе, к унижительному своему состоянию, и мне хотелось подойти к Татьяне и сказать: «Ты счастлива? Это же так прекрасно — быть счастливой через собственную ложь и подлость! Ну и продолжай в том же духе — у тебя получается! Уж кто-кто, а ты-то знаешь, что получается! Ты...» Я мог бы сказать ей все это во множестве вариантов — еще злее, еще и еще грубее... Тем более я избегал встреч с Татьяной, что боялся и вовсе потерять смысл этих упреков — скажу и окажусь дурак дураком!

Именно так это и было, когда я издали увидел ее перед началом собрания с повесткой дня «Об итогах съезда...» и что-то там дальше еще. Ее лицо мелькнуло в передних рядах, потом еще раз, другой — красивое и, как у всякой несомненной красоты, уверенное в себе. Кажется, красото нет без уверенности в себе, разве что левитановская. Мне стало совсем невмоготу, я ведь надеялся, что если мне так плохо изо дня в день, так ей хоть немножко, хоть иногда, но тоже бывает плохо. Ну, например, при встречах со мной. Но ей плохо не было, ей всегда было хорошо.

Вдруг я заметил, что она заметила меня. Потом стало ясно, что она хочет подойти ко мне. Я этому не поверил, а она действительно подошла и сказала: «Ты, Анатолий, хотя бы зашел когда-нибудь к Володьке. Позвонил бы ему. — Она посмотрела на меня пристально, тем взглядом, который я когда-то называл «южным», — насмешливым и затаенным. Посмотрела и еще сказала: — Как-никак отец!» Повернулась и ушла, и я мог поклясться, что у Татьяны не все хорошо, что ей нынче грустно, не по себе, и от этого я был счастлив, но уже через минуту моя уверенность исчезла, я подумал, что Татьяна разгадала меня: вот я хотел подойти и до глубины души обидеть ее, она это намерение предупредила, первой подошла и первой обидела меня: «Как-никак отец...»

Я занял место в предпоследнем ряду, сел. Издали я видел сцену и трибуну, на трибуне все еще стоял телевизор, по которому неделю назад мы смотрели съезд, я стал мысленно оправдываться перед

² Девичья фамилия моей бывшей жены — Лаврина, но близкие ее знакомые считали букву «в» лишней, получалась Татьяна Ларина. «Я вам пишу, чего же боле...»

Татьяной и врать ей: «Откуда ты взяла, что я хочу подойти к тебе, и тебя обидеть, и спросить у тебя: это, наверное, так прекрасно — быть счастливой через собственную ложь и подлость? Да никогда, никогда я бы этого тебе не сказал!» На сцене появился народный депутат нашего избирательного округа врач Неверов, кажется кардиолог, за которого мы голосовали дважды — в начале и в конце апреля. Телевизор с трибуны сняли. Я поднялся и, проталкиваясь между рядами, вышел в коридор покурить. В голове у меня не было ничего, пусто, я покурил, походил и подумал: пойду-ка я снова в зал, заполню пустую башку какими-нибудь словами врача Неверова. Вдруг меня остановил Валуев.

— Ну что, Михеев, скучаешь? Я тоже... — Я хотел возразить, что нет, не скучаю, а собираюсь идти и послушать депутата, но Валуев сказал: — Ну и правильно — что их слушать-то, вселенских трепачей? На каждом шагу треплются! А чтобы жратвы было достаточно — этого не дождешься. Точно! Ты знаешь, мы тут на днях химичили с премиальными, так я прямо сказал комиссии: надо исходить из общего принципа — деньги наши ничегошеньки не стоят, одни бумажки — что их беречь-то? Для кого? Для наших великих проектов, что ли? Так ведь и проекты тоже неизвестно сколько стоят. Мы все живем без цены. И будем жить без цены и без себестоимости. Но — с премиями. Жратвы нет, дела — нет, а без премий мы никуда!

— Если бы все наши проекты были приняты к производству — мы бы много где устроили Арал! — согласился я.

А Валуев еще охотнее согласился со мной:

— Не дай Бог! Дай волю и свободу нашей конторе — оставим после себя лунный пейзаж. Еще говорят: коммунистический пейзаж!

— Кто это говорит-то? — спросил я. — Неужели ты, Валуев?

Никогда не думал, что Валуев может так говорить о своих проектах, которые он составлял прямо-таки мастерски, защищал — мастерски и с энтузиазмом выбивал под них штаты и фонд зарплаты. «Значит, Валуев тоже рухнул! — подумал я. — Честность давно рухнула, но и прохиндейство — тоже! На чем же тогда стоять, если нет ни положительных, ни отрицательных величин и точек опоры?»

— Слушай, Валуев, — спросил я, — так кто же виноват-то?

— В чем?

— Да во всем!

— Ищешь виновных? А зачем? Зачем, я тебя спрашиваю? Чтобы их критиковать? Или — презирать молча? Или — судить?

— И для этого... — согласился я. — И для того и для другого.

— Ну, еще бы! — пожал плечами Валуев, и симпатично-прохиндейское лицо его еще больше просветлело. — Критика — движущая сила нашего общества! Сталиным сказано! Им ведь?

Я помолчал.

— Вина поголовная... И все заставляют друг друга делать дрянь дело. Дрянь и дрянь. Главного инженера заставляет начальник главка, начальника главка — министр, министра — шеф нашей отрасли и комплекса, шефа отрасли и комплекса — Совмин и даже... еще выше. Не буду говорить — кто. Времена, сам знаешь, меняются, сегодня скажешь, а завтра... Кроме этого, каждого главного заставляют подчиненные. Поруча круговая. Замкнутый круг. А вопрос-то простой: общество виновато. Система виновата — вот кто.

— Менять надо? — помедлив, спросил я Валуева.

— Может, надо, но — некому. Я сам себя не могу изменить, это ерунда, пустое занятие. Вот и общество не может по собственному замыслу самоизмениться. Разве что к худшему.

— Бывали же случаи в истории?

— Случай — не история. Случай случается вопреки истории. Поэтому у случая и последствия непредсказуемые.

Прохиндейские глазки Валуева смотрели на меня внимательно, ждали, когда я окончательно растеряюсь. И я растерялся и сказал:

— Беги на площадь, Валуев, и митингуй! Невероятно, но факт: твое место на площади!

— Нет, Михеев, я обществу не враг, оно мне не враг, я провоцировать его не буду. Мы вместе проживем, а придет время — вместе помрем. И все дела. Каждое общество — это, знаешь ли, Михеев, природный организм, такой же, как растительное какое-нибудь или животное сообщество — сколько ему природой отпущено, столько оно и живет, общество не должно выдумывать таких слов, как «досрочно» или «отживший». И не надо думать, будто из березы вырастет кипарис, а из кошки — собака, это примитивный буддизм, больше ничего. У каждого свой срок, как умел — его прожил, уступи пространство и время другому. Точно!

— Можно так уступить, что после тебя и не будет ничего. Уступить ничему? Пустоте?

— Не мое дело. Мое дело — мой срок. И срок общества, в которое я угадал. Заметь: угадал без моего ведома. А значит, и спроса с меня за это общество — никакого. Я его не выбирал. А все общественные теории — звук пустой! А пустой вот почему: исключи из любой революции, из ее теории поимку виновных — и что от нее останется? Пшик останется! Значит, вопрос в одном-единственном принципе — искать виноватых или не искать, а плюнуть на них. Не хочу я быть поимщиком, играть в сыщиков-разбойников. А вот ты, Михеев, ты зря пошел на строителя. Тебе надо было идти на юридический. Точно!

— Угадал: я в свое время подумывал именно насчет юридического. А сейчас леплю портрет... одной своей знакомой и думаю: каждый портрет — это утверждение или вины, или невинности.

— Я тоже когда-то подумывал насчет авиации. Было. А нынче прошу учесть: никто так не виноват перед обществом, как те, кто искореняет виноватых. Никто!

— Упраздним Уголовный кодекс?

— Примитивно подходишь, Михеев. Я говорю: истинно научные теории тем и отличаются от гуманитарных, что не ищут виноватых. Кто-то там заблуждался, врал, но истинный ученый заблуждающимися не интересуется, а выдвигает свою собственную теорию. Это для так называемых гуманитариев чья-то виновность — хлеб, без него они не существуют. Вот и ты — не существуешь без этого.

— Вот она и живет в свое удовольствие, наука. В своих собственных, а не в общечеловеческих понятиях, — вздохнул я. — Собственные беды и проблемы она навязывает обществу.

— Революционеры всех мастей — вот кто навязывает себя обществу, вот уж кто попользовался жизнью общества так попользовался! Проявил себя и свой норов, а всем остальным показал кузькину мать! Все остальные — виновные, самая желанная для них пища. Нам же, эволюционерам, революционеры оставляют объедки. Мы объедки доедаем, а чем дальше-то питаться будем? из чего — жить? Ну, для меня это не проблема: чем Бог пошлет и собственная изворотливость, вот и все. А тебе, Михеев, я сочувствую — ты скульптурой, искусством заражен, это очень сомнительно. Сомнения — дело искусства, так я понимаю? Твоя практика так показывает?

Моя практика так показывала, но я ответил глупее некуда:

— Уж ты скажешь...

Валуев еще постоял, пожал плечами, зевнул и сказал:

— Пойти послушать врача-трепача? — Это значило, что разговор наш закончился. В дверях он остановился, махнул рукой: — Итого, Михеев, будь здоров!

Ну конечно, между нами состоялось «итога».

Только что была Татьяна, Валуев был... Разговаривают и ругаются кто как умеет. Выясняет отношения вся страна. Вот и я выясняю отношения... со своей мамой. И моя скульптура — это, должно быть, не столько искусство, сколько продолжение нашего пожизненного разговора... Надо его заканчивать, этот разговор,— маме много лет, мне тоже немало. Вдруг мама умрет? Продолжать разговор с ней, мертвой, будет и еще труднее...

А дальше я буду по возможности краток. Финал всегда краток, продолжительны лишь подступы к нему.

«...если надо куда идти, ведь мы всегда сообразим кратчайший путь. Если обратиться к скульптурной работе большинства, то получается впечатление, как будто мы, желая куда-нибудь добраться, бросаемся в первый попавший переулок, если он не приводит к цели,— то...— в другой, в десятый, в тридцатый и т. д.»

«...техника, когда работающий миллион раз снимает и накладывает глину, возможна там, где нет настоящей каменной скульптуры. Кроме глины, которая все терпит (все-таки и глина замучивается), ни в одном материале нельзя работать без расчета. Если бы так работать по мрамору, то от него только пыль осталась бы».

Все тут верно, дорога Анна Семеновна, все верно!

Но я не только леплю именно так, как ни в коем случае лепить нельзя, но и живу, как жить нельзя. Я мнимо живу.

С чувством этой мнимости я и начал очередной сеанс.

Сколько раз я начинал с энтузиазмом, с религиозной верой в успех, но теперь я был неверующим и бесконечно усталым. Я пробежал через все переулки, все передумал, думать мне было не о чем, я спрашивал себя: ну что, дурак и бездарь, все ищешь исходную точку успеха? А разве может быть отчаяние такой вот точкой?!

Но тут — что случилось? — тут мое отчаяние в какой-то морщинке, в какой-то впадинке-выпуклости (ведь и вся скульптура — это только впадины и выпуклости) отразилось в мамином лице. Я испугался. Я никогда не искал в ее лице отчаяния, за всю свою жизнь я не видел маму отчаявшейся — и вдруг? Но что-то уже подсказывало, подсказывало настойчиво, что сейчас я должен работать не как скульптор, но как иконописец-реставратор: снимать слой за слоем краски переписчиков этой иконы и так достигнуть истинного лица, созданного первородными и потому тоже истинными, не чета мне, художниками — маминой жизнью и ее временем. Ну, а художником-переписчиком маминого лица была она сама, моя мама.

Конечно, каждый человек знает, что он начался во чреве своей матери, но совсем-совсем не каждый чувствует, что всякое начало — это еще и философия, и цель, и суть, и смысл всего, что произойдет от него в веках, в тысячелетиях. Что так же, как в крохотном семени заложены все свойства огромного дерева, так же и любое другое начало может произрасти необъятным будущим. Если бы в этот момент мне удалось разгадать истинное начало Земли, я, наверное, мог бы научить людей жить по истине на этой Земле.

Я еще не достиг изначального облика моей мамы, еще не увидел его, а уже весь был поглощен ощущением той обязательности, той всеобщности начала, которое сию минуту откроется мне, вовлечет меня в себя. Я ведь никогда не обладал чувством себя именно потому, что мне не хватало собственных начал, и вот я не понимал, кто же все-таки я, откуда и зачем, не было у меня и чувства принадлежности к чему-либо — к искусству, к науке, к технике, к семейной жизни. Едва ли я знал даже и собственное лицо, если мне говорили, что я пополнел, я отвечал: «Может быть»,— если: «Ты хорошо выглядишь» — я не отвечал ничего, мой «хороший» или «плохой» вид мне тоже не говорил ни о чем. Я знал, что мой рост — 186 сантиметров, так было где-то записано, кажется в военном билете, и я неплохо

играл в волейбол, начинал играть в теннис, был не то блондином, не то шатеном, глаза мои моя первая жена называла серыми, а вторая — голубыми, мама считала меня, конечно, красивым, и, если уж на то пошло, моя внешность нравилась женщинам, но никак не мне самому — я был к ней безразличен, не знал ее.

Открытие начала вот сейчас, сию минуту, могло открыть и меня, определить — каков я, кто я и зачем на этой вновь открытой Земле. Но я-то ведь хотел совсем-совсем немногого: хотел увидеть маму молоденькой, глупенькой, красивенькой, на последних днях беременности, в тот момент, когда ее ведут по длинному-длинному коридору без окон, с ковровой дорожкой по полу, с электрическим освещением на потолке, ведут к той двери, за которой она должна будет что-то сообщить о своем муже.

Какое было у нее выражение лица — у глупенькой, испуганной, беременной мною? На все готовой — что угодно написать, что угодно сказать? Широко открытые глаза были у нее тогда, чуть приоткрытые губы, уже тогда старческие морщинки на молодом лице. И округлый ее живот я должен был увидеть и увидел сейчас же. Я снимал и снимал, теряя и теряя навсегда мамины автопортреты разных лет, эпох и времен. И не надо мне было свидетелей — маминых сверстников, пенсионеров союзного значения, героев труда и ВОВ, я сам все знал, сам готов был свидетельствовать начало материнства моей мамы, начало ее вдовства, начало всей ее «нормальной», «как у всех» жизни профсоюзной активистки, начальника отдела кадров крупных и очень крупных строительных организаций, жены своих мужей, свекрови моих жен, бабки моих детей, моей матери. Я ничуть не винил маму за ее столь ложные и столь дешевые автопортреты — без них она ведь не могла бы ни жить, ни выжить. Иначе как только с полным отрицанием и забвением себя той, отчаявшейся, идущей по длинному коридору в сопровождении женщины-конвоира, как бы она выжила? Да никогда! Без отрицания себя той не было бы и этой, не было бы.

Что там было с моей мамой за дверью, в которую ее ввела женщина-конвоир, я не знал, не догадывался, у меня не хватало воображения. Я и не пытался это воображение в себе возбудить. Конечно, там встретил ее мужчина, он велел маме садиться, велел что-то подписывать, мама все, что ей велели, делала, а мне эта картина, эта сцена за дверью была лишней, сверхпрограммной, мне нужно было лишь то выражение готовности сделать все, что ей велят, с которым мама в эту дверь входила.

Когда моя мама выходила замуж за моего будущего отца, когда давала ему свою фамилию, спасала его, бывшего дворянского сына, от его бившести, от унижений и от позора, от безработицы и от того клейма недочеловека, которое носили в ту пору бывшие, — она ведь готова была на все... Вот так же она готова была, идя по коридору, погубить отца. Конечно, она думала: он уже погублен, он уже арестован... во второй раз... Он погибнет, но его ребенок должен жить. А я во чреве своей матери, наверное, соглашался с этим: хочу жить! хочу родиться! спаси меня! пусть не будет моего отца, но я пусть буду! А может быть, уже тогда я обещал встать на колени перед портретом вождя народов?

Так вот он каков — мой счастливый случай вероятностью 1 : 100 000 000! Я торопился все больше и больше и не понимал, почему торопиться. Потом понял: моя натура менялась, и не навстречу мне, а как-то в сторону, совсем не туда, куда я ее звал и требовал. Мама — вся слишком пристальное внимание — смотрела на меня и на свою скульптуру. Смотрела так, будто не она мне, а я ей позирую. Во время прошлых сеансов я всегда запрещал ей рассматривать скульптуру, тем более — делать какие-то замечания. Я говорил: это может испортить все, и только если она хочет мне неудачи, только

тогда она может оборачиваться и что-то говорить о моей работе. И в этот раз я сказал очень строго:

— Мама! Не смей вертеться на стуле! Сиди и не шевелись — очень ответственный момент!

Но мама уже повернулась ко мне из положения в профиль в положение анфас и сказала:

— Но, Толик, у тебя же получается совсем-совсем не то...

— Мама! — крикнул я строго и сердито. — И-не шевелись!

— Но разве я такая! Да никогда! Никогда...

— Мама!

— Боже мой — что ты хочешь из меня сделать? Ведь я же нормальная женщина!

— Замолчи! — снова крикнул я.

— Если ты сам ненормальный, я-то при чем? — закричала она тоже и заплакала.

Она закрыла лицо руками, встала и ушла в свою комнату, там она заплакала еще громче, навзрыд.

Я стоял около скульптуры. Я всматривался в нее и не узнавал. Чужое что-то было в этом портрете, не мое и совсем не то, что хотел изобразить я. Было что-то уродливое. Именно это выражение уродливого отчаяния испугало и возмутило маму.

Конечно, сию же секунду мне надо было сделать несколько штрихов, тех, которые вот сейчас были бы сделаны, если бы мама не ушла. Ведь я все равно сделал бы их не столько с натуры, сколько вопреки ей, по собственному воображению. Но и воображение мое тоже исчезло, я поискал его глазами в разных углах комнаты, и рядом с собой, и на подоконнике — его нигде не было.

Я пошел к маме. Она лежала на кровати на спине и, закрыв лицо руками, плакала. Горько и как-то так, что я подумал: плачет, как девочка. Я присел на край кровати и попробовал отнять ее руки от ее лица. Она с силой оттолкнула меня, снова закрылась, повернулась на бок, спиной ко мне. «Зачем ты это делаешь? — спросила она. — Нарочно, да? Я знаю — нарочно! Как тебе хочется, как тебе самому интересно, так ты и делаешь, а до меня тебе дела нет, эгоист! Неужели я заслужила такое отношение? Такую неблагодарность? Не хочу я с тобой разговаривать, уйди, эгоист! Мне будет легче одной... Уйди! И не смотри на меня! И не смотри!»

Я долго еще смотрел на маму.

С мамой мы не разговаривали дня три-четыре, пока я не пошел к ней и не попросил у нее какую-нибудь старую простыню, лучше — старое одеяло. Она улынулась, тихо засмеялась и тотчас вытащила что-то серое из чемодана на шкафу: «Возьми, возьми! Подойдет!» Это было одеяло. Действительно подошло — не очень тяжелое, старое, но без дыр, — и я накрыл им скульптуру. Ни для чего другого оно уже давно не годилось, только выбросить.

Теперь мы с мамой снова живем даже нормальнее, чем всегда. Если бы не очереди в магазинах, которые, что ни говори, очень раздражают, было бы и совсем хорошо.

Не хочет мама видеть свой портрет, а мне зачем? Что за домогательство? Что за претензии неизвестного художника и не слышном ли много нас, таких раскрепощенных и куда как свободных бездельников, которым вынь да положь тайны отцов и матерей? Есть у меня в моей конторе дело — лунные пейзажи, в них бы и поискать рациональное зерно!

Так оно и есть: у меня одна слабенькая надежда — на самокритику. Но самокритика — это не дело, это мечта о настоящем деле.

Ну вот я и хожу в свою контору, избегаю там встреч с Татьяной, а Вовке звоню по телефону. Составляю, как и прежде, проекты каналов, шлюзов и низконапорных плотин (высоконапорные теперь не в

моде, вызывают много нареканий), планирую на земле пейзажи, получаю зарплату — с меня хватает. В конце рабочего дня по пятницам — почему-то всегда по пятницам — Валувев задает мне один и тот же вопрос: «Слушай, Михеев, ну а все-таки — что тебе дает твоя скульптура?» И я отвечаю: «Честное слово — ничего! Я скульптурой больше и не занимаюсь». Валувев не верит. Я тоже не верю Валувеву, потому что верить ему нельзя. Так-то теоретизировать я и сам могу, а мне нужно что-нибудь, до чего я своим умом никогда не дошел бы.

Возвращаясь с работы домой, я прежде всего заглядываю в свою комнату: по-прежнему ли в углу у окна стоит накрытая старым серым одеялом скульптура-чучело или ее уже нет — мама при уборке квартиры нечаянно уронила ее, и она разбилась? Из деликатности, что ли, мама не передвигает чучело ни на сантиметр вправо или влево, у меня тоже не хватает духу вынести его во двор, в мусорный ящик. Незавершенка все больше и больше мешает мне, раздражает меня: в моей комнате и всего-то 18,5 квадратных метра. Диван-кровать, заплеванная глиной, письменный стол для школьника, книги и другие, меньшего размера и по большей части незаконченные, портреты-скульптуры — все создает впечатление, будто это и не жилая комната, а склад случайных вещей, оставленных человеком, который здесь когда-то жил, но теперь не живет. Я вхожу сюда, сбрасываю ботинки, а иногда и обутый ложусь на диван и думаю: о чем бы мне подумать? о чем бы таком? И т а к о е приходит в голову...

Кто-то кому-то звонит по телефону: «Алло, алло! Михеев Анатолий у вас живет?» «У кого это — у вас? Конкретно?» — «Конкретно — на вашей земле?» — «Сейчас уточним... Да. Есть. Действительно, на нашей проживает Михеев Анатолий, 1940 года рождения». — «Так вот: не обижать Михеева Анатолия. Понятно?» — «Позвольте, а кто это говорит? Говорит-то кто?» — «Не узнаете по голосу?» — «И не обязаны!» — «Господь Бог, вот кто говорит!» — «Извините, не узнали. У нас теперь начальники все рассмотрильные, обсужденные и утвержденные. Всех и не упомнишь». — «Начальники начальниками, а кадрами как ведал, так и ведаю до сих пор я. Я Сам. И вот вам ЦУ от моего имени: Михеева Анатолия не обижать!»

Или же начинает казаться, будто я лечу не то сверху вниз, не то снизу вверх мимо балконов и этажей высотного дома, а в каждом этаже все еще существует моя давняя и недавняя жизнь.

Вот этаж моей молодости, вот — детства, на двух других — мои семейные жизни с Ниной и с Татьяной. Есть и этаж старости, уже готовенький, но почему-то он не внизу, не вверху, а где-то посредине высотки. Впрочем, я уже говорил: время и хронология — это совершенно разные понятия и существуют они порознь.

Вспоминательный этаж... тоже правда, тоже помню: я молод был, а все что-то такое вспоминал и вспоминал, теперь уже не помню, что именно. Кажется, я пытался вспомнить и догадаться, почему это я — сын врага народа. Другие нет, а я — да? Теперь-то я все чаще думаю о том, что все мы, едва ли не весь народ — отпрыски врагов народа, родня им и беззаветные борцы с ними, с нашими врагами, которые тоже мы. Только и различия между нами, что одни гордятся таким родством так, что если человек не имел собственной десятки по статье 58-й, он все равно похвастается: «И у меня отец (мать, сестра, брат, дед) был там, а посмотрите, какой я-то удалой молодец, как этот факт меня воспитал и закалил — закалил мой патриотизм!» Другие... Другие ни в чем не клянутся, в грудь себя не бьют, в груди у них звенеть нечему, пусто, они не знаю какие, но безусловно похожи на меня, а то и на Валувеву — так же терпеть не могут искать виноватых. И те и другие — все-все! — когда-то приобрели сходство биографий, каждый в свое время постоял на коленях перед тем или иным портретом, у тех и у других — одна и та же тайна, но художни-

кам все еще не удалось изобразить ее, общепринятую, на лицах своих друзей-современников, своих отцов и матерей, сестер и братьев...

В общем, летаешь вот так, летаешь, потом надоедает — пора бы уже и домой, в сиюминутность, в современность, в перестройку. Прибыл... «Привет!» — «Привет!» Это я здороваюсь с самим собой — тот, который сидел дома, никуда не улетал, с тем, который летун, мотался где-то там, бог знает где. «Чего новенького?» — «Это я у тебя хочу спросить: чего новенького?» И оба мы — я и тоже я — таращим друг на друга глаза, не понимаем друг друга. Хотя, спрашивается, что именно понимать-то, если даже не о чем поговорить? Факт многозначительный: если уж твои собственные жизни не приходят к одному знаменателю, не соединяются в одну жизнь и в один автопортрет, разве можно надеяться, что тебе удастся портрет твоей мамы? Портрет целого поколения? Безумие!

Вот и получилось чучело. Вместо портрета и автопортрета.

Впрочем, я и за это чучело благодарен маме. Во всяком случае больше благодарен, чем неблагодарен и обижен: мне кажется, я уже никогда не буду заниматься скульптурой, а это хорошо. Нет таланта. И необходимости нет, не чувствуется — тоже хорошо и нормально. Конечно, потерять хобби не достижение, после этого долгое время не знаешь, что и делать: читать Стругацких или бежать на митинг? Или — завидовать рыцарям нашей конторы: уж кто-кто, а они-то нашли себя, а главное, не сомневаются в том, что нашли.

Митинги меня не прельщают — бывал, видел, что это такое: сплошь мыслители и бессребреники выступают против сплошь тупиц и взяточников. Сплошь — меня не устраивает. Ошалелые физиономии — тоже.

Буду читать Стругацких — я и всегда-то к ним тяготел. У них полезное свойство: заменить читателю его современность.

Буду еще больше любить свою старушку маму, она заметно постарела в последние дни.

Теперь, когда неудача постигла меня, я и об удаче сужу объективно, без восторга — ну и что? Что было бы, если бы мамин портрет мне удался — может, мои проекты стали бы от этого осмысленнее? Или колбасы в магазинах прибавилось бы? Или моя бывшая такая красивая жена Татьяна вздохнула бы: «Уж не напрасно ли я Анатолия оставила?»?

И вот еще что: и мои бывшие жены и бывшие мамы мужа в воображении моем иногда собирались в одну компашку и все как один таращили глаза на мамину скульптуру-чучело и на меня тоже — нормальные советские люди на ненормального советского чудака. В последнее время Валуев тоже оказывался среди них, тоже таращился, а я под этим коллективным взглядом чувствовал себя словно неудачливый самоубийца. Если же это происходило во сне, просыпаясь, я начинал соображать: кто там был-то, в той компашке, а кого все-таки не было? Как правило, бывали все эти лица, и даже еще кто-то присоединялся, кто именно, я вспомнить не мог. Может быть, это были мои учителя, те, которые толпились в дверях класса, когда директор Шаров-Шрамов выяснял: кто? Может быть, даже и Шаров-Шрамов был в той компании, которая таращилась на меня, он ведь все-таки не спился и еще долго продолжал директорствовать, пока не ушел на персональную пенсию.

Иногда же я принимаю рассуждать о портретах вообще. Без «вообще» и «в общем-то» нет жизни, особенно у нас, русских. Так вот, вспоминается мне автопортрет Анны Семеновны Голубкиной — одержимая и некрасивая женщина, так я ее вижу, хотя, сказать по правде, видеть ее я боюсь. Любить — другое дело. Преклоняться перед ней — тоже другое.

Или вот гоголевский «Портрет». Начало: художник покупает на улице портрет.

«— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный,— сказал художник, готовясь идти.

— Эх цену какую завернули! да за двугривенный...»

Конец: «Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению,— во что бы то ни было истреби его...»

Начал-то я так же — с двугривенного, но чтобы так же кончить, чтобы мою скульптуру кто-то стремился истребить, да еще во что бы то ни было,— нет, такого высочайшего признания мне никогда не достигнуть...

Конечно, хорошо было бы сказать о жизни что-нибудь хорошее. Но ведь вполне серьезно и хорошо можно сказать только о том, что ты хорошо знаешь, а что я о жизни знал, что понимал в ней?

Теперь мне бы полюбить кого-нибудь, это единственный выход, это позволило бы мне или суметь сказать, или суметь забыть. И невероятно, но как раз на этих днях ко мне явилась уверенность, что я вовсе не обделен любовью, но только такой, которая никогда не поможет мне ни сказать, ни забыть: ведь уже было время, когда я отчаянно любил Татьяну (Ларину?), потом был отчаянно ею оскорблен и до предела ее возненавидел, а теперь, вот только теперь — первая любовь... Оказывается, первое может быть только после прошлого, а прошлое — после начала, так я понял то, что со мной случилось. Может быть, кто-то и скажет: не может быть! И я бы точно так же сказал, если бы это не касалось меня самого, днями и ночами обреченного ощущать «южный» взгляд, вспоминать все интимные подробности прошлой нашей любви, чувствовать себя подлецом, потому что ничего не могу пожелать своей возлюбленной, кроме несчастья: ведь только огромное несчастье в ее новом браке могло бы вернуть ее ко мне. Если уж не вернуть, так хотя бы погасить отчуждение того взгляда, которым при встречах она окидывает меня.

Еще недавно я всячески избегал этих встреч и вот уже всячески их ищу. Я знаю, что привело к этой драме: другая драма, постигшая меня с моим замыслом.

Да, и еще забыл сказать: когда мы с мамой работали вместе, она позировала, я лепил, она не раз обращалась ко мне:

— Толик! Давай как-нибудь назовем нашу скульптуру? А?

— Так ведь природой дано название: Анна Михеева.

— То — природа, а то — мы с тобой! — настаивала мама.— Ты же не будешь при мне называть мой портрет «Анной Михеевой»? Я при тебе не буду его так называть? Знаешь, как между собой мы договоримся?

— Как?

— Незабудка! Так мы будем называть нашу скульптуру! Правда, хорошо? Поэтично?

Незабудка — это вполне в мамином вкусе, и, кажется, в духе поколения, я соглашался — пусть так и будет. И в моей памяти, пока жив, под этим именем и останется незримый портрет моей мамы, и я никогда не спутаю его с другими цветами — ни со скромными фиалками, ни с благоухающими розами.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ



В ЭТОТ ДЕНЬ

* * *

Я снимал комнатуху, которой не сыщешь светлей,
В частном секторе на Дар-горе у одной фронтовички,
Жившей рынком и пенсией в семьдесят восемь рублей
И курившей махорку по давней военной привычке.

Все здесь было, как в прочих таких же добротных домах:
И цыплята сновали по дворику, словно шпионы,
И, как школьницы, рдели черешни, и в белых чалмах
В парниках возлежали задумчивые шампиньоны.

А хозяйка еще из пшеницы гнала самогон,
Он, пролившись, сгорал со стыда на ковровой дорожке,
И клиенты, зверея, сухой материли закон,
И, как мерзкие птицы, слетались к Терентьевне трешки.

А спровадив гостей и припрятав купюры, она,
Головой покачав, к сундуку тяжело ковыляла,
Доставала с усмешкой резную шкатулку со дна
И медаль «За отвагу» на желтую кофту цепляла.

И летела душа ее мимо житейской тщеты,
Мимо мелочных дрязг, повторявшихся тысячекратно,
Не смущаясь ни тем, что боится уже высоты,
И ни тем, что придется потом возвращаться обратно.

* * *

Тут даже муравьи не смотрят на часы,
Осины и дубы здесь высятся стеною,
И, как сухой брусок о лезвие косы,
Вовсю звенит оса над мятою лесною.

И, крыльшками сушь провеяв горячо
И отрешенно вдаль взгляд устремляя карий,
Лимонница тебе садится на плечо,
Рискуя лечь ничком в напыщенный гербарий.

И солнца луч горит в листве, и паучки
Плетут, как диалог, затейливые сети,
А у нарядных птиц расширены зрачки
От счастья, что они живут на белом свете.

ВЛАДИМИР ЛЕВИ



АВТОГРАФЫ

* * *

Нечаянная клякса на строке
обогадилась бюстом. Вышла дама
при бакенбардах, в черном парике
и с первородным яблоком Адама,
известным под названием кадык.
Небрежные штрихи и завитушки.
«И назовет меня всяк сущий в ней язык...»
Автопортрет писал художник Пушкин.

Сенатская площадь.
Кресты на полу.
Пять виселиц тощих
и профиль в углу.

А тот, с завитками,
совсем не такой.
Душа облаками,
а мысли рекой.

Среди кудрей и ломких переносиц
хрустел ухмылкой новенький диплом,
где красовался титул «рогоносец».
Но в этот миг он думал не о том.
Рука чертила долговые суммы,
носы тупые, сморщенные лбы,
кокарды, пистолет... Но эти думы
не совмещались с линией судьбы.

На площади пусто.
Потухший алтарь.
Горящие люстры.
Танцующий царь.

Потребуется крови,
как встарь, красота.

Зачеркнутый профиль
и пена у рта.

**Перевод надписи на скамейке
«Здесь был Валера»**

Из недр небесных всходит гений,
соединитель поколений,
комета с ледяным хвостом.
Он странен, как закон природы.
Он страшен, как страшны уроды.
Но есть таинственность и в том,

как хищно маленькие души
вгрызаются в чужие уши,
собою удовлетворясь,
как неумытые поэты
маракают автопортреты
и дарят с надписями грязь,

как недознайки, недосмейки
садутся хором на скамейки,
на стенки лезут и поют.
Везде один и тот же голос,
не отличимый ни на волос:
— Мы были здесь. Мы были тут.

Со сладострастием заборным
ползем на небо ходом черным,
а сатана играет туш —
но погодите же! — а вдруг вы
прочтете сквозь немые буквы
инициалы наших душ?

О, поглядите же на стены,
они нам заменяют сцены
и трубы Страшного суда.
Ах, как же вы не догадались,
мы были здесь и мы остались
и остаемся навсегда.



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ

1918—1956

Опыт художественного исследования

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

Глава 7

ТУЗЕМНЫЙ БЫТ

Рассказать о внешней однообразной туземной жизни Архипелага — кажется, легче и доступней всего. А и труднее вместе. Как о всяком быте, надо рассказать от утра и до следующего утра, от зимы и до зимы, от рождения (приезда в первый лагерь) и до смерти (смерти). И сразу обо всех — обо всех островах и островках.

Никто этого не обнимет, конечно, а целые тома читать пожалуй будет скучно.

А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы; из голода, холода и хитрости. Работа эта, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком, — работа эта *общая*, та самая, которая из земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю.

Видов этих общих работ не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать («машина ОСО, две ручки, одно колесо»). Носилки таскать. Кирпичи разгружать голыми руками (покров кожи быстро снимается с пальцев). Таскать кирпичи на себе «козой» (за спинными носилками). Ломать из карьеров камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить шесть кубиков да отвезти на бутару. Да просто землю грызть (кремнистый грунт да зимой; на дороге Тайшет — Абакан при 40° мороза — киркой и лопатой взять четыре кубометра). Уголёк рубить под землёю. Там же и рудишки — свинцовую, медную. Ещё можно — медную руду молоть (сладкий привкус во рту, из носа течёт водичка). Можно креозотом пропитывать шпалы (и всё тело своё). Тоннели можно рубить для дорог. Пути подсыпать. Можно по пояс в грязи вынимать торф из болота. Можно плавить руды. Можно лить металл. Можно кочки на мокрых лугах выкашивать (а ходить по полголени в воде). Можно конюхом, возчиком быть (да из лошадиной торбы себе в котелок овёс перекаладывать, а она-то казённая, травяной мешок, выдюжит небось, однако и подохни). Да вообще на сельхозах можно править всю кре-

стьянскую работу (и лучше этой работы нет: что-нибудь из земли да выдернешь).

Но всем отец — наш русский лес со стволами истинно-золотыми (из них золотцо добывается). Но старше всех работ Архипелага — лесоповал. Он всех зовёт, он всех поместит, и даже не упадёт для инвалидов (безруких звеном по три человека посылают утаптывать полуметровый снег). Снег — по грудь. Ты — лесоруб. Сперва ты собой утопчешь его около ствола. Свалишь ствол. Потом, едва проталкиваясь по снегу, обрубишь все ветки (ещё их надо тискать в снегу и топором до них добираться). Всё в том же рыхлом снегу волоча, все ветки ты снесёшь в кучи и в кучах сожжёшь (а они дымят, не горят). Теперь лесину распилишь на размеры и соштабелюешь. И норма тебе на брата в день — пять кубометров, а на двоих — десять. (В Буреполоме — семь кубов, но толстые кряжи надо было ещё колоть на плахи.) Уже руки твои не поднимают топора, уже ноги твои не переходят.

В годы войны (при военном питании) звали лагерники три недели лесоповала — *сухим расстрелом*.

Этот лес, эту красу земли, воспетую в стихах и в прозе, ты возненавидишь! Ты с дрожью отвращения будешь входить под сосновые и берёзовые своды! Ты ещё потом десятилетиями, чуть закрыв глаза, будешь видеть те еловые и осиновые кряжи, которые сотни метров волок на себе до вагона, утопая в снегу, и падал, и цеплялся, боясь упустить, не надеясь потом поднять из снежного месива.

Каторжные работы в дореволюционной России десятилетиями ограничивались Урочным Положением 1869 года, изданным для вольных. При назначении на работу учитывались: физические силы рабочего и степень навыка (да разве в это можно теперь поверить?!). Рабочий день устанавливался зимой семь часов (!), летом — двенадцать с половиной. На Акатуйской лютой каторге (П. Ф. Якубович, 1890-е годы) рабочие уроки были легко выполнимы для всех, кроме него. Их летний рабочий день там составлял с ходьбою вместе — восемь часов, с октября семь, а зимой — только шесть. (Это ещё до всякой борьбы за всеобщий восьмичасовой день!) Что до омской каторги Достоевского, то там вообще бездельничали, как легко установит всякий читатель. Работа у них шла в охотку, впритруску, и начальство даже одевало их в белые полотняные куртки и панталоны! — ну, куда ж дальше? У нас в лагере так и говорят: «хоть белые воротнички пришивай» — когда уж совсем легко, совсем делать нечего. А у них — и куртки белые! После работы каторжники «Мёртвого дома» подолгу гуляли по двору острога — стало быть не примаривались. Впрочем, «Записки из Мёртвого дома» цензура не хотела пропустить, опасаясь, что лёгкость изображённой Достоевским жизни не будет удерживать от преступлений. И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что жизнь на каторге *всё-таки* тяжела!¹ У нас только придурки по воскресеньям гуляли, да и те стеснялись. — А над «Записками Марии Волконской» Шаламов замечает, что декабристам в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить три пуда руды на человека (сорок восемь килограммов!) — за один раз можно поднять!), Шаламову же на Колыме — восемь сот пудов. Ещё Шаламов пишет, что иногда доходил у них летний рабочий день до шестнадцати часов! Не знаю как с шестнадцатью, а тринадцать-то часов хватило многие — и на земляных работах в Карлаге, и на северных лесоповалах, — и это чистых часов, кроме ходьбы пять километров в лес да пять назад. Впрочем, спорить ли о долготе дня? — ведь норма старше мастью, чем долгота рабочего дня, и когда бригада не выполняла нормы, то менялся вовремя только конвой, а работяги остава-

¹ Письма И. А. Груздева к Горькому. Архив Горького, т. XI. М. 1966, стр. 157.

лись в лесу до полуночи, при прожекторах, чтобы лишь перед утром сходить в лагерь и съесть ужин вместе с завтраком да снова в лес².

Рассказать об этом некому: они умерли все.

И ещё так поднимали норму, доказывая её выполнимость: при морозе ниже 50° дни активировались, то есть писалось, что заключённые не выходили на работу, — но их выгоняли, и что удавалось выжать из них в эти дни, раскладывалось на остальные, повышая процент. (А замёрзших в этот день услужливая санчасть списывала по другим поводам. А оставшихся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием ползущих на четвереньках, — конвой пристреливал, чтоб не убежали, пока за ними вернутся.)

И как же за всё это их кормили? Наливалась в котёл вода, сыпалась в него хорошо если нечищенная мелкая картошка, а то — капуста чёрная, свекольная ботва, всякий мусор. Ещё — вика, отруби, их не жаль. (А где мало самой воды, как на лагпункте Самарка под Карагандою, там баланда варилась только по миске в день, да ещё отмеряли две кружки солоноватой мутной воды.) Всё же стоящее всегда и непременно разворовывается для начальства (см. гл. 9), для придурков и для блатных, — повара настращены, только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со склада и жиров, и мясных «субпродуктов» (то есть не подлинно продуктов), и рыбы, и гороха, и круп, — но мало что из этого сыпется в жерло котла. И даже, в глухих местах, начальство отбирало соль для своих солений. (В 1940 на железной дороге Котлас — Воркута и хлеб и баланду давали несолеными.) Чем хуже продукт, тем больше попадает его экам. Мясо лошадей, измученных и павших на работе, — попадало, и хоть разжевать его нельзя было — это пир. Вспоминает теперь Иван Добряк: «В своё время я много протолкнул в себя дельфиньего мяса, моржового, тюленьего, морского кота и другой морской животной дряни. (Прерву: китовое мясо мы и в Москве ели, на Калужской заставе.) Животный кал меня не страшил. А иван-чай, лишайник, ромашка — были лучшими блюдами». (Это уж он, очевидно, добирал к пайку.)

Накормить по нормам ГУЛАГа человека, тринадцать или даже десять часов работающего на морозе, — нельзя. И совсем это невозможно после того, как закладка обворована. Тут-то и запускается в кипящий котёл сатанинская мешалка Френкеля: накормить одних работяг за счёт других. «Котлы» разделяются: при выполнении (в каждом лагере это высчитывают по-своему) скажем меньше 30% нормы — котёл карцерный: 300 граммов хлеба и миска баланды в день; с 30% до 80% — штрафной: 400 граммов хлеба и две миски баланды; с 81% до 100% — производственный: 500—600 граммов хлеба и три миски баланды; дальше идут котлы ударные, причём разные: 700—900 хлеба и дополнительная каша, две каши, «премблюда» («премиальное») — какой-нибудь тёмный горьковатый ржаной пирожок с горохом.

И за всю эту водянистую пищу, не могущую покрыть расход тела, — сгорают мускулы на надрывной работе, и ударники и стахановцы уходят в землю раньше отказчиков. Это понято старыми лагерниками и говорят так: *лучше каши не доложить, да на работу не тревожить!* Если выпадет такое счастье — остаться на нарах «по раздетости», получишь гарантированные шестьсот. Если одели тебя по сезону (это — знаменитое выражение) и вывели на трассу — хоть издолбись кувалдой в зубило, больше трёхсотки на мёрзлом грунте не получишь.

Но не в воле эка остаться на нарах... Ещё бегут на развод,

² Те, кто увеличивает промышленные нормы, могут ещё обманывать себя, что таковы успехи технологии производства. Но те, кто увеличивает физические нормы, — это падачи из палачей! — они же не могут серьёзно верить, что при социализме стал человек вдвое выше ростом и вдвое толще мускулами. Вот кого — судить! Вот кого послать на эти нормы.

чтоб не остаться последним. (В иную пору в иных лагерях *последнего* — расстреливали.)

Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это — типичные цифры: по Краслагу времён войны. На Воркуте в то время горняцкая пайка, наверное самая высокая в ГУЛАГе (потому что тем углём отапливалась героическая Москва), была: за 80% под землёю и за 100% наверху — кило триста.

А до революции? В ужаснейшем убийственном Акатуе в *нерабочий* день («на нарах») давали два с половиною фунта хлеба (кило!) и 32 золотника мяса — 133 грамма! В рабочий день — три фунта хлеба и 48 золотников (200 граммов) мяса — да не выше ли нашего фронтového армейского пайка? У них баланду и кашу целыми ушатами арестанты относили надзирательским свиньям, размазную же из гречневой (! — ГУЛАГ никогда не видал её) каши П. Якубович нашёл «невыразимо отвратительной на вкус». — Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского. Чего уж там, если в остроге у них («в зоне») ходили гуси (!!) — и арестанты не сворачивали им голов³. Хлеб на столах стоял у них вольный, на Рождество же отпустили им по фунту говядины, а масла для каши — вволю. — На Сахалине рудничные и «дорожные» арестанты в месяцы наибольшей работы получали в день: хлеба — 4 фунта (кило шестьсот!), мяса — 400 граммов, крупы — 250! И добросовестный Чехов ис-следует: действительно ли достаточны эти нормы или, при плохом качестве выпечки и варки, их недостаёт? Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней и скончался.

Какая же фантазия в начале века могла представить, что «через тридцать — сорок лет» не на Сахалине одном, а по всему Архипелагу будут рады ещё более мокрому, засоренному, закалелому, с примесями чёрт-те-чего хлебу — и семьсот граммов его будут завидным «ударным» пайком?!

Нет, больше! — что по всей Руси колхозники ещё и этой арестантской пайке позавидуют! — «у нас и её ведь нет!..».

Даже на нерчинских царских рудниках платили «старательские» — дополнительную плату за всё, сделанное сверх казённого урока (всегда умеренного). В наших лагерях большую часть лет Архипелага не платили за труд ничего или столько, сколько надо на мыло и зубной порошок. Лишь в тех редких лагерях и в те короткие полосы, когда почему-то вводили *хозрасчёт* (и от одной восьмой до одной четвертой части истинного заработка зачислялось заключённому), — эски могли подкупать хлеб, мясо и сахар — и вдруг, о удивление! — на столе в столовой осталась корочка, и пять минут никто за ней руку не протянул.

Как же одеты и как обуты наши туземцы?

Все архипелаги — как архипелаги: плещется вокруг синий океан, растут кокосовые пальмы, и администрация островов не несёт расхода на одежду туземцев — ходят они босиком и почти голые. А наш проклятый Архипелаг и представить нельзя под жарким солнцем: вечно покрыт он снегом, вечно дуют вьюги над ним. И всю эту десяти-пятнадцатимиллионную прорву арестантов надо ещё и одеть и обути.

К счастью, родясь за пределами Архипелага, они сюда приезжают уже не вовсе голые. Их можно оставить в чём есть — верней, в чём оставят их *социально-близкие* — только в знак Архипелага вырвать кусок, как ухо стригут барану: у шинелей косо обрезать полы, у будёновок срезать шишаки, сделав продув на макушке. Увы, воль-

³ По мерке многих тяжких лагерей справедливо упрекнул меня Шаламов: «и что ещё за большичный кот ходит там у вас? Почему его до сих пор не зарезали и не съели?.. И зачем Иван Денисович носит у вас ложку, когда известно, что всё, варимое в лагере, легко съедается жидким, через бортики?»

ная одежда — не вечная, а обутка — в неделю издирается о пеньки и кочки Архипелага. И приходится туземцев одевать, хотя расплачиваться им за это нечем.

Это когда-нибудь ещё увидит русская сцена! русский экран! — сами бушлаты одного цвета, рукава к ним — другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не видно его основы. Или бушлат-огонь (лохмотья как языки пламени). Или заплатка на брюках — из обшивки чьей-то посылки, и ещё долго можно читать уголок адреса, написанный чернильным карандашом⁴.

А на ногах — испытанные русские лапти, только онучей хороших к ним нет. Или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. (У горя и догадки...) Если этот кусок покрышки схвачен проволочками в лодочную обутку — то вот и знаменитое «ЧТЗ» (Челябинский тракторный завод). Или «бурки», сшитые из кусков разорванных старых телогреек, а подошвы у них — слой войлока и слой резины⁵. Утром на вахте, слыша жалобы на холод, начальник ОЛПа отвечает им с гулаговским остроумием:

— У меня вон гусь всю зиму босой ходит и не жалуется, правда ноги красные. А вы все в чунях.

Ко всему тому выйдут на экран бронзово-серые лагерные лица. Слезящиеся глаза, покрасневшие веки. Белые истресканные губы, обмётанные сыпью. Пегая небритая щетина. По зиме — летняя кепка с пришитыми наушниками.

Узнаю вас! — это вы, жители моего Архипелага!

Но сколько б ни был часов рабочий день — когда-то приходят же работяги и в барак.

Барак? А где и землянка, врытая в землю. А на Севере чаще — палатка, правда обсыпанная землёй, кой-как обложенная тёмсом. Нередко вместо электричества — керосиновые лампы, но и лучины бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. (В Усть-Выми два года не видели керосина и даже в штабном бараке освещались маслом с продсклада.) Вот в этом сиротливом освещении и разглядим наш погубленный мир.

Нары в два этажа, нары в три этажа, признак роскоши — вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воруют настолько подчистую (а потом проматывают через вольных), что уже и казённого ничего не выдают и своего в бараках ничего не держат: носят на работу и котелки и кружки (даже вещмешки за спиной — и так землю копают), надевают на шею одеяла, у кого есть (кадр!), либо относят к знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрое рабочее (и сушилка есть) — так раздетый ведь замёрзнешь на голом. Так и сушат на себе. Ночью примерзает к стене палатки — шапка, у женщин — волосы. Даже лапти прячут под головы, чтоб не украли их с ног (Буреполом, годы войны). — Посреди барака — бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если раскалена — тогда парной портяночный дух застилает весь барак, — а то не горят в ней сырые дрова. — Иные баракки так заражены насекомыми, что не помогают четырёхдневные серные окуривания, и если летом уходят зэки спать в зоне на земле — клопы ползут за ними и достигают их там. А вшей с белья зэки вываривают в своих обеденных котелках.

Всё это стало возможно только в социалистическом государстве XX века, и сравнить с тюремными летописцами прошлого века здесь не удаётся ничего: они не писали о таком.

Ко всему этому ещё пририсовать, как из хлебрезки в столовую несут на подносе бригадный хлеб под охраною самых здоровых бри-

⁴ На Акатге арестантам давали шубы.

⁵ Ни Достоевский, ни Чехов, ни П. Якубович не говорят нам, что было у арестантов на ногах. Да уж обуты, иначе б написали.

гадников с дрынами — иначе вырвут, собьют, расхватают. Пририсовать, как посыпки выбивают из рук на самом выходе из посылочного отделения. Добавить постоянную тревогу, не отнимет ли начальство выходного дня (что говорить о войне, если в «совхозе Ухта» уже за год до войны не стало ни одного выходного, а в Карлаге их не помнят с 1937 по 1945). Наложить на это всё — вечное лагерное непостоянство жизни, судорогу перемен: то слухи об этапе, то сам этап (каторга Достоевского не знала этапов, и по десять и по двадцать лет люди отбывали в одном остроге, это совсем другая жизнь); то какую-то тёмную и внезапную тасовку «контингентов»; то переброски «в интересах производства»; то комиссовки; то инвентаризация имущества; то внезапные ночные обыски с раздеванием и переключиванием всего скудного барахла; ещё отдельные доскональные обыски к 1 мая и 7 ноября (Рождество и Пасха каторги прошлого века не знали подобного). И три раза в месяц губительные, разорительные бани. (Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь: есть обстоятельный рассказ-исследование у Шаламова, есть рассказ у Домбровского.)

И ещё потом — твою постоянную цепкую (для интеллигента — мучительную) неотдельность, не состояние личностью, а членом бригады, и необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как ты решил, а как надо бригаде.

И вспомнить ещё, что всё сказанное относится к лагерю стационарному, стоящему не первый год. А ведь когда-то и кому-то (кому, как не нашему несчастному брату) эти лагеря надо начинать: приходиться в морозный заснеженный лес, обтягиваться проволокой по деревьям, а кто доживёт до первых барачков — барачки те будут для охраны. В ноябре 1941 близ станции Решёты открывался 1-й ОЛП Краслага (за десять лет их стало семнадцать). Пригнали двести пятьдесят вояк, изъятых из армии для её морального укрепления. Валили лес, строили срубы, но крыши крыть было нечем, и так под небом жили с чугунными печками. Хлеб привозили мороженный, его разрубляли топором, выдавали пригоршнями — колотый, крошеный, мятый. Другая еда была — круто солёная горбуша. Во рту пылало, и пылание заедали снегом.

(Поминая героев Отечественной войны, не забудьте этих...)

Вот это и есть — быт моего Архипелага.

* * *

Философы, психологи, медики и писатели могли бы в наших лагерях, как нигде, наблюдать подробно и множественно особый процесс сужения интеллектуального и духовного кругозора человека, снижения человека до животного и процесс умирания заживо. Но психологам, попадавшим в лагеря, большей частью было не до наблюдений: они сами ужожили в ту же струю, смывающую личность в кал и прах.

Уцелевшие в лагерях партийные ортодоксы шлют мне теперь возвышенные возражения: как низко чувствуют и думают герои «Одного дня Ивана Денисовича»! Где ж их страдательные размышления о ходе истории? (Впрочем, есть там и они.) Всё пайка да баланда, а ведь есть гораздо более тяжкие муки, чем голод!

Ах — есть? Ах — гораздо более тяжкие муки (муки ортодоксальной мысли)? Не знали ж вы голода, при санчастях да каптёрках, господа благомыслящие ортодоксы!

Столетиями открыто, что Голод — правит миром. (И на Голоде, на том, что голодные неминуемо будто бы восстанут против сытых, построена и вся Передовая Теория, к стати. И всё не так: восстают лишь чуть приголоженные, а истинно-голодным не до восстания.) Голод правит каждым голодающим человеком, если только тот не решил сам сознательно умереть. Голод, понуждающий честного человека тянуться украсть («брюхо вытрясло — совесть вынесло»). Голод, заставляющий самого бескорыстного человека с завистью смотреть на

чужую миску, со страданием оценивать, сколько тянет пайка соседа. Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чём подумать, ни о чём заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон: сны — о еде, и бессонница — о еде. И скоро — одна бессонница. Голод, от которого с опозданием нельзя уже и наестся: человек превращается в прямоточную трубу, и всё выходит из него в том самом виде, в каком заглотано.

Как ничто, в чём держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и Архипелаг не мог бы копошиться иначе, как отделив на дно свой главный отброс — *доходяг*. И всё, что построено Архипелагом, — выжато из мускулов доходяг (перед тем, как им стать доходягами).

И ещё это должен увидеть русский экран: как доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. Как они бросаются, дерутся, ищут рыбу голову, кость, овощные очистки. И как один доходяга гибнет в этой свалке убитый. И как потом эти отбросы они моют, варят и едят. (А любознательные операторы могут ещё продолжить съёмку и показать, как в 1947 в Долинке привезённые с воли бессарабские крестьянки бросаются с тем же замыслом на уже проверенную доходягами помойку.) Экран покажет, как под одеялами стационара лежат ещё сочленённые кости и почти без движения умирают — и их выносят. Вообще — как просто умирает человек: говорил — и замолк; шёл по дороге — и упал. «Бырк — и готов». Как (лапункты Унжа, Нукша) мордатый социально-близкий нарядчик за ноги сдёргивает с нар на развод, а тот уже мёртв, головою об пол. «Подох, падло!» И ещё его весело пинает ногой. (На тех лапунктах во время войны не было ни лекпома, ни даже санитаря, оттого не было и больных, а кто притворялся больным — выводили под руки товарищи в лес и ещё несли с собой доску и верёвку, чтобы недомерших легче волочить назад. На работе сажали больного близ костра, и все — заключённые и конвоиры — заинтересованы были, чтоб скорее он умер.)

Чего не схватит экран, то опишет нам медленная внимательная проза, она различит эти оттенки смертного пути, называемые то цынгой, то пеллагрой, то — безбелковым отёком, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе — это цынга. Дальше начнут вываливаться зубы, гнить дёсны, появятся язвы на ногах и будут отпадать ткани целыми кусками, от человека завоняет трупом, сведёт ноги от толстых шишек, в стационар таких не кладут, и они ползают на карачках по зоне. — Темнеет лицо, как от загара, шелушится, а всего человека проносит понос — это пеллагра. Как-то надо остановить понос — там принимают мел по три ложки в день, здесь говорят, что если достать и наестся селёдки — пища начнёт держаться. Но где же достать селёдки? Человек слабеет, слабеет, и тем быстрее, чем он крупнее ростом. Он уже так слаб, что не может подняться на вторые нары, что не может перешагнуть через лежащее бревно: надо ногу поднять двумя руками или на четвереньках переползти. Поносом выносит из человека и силы и всякий интерес — к другим людям, к жизни, к самому себе. Он глохнет, глупеет, теряет способность плакать, даже когда его волоком тащат по земле за саями. Его уже не пугает смерть, им овладевает податливое розовое состояние. Он перешёл все рубежи, забыл, как зовут его жену и детей, забыл, как звали его самого. — Иногда всё тело умирающего от голода покрывают сине-чёрные горошины с гнойными головками меньше булавочной — по лицу, рукам, ногам, туловищу, даже мошонке. К ним не прикоснуться, так больно. Нарывчики созревают, лопаются, из них выдавливается густой червеобразный жгутик гноя. Человек сгнивает заживо.

Если по лицу соседа твоего на нарах с недоумением расплозились головные чёрные вши — это верный признак смерти.

Фи, какой натурализм. Зачем ещё об этом рассказывать?

И вообще, говорят теперь нам те, кто сами не страдали, кто казнил или умывал руки, или делал невинный вид: зачем это всё вспоминать? Зачем бередить старые раны? (Их раны!!)

На это ответил ещё Лев Толстой Бирюкову («Разговоры с Толстым»): «Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь, и я излечился и стал чистым от неё, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею всё так же и ещё хуже, и мне хочется обмануть себя. Если мы вспомним старое и прямо взглянем ему в лицо, тогда и наше новое теперешнее насилие откроется».

Эти страницы о доходагах я хочу закончить рассказом Н. К. Г. об инженере Льве Николаевиче (ведь наверняка в честь Толстого!) Е.— доходяге-теоретике, нашедшем форму существования доходяги наиболее удобной формой сохранения своей жизни.

Вот занятие инженера Е. в глуховатом углу зоны в жаркое воскресенье: человекоподобное существо сидит в лоштинке над ямой, в которой собралась коричневая торфяная вода. Вокруг ямы разложены селёдочные головы, рыбные кости, хрящи, корки хлеба, комочки каши, сырые вымытые картофельные очистки и ещё что-то, что трудно даже назвать. На куске жести разложен маленький костёр, над ним висит солдатский дочерна закопчённый котелок с варевом. Кажется, готово! Деревянной ложкой доходяга начинает черпать тёмную бурду из котелка и поочерёдно заедает её то картофельным очистком, то хрящём, то селёдочной головой. Он очень долго, очень намеренно внимательно жуёт (общая беда доходяг — глотают поспешно, не жуя). Его нос едва виден среди тёмно-серой шерсти, покрывшей шею, подбородок, щёки. Нос и лоб — буро-воскового цвета, местами шелушатся. Глаза слезятся, часто мигают.

Заметив подход постороннего, доходяга быстро собирает всё разложенное, чего не успел съесть, прижимает котелок к груди, припадает к земле и сворачивается как ёж. Теперь его можно бить, толкать — он устойчив на земле, не стронется и не выдаст котелка.

Н. К. Г. дружелюбно разговаривает с ним — ёж немного раскрывается. Он видит, что ни бить, ни отнимать котелка не будут. Беседа дальше. Они оба инженеры (Н. Г.— геолог, Е.— химик), и вот Е. раскрывает перед Г. свою веру. Оперирруя забытыми цифрами химических составов, он доказывает, что всё нужное питание можно получить и из отбросов, надо только преодолеть брезгливость и направить все усилия, чтоб это питание оттуда взять.

Несмотря на жару Е. одет в несколько одежек, притом грязных. (И на это обоснование: Е. экспериментально установил, что в очень грязной одежде вши и блохи уже не размножаются, как бы брезгуют. Одну исподнюю одежду поэтому он даже выбрал из обтирочного материала, использованного в мастерской.)

Вот его вид: шлем-будёновка с чёрным огарком вместо шишака; подпалины и по всему шлему. К засаленным слоновьим ушам шлема прилипло где сено, где пакля. Из верхней одежки на спине и на боках языками болтаются вырванные куски. Заплаты, заплаты. Слой смолы на одном боку. Вата подкладки бахромой вывисает по подолу изнутри. Оба внешних рукава разорваны до локтей, и когда доходяга поднимает руки — он как бы взмахивает крыльями летучей мыши. А на ногах его — лодкоподобные чуни, склеенные из красных автопокрышек.

Зачем же так жарко он одет? Во-первых, лето короткое, а зима долга, надо всё это сберечь на зиму, где ж, как не на себе? Во-вторых, и главное, он тем создаёт мягкость, воздушные подушки — не чувствует боли ударов. Его бьют и ногами и палками, а синяков нет. Это — одна его защита. Надо только всегда успеть увидеть, кто хочет ударить, успеть упасть, колени подтянуть к животу и тем его прикрыть, голову пригнуть к груди и обнять толсто-ватными руками.

И тогда его могут бить только по мягкому. А чтоб не били долго — надо быстро доставить бьющему чувство победы, для этого Е. научился с первого же удара неистово кричать, как поросёнок, хотя ему совсем не больно. (В лагере ведь очень любят бить слабых, и не только нарядчики и бригадиры, а и простые зэки, чтобы почувствовать себя ещё не совсем слабым. Что делать, если люди не могут поверить в свою силу, не причинив жестокости?)

И Е. кажется вполне посильным и разумным избранный образ жизни — к тому же не требующим запятнания совести. Он никому не делает зла.

Он надеется выжить срок.

Интервью доходяги окончено.

Старый колымчанин Томас Сговио (итальянец из Баффало) утверждает: «доходягами скорее становились интеллигенты; все доходяги, которых я знал, были из интеллигенции. Я никогда не видел, чтобы доходягой стал простой русский крестьянин».

Может быть, это и верное наблюдение: крестьянину не открыт никакой путь, кроме труда, трудом он и спасается, трудом и погибает. А интеллигент иногда не имеет другой защиты, как стать доходягой и даже вот так виртуозно разработать теорию, как Е.

* * *

В нашем славном отечестве самые важные и смелые книги не бывают прочитаны современниками, не влияют вовремя на народную мысль (одни потому, что запрещены, преследуются, неизвестны, другие потому, что образованные читатели заранее от них отвращены). И эту книгу я пишу из одного сознания долга — потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть. Я не чаю своими глазами видеть её напечатанной где-либо; мало надеюсь, что прочтут её те, кто унёс свои кости с Архипелага; совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории тогда, когда ещё можно будет что-то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни: дракон вылез на минуту, шершавым красным язычком слизнул мой роман, ещё несколько старых вещей — и ушёл пока за занавеску. Но я слышу его дыхание и знаю, что зубы его намечены на мою шею, только ещё не отмерены все сроки. И с душой разорённой я силюсь кончить это исследование, чтоб хоть оно-то избежало драконовых зубов. В дни, когда Шолохов, давно уже не писатель, из страны писателей растерзанных и арестованных поехал получать Нобелевскую премию, — я искал, как уйти от шпиков в укывище и выиграть время для моего потайного запыхавшегося пера, для окончания вот этой книги.

Это я отвлёкся, а сказать хотел, что у нас лучшие книги остаются неизвестны современникам, и очень может быть, что кого-то я зря повторяю, что, зная чей-то тайный труд, мог бы сократить свой. Но за семь лет хилой блеклой свободы кое-что всё-таки всплыло, одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло. Так я узнал шестьдесят лагерных рассказов Шаламова и его исследование о блатных.

Я хочу здесь заявить, что кроме нескольких частных пунктов между нами никогда не возникало разнотолка в изъяснении Архипелага. Всю туземную жизнь мы оценили в общем одинаково. Лагерный опыт Шаламова был горше и дольше моего и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того dna озверения и отчаяния, к которому тянул нас весь лагерный быт.

Это однако не запрещает мне возразить ему в точках нашего расхождения. Одна из этих точек — лагерная санчасть. О каждом лагерьном установлении говорит Шаламов с ненавистью и жёлчью (и прав!) — и только для санчасти он делает всегда пристрастное исклю-

чение. Он поддерживает, если не создаёт, легенду о благодетельной лагерной санчасти. Он утверждает, что всё в лагере против лагерника, а вот врач — один может ему помочь.

Но может помочь ещё не значит: помогает. Может помочь, если захочет, и прораб, и нормировщик, и бухгалтер, и нарядчик, и каптёр, и повар, и дневальный — да много ли помогают?

Может быть до 1932 года, пока лагерная санитария ещё подчинялась Наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в 1932 они были переданы полностью в ГУЛАГ — и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками. Так не говоря о добрых случаях у добрых врачей — кто держал бы эту санчасть на Архипелаге, если б она не служила общей цели?

Когда комендант и бригадир избивают доходягу за отказ от работы — так, что он зализывает раны как пёс, двое суток без памяти лежит в карцере (Бабич), два месяца потом не может сползти с нар, — не санчасть ли (1-й ОЛП Джидинских лагерей) отказывается составить акт, что было избивание, а потом отказывается и лечить?

А кто, как не санчасть, подписывает каждое постановление на посадку в карцер? (Впрочем не упустим, что не так уж начальство в этой врачебной подписи нуждается. В лагере близ Индигирки был вольнонаёмным «лепилой» (фельдшером, — а не случайно лагерное словцо!) С. А. Чеботарёв. Он не подписал ни одного постановления начальника ОЛПа на посадку, так как считал, что в такой карцер и собак сажать нельзя, не то что людей: печь обогревала только надзирателя в коридоре. Ничего, посадки шли и без его подписи.)

Когда по вине прораба или мастера из-за отсутствия ограждения или защиты погибает на производстве зэк, — кто как не лекпом и санчасть подписывают акт, что он умер от разрыва сердца? (И, значит, пусть остаётся всё по-старому и завтра погибают другие. А иначе ведь и леклома завтра в забой. А там и врача.)

Когда происходит квартальная комиссовка — эта комедия общего медицинского осмотра лагерного населения с квалификацией на ТФТ, СФТ, ЛФТ и ИФТ (тяжёлый-средний-лёгкий-индивидуальный физический труд), — много ли возражают добрые врачи злему начальнику санчасти, который сам только тем и держится, что поставляет колонны тяжёлого труда?

Или может быть санчасть была милосердна хоть к тем, кто не пожалел доли своего тела, чтобы спасти остальное? Все знают закон, это не на одном каком-нибудь лагпункте: саморубам, членовредителям и *мостырщикам* медицинская помощь вовсе не оказывается! Приказ — администрации, а кто это *не оказывает* помощи? Врачи... Рванул себе капсулем четыре пальца, пришёл в больничку — бинта не дадут: иди, подыхай, пёс! Ещё на Волгоканале во время энтузиазма всеобщего соревнования вдруг почему-то (?) стало слишком много *мостырок*. Это нашло мгновенное объяснение: вылазка классового врага. Так их — лечить?.. (Конечно, здесь зависит от хитрости *мостырщика*: можно сделать *мостырку* так, что это не докажешь. Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку — и тем спас свою жизнь. Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенок и идет на мороз. Но не всё разочтёшь: возникает гангрена, а за нею смерть. Иногда бывает *мостырка* невольная: цынготные незаживающие язвы Бабича признали за сифилис, проверить анализом крови было негде, он с радостью солгал, что и сам болен сифилисом и все родственники. Перешёл в венерическую зону и тем отсрочил смерть.)

Или санчасть освобождала когда-нибудь всех, кто в этот день был действительно болен? Не выгоняла каждый день сколько-то совсем больных людей за зону? Героя и комика народа зэков Петра Кишкина врач Сулейманов не клал в больницу потому, что понос его не удовлетворял норму: чтоб каждые полчаса и обязательно с кровью. Тогда

при этапировании колонны на рабочий объект Кишкин сел, рискуя, что его подстрелят. Но конвой оказался милосерднее врача: остановил проезжую машину и отправил Кишкина в больницу.— Возразят, конечно, что санчасть была ограничена строгим процентом для группы «В» — больных стационарных и больных ходячих⁶. Так объяснение есть в каждом случае, но в каждом случае остаётся и жестокость, которую никак не перевесить соображением, что «зато кому-то другому» в это время сделали хорошо.

Да добавить сюда ужасные лагерные больнички вроде стационара 2-го лагпункта Кривощёкова: маленькая приёмная, уборная и комната стационара. Уборная зловонна и наполняет больничный воздух, но разве дело в уборной? Тут в каждой койке лежит по два поносника и на полу между койками тоже. Ослабевшие оправляются прямо в кроватях. Ни белья, ни медикаментов (1948-49 годы). Заведует стационаром студент 3-го курса мединститута (сидит по 58-й), он в отчаянии, но сделать ничего не может. Санитары, кормящие больных,— сильные жирные ребята: они объедают больных, воруют из их больничного пайка. Кто их поставил на это выгодное место? Наверно, кум. У студента не хватает сил их изгнать и защитить паёк больных. А у врача — у всякого хватало?..⁷

Или может быть в каком-нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание? Ну, хотя бы чтоб не видеть по вечерам этих «бригад куриной слепоты», так и возвращающихся с работы цепочкою слепых, друг за друга держась? Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтоб иметь крепких работяг. А не санчасть вовсе.

Врачей никто во всём этом и не винит (хотя часто слабо мужество их сопротивления, потому что на общие страхи идти), но не надо же и легенды о спасительной санчасти. Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже: дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита.

Продолжая свою мысль, говорит Шаламов, что только на одну санчасть и может рассчитывать в лагере арестант, а вот на труд своих рук он полагаться не может, не смеет: это — могила. «В лагере губит не маленькая пайка, а большая».

Пословица верна: большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит вчистую. Тогда ему дают временную инвалидность: четыреста граммов хлеба и самый последний котёл. За зиму большая часть их умирает (ну, например, 725 из 800). Остальные переходят на «лёгкий физический» и умирают уже на нём.

Но какой же другой выход мы можем предложить Ивану Денисовичу, если фельдшером его не возьмут, санитаром тоже, даже освобождения липового ему на один день не дадут? Если у него недостаток грамоты и избыток совести, чтоб устроиться придурком в зоне? Остаётся ли у него другой путь, чем положиться на свои руки? Отдыхательный Пункт (ОП)? Мостырка? Активровка?..

Пусть он сам расскажет о них, он ведь и их обдумывал, время было.

«ОП — это вроде дома отдыха лагерного. Десятки годов зэки горбят, отпусков не знают, так вот им — ОП, на две недели. Там кормят много лучше, и за зону не гонят, а в зоне часа три-четыре в день ле-

⁶ Врачи обходили это как могли. В Сымском ОЛПе устраивали полустационар: доходяги лежали на своих бушлатах, ходили чистить снег, но питались из больничного котла. Вольный начальник санотдела А. М. Статников обходил группу «В» так: он сокращал стационары в рабочих зонах, но расширял ОЛПы-больницы, то есть целиком состоящие из одних больных. В официальных гулаговских бумагах даже писали иногда: «поднять физпрофиль з/к з/к», — да поднимать-то не давали средств. Вся сложность этих увёрток честных врачей как раз и убеждает, что не дано было санчасти остановить смертный процесс.

⁷ Достоевский дожился в госпиталь безо всяких помех. И санчасть у них была даже общая с конвоем. Незрелость!

гонечко: щёбенку бить, зону убирать или ремонтировать. Если в лагере человек полтысячи — ОП открывают на пятнадцать. Да оно если б честно разложить, так за год с небольшим и все б через ОП обернулись. Но как ни в чём в лагере правды нет, так с ОП особенно нет. Открывают ОП исподвоху, как собака тяпнет, уже и список на три смены готовый, — и закроют так же вихрем, полугода оно не простоит. И прутся туда — бухгалтера, парикмахера, сапожники, портные — вся аристократия, а работяг подлинных добавят несколько для прикраски — мол, лучшие производственники. И ещё тебе портной Беремблюм в нос тычет: я, мол, шубу вольному сшил, за неё в лагерную кассу тысячу рублей плочено, а ты, дурак, целый месяц баланы катаешь, за тебя и ста рублей в лагерь не попадёт, так кто производственник? кому ОП дать? И ходишь ты, душой истекаешь: как бы в ОП попасть, ну легонечко передышаться, глядь — а его уж и закрыли, с концами. И самая обида, что хоть бы где в тюремном деле помечали, что был ты в ОП в таком-то году, ведь сколько бухгалтеров сидит. Не, не помечают. Потому что им невыгодно. На следующий год откроют ОП — и опять Беремблюм в первую смену, тебя опять мимо. За десять лет прокатят боками через десять лагерей, в десятом будешь проситься, хоть разик бы за целый срок в ОП просунуться, посмотреть, ладно ли там стены крашены, не был-де ни разу, — а как докажешь?..

Нет уж, лучше с ОП не расстраиваться.

Другое дело — мостырка, покалечиться так, чтоб и живу оставаться, и инвалидом. Как говорится, минута терпения — год кантовки. Ногу сломать да потом чтоб срослась неверно. Воду солёную пить — опухнуть. Или чай курить — это против сердца. А табачный настой пить — против лёгких хорошо. Только с мерою надо делать, чтоб не перемостырить, да через инвалидность в могилку не скакнуть. А кто меру знает?..

Инвалиду во многом хорошо: и в кубовой можно устроиться, и в лаптеплётку. Но главное, чего люди умные через инвалидство достигают, — это активировки. Только активировка тем более волнами, хуже чем ОП. Собирают комиссию, смотрят инвалидов и на самых плохих пишут акт: числа такого-то по состоянию здоровья признан негодным к дальнейшему отбыванию срока, ходатайствуем освободить.

Ходатайствуем только! Ещё пока этот акт по начальству вверх подымется да вниз скатится — тебя уж и в живых не застанет, частенько так бывало. Начальство-то ведь хитрозадое, оно тех и активирует, кому подышать через месяц⁸. Да ещё тех, кто заплатит хорошо. Вон, у Каликман однодельша — полмиллиона хопнув, сто тысяч заплатила — и на воле. Не то что мы, дураки.

Это по бараку книга такая ходила, студенты её в своём уголке вслух читали. Так там парень один добыл миллион и не знал, что с тем миллионом при советской власти делать — будто, де, купить на него ничего нельзя и с голоду помрёшь с им, с миллионом. Смеялись и мы: уж брешите кому-нибудь другому, а мы этих миллионщиков за ворота не одного провожали. Только может здоровья божьего на миллион не купишь, а свободу покупают, и власть покупают, и людей с потрохами. С миллионами их уже ой-ой-ой на воле завелось, только что на крышу не лезут, руками не махают.

А Пятьдесят Восьмой активировка закрыта. Сколько лагеря стоят — раза три по месяцу, говорят, была активировка Десятому Пункту, да тут же и захлопывалась. И денег от них никто не возьмёт, от врагов народа, — ведь это свою голову класть взамен. Да у них и денег не бывает, у политиканов».

— У кого это, Иван Денисыч, у них?

— Ну, у нас...

⁸ У бывшего зэка Олега Волкова в рассказе «Деды»: «активированные» старики выгнаны из лагеря, но им некуда уходить, и они располагаются тут же поблизости, умереть — без отнятой пайки и крова.

* * *

Но одно *досрочное освобождение* никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта. Освобождение это — смерть.

И это есть самая основная, неуклонная и никем не нормируемая продукция Архипелага.

С осени 1938 по февраль 1939 на одном из Усть-Вымьских лагпунктов из 550 человек умерло 385. Некоторые бригады (Огурцова) целиком умирали, и с бригадами. Осенью 1941 Печорлаг (железнодорожный) имел списочный состав — 50 тысяч, весной 1942 — 10 тысяч. *За это время никуда не отправлялось ни одного этапа*, — куда же ушли с о р о к т ы с я ч? Написал в разрядку «тысяч» — а зачем? Узнал эти цифры случайно от ээка, имевшего к ним в то время доступ, — но по всем лагерям, по всем годам не узнаешь, не просуммируешь. На центральной усадьбе Буреполомского лагеря в бараках доходят в феврале 1943 из пятидесяти человек умирало за ночь двенадцать, никогда — меньше четырёх. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидкой магаре и четырёхстах граммах хлеба.

Мертвецов, ссохшихся от пеллагры (без задниц, женщин — без груди), сгнивших от цинги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие — вертикальный разрез от шеи до лобка, перебой на ноге, раздвиг черепного шва. Чаще же не анатом, а конвоир проверял — действительно ли ээк умер или притворяется. Для этого прокалывали туловище штыком или большим молотком разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомостях.

Когда-то хоронили в белье, потом — в самом плохом, третьего срока, серо-грязном. Потом было единое распоряжение: не тратиться на бельё (его ещё можно было использовать на живых), хоронить голыми.

Считалось когда-то на Руси: мёртвый без гроба не обойдётся. Самых последних холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских и акатуйских каторжан — в гробах же. Но на Архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты лесоматериалов и труда. Когда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через КВЧ дано было указание провести агитацию: работайте хорошо — *и вас тоже похоронят в деревянном гробу!*

Вывозили на санях или подводе — по сезону. Иногда для удобства ставили ящик под шесть трупов, а без ящиков связывали руки и ноги бечёвками, чтоб они не болтались. После этого наваливали как брёвна, а потом покрывали рогожей. Если был аммонал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе приходилось копать, всегда братские, по грунту: большие на многих или мелкие на четверых. (Весной из мелких ямок начинает на лагерь пованивать, посылают доходяг углублять.)

Зато никто не обвинит нас в газовых камерах.

Бельё, обувь, отрепья с умерших — всё идёт в дело, ещё живым. А вот — лагерные дела остаются, совсем ни к чему, и много их. Когда негде держать становится — их сжигают. Вот (лагпункт Явас Дубровлага, 1959) подъехал к лагерной кочегарке три раза самосвал, и ссунул вороха дел. Лишние ээки были отогнаны, а кочегары при надзирателях всё сожгли.

Где было больше досуга — например в Кенгире — там над холмиками ставились столбики, и представитель УРЧа, не кто-нибудь, сам важно надписывал на них инвентарные номера похороненных. Впрочем в Кенгире же кто-то занялся и вредительством: приезжавшим матерям и жёнам указывал, где кладбище. Они шли туда и плакали.

Тогда начальник Степлага полковник товарищ Чечев велел бульдозерами свалить и столбики, сровнять и холмики, раз ценить не умеют.

Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, читательница.

На этом кончается путь туземца и кончается его быт.

Впрочем, Павел Быков говорил:

— Пока после смерти двадцать четыре часа не прошло, — ещё не думай, что кончено.

* * *

— Ну, Иван Денисович, о чём ещё мы не рассказали? Из нашей повседневной жизни?

«Ху-у-у! Ещё и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели. Как из строя за окурком нагнётся, а конвой подстреливал...⁹ Как инвалиды на кухне картошку сырую глотали: сварят — так уже не разживёшься... Как чай в лагере вместо денег идёт. Как *чифирят* — пятьдесят грамм на стакан — и в голове виденья. Только чифирят больше урки — они чай у вольных за ворованные деньги покупают...

Вообще — как эзк живёт?.. Ему если из песка верёвки не вить, то никак и не прожить. Эзку и во сне надо обдумывать, как на следующий день вывернуться. Если чем разжился, какую лазейку надыбал, — молчи! Молчи, а то соседи узнают — затопчут. В лагере так: на всех всё равно не хватит, смотри, чтоб тебе хватило.

Так бы так, а вот скажи — всё же по людскому обычаю и в лагере бывает дружба. Не только там старая — однодельцы, по воле товарищи, а — здешняя. Сошлись душами и уже друг другу открыты. Напарники. Что есть — вместе, чего нет — пополам. Пайка кровная, правда, порознь, а добыток весь — в одном котелке варится, из одного черпается¹⁰.

Бывает напарничество короткое, а бывает долгое... Бывает — на совести построено, а бывает — и на обмане. Меж такими напарниками любит змей заползать кум. Над котелком-то общим, шёпотом, — обо всём и говорится.

Признают эски старые, и пленники бывшие рассказывают: тот-то и продаст тебя, кто из одного котелка с тобой ел.

Тоже правда отчасти...

А самое хорошее дело — не напарника иметь, а напарницу. Жену лагерную, эзку. Как говорится — *пожениться*. Молодому хорошо то, что где-нибудь ты её ... в заначке, на душе и полегчает. А и старому, слабому — всё равно хорошо. Ты чего-нибудь добудешь, заработаешь, она тебе постирает, в барак принесёт, под подушку положит собочку, никто и не засмеётся — в законе. Она и сварит, на койке сядете рядом, едите. Даже старому оно особенно-то к душе льнет, это супружество лагерное, еле тёпленькое, с горчинкой. Смотришь на неё через пар котелка — по её лицу, морщины пошли; да и по твоему. Оба вы в серой лагерной рвани, телогрейки ваши ржавчиной вымазаны, глиной, известью, алебастром, автолом. Никогда ты её раньше не знал, и на родине её ногой не ступал, и говорит она не так, как нашенские. И у неё на воле дети растут, и у тебя растут. У неё муж остался — по бабам ходит, и твоя осталась, не растеряется: восемь лет, десять лет, а жить всем хоц-ца. А эта твоя лагерная волочит с тобой ту же цепь и не жалуется.

Живём — не люди, умрём — не родители...

Кой к кому и родные жёны приезжали на свидание. В разных лагерях при разных начальниках давали с ними посидеть двадцать минут на вахте. А то и на ночь — на две в отдельной хибарке. Если у тебя сто пятьдесят процентов. Да ведь свидания эти — растрava, не боль-

⁹ При Достоевском можно было из строя выйти за милостьюнею. В строю разговаривали и пели.

¹⁰ Почему-то на каторге Достоевского «среди арестантов не наблюдалось дружества», никто не ел вдвоём.

ше. Для чего её руками коснуться и говорить с ней о чём, если ещё не жить с ней годы и годы? Двоилось у мужиков. С лагерной женой понятней: вот крупы ещё кружка у нас осталась; на той неделе, говорят, жжёный сахар дадут. Уж конечно не белый, змеи... К слесарю Родичеву приехала жена, а его как раз накануне шалашовка, лаская, в шею укусила. Выругался Родичев, что жена приехала, пошёл в санчасть синяк бинтами обматывать: мол скажу — простудился.

А какие в лагере бабы? Есть блатные, есть развязные, есть политические, а больше-то всё смиренные, по Указу. По Указу их всё толкают за расхищение государственного. Кем в войну и после войны все фабрики забыты? Бабами да девками. А семью кто кормит? Они же. А — на что её кормить? Нужда закона не знает. Вот и тянут: сметану в карманы кладут, булочки меж ног проносят, чулками вокруг пояса обёртываются, а верней: на фабрику пойдут на босу ногу, а там новые чулки вымажут, наденут, а дома постирают и на рынок. Кто что вырабатывает, то и несёт. Катушку ниток меж грудями закладывают. Вахтёры все куплены, им тоже жить надо, они лишь кое-как обхлопывают. А наскочит охрана, проверка, — за эту катушку дермовую — десять лет! Как за измену родине, ровно. И тысячи их с катушками попались.

Берёт каждый, как ему работа позволяет. Хорошо было Гуркиной Настьке — она в багажных вагонах работала. Так правильно рассудила: свой советский человек прилипчивый, стерва, из-за полотенца к морде полезет. Потому она советских чемоданов не трогала, а чистила только иностранные. Иностранец, говорит, и проверить вовремя не догадается, и когда спохватится, — жалобы писать не станет, а только плюнет: жулики русские! — и уедет к себе домой.

Шитарев, старик-бухгалтер, Настю корил: «Да как же тебе не стыдно, мяса ты кусок! Как же ты о чести России не позаботилась?» Послала она его: «В рот тебе, чтоб не качался! Что ж ты-то о Победе не заботился? Господ офицеров кобелировать распустил!» (А он, Шитарев, был в войну бухгалтером госпиталя, офицеры ему при выписке лапу давали, и он в справках накидывал срок лечения, чтоб они перед фронтом домой съездили. Дело серьёзное. Дали Шитареву расстрел, лишь потом на десятку сменили.)

Конечно, и несчастные всякие садились. Одна получила пятёрку за мошенничество: что муж у неё умер в середине месяца, а она до конца месяца хлебных карточек его не сдала, пользовалась с двумя детьми. Донесли на неё соседи из зависти. Четыре года отсидела, один по амнистии сбросили.

А и так было: разнесло бомбою дом, убило жену, детей, а муж остался. Все карточки сгорели, но муж был вне ума, и тринадцать дней до конца месяца жил без хлеба, карточки себе не просил. Заподозрили, что, значит, все карточки у него целые. Три года дали. Полтора отсидел».

— Подожди-подожди, Иван Денисыч, это — другой раз. Так значит, говоришь, — напарница? Поджениться?.. Волочит с тобой ту же цепь — и не жалуется?..

Глава 13

СДАВШИ ШКУРУ, СДАЙ ВТОРУЮ!

Можно ли отсечь голову, если раз её уже отсекли? Можно. Можно ли содрать с человека шкуру, если единожды уже спустили её? Можно!

Это всё изобретено в наших лагерях. Это всё выдуманно на Архипелаге! И пусть не говорят, что только *бригада* — вклад коммунизма

в мировую науку о наказаниях. А второй лагерный срок — это не вклад? Потоки, прихлёстывающие на Архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но ещё раз перекачиваются по трубам вторых следствий.

О, благословенны те безжалостные тирании, те деспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать! Где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать. Где осуждённого уже не вызывают в суд! Где приговорённого уже нельзя больше приговорить!

А у нас это всё — можно. Распластанного, безвозвратно погибшего, отчаявшегося человека ещё как удобно глушить обухом топора! Этика наших тюремщиков — бей лежачего! Этика наших оперуполномоченных — подмашайся трупами!

Можно считать, что лагерное следствие и лагерный суд тоже родились на Соловках, но там просто загоняли под колокольню и шлёпали. Во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули приносить второй лагерный срок.

Да как же было без вторых (третьих, четвёртых) сроков утаить в лоне Архипелага и уничтожить там всех, намеченных к тому?

Регенерация сроков, как отрачивание змеиных колец — это форма жизни Архипелага. Сколько колотятся наши лагеря и коченеет наша ссылка, столько времени и простирается над головами осуждённых эта чёрная угроза: получить новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но гуще всего — в 1937-38-м и в годы войны. (В 1948-49 тяжесть вторых сроков была перенесена на волю: упустили, прохлопали, кого надо было пересудить ещё в лагере — и теперь пришлось загонять их в лагерь с воли. Этих и называли *повторниками*, своих внутрिलाгерных даже не называли.)

И это ещё милосердие — машинное милосердие, когда второй срок в 1938 году давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а просто вызывали бригадами в УРЧ и давали расписаться в получении нового срока. (За отказ расписаться — простой карцер, как за курение в неположенном месте. Ещё и объясняли по-человечески: «Мы ж не даём вам, что вы в чём-нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении».) На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче: восемь лет и пять лет по ОСО. И тщета была отбиваться: как будто в тёмной бесконечности Архипелага чем-то отличались восемь от восемнадцати, десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего тела не когтили и не рвали сегодня.

Можно так понять теперь: эпидемия лагерных осуждений 1938 года была директива сверху. Это там, наверху, спохватились, что до сих пор помалу давали, что надо догрузить (а кого и расстрелять) — и так перепугать оставшихся.

Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу радостный огонёк, черты народной инициативы. Сверху было вероятно указано, что во время войны в каждом лагере должны быть подавлены и изолированы самые яркие заметные фигуры, могущие стать центром мятежа. Кровавые мальчики на местах сразу разглядели богатство этой жилы — своё спасение от фронта. Эта догадка родилась, очевидно, не в одном лагере и быстро распространилась как полезная, остроумная и спасительная. Лагерные чекисты тоже затыкали пулемётные амбразуры — только чужими телами.

Пусть историк представит себе дыхание тех лет: фронт отходит, немцы вокруг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кавказа. В тылу всё меньше мужчин, каждая здоровая мужская фигура вызывает укорные взгляды. Всё для фронта! Нет цены, которую правительство не заплатит, чтоб остановить Гитлера. И только лагерные офицеры (ну, да и братья их по ГБ) — откормлен-

ные, белотелые, бездельные — все на своих тыловых местах, — и чем глубже в Сибирь и на Север, тем спокойнее. Но трезво надо понять: благополучие шаткое. До первого окрика: а почистить-ка этих румяных, лагерных, расторопных! Строевого опыта нет? — так есть идейность. Хорошо, если — в милицию, в заградотряды, а ну как: свести в офицерские батальоны! бросить под Сталинград! Летом 1942 года так сворачивают целые офицерские училища и бросают неаттестованными на фронт. Всех молодых и здоровых конвойных уже выскребли из охраны — и ничего, лагеря не рассыпались. Так и без оперов не рассыпятся! (Уже ходят слухи.)

Бронь — это жизнь! Бронь — это счастье! Как сохранить свою бронь? Простая естественная мысль — надо доказать свою нужность! Надо доказать, что если не чекистская бдительность, то лагеря взорвутся, это — котёл кипящей смолы! — и тогда погиб наш славный фронт! Именно здесь, на тундренных и таёжных лагпунктах, бело-грудые оперуполномоченные сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера! Это — их вклад в Победу! Не щадя себя, они ведут и ведут следствия, они вскрывают новые и новые заговоры.

До сих пор только несчастные изнурённые лагерники, вырывая друг у друга пайку из зубов, боролись за жизнь. Теперь в эту борьбу бессовестно вступили и полновластные оперчекисты. «Подохни ты сегодня, а я завтра!» Погибни лучше ты и отсрочь мою гибель, грязное животное.

Вот оформляют в Усть-Выми «повстанческую группу»: восемнадцать человек! хотели, конечно, обезоружить вохру, у неё добыть оружие (полдюжины старых винтовок)! — а дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла: хотели поднять весь Север! идти на Воркуту! На Москву! соединиться с Маннергеймом! И летят, летят телеграммы и докладные: обезврежен крупный заговор! в лагере не спокойно! нужно ещё усилить оперативную прослойку!

И что это? В каждом лагере открываются заговоры! заговоры! заговоры! И всё крупней! И всё замашистей! Эти коварные доходяги! — они притворялись, что их уже ветром шатает, — но своими исхудалыми пеллагрическими руками они тайно тянулись к пулемётам! О, спасибо тебе, оперчекистская часть! О, спаситель Родины — III Отдел!

И сидит в таком III Отделе банда (Джидинские лагеря в Бурят-Монголии): начальник оперчекотдела Соколов, следователь Мироненко, оперуполномоченные Калашников, Сосиков, Осинцев, — а мы-то отстали! у всех заговоры, а мы отстаём! У нас, конечно, есть крупный заговор, но какой? Ну конечно, «разоружить охрану», ну наверно — «уйти за границу», ведь граница близко, а Гитлер далеко. С кого же начать?

И как сытая свора собак рвёт больного худого линючего кролика, так набрасывается эта голубая свора на несчастного Бабича, когда-то полярника, когда-то героя, а теперь доходягу, покрытого язвами. Это он при загаре войны чуть не передал ледокол «Садко» немцам — так уж все нити заговора в его руках конечно! Это он своим умирающим цынготным телом должен спасти их откормленные.

Если ты — плохой советский гражданин, мы всё равно заставим тебя выполнить нашу волю, будешь в ноги кланяться! Не помнишь? — *Напомним!* Не пишется? — *Поможем!* Обдумывать? — в карцер и на трёхсотку!

А другой оперативник так: «Очень жаль. Вы, конечно, потом поймёте, что разумно было выполнить наши требования. Но поймёте слишком поздно, когда вас как карандаш можно будет сломать между пальцев». (Откуда у них эта образность? Придумывают сами или в учебнике оперчекистского дела есть такой набор, какой-то неизвестный поэт им сочинил?)

А вот допрос у Мироненко. Едва только Бабича вводят — запах вкусной еды прохватывает его. И Мироненко сажает его поближе к

дымящемуся мясному борщу и котлетам. И, будто не видя этого борща и котлет, и даже не видя, что Бабич видит, начинает ласково приводить десятки доводов, облегчающих совесть, оправдывающих, почему можно и надо дать ложные показания. Он дружески напоминает:

— Когда вас первый раз арестовали, с воли, и вы пытались доказать свою правоту — ведь не удалось? Ведь не удалось же! Потому что судьба ваша была предreshена ещё до ареста. Так и сейчас. Так и сейчас. Ну-ну, съешьте обед. Съешьте, пока не остыл... Если не будете глупы — мы будем жить дружно. Вы всегда будете сыты и обеспечены... А иначе...

И дрогнул Бабич! Голод жизни оказался сильнее жажды правды. И начал писать всё под диктовку. И оклеветал двадцать четыре человека, из которых и знал-то только четверых! Всё время следствия его кормили, но не докармливали, чтобы при первом сопротивлении опять нажать на голод.

Читая его предсмертную запись о жизни — вздрагиваешь: с какого высока и до какого низка может упасть мужественный человек! Можем все мы упасть...

И двадцать четыре человека, не знавшие ни о чём, были взяты на расстрелы и новые сроки. А Бабич был послан до суда ассенизатором в совхоз, потом свидетельствовал на суде, потом получил новую, десятку с погашением прежней, но, не докончив второго срока, в лагере умер.

А банда из Джидинского III Отдела... Ну, да кто-нибудь доследует же об этой банде?! Кто-нибудь! Современники! Потомки!..

А — ты?... Ты думал, что в лагере можно, наконец, отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться: вот срок большой дали! вот кормят плохо! вот работаю много! Или, думал ты, можно здесь повторить, за что ты получил срок? Если ты хоть что-нибудь из этого вслух сказал — ты погиб! ты обречён на новую десятку. (Правда, с начала второй лагерной десятки ход первой прекращается, так что отсидеть тебе выпадет не двадцать, а каких-нибудь тринадцать, пятнадцать... Дольше, чем ты сумеешь выжить.)

Но ты уверен, что ты молчал как рыба? И вот тебя всё равно взяли? Опять-таки верно! — тебя не могли не взять, как бы ты себя ни вёл. Ведь берут не за что, а берут потому что. Это тот же принцип, по которому стригут и волю. Когда банда из III Отдела готовится к охоте, она выбирает по списку самых заметных людей. И этот список потом продиктует Бабичу...

В лагере ведь ещё трудней упрятаться, здесь все на виду. И одно только есть у человека спасение: быть нолём! Полным нолём. С самого начала нолём.

А уж потом пришить тебе обвинение совсем не трудно. Когда «заговоры» кончились (стали немцы отступать) — с 1943 года пошло множество дел по «агитации» (кумовьям-то на фронт всё равно ещё не хотелось!). В Буреполомском лагере, например, сложился такой набор:

- враждебная деятельность против политики ВКП(б) и Советского правительства (а какая враждебная — пойди пойми);
- высказывал пораженческие измышления;
- в клеветнической форме высказывался о материальном положении трудящихся Советского Союза (правду скажешь — вот и клевета);
- выражал пожелание (!) восстановления капиталистического строя;
- выражал обиду на Советское правительство (это особенно нагло! ещё тебе ли, сволочь, обижаться? десятку получил и молчал бы!).

Семидесятилетнего бывшего царского дипломата обвинили в такой агитации:

- что в СССР плохо живёт рабочий класс;
- что Горький — плохой писатель.

Сказать, что это уж хватило через край, — никак нельзя, за Горького и всегда срок давали, так он себя поставил. А вот Скворцов в Лох-чемлаге (близ Усть-Выми) отхватил пятнадцать лет, и среди обвинений было:

- противопоставлял пролетарского поэта Маяковского *некому* буржуазному поэту.

Так было в обвинительном заключении, для осуждения этого довольно. А по протоколам допросов можно установить и «некоего». Оказывается — Пушкин! Вот за Пушкина срок получить — это, правда, редкость!

Так после всего Мартинсон, действительно сказавший в жестяном цеху, что «СССР — одна большая зона», должен Богу молиться, что десяткой отделался.

Или отказчики, получившие десятку вместо расстрела.

Так это понравится — давать вторые сроки, такой это смысл внесёт в жизнь оперчекотдела, что когда кончится война и уже нельзя будет поверить ни в заговоры, ни даже в пораженческие настроения, — станут сроки лепить по бытовым статьям. В 1947 в сельхозлаге Долинка каждое воскресенье шли в зоне показательные суды. Судили за то, что, копая картошку, пекали её в кострах; судили за то, что ели с поля сырую морковь и репу (что сказали бы барские крепостные, посидев на одном таком суде?!); и за всё это лепили по пять и восемь лет по только что изданному великому Указу «четыре шестых». Один бывший «жулак» уже кончал десятку. Он работал на лагерном бычке и смотреть не мог на его голод. Этого лагерного бычка — не себя! — он накормил свёклой — и получил восемь лет. Конечно, «социально-близкий» не стал бы кормить бычка. Вот так у нас десятилетиями и отбывает народ — кому жить, кому умереть.

Но не самими цифрами лет, не пустой фантастической длительностью лет страшны были эти вторые сроки — а как получить этот второй срок? как проползти за ним по железной трубе со льдом и снегом?

Казалось бы — что уж там лагернику арест? Арестованному когда-то из домашней тёплой постели — что бы ему арест из неудобного барака с голыми нарами? А ещё сколько! В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают, — но вот пришёл надзиратель, дёрнул за ногу ночью: «Собирайся!» Ах, как не хочется!.. Люди-люди, я вас любил...

Лагерная следственная тюрьма. Какая ж она будет тюрьма и в чём будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Все эти тюрьмы обязательно холодны. Если недостаточно холодны — держат в камерах в одном белье. В знаменитой воркутской Тридцатке (перенято арестантами от чекистов, они называли её так по её телефону «30») — дощатом бараке за Полярным Кругом, при сорока градусах мороза топили угольной пылью — банная шайка на сутки, не потому конечно, что на Воркуте не хватало угля. Ещё издевались: не давали спичек, а на растопку — одну щепочку как карандаш. (Кстати, пойманных беглецов держали в этой Тридцатке со всем голыми; через две недели, кто выжил, — давали летнее обмундирование, но не телогрейку. И ни маграсов, ни одеял. Читатель! Для пробы — переспите так одну ночь! В бараке было примерно плюс пять.)

Так сидят заключённые несколько месяцев следствия! Они уже раньше измотаны многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче. Кормят их? — как положит III Отдел: где триста пятьдесят, где триста, а в Тридцатке — двести граммов хлеба, липкого как глина, немногим крупнее кусок, чем спичечная коробка, и в день один раз жидкая баланда.

Но не сразу ты согреешься, если и всё подписал, признался, сдался, согласился ещё десять лет провести на родном Архипелаге. Из Тридцатки переводят до суда в воркутинскую «следственную палатку», не менее знаменитую. Это — самая обыкновенная палатка, да ещё рваная. Пол у неё не настлан, пол — земля полярная. Внутри семь на двенадцать метров и посередине — железная бочка вместо печки. Есть жердевые нары в один слой, около печки нары всегда заняты блатарями. Политические плебеи — по краям и на земле. Лежишь и видишь над собою звёзды. Так взмолишься: о, скорей бы меня осудили! скорей бы приговорили! Суда этого ждёшь как избавления. (Скажут: не может человек так жить за Полярным Кругом, если не кормят его шоколадом и не одевают в меха. А у нас — может! Наш советский человек, наш туземец Архипелага — может! Арнольд Раппопорт просидел так много месяцев — всё не ехала из Нарьян-Мара выездная сессия облсуда.)

А вот на выбор ещё одна следственная тюрьма — лагпункт Оротукан на Колыме, это пятьсот шестой километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938. Деревянно-парусиновый посёлок, то есть палатки с дырами, но всё ж обложенные тёмсом. Приехавший новый этап, пачка новых обречённых на следствие, ещё до входа в дверь видит: каждая палатка в городке с трёх сторон, кроме дверной, *обставлена штабелями окоченевших трупов!* (Это — не для устрашения. Просто выхода нет: люди мрут, а снег двухметровый, да под ним вечная мерзлота.) А дальше измор ожидания. В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но захват слишком велик — со всей Колымы согнали слишком много кроликов, следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так и не дождавшись первого допроса. В палатках — скученность, не вытянуться. Лежат на нарах и на полу, лежат многими неделями. (Это разве скученность? — ответит Серпантинка. — У нас ожидают расстрела, правда, всего по несколько дней, но эти дни стоят в сарае, так сплочены, что когда их поят — то есть поверх голов бросают из дверей кусочки льда, так нельзя вытянуть рук, поймать кусочек, ловят ртами.) Бань нет, прогулок тоже. Зуд по телу. Все с остервенением чешутся, все *ищут* в ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах — но ищут не раздеваясь, холодно. Крупные белые полнотелые вши напоминают упитанных поросят-сосунков. Когда их давишь — брызги долетают до лица, ногти — в сукровице.

Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях: «Мертвяки есть?» — «Есть». — «Кто хочет пайку заработать — тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто *не спрашивает фамилий умерших*: — пайки выдаются по счёту. А пайка — трёхсотка. И одна миска баланды в день. Ещё выдают горбушу, забракованную санитарным надзором. Она очень солоная. После неё хочется пить, но кипятка не бывает никогда, вообще никогда. Стоят бочки с ледяною водой. Надо выпить много кружек, чтоб утолить жажду. Г. С. М. уговаривает друзей: «Откажитесь от горбуши — одно спасение! Все калории, что вы получаете от хлеба, вы тратите на согревание в себе этой воды!» Но не могут люди отказаться от куска даровой рыбы — и едят, и снова пьют. И дрожат от внутреннего холода. Сам М. её не ест — зато теперь рассказывает нам об Оротукане.

Как было скученно в бараке — и вот редееет, редееет. Через сколько-то недель остатки барака выгоняют на внешнюю переключку. На непривычном дневном свете они видят друг друга: бледные, обросшие, с бисерами гнид на лице, с синими жёсткими губами, ввалившиеся глазами. Идёт переключка по формулярам. Отвечают еле слышно. Карточки, на которые отклика нет, откладываются в сторону. Так и выясняется, кто остался в штабелях — избежавшие следствия.

Все, пережившие оротуканское следствие, говорят, что предпочитают газовую камеру...

Следствие? Оно идёт так, как задумал следователь. С кем идёт не так — те уже не расскажут. Как говорил оперчек Комаров: «Мне нужна только твоя правая рука — протокол подписать...» Ну, пытки, конечно, домашние, примитивные — защемляют руку дверью, в таком роде всё (попробуйте, читатель).

Суд? Какая-нибудь *Лагколлегия* — подчинённый облсуду постоянный суд при лагере, как нарсуд в районе. Законность торжествует! Выступают и свидетели, купленные III Отделом за миску баланды.

В Буреполоме частенько свидетелями на своих бригадников бывали бригадиры. Их заставлял следователь — чуваш Крутиков. «А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю!» У латыша Бернштейна — бригадир Николай Ронжин (из Горького); выходит и подтверждает: «Да, Бернштейн говорил, что зингеровские швейные машины хороши, а подольские не годятся». Ну, и довольно! Для выездной сессии Горьковского облсуда (председатель — Бухонин, да две местных комсомолки Жукова и Коркина) — разве не довольно? Десять лет!

Ещё был в Буреполоме такой кузнец Антон Васильевич Балыбердин (местный, таншаевский) — так он выступал свидетелем вообще по всем лагерным делам. Кто встретит — пожмите его честную руку!

Ну, и наконец, — ещё один этап, на другой лагпункт, чтобы ты не вздумал рассчитываться со свидетелями. Это этап небольшой — каких-нибудь четыре часа на открытой платформе узкоколейки.

А теперь — в больничку. Если же нога ногу минует — завтра с утра тачки катать.

Да здравствует чекистская бдительность, спасающая нас от военного поражения, а оперчекистов — от фронта!

* * *

Во время войны в лагерях расстреливали мало (если не говорить о тех республиках, откуда мы поспешно отступали: там перестреливали сотни и сотни в покидаемых тюрьмах). А — всё больше клепали новые сроки: не уничтожение этих людей нужно было оперчекистам, а только раскрытие преступлений. Осуждённые же могли трудиться, могли умереть — это уж вопрос производственный.

Напротив, в 1938 году верховное нетерпение было — расстреливать! Расстреливали посылно во всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму (расстрелы «гаранинские») и на Воркуту (расстрелы «кашкетинские»).

Кашкетинские расстрелы связаны с продирающим кожу названием «Старый Кирпичный завод». Так называлась станция узкоколейки в двадцати километрах южнее Воркуты.

После «победы» троцкистской голодовки в марте 1937 года, и обмана её, прислана была из Москвы «комиссия Григоровича» для следствия над бастовавшими. Южнее Ухты, недалеко от железнодорожного моста через реку Ропча, в тайге поставлен был тын из брёвен и создан новый изолятор — Ухтарка. Там вели следствие над троцкистами южной части магистрали. А в саму Воркуту послан был член комиссии Кашкетин. Здесь он протягивал троцкистов через «следственную палатку» (применяя порку плетью!) и, не очень даже настаивая, чтобы они признали себя виновными, составлял свои «кашкетинские списки».

Зимой 1937-38 года из разных мест сосредоточения — из палаток в устье Сыр-Яги, с Кочмаса, из Сивой Маски, из Ухтарки, троцкистов да ещё и децистов («демократические централисты») стали стягивать на Старый Кирпичный завод (иных — и безо всякого следствия). Нескольких самых видных взяли в Москву в связи с процессами. Остальных к апрелю 1938 набралось на Старом Кирпичном тысяча пятьдесят три человека. В тундре, в стороне от узкоколейки, стоял старый длинный сарай. В нём и стали поселять забастовщиков, а потом, с пополнениями, поставили рядом ещё две старые рваные ничем не обложен-

ные палатки на двести пятьдесят человек каждая. Как их там содержали, мы уже можем догадаться по Оротукану. Посреди такой палатки двадцать на шесть метров стояла одна бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускалось на неё в сутки — ведро, да ещё бросали в неё вшей, подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище изнутри. На нарах не хватало мест, и в очередь то лежали, то ходили. Давали хлеба в день трёхсотку и один раз миску баланды. Иногда, не каждый день, по кусочку трески. Воды не было, а раздавали кусочками лёд как паёк. Уж разумеется никогда не умывались, и бани не бывало. По телу проступали цынготные пятна.

Но что было здесь особенно тяжело — к троцкистам подбросили лагерных штурмовиков — блатных, среди них и убийц, приговорённых к смерти. Их проинструктировали, что вот эту политическую сволочь надо давить, и за это им, блатным, будет смягчение. За такое приятное и вполне в их духе поручение блатные взялись с охотой. Их назначили старостами (сохранилась кличка одного — «Мороз») и подстаростами, они ходили с палками, били этих бывших коммунистов и глумились как могли: заставляли возить себя верхом, брали чьи-нибудь вещи, испражнялись в них и спаливали в печи. В одной из палаток политические бросились на блатных, хотели убить, те подняли крик, и конвой извне открыл огонь в палатку, защищая социально-близких.

Этим глумлением блатных были особенно сломлены единство и воля недавних забастовщиков.

На Старом Кирпичном заводе, в холодных и рваных убежищах, в убогой негреющей печке догорали революционные порывы жестокостей — двух десятилетий, и многих из содержимых здесь.

Всё же, по человеческому свойству надеяться, заключённые Старого Кирпичного ждали, что их направят на какой-то новый объект. Уже несколько месяцев они мучились здесь, и было невыносимо. И действительно, рано утром 22 апреля (нет полной уверенности в дате, а то ведь — день рождения Ленина) начали собирать этап — двести человек. Вызываемые получали свои мешки, клали их на розвальни. Конвой повёл колонну на восток, в тундру, где близко не было совсем никакого жилья, а вдалеке был Салехард. Блатные позади ехали на санях с вещами. Одну только странность заметили остающиеся: один, другой мешок упал с саней, и никто их не подобрал.

Колонна шла бодро: ждала их какая-то новая жизнь, новая деятельность, пусть изнурительная, но не хуже этого ожидания. А сани далеко отстали. И конвой стал отставать — ни впереди, ни сбоку уже не шёл, а только сзади. Что ж, слабость конвоя — это тоже добрый признак.

Светило солнце.

И вдруг по чёрной идущей колонне невидимо откуда, из ослепительной снежной пелены, открыт был частый пулемётный огонь. Арестанты падали, другие ещё стояли, и никто ничего не понимал.

Смерть пришла в солнечно-снежных ризах, безгрешная, милосердная.

Это была фантазия на тему будущей войны. Из временных снежных укреплений поднялись убийцы в полярных балахонах (говорят, что большинство из них были грузины), бежали к дороге и добывали кольцами живых. А недалеко были заготовлены ямы, куда подбывавшие блатные стали стаскивать трупы. Вещи же умерших к неудобствию блатных были сожжены.

23-го и 24-го апреля там же и так же расстреляли ещё семьсот шестьдесят человек.

А девяносто трёх вернули этапом на Воркуту. Это были блатные и, очевидно, стукачи-провокаторы.

Называют Ройтмана, Истнюка, Алиева. Из блатных — Тадика Николаевского. Мы не можем утверждать достоверно, за что именно каждый был пощаждён, но трудно представить другую причину.

Называли и Моделя. Теперь мне прислали коллективное сообщение, исправляя о Мойсее Иосифовиче Моделе, что он не был пощажён на Старом Кирпичном, но изъят ещё из штрафного этапа туда. Каким же образом? Эпизод, очень характерный для ортодоксов: один из присланных энкаведешников оказался старый сотрудник М. Моделя по Следственной Комиссии при Военно-Революционном Комитете Петроградского Совдепа (то есть вместе расправлялись в дни Октября). Увидев Моделя в списках, тот соратник тайно изъясил его дело и так спас.

Приведенные сведения о кашкетинских расстрелах я собрал от двух эзков, с которыми сидел. Один из них был там, и пощажён. Другой — очень любознательный и тогда же горевший писать историю, сумел по тёплым следам осмотреть те места и расспросить, кого можно.

Но с дальних командировок этапы смертников опоздали, они продолжали поступать по пять — десять человек. Отряд убийц принимал их на станции Кирпичный завод, вёл к старой бане — будке, изнутри в три-четыре слоя обитой одеялами. Там велели смертникам на снег раздеваться и голыми входить. Внутри их расстреливали из пистолетов. Так за полтора месяца было уничтожено около двухсот человек. Трупы убитых сжигали в тундре.

Сожжены были и сарай Старого Кирпичного и Ухтарка. (А «баню» поставили потом на железнодорожную платформу, отвезли на 308-й пикет узкоколейки и сбросили там. Там её и изучал мой приятель. Она вся была в крови изнутри, стены изрешечены.)

Ещё об одном случае расстрела троцкистов, там же и тогда же, рассказывает Франц Диклер (еврей из Бразилии, в Нью-Йорке увлёкся советской пропагандой, в 1937 на греческом судне радистом приплыл в Ленинград, сбежал на берег, чтоб участвовать в социализме, — сразу под срок). Весной 1938 он работал тормозщиком на воркутской узкоколейке Рудник — Уса. Однажды из оперчекистского отдела им приказали: движение остановить, уголь не грузить, приготовить четыре платформы и две теплушки для этапа на Усу. Привели под большим конвоем с собаками человек двести пятьдесят, из них человек пятьдесят бандитов-рецидивистов, остальные троцкисты, восемь женщин. У большинства одежда хорошая — меховые шапки, меховые воротники, чемоданы. Среди них Диклер увидел своего знакомого коммуниста, соратника Фостера и Браудера: раньше Диклер слышал его речи в Мэдисон Сквер Гарден, а на днях встретился в зоне, узнал об успехе их забастовки — они стали получать сухой паёк, выходные, и бригады и бараки у них отдельные. Теперь их посадили на голые платформы, а было снежно, морозно, — и повезли. На крутом спуске Диклер держал ручку тормоза и посматривал на платформы. Андрейчин увидел его и, глядя в сторону, стал кричать во всё горло, как бы не ему:

— Frank! Just listen, don't say a word! This is the end. We are going to be murdered in cold blood! Frank! Listen! If you ever get out, tell the world who they are: a bunch of cutthroats! assassins! bandits! ¹¹

И — повторно кричал те же слова. Диклер дрожал. Рядом с ним на площадке стоял старый коми-вохровец, курил козью ножку. Когда Андрейчин замолчал — этапники на платформах заговорили хором, стало слышно женский плач, очевидно многие поняли по-английски. Начальник этапа свистком остановил поезд, дали несколько выстрелов в воздух. Все стихли. Начальник кричал: «Что бунтуете? Вы хотели жить отдельно? Ну и будете отдельно. Пайка и работа — будет!»

Поехали дальше. Остановились на станции Змейка. Этап свели с платформ, а поезд вернули на Рудник. Вся поездная обслуга знала станцию Змейка: там никогда не было никакого лагпункта, никакого жилья.

¹¹ «Фрэнк! Слушай — и не отвечай. Это — конец. Нас везут на убой! Фрэнк! Слушай! Если ты когда-нибудь выйдешь — расскажи миру, кто они такие: свора голворезов! убийцы! бандиты!»

Два дня по узкоколейке движения не было. Потом возчики рассказали: этап повели к ущелью, а против него были спрятаны пулемётчики и стали стрелять залпами¹².

Ещё впрочем и на том не кончились расстрелы троцкистов. Ещё каких-то недострелянных постепенно собрали человек тридцать и расстреляли недалеко от Тридцатки. Но это уже делали другие. А тот первый отряд убийц, тех оперчекистов и конвоиров, и блатных тех, участвовавших в кашкетинских расстрелах,— тоже вскоре расстреляли как свидетелей.

Сам Кашкетин был в 1938 году награждён орденом Ленина «за особые заслуги перед партией и правительством». А ещё через год расстрелян в Лефортове.

И не сказать, чтоб в истории это было первый раз.

А. Б-в рассказывает, как велись казни на Адаке (лагпункт на Печоре). Ночами оппозиционеров брали «с вещами» на этап, за зону. А за зоной стоял домик оперчасти. Обречённых поодиночке заводили в комнату, там на них набрасывались вохровцы. В рот им запихивали мягкое, руки связывали назад верёвками. Потом выводили во двор, где наготове стояли запряжённые подводы. Связанных валили по пять — семь человек на подводу и отвозили на «Горку» — лагерное кладбище. Там сволакивали их в готовые большие ямы и тут же живых закапывали. Не из зверства, нет. А: выяснено, что обращаться с живыми — перетаскивать, поднимать — гораздо легче, чем мёртвыми.

Эта работа велась на Адаке много ночей.

Вот так и было достигнуто морально-политическое единство нашей партии.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА

Говорю вам тайну: не все мы умрём,
но все изменимся.

1-е послание к Коринфянам, 15, 51.

Глава 1

ВОСХОЖДЕНИЕ

А годы идут...

Не частоговоркой, как шутят в лагере,— «зима-лето, зима-лето», а — протяжная осень, нескончаемая зима, неохотливая весна, и только лето короткое. На Архипелаге — короткое лето.

Даже один год — у-у-у, как это долго! Даже в одном году сколько ж времени тебе оставлено думать. Уж триста тридцать-то раз в году ты потолчешься на разводе и в морозящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу, и в ядрёный неподвижный мороз. Уж триста тридцать-то дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой. И триста тридцать вечеров пожмешься мокрый, озябший на съёме, ожидая пока конвой соберётся с дальних вышек. Да проходка туда. Да проходка назад. Да склоняясь над семьястами тридцатью мисками баланды, над семьястами тридцатью кашами. Да на вагонке твоей, просыпаясь и засыпая. Ни радио, ни книги не отвлекут тебя, их нет, и слава Богу.

¹² Диклер освободился и даже в Бразилию вернулся, но не обнаружил во всём мире, кто бы хотел его слушать. Через сорок лет передал этот рассказ мне.

И это — только один год. А их — десять. Их — двадцать пять...

А ещё когда в больничку сляжешь дистрофиком, — вот там тоже хорошее время — подумать.

Думай. Выводи что-то и из беды.

Всё это бесконечное время ведь не бездеятельны мозг и душа заключённых. Они издали в массе похожи на копошащихся вшей, но ведь они — венец творения, а? Ведь когда-то и в них вдохнута была слабенькая искра Божья. Так что теперь стало с ней?

Считалось веками: для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся.

Но *угрызеный совестью не знает Архипелаг ГУЛАГ!* Из ста туземцев — пятеро блатных, их преступления для них не укор, а доблесть, они мечтают впредь совершать их ещё ловчей и нахальной. Раскаиваться им — не в чем. Ещё пятеро — брали крупно, но не у людей: в наше время крупно взять можно только у государства, которое само мотает народные деньги без жалости и без разума, — так в чём такому типу раскаиваться? Разве в том, что возьми больше и поделись — и остался бы на свободе? А ещё у восьмидесяти пяти туземцев — и вовсе никакого преступления не было. В чём раскаиваться? В том, что думал то, что думал? (Впрочем, так задолбят и задурят иного, что раскаивается — какой он испорченный... Вспомним отчаяние Нины Перегуд, что она не достойна Зои Космодемьянской.) Или в безвыходном положении сдался в плен? В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть от голода. (Впрочем, так перепутают дозволенное и запрещённое, что иные терзаются: лучше бы умер, чем зарабатывать этот хлеб.) В том, что, бесплатно работая в колхозе, взял с поля накормить детей? Или с завода вынес для того же?

Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая совесть как горное озеро светит из твоих глаз. (И глаза твои, очищенные страданием, безошибочно видят всякую муть в других глазах, например — безошибочно различают стукачей. Этого видения глазами правды за нами не знает ЧКГБ — это наше «секретное оружие» против неё, в этом плошает перед нами ГБ.)

В нашем почти поголовном сознании невинности росло главное отличие нас — от каторжников Достоевского, от каторжников П. Якубовича. Там — сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства — безусловное сознание личной вины, у нас — сознание какой-то многомиллионной напасти.

А от напасти — не пропасти. Надо её пережить.

Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но ещё больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем самоубийств. (Ревнителю социалистического реализма могут меня похвалить: провожу оптимистическую линию.) И членоповреждений было гораздо больше, чем самоубийств, — но это тоже действие жизнелюбивое, простой расчёт: пожертвовать частью для спасения целого. Мне даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически, на тысячу населения, меньше, чем на воле. Проверить этого я не могу, конечно.

Но вот вспоминает Скрипникова, как в 1931 в Медвежегорске в женской уборной повесился мужчина лет тридцати — и повесился-то в день освобождения! — так может, из отвращения к тогдашней воле? (За два года перед тем его бросила жена, но он тогда не повесился.) — Ну вот в клубе центральной усадьбы Буреполома повесился конструктор Воронов. — Коммунист и партработник Арамович, пересидчик, повесился в 1947 на чердаке мехзавода в Княж-Погосте. — В Краслаге в

годы войны литовцы, доведённые до полного отчаяния, а главное — всей жизнью своей не подготовленные к советской жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили.— В 1949 в следственной камере во Владимире Волынском молодой парень, сотрясённый следствием, уже было повесился, да однокамерник Павло Баранюк его вынул.— На Калужской заставе бывший латышский офицер, лежавший в стационаре санчасти, крадучись стал подниматься по лестнице — она вела в ещё не достроенные пустые этажи. Медсестра-зэчка хватилась его и бросилась вдогонку. Она настигла его в открытом балконном проёме шестого этажа. Она вцепилась в его халат, но самоубийца отделился от халата, в одном белье поспешно вступил в пустоту — и промелькнул белой молнией на виду у оживлённой Большой Калужской улицы в солнечный летний день.— Немецкая коммунистка Эми, узнав о смерти мужа, вышла из барака на мороз неодетая, простудиться.— Англичанин Келли во Владимирском ТОНе виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзирателе на пороге. (Оружие его было — кусочек эмали, отколупнутый от умывальника. Келли припрятал его в ботинке, ботинок стоял у кровати. Келли спустил с кровати одеяло, прикрыл им ботинок, достал эмаль и под одеялом перерезал вену на руке.)

Повторяю, ещё многие могут рассказать подобные случаи, — а всё-таки на десятки миллионов сидевших их будет немного. Даже среди этих примеров видно, что большой перевод самоубийств падает на иностранцев, на западников: для них переход на Архипелаг — это удар оглушительнее, чем для нас; вот они и кончают. И ещё — на благонамеренных (но не на твердочелюстных). Можно понять, ведь у них в голове всё должно смешаться и гудеть, не переставая. Как устоишь? (Зоя Залеская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая «делу коммунизма» путём службы в советской разведке, на следствии трижды кончала с собой: вешалась — вынули, резала вены — помешали, скакнула на подоконник седьмого этажа — дремавший следователь успел схватить её за платье. Трижды спасли, чтобы расстрелять.)

А вообще: как верно истолковать самоубийство? Вот Анс Бернштейн настаивает, что самоубийцы — совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил верёвку из бинтов и душился, поджав ноги. Но в глазах появлялись зелёные круги, в ушах звенело — и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась верёвка — и он испытал радость, что остался жив.

Я не спорю, для самоубийства может быть и в самом крайнем отчаянии ещё нужно приложить волю. Долгое время я не взялся бы об этом судить. Всю жизнь я уверен был, что ни в каких обстоятельствах даже не задумаюсь о самоубийстве. Но не так давно протащило меня через мрачные месяцы, когда мне казалось, что погибло всё дело моей жизни, особенно если я останусь жить. И я ясно помню это отталкивание от жизни, приливы этого ощущения, что умереть — легче, чем жить. По-моему, в таком состоянии больше воли требует остаться жить, чем умереть. Но, вероятно, у разных людей и при разной крайности это по-разному. Поэтому и существуют издавна два мнения.

Очень эффектно вообразить, что вдруг бы все невинно-оскорблённые миллионы стали бы повально кончать самоубийством, досаждая правительству двойко: и доказательством своей правоты и лишением даровой рабочей силы. И вдруг бы правительство размягчилось? И стало бы жалеть своих подданных?.. Едва ли. Сталина бы это не остановило, он занял бы с воли ещё миллионов двадцать.

Но не было этого! Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведённые уж кажется до крайней крайности, — а самоубийств почему-то не было. Обречённые на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд — не кончали с собой!

И, раздумавшись, я нашёл такое доказательство более сильным. Самоубийца — всегда банкрот, это всегда — человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения её. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей всё же не кончали с собой — значит жило в них какое-то непобедимое чувство. Какая-то сильная мысль.

Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испытания — подобного татарскому игу.

* * *

Но если не в чем раскаиваться — о чём, о чём всё время думает арестант? «Сума да тюрьма — дадут ума». Дадут. Только — куда его направят?

Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо — были чёрные клубящиеся тучи и чёрные столбы извержений, это было небо Помпеи, небо Судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а Я — средоточие этого мира.

Наше последнее тюремное небо было бездонно-высокое, бездонно-ясное, даже к белому от голубого.

Начинаем мы все (кроме верующих) с одного: хватаемся рвать волосы с головы — да она острижена наголо!.. Как мы могли?! Как не видели наших доносчиков? Как не видели наших врагов? (И ненависть к ним! и как им отомстить?) И какая неосторожность! слепость! сколько ошибок! Как исправить? Скорей исправлять! Надо написать... надо сказать... надо передать...

Но — ничего не надо. И ничто не спасёт. В положенный срок мы подписываем 206-ю статью, в положенный — выслушиваем очный приговор трибунала или заочный — ОСО.

Начинается полоса пересылок. Вперемежку с мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое: как хорошо мы жили! (Даже если плохо.) Но сколько неиспользованных возможностей! Сколько неизмятых цветов!.. Когда теперь это наверстать?.. Если я доживу только — о, как по-новому, как умно я буду жить! День будущего освобождения? — он лучится как восходящее солнце!

И вывод: дожить до него! дожить! любой ценой!

Это просто словесный оборот, это привычка такая: «любой ценой».

А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок: *выжить любой ценой!*

И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнёт перед его багровой вспышкой, — для того своё несчастье заслонило и всё общее, и весь мир.

Это — великий развилок лагерной жизни. Отсюда — вправо и влево пойдут дороги, одна будет набирать высоты, другая низеть. Пойдёшь направо — жизнь потеряешь, пойдёшь налево — потеряешь совесть.

Самоприказ «дожить!» — естественный всплеск живого. Кому не хочется дожить? Кто не имеет права дожить? Напряженье всех сил нашего тела! Приказ всем клеточкам: дожить! Могучий заряд введён в грудную клетку, и электрическим облаком окружено сердце, чтоб не остановиться. Заполярною гладью в метель за пять километров в баню ведут тридцать истощённых, но жилистых эзков. Банька — не стоит тёплого слова, в ней моются по шесть человек в пять смен, дверь открывается прямо на мороз, и четыре смены выстаивают там до или после мытья — потому что нельзя отпускать без конвоя. И не только воспаления лёгких, но насморка нет ни у кого. (И десять лет так моется один старик, отбывая срок с пятидесяти до шестидесяти. Но вот он свободен, он — дома. В тепле и холе он стораёт в месяц. Не стало приказа — дожить...)

Но просто «дожить» ещё не значит — любой ценой. «Любая цена» — это значит: ценой другого.

Признаем истину: на этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ — не большая часть сворачивает направо. Увы — не большая. Но, к счастью, — и не одиночки. Их много, людей — кто так избрал. Но они о себе не кричат, к ним присматриваться надо. Десятки раз поднимался и перед ними выбор, а они знали да знали своё.

Вот Арнольд Сузи, лет около пятидесяти попавший в лагерь. Он никогда не был верующим, но всегда был исконно-добропорядочным, никакой другой жизни он не вёл — и в лагере он не начинает другой. Он — «западный», он, значит, вдвойне неприспособленный, всё время попадает в вопрос, в тяжёлое положение, он и на общих работает, он и в штрафной зоне сидит — и выживает, выживает точно таким, каким пришёл в лагерь. Я знал его вначале, знал — после, и могу засвидетельствовать. Правда, три серьёзных облегчающих обстоятельства сопутствуют ему в лагерной жизни: он признан инвалидом, он получает несколько лет посылки и благодаря музыкальным способностям немного подкармливается художественной самодеятельностью. Но эти три обстоятельства могут только объяснить, почему он остался в живых. Не было бы их — он бы умер, но он бы не переменялся. (А те, кто умерли, — может быть потому и умерли, что не переменялись?)

А Тарашкевич, совсем простой бесхитрый человек, вспоминает: «много было заключённых, которые за пайку и за глоток махорочного дыма готовы были пресмыкаться. Я доходил, но был душою чист: на белое всегда говорил белое».

Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры — таких, как Сильвио Пеллико: отсидев восемь лет, он превратился из яростного карбонария в смиренного католика¹³. У нас всегда вспоминают Достоевского. А Писарев? Что осталось от его революционности после Петропавловки? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. Ибсен писал: «От недостатка кислорода и совесть чахнет»¹⁴. Э, нет! Совсем не так просто! Наоборот даже как раз! Вот генерал Горбатов — с молодости воевал, в армии продвигался, задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо — стали в памяти подыматься разные случаи: то как он заподозрил невиновного в шпионаже; то как он по ошибке велел расстрелять совсем невиновного поляка¹⁵. (Ну когда б это ещё вспомнил! Небось после реабилитации уже не очень вспоминал?) Об этих душевных изменениях узников писалось достаточно, это поднялось уже на уровень теории тюремоведения. Вот например, в дореволюционном «Тюремном вестнике» пишет Лученецкий: «Тьма делает человека более чувствительным к свету; невольная бездельность возбуждает в нём жажду жизни, движения, работы; тишина заставляет глубоко вдуматься в своё «я», в окружающие условия, в своё прошлое, настоящее и подумать о будущем».

Отмечу противоположное мнение Льва Тихомирова. Он пишет («Красный Архив», № 41/42, стр. 138): народовольцам «негде было проверить свои взгляды. Это самая ужасная сторона тюрьмы, что знаю по себе. Четыре года тюрьмы были для меня совершенно потерянными временем для развития. А следующие четыре года свободы дали мне тысячи различных драгоценнейших наблюдений себя, людей и законов жизни». Думаю: может быть это потому, что сидели — однородные? Или очень нетерпеливые, всё ждали скорой свободы. Тогда это мешало сосредоточиться и расти.

Наши просветители, сами не сидевшие, испытывали к узникам только естественное стороннее сочувствие; однако Достоевский, сам посидевший, ратовал за наказания! Об этом стоит задуматься.

И пословица говорит: «Воля портит, неволя учит».

¹³ С. Пеллико. Мои темницы. СПб. 1836.

¹⁴ Ибсен. Враг народа.

¹⁵ «Новый мир», 1964, № 4.

Но Пеллико и Лученецкий писали о тюрьме. Но Достоевский требовал наказаний — тюремных. Но неволя учит — какая?

Лагерь ли?

Тут задумаешься.

Конечно, по сравнению с тюрьмой, наш лагерь ядовит и вреден.

Конечно, не о душах наших думали, когда вспучивали Архипелаг. Но всё-таки: неужели же в лагере безнадежно устоять?

И больше того: неужели в лагере нельзя возвыситься душой?

На лагпункте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа группа интеллигентов: они измороены голодом, холодом, непосильной работой — и даже сна лишены, спать им негде, бараки-землянки ещё не построены. Идут они воровать? стучат? хнычут о загубленной жизни? Нет. Предвидя близкую, уже не в неделях, а в днях смерть, вот как проводят они свой последний бессонный досуг, сидя у стенок: Тимофеев-Ресовский собирает из них «семинар», и они спешат обменяться тем, что одному известно, а другим нет, — они читают друг другу последние лекции. Отец Савелий — «о непостыдной смерти», священник из академистов — патристику, униат — что-то из догматики и каноники, энергетик — о принципах энергетике будущего, экономист — как не удалось, не имея новых идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофеев-Ресовский рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они не досчитываются участников: те уже в морге...

Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно, — вот это интеллигент!

Позвольте, вы — любите жизнь? Вы, вы! вот которые восклицают, и напевают и приплясывают: «Люблю тебя, жизнь! Ах, люблю тебя, жизнь!» Любите? Так вот — любите! Лагерную — тоже любите! Она — тоже жизнь.

Там, где нет борьбы с судьбой,
Там воскреснешь ты душой...?

Ни черта вы не поняли. Там-то ты и размякнешь.

У дороги нашей, выбранной, — виражи и виражи. В гору? Или в небо? Пойдёмте, поспотыкаемся.

День освобождения? Что он нам может дать через столько лет? Изменимся неузнаваемо мы, и изменятся наши близкие — и места, когда-то родные, покажутся нам чужее чужих.

Мысль о свободе с какого-то времени становится даже насильственной мыслью. Надуманной. Чужой.

День «освобождения»! Как будто в этой стране есть свобода. Или как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой.

Спятся камни из-под наших ног. Вниз, в прошлое. Это прах прошлого.

Мы поднимаемся.

* * *

Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Потому, главное, что нет собраний. Десять лет ты свободен от всяких собраний! — это ли не горный воздух? Откровенно претендуя на твой труд и твоё тело до изнеможения и даже до смерти, лагерщики отнюдь не посягают на строй твоих мыслей. Они не пытаются ввинчивать твои мозги и закреплять их на месте. (Кроме несчастного периода Беломора и Волгоканала.) И это создаёт ощущение свободы гораздо больше, чем свобода ног бегать по плоскости.

Тебя никто не уговаривает подавать в партию. Никто не выколачивает с тебя членских взносов в добровольные общества. Нет профсоюза, такого же твоего «защитника», как казённый адвокат в трибунале. Не бывает и производственных совещаний. Тебя не могут из-

братъ ни на какую должность, не могут назначить никаким уполномоченным, а самое главное — не заставят тебя быть агитатором. Ни — слушать агитацию. Ни — кричать по дѣргу нитки: «требуем!.. не позволим!» Ни — тянуться на участок свободно и тайно голосовать за одного кандидата. От тебя не требуют социалистических обязательств. Ни — критики своих ошибок. Ни статей в стенгазету. Ни — интервью областному корреспонденту.

Свободная голова — это ли не преимущество жизни на Архипелаге?

И ещё одна свобода: тебя не могут лишить семьи и имущества — ты уже лишён их. Чего нет — того и Бог не возьмёт. Это — основательная свобода.

Хорошо в заключении думать. Самый ничтожный повод даёт тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кои веки, один раз в три года, привезли в лагерь кино. Фильм, оказывается, — дешёвейшая «спортивная» комедия «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана на настойчиво вбивают зрителям мораль:

«Важен результат, а результат не в вашу пользу».

Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь, при выходе на освещённый солнцем двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь её на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И ещё сколько угодно времени обдумываешь — когда б ты мог ею так заняться? И медленная ясность спускается в твою голову.

Это — не шутка. Это заразная мысль. Она давно уже привилась нашему отечеству, а её — ещё и ещё подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объявляют какого-то Тухачевского, Ягodu или Зиновьева — изменниками, снюхавшимися с врагом, то народ только ахает и многоустно удивляется: «чего ему не хватало?!» Поскольку у него было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобиль, и самолёт, и известность — чего ему не хватало?! Миллионам наших заматанных соотечественников невместимо представить, чтобы человеком (я не говорю об этих именно троих) могло двигать что-нибудь, кроме корысти.

Настолько все впитали и усвоили: «важен результат».

Откуда это к нам пришло? Отступя лет триста назад, — разве в Руси старообрядческой могло такое быть?

Это пришло к нам с Петра, от славы наших знамён и так называемой «чести нашей родины». Мы придавливали наших соседей, расширялись, — и в отечестве утверждалось: важен результат.

Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных. Они карабкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и всё прочней утверждалось в когда-то богомольном прямодушном народе: важен результат.

А потом — от всех видов социалистов, и больше всего — от новейшего непогрешимого нетерпеливого Учения, которое всё только из этого и состоит: важен результат! Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты!

И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи, и здоровьем народного духа, и самой душою наших полей, лесов и рек, — наплевать! важен результат!!

Но это — ложь. Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми кругами восходим в понимание жизни — и с высоты этой так ясно видно: не результат важен! не результат — а дух! Не что сделано — а как. Не что достигнуто — а какой ценой.

Вот и для нас, арестантов, — если важен результат, то верна и истина: выжить любой ценой. Значит: стать стукачом, предавать това-

рищей — за это устроиться тепло, а может быть и досрочку получить. В свете Непогрешимого Учения тут очевидно нет ничего дурного. Ведь если делать так, то результат будет в нашу пользу, а важен — результат.

Никто не спорит: приятно овладеть результатом. Но не ценой потери человеческого образа.

Если важен результат — надо все силы и мысли потратить на то, чтоб уйти от общих. Надо гнаться, угождать, подличать — но удержаться придурком. И тем — уцелеть.

Если важна суть — то пора примириться с общими. С лохмотьями. С изодранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть — умереть. Но пока жив — с гордостью потягиваться ломящую спиной. Вот когда — перестав бояться угроз и не гонясь за наградами — стал ты самым опасным типом на свиный взгляд хозяев. Ибо — чем тебя взять?

Тебе начинает даже нравиться нести носилки с мусором (да, но не с камнем!) и разговаривать с напарником о том, как кино влияет на литературу. Тебе начинает нравиться присесть на опустевшее растворное корытце и закурить около своей кирпичной кладки. И ты просто горд, если десятник, проходя мимо, прищурится на твою вязку, посмотрит в створ со стеной и скажет:

— Это ты клал? Ровненько.

Ни на что тебе не нужна эта стена и не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа, но, жалкий, оборванный раб, у этого творения своих рук ты сам себе улыбнёшься.

Дочь анархиста Галя Венедиктова работала в санчасти медсестрой, но видя, что это — не лечение, а только личное устройство, — из упрямства ушла на общие, взяла кувалду, лопату. И говорит, что духовно это её спасло.

Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.

(Так-то оно так, но — если и сухаря нет?..)

* * *

И если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой», и пошёл, куда идут спокойные и простые, — удивительно начинает преобразовать неволя твой прежний характер. Преобразовать в направлении, самом для тебя неожиданным.

Казалось бы: здесь должны вырастать в человеке злобные чувства, смятение зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность¹⁶. А ты и сам не замечаешь, как, в неощутимом течении времени, неволя воспитывает в тебе ростки чувств противоположных.

Ты был резко-нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Теперь тебе отпущено его с лихвой, ты напитался им, его месяцами и годами, позади и впереди, — и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам — терпение.

Ты подымаешься...

Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же невоздержанно превозносил — теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя — можешь понять чужую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять.

Камни шуршат из-под ног. Мы подымаемся...

Бронированная выдержка облегает с годами сердце твоё и всю

¹⁶ Революционеры прошлого оставили много следов тому. Серафимович в одном рассказе описывает таким общество смышленых. Большевик Ольминский пишет: «Горечь и злость — эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе». Он срывает зло на тех, кто приходил к нему на свидания. Пишет, что потерял и всякий вкус к работе. Но ведь русские революционеры не получали и не отбывали (в массе своей) настоящих (больших) сроков.

твою кожу. Ты не спешишь с вопросами, не спешишь с ответами, твой язык утратил эластичную способность лёгкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя.

Ибо надо ещё проверить, так ли это будет. И ещё разобраться надо — что радость, а что горе.

Правило жизни твоё теперь такое: не радуйся нашедши, не плачь потеряв.

Душа твоя, сухая прежде, от страдания сочаёт. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь учишься любить.

Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколько из нас признают: именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу!

И ещё тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их — тиранил...

Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей: пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни всё, что ты делал плохого и постыдного, и думай — нельзя ли исправить теперь?..

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..

...После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не могу пошевелиться, мне жарко и знобко, но мысль не сбивается в бред — и я благодарен доктору Борису Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я — никого больше нет в палате.

Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним, образованным человеком, какой-то однокамерник, беззлбный старичок вроде Платона Каратаева. Я дивлюсь его убеждённости новообращённого, горячности его слов.

Мы мало знаем друг друга, и не он лечит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь. Он — мягкий обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нём и не знаю о нём. Однакостораживает то, что Корнфельд уже месяца два живёт безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь, при работе, и избегает ходить по лагерю.

Это значит — он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая мода — резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счётов. И поэтому — самозачтение Корнфельда в больнице ещё несколько не доказывает, что он — стукач.

Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так:

— И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чём мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар.

Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да жёлтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю.

Это — последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят, ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я.

А просыпаюсь утром от беготни и тяжёлого переступа по коридору: это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же после подъёма, когда уже от-

перты бараки, но никто ещё не встал, не движется). На операционном столе он умирает, не приходя в сознание.

Так случилось, что вещице слова Корнфельда — были его последние слова на земле. И, обращённые ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнёшься, передёрнув плечами.

Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.

Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные ещё жесточе, чем тюрьмою, — расстрелянные, сожжённые — это некие сверхзлодеи. (А между тем — невинных-то и казнят ретивее всего.) И что бы тогда сказать о наших явных мучителях: почему не наказывает судьба их? почему они благоденствуют?

(Это решилось бы только тем, что смысла земного существования — не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а — в развитии души. С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чьё развитие — о б е щ а е т.)

Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю. И многие примут для себя.

На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне всё: и тюрьма, и довеском — злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.

Кара? Но — чья?

Ну, придумайте — чья?

В той самой послеоперационной, откуда ушёл на смерть Корнфельд, я пролежал долго, и всё один (из-за ареста хирурга операции остановились), бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и её поворотам. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить. Верней всего теперь и привести их — как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа.

Да когда ж я так допуста, дочиста
Всё развеял из зёрен благих?
Ведь провёл же и я отрочество
В светлом пении храмов Твоих!

Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились — постижными,
Жребий жизни — податлив как воск.

Кровь бурлила — и каждый выполоск
Иноцветно свергал впереди,—
И без грохота, тихо рассыпалось
Зданье веры в моей груди.

Но пройдя между быти и небыти,
Упадав и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожитую жизнь мою.

Не рассудком моим, не желанием
Освещён её каждый излом —
Смысла Вышнего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.

И теперь, возвращённую мерю
Надчерпнувши воды живой,—
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отречшимся был Ты со мной...

Оглядысь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я всё порывался в сторону, противополо-

ложную той, которая была мне истинно нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег — так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел.

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как — добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащён был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце — и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас годами. Даже в сердце, объятom злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в найдобрейшем сердце — неискоренённый уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), — само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство.

К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму идею зла, очень мало — заражённых ею людей. (Конечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочёл меньше растолковывать, а больше расстреливать.) Если к XXI веку человечество не взорвёт и не удушит себя — может быть это направление и восторжествует?..

Да если оно не восторжествует — то вся история человечества будет пустым топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной — это знал и пещерный человек.

«Познай самого себя». Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных неодолетних кругов таких размышлений говорят ли мне о бессердечии наших высших чиновников, о жестокости наших палачей — я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареи моей по Восточной Пруссии, объатой огнём, и говорю:

— А разве мы — были лучше?..

Досадуют ли при мне на рыхлость Запада, его политическую неадекватность, разрозненность и растерянность — я напоминаю:

— А разве мы, не пройдя Архипелага, — были твёрже? сильнее мыслями?

Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:

— **Благословение тебе, тюрьма!**

Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого-то мгновения этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была, действительно, нужна ему, как ливень засухе.

Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:

— Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!

(А из могил мне отвечают: — Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

КАТОРГА

Сделаем из Сибири каторжной, кандалной — Сибирь советскую, социалистическую!

Сталин.

Глава 3

ЦЕПИ, ЦЕПИ...

Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздавлены. Ветерок перемен дул только на сквозняках — на пересылках. Сюда же, за высокие заборы Особлагов, он не задувал. И хотя лагеря состояли из одних только политических, — никакие мятежные листовки не висели на столбах.

Говорят, в Минлаге кузнецы отказались ковать решётки для барачных окон. Слава им, пока не названным! Это были люди. Их посадили в БУР. Отковали решётки для Минлага — в Котласе. И никто не поддержал кузнецов.

Особлаги начинались с той же бессловесной и даже угодливой покорности, которая была воспитана тремя десятилетиями ИТЛ.

Пригнанным с полярного Севера этапам не пришлось порадоваться казахстанскому солнышку. На станции Новорудное они спрыгивали из красных вагонов — на красноватую же землю. Это была та джекказганская медь, добыванья которой ничьи лёгкие не выдерживали больше четырёх месяцев. Тут же, на первых провинившихся, радостные надзиратели продемонстрировали своё новое оружие: наручники, не применявшиеся в ИТЛ, — блестяще никелированные наручники, массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к тридцатилетию Октябрьской революции (на каком-то заводе делали их рабочие с седеющими усами, образцовые пролетарии нашей литературы, — ведь не сами же Сталин и Берия делали их?). Эти наручники были тем замечательны, что их можно было забивать на большую тугость: была в них металлическая пластина с зубчиками, и надетые уже наручники забивали на коленях конвоиры так, чтобы больше зубчиков вошло в замок и было бы больней. Тем самым наручники из предохранителя, сковывающего действия, превращались в орудие пытки: они сдавливали кисти с острой постоянной болью и часами так держали, да всё за спиной, на вывернутых руках. Ещё особо был разработан приём зажима наручников по четырём пальцам, это причиняло острую боль в суставах пальцев.

В Берлаге наручниками пользовались истоиво: за всякую мелочь, за не снятые шапки перед надзирателем. Надевали наручники (руки назад) и ставили около вахты. Руки затекали, мертвели, и взрослые мужчины плакали: «Гражданин начальник, больше не буду! Снимите наручники!» (Там были славные порядки, в Берлаге, — не только в столовую шли по команде, но по команде входили за стол, по команде садились, по команде опускали ложки в баланду, по команде вставали и выходили.)

Легко было кому-то пером черкнуть: «Создать Особлаги. Доложить проект режима к такому-то числу». А ведь каким-то труженикам-тюрьмооведам (и душеведам, и знатокам лагерной жизни) надо было по пунктам продумать: что ещё можно завинтить подосаднее? чем ещё можно нагрузить понадрывнее? в чём ещё можно утяжелить и без того не льготную жизнь туземца-зэка? Переходя из ИТЛ в Особлаги, эти животные должны были сразу почувствовать строгость и тяжесть, — но ведь прежде кому-то надо по пунктам изобрести.

Ну, естественно, усилили меры охраны. Во всех Особлагах были добавочно укреплены зонные полосы, натянуты лишние нитки колючки и ещё спирали Бруно рассыпаны в предзонах. По пути следования рабочих колонн на всех важных перекрестках и поворотах заранее ставились пулемёты и залегали пулемётчики.

В каждом лагпункте была каменная тюрьма — БУР¹⁷. С сажаемых в БУР обязательно снимались телогрейки: мучение холодом было важной особенностью БУРа. Но и каждый барак был тюрьмой, потому что окна все зарешечены, на ночь вносились параша и запирались двери. И ещё в каждой зоне были один-два штрафных барака, имевших усиленную охрану, свою особую маленькую зонку в зоне; они запирались тотчас после прихода арестантов с работы — по образцу ранней каторги. (Вот это и были собственно БУРЫ, но у нас назывались *режимками*.)

Затем совершенно откровенно заимствовали ценный гитлеровский опыт с номерами: заменить фамилию заключённого, «я» заключённого, личность заключённого — номером, так что один от другого отличается уже не всей человеческой особенностью, а только плюс-минус единичкой в однообразном ряду. И эта мера может стать гнетущей, — но если её очень последовательно, до конца провести. Так и пытались. Всякий новопоступающий, «сыграв на рояле» в спецчасти лагеря (то есть оставив отпечатки пальцев, как это делалось в тюрьмах, а в ИТЛ не делалось), надевал на шею верёвочку с дощечкой. На дощечке набирался его номер, вроде Ш-262 (в Озёрлаге было теперь и «Ы», ведь короток алфавит!), и в таком виде его фотографировал фотограф спецчасти. (Эти все фотографии ещё где-нибудь хранятся. Мы ещё их увидим!)

Дощечку снимали с шеи арестанта (ведь не собака же он), а взамен давали четыре (в иных лагерях — три) белых тряпочки размером сантиметров восемь на пятнадцать. Эти тряпочки он должен был пришить себе в места, установленные не во всех лагерях одинаково, но обычно — на спине, на груди, надо лбом на шапке, ещё на ноге или на руке¹⁸. В ватной одежде на этих установленных местах заранее производилась порча — в лагерных мастерских отдельные портные отряжались на порчу новых вещей: фабричная ткань вырезалась квадратиком, обнажая исподнюю вату. Это делалось для того, чтобы эск не мог при побеге отпороть номерá и выдать себя за вольняшку. В других лагерях ещё проще: номер вытравлялся хлоркой на одежде.

Велено было надзирателям окликать заключённых только по номерам, а фамилий не знать и не помнить. И довольно жутко было бы, если б они выдержали, — да они не выдержали (русский человек — не немец), и уже на первом году стали сбиваться и кого-то звать по фамилиям, а потом всё больше. Для облегчения надзирателям прибывалась на вагонке соответственно каждому спальному месту — фанерная бирка, и на ней — номер (и фамилия) спящего тут. Так, и не видя номеров на спящем, надзиратель всегда мог его окликнуть, а в отсутствие его знать, на чьей койке нарушение. Надзирателям открывалась и такая полезная деятельность: или тихо отпереть замок и тихо войти в барак перед подъёмом и записать номера вставших прежде времени, или же ворваться в барачную секцию точно по подъёму и записывать тех, кто ещё не встал. В обоих случаях можно было сразу назначать карцеры, но больше полагалось в Особлагах требовать объяснительных записок, — и это при запрете иметь чернила и ручки и при никаком снабжении бумагой. Система объяснительных записок — тягучая, нудная, противная, была неплохим изобретением, тем более, что у

¹⁷ Я и дальше буду звать её БУР, как говорили у нас, по привычке ИТЛ, хотя здесь это не совсем верно, — это была именно лагерная тюрьма.

¹⁸ Весь Экибастуз я проходил с номером Ш-232, в последние же месяцы приказали мне сменить на Ш-262. Эти номера я и вывез тайно из Экибастуза, храню и сейчас.

лагерного режима хватало для этого оплачиваемых лоботрясов и времени для разбора. Не просто тебя сразу наказывали, а требовали письменно объяснить: почему твоя койка плохо застелена; как ты допустил, что покосился на гвозде бирка с твоим номером; почему запачкался номер на твоей телогрейке и почему ты своевременно не привёл её в порядок; почему ты оказался с папиросой в секции; почему не снял шапку перед надзирателем¹⁹. Глубокомыслие этих вопросов делало письменный ответ на них для грамотных ещё даже мучительней, чем для неграмотных. Но отказ писать записку приводил к устрожению наказания. Записка писалась, чистотою и четкостью уважительно к Работникам Режима, относилась барачному надзирателю, затем рассматривалась ПомНачРежима или НачРежима и писалось на ней письменное же определение наказания.

Так же и в бригадных ведомостях полагалось писать номера прежде фамилий — вместо фамилий? но боязно было отказаться от фамилий! как-никак, фамилия — это верный хвост, своей фамилией человек ущемлён навек, а номер — это дуновение, фу — и нет. Вот если б номера на самом человеке выжигать или выкалывать! — но до этого дойти не успели. А могли бы, шутя могли бы, не много и оставалось.

И тем ещё рассыпался гнёт номеров, что не в одиночках же мы сидели, не одних надзирателей слышали, — а друг друга. Друг друга же арестанты не только никогда по номерам не называли, а даже не замечали их (хотя кажется, как не заметить эти кричащие белые тряпки на чёрном? когда много вместе нас собиралось — на развод, на проверку, обилие номеров пестрило, как логарифмическая таблица, — но только свежему взгляду), — настолько не замечали, что о самых близких друзьях и бригадниках никогда не знали, какой у них номер, свой только и помнили. (Среди придурков встречались пижоны, которые очень следили за аккуратной и даже кокетливой пришивкой своих номеров, с подвёрнутыми краями, мелкими стежками, покрасивее. Извечное холуйство! Мы с друзьями, наоборот, старались, чтобы номера выглядели на нас как можно более безобразно.)

Режим Особлагоу был рассчитан на полную глухость: на то, что отсюда никто никому не пожалуется, никто никогда не освободится, никто никуда не вырвется. (Ни Освенцим, ни Катынь не научили хозяев нисколько.) Поэтому ранние Особлагы — это Особлагы с палками. Чаще не сами надзиратели носили их (у надзирателей были наручники), а доверенные из эзков — коменданты и бригадиры, но бить могли всласть и с полного одобрения начальства. В Джекказгане перед разводом становились у двери барака нарядчики с дубинками и постарому кричали: «Выходи без *последнего!*!» (Читатель давно уже понял, почему *последний* если и оказывался, то тут же его как бы уже и не было.)²⁰ Поэтому же начальство мало огорчалось, если, скажем, зимний этап из Карабаса в Спасск — двести человек — замёрз по дороге, уцелевшие забили все палаты и проходы санчасти, гнили заживо с отвратительной вонью и доктор Колесников ампутировал десятки рук, ног и носов²¹. Глухость была такая надёжная, что знаменитый начальник режима капитан Воробьёв и его подручные сперва «наказали» заключённую венгерскую балерину карцером, затем наручниками, а в наручниках изнасиловали её.

Режим замыслен был неторопливо проникающий в мелочи. Вот,

¹⁹ Дорошевич удивился на Сахалине, что арестанты снимают шапку перед начальником тюрьмы. А мы обязаны были снимать при встрече каждого рядового надзирателя.

²⁰ В Спасске в 1949 что-то однако хрустнуло. Бригадиров создали к «штабу» и велели сложить дубинки. Предложено было впредь обходиться без них.

²¹ Этот доктор Колесников был из числа «экспертов», незадолго до того подпавших лживые выводы Катынской комиссии (то есть что не мы убивали там польских офицеров). За это и посажен он был сюда справедливым Провидением. А за что властью? Чтоб не проболтался. Мавр дальше стал не нужен.

например, запрещалось иметь чьи-либо фотографии, не только свои (побег!), но и близких. Их отбирали и уничтожали. Староста женского барака в Спасске, пожилая женщина, учительница, поставила на столике портретик Чайковского, надзиратель изъял и дал ей трое суток карцера. «Да ведь это портрет Чайковского!» — «Не знаю кого, но не положено женщинам в лагере иметь мужские портреты». — В Кенгире разрешено было получать крупу в посылках (отчего ж не получать?), но так же неукоснительно запрещено было её варить, и если ээк пристраивался где-нибудь на двух кирпичках, надзиратель опрокидывал котелок ногой, а виновного заставлял тушить огонь руками. (Правда, потом построили сарайчик для варки, но через два месяца печь разрушили и расположили там офицерских свиней и лошадь опера Беляева.)

Однако, вводя разные режимные новинки, хозяева не забывали и лучшего опыта ИТЛ. В Озёрлаге капитан Мишин, начальник лагпункта, привязывал отказчиков к саням и так волок их на работу.

А в общем режим получился настолько удовлетворителен, что прежние исходные каторжане содержались теперь в Особлагах на общих равных основаниях, в общих зонах, и только отличались другими буквами на номерных нашлапках. (Ну, разве что при нехватке бараков, как в Спасске, назначали им для житья сараи и конюшни.)

Так Особлагы, не названные официально каторгой, стали её прaproемником и наследником, слились с нею.

Но чтобы режим хорошо усваивался арестантами, — надо обосновать его ещё и правильной работой и правильной едой.

Работа для Особлагов выбиралась тяжелейшая из окружающей местности. Как верно заметил Чехов: «в обществе и отчасти в литературе установился взгляд, что настоящая самая тяжкая и самая позорная каторга может быть только в рудниках. Если бы в «Русских женщинах» Некрасова герой... ловил бы для тюрьмы рыбу или рубил лес, — многие читатели остались бы неудовлетворёнными». (Только о лесоповале, Антон Павлович, за что уж так пренебрежительно? Лесоповал — ничего, подходит.) Первые отделения Степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди (1-е и 2-е отделения — Рудник, 3-е — Кенгир, 4-е — Джезказган). Бурение было сухое, пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулёз²². Заболевших арестантов отправляли умирать в знаменитый Спасск (под Карагандою) — «всесоюзную инвалидку» Особлагов.

О Спасске можно бы сказать и особо.

В Спасск присылали инвалидов — конченных инвалидов, которых уже отказывались использовать в своих лагерях. Но, удивительно! — переступив целебную зону Спасска, инвалиды разом обращались в полноценных работяг. Для полковника Чечева, начальника всего Степлага, Спасское лагерное отделение было из самых любимых. Прилетев сюда из Караганды на самолёте, дав себе почистить сапоги на вахте, этот недобрый коренастый человек шёл по зоне и присматривался, кто ещё у него не работает. Он любил говорить: «Инвалид у меня во всём Спасске один — без двух ног. Но и он на лёгкой работе — посыльным работает». Одноногие все использовались на сидячей работе: бой камня на щёбёнку, сортировка щепы. Ни костыли, ни даже однорукость не были препятствием к работе в Спасске. Это Чечев придумал — четырёх одноруких (двух с правой рукой и двух с левой) ставить на носилки. Это у Чечева придумали — вручную крутить станки мехмастерских, когда не было электроэнергии. Это Чечеву нравилось — иметь «своего профессора», и биофизику Чижевскому он разрешил устроить в Спасске «лабораторию» (с голыми столами). Но когда Чижевский из последних бросовых материалов разработал маску про-

²² По закону 1886 года работы, вредно действующие на здоровье, не разрешались даже по выбору самих арестантов.

тив силикоза для джезказганских работяг,— Чечев не пустил её в производство. Работают без масок и нечего мудрить. Должна же быть оборачиваемость контингента.

В конце 1948 года в Спасске было около пятнадцати тысяч эзков обоёго пола. Это была огромная зона, столбы её то поднимались на холмы, то опускались в лощины, и угловые вышки не видели друг друга. Постепенно шла работа саморазгораживания: эзки строили внутренние стены и отделяли зоны женскую, рабочую, чисто-инвалидную (так было стеснительнее для внутрелагерных связей и удобнее для хозяев). Шесть тысяч человек ходило работать на дамбу за двенадцать километров. Так как они были всё-таки инвалиды, то шли туда более двух часов и более двух часов назад. К этому следует *прибавить* одиннадцатичасовой рабочий день. (Редко кто выдерживал на той работе два месяца.) Следующая крупная работа была — камноломни, они находились в самых зонах (на острове — свои ископаемые!), и в женской, и в мужской. В мужской зоне карьер был на горе. Там после отбоя взрывали камень аммономом, а днём инвалиды молотками разбивали глыбы. В женской зоне аммонала не применяли, а женщины рылись до пластов вручную кирками, а потом дробили камень большими молотками. Молотки у них, конечно, соскакивали с рукояток, или рукоятки ломались, а для насадки надо было отправлять в другую зону. Тем не менее, с каждой женщины требовали норму — 0,9 кубометра в день, а так как выполнить её они не могли, то и получали долго штрафной паёк — четыреста граммов, пока мужчины не научили их перед сдачей перетаскивать камень из старых штабелей в новые. Напомним, что вся эта работа производилась не только инвалидами и не только без единого механизма, но в суровые степные зимы (до тридцати — тридцати пяти градусов мороза с ветром) ещё и в *летней одежде*, потому что *неработающим* (то есть инвалидам) не полагается на зиму выдавать тёплую одежду. Эстонка П-р вспоминает, как она в такой мороз, почти не одетая, орудовала над камнем с огромным молотком.— Польза этой работы для Отечества особенно выясняется, если мы доскажем, что камень женского карьера почему-то оказался негоден для строительства и в некий день некий начальник распорядился, чтобы женщины весь добытый ими за год камень теперь засыпали бы назад в карьер, покрыли землёю и развели бы парк (до парка, конечно, не дошло).— В мужской зоне камень был хорош, доставка же его на место строительства совершалась так: после проверки весь строй (сразу тысяч около восьми, кто ещё в этот день был жив) гнали в гору, а назад допускали только с камнями. В выходной день такая инвалидная прогулка совершалась дважды — утром и вечером.

Затем шли такие работы: укрепление зоны; строительство посёлка для лагерщиков и конвоиров (жилье дома, клуб, баня, школа); работа на полях и огородах.

Урожай с тех огородов тоже шёл на вольных, а эзкам доставалась лишь свекловичная ботва; её привозили возами на машинах, сваливали в кучи близ кухни, там она мокла, гнила, и оттуда кухонные работники вилами таскали её в котлы. (Это несколько напоминает кормление домашнего скота?) Из этой ботвы варилась постоянная баланда, к ней добавлялся один черпачок кашицы в день. Вот огородная спасская сценка: человек полтора эзков, створясь, ринулись разом на один такой огород, легли и грызли с гряд овощи. Охрана сбегалась, бьёт их палками, а они лежат и грызут.

Хлеба давали *неработающим* инвалидам пятьсот пятьдесят, работающим — шестьсот пятьдесят.

Ещё не знал Спасск медикаментов (на такую ораву где взять! да и всё равно им подыхать) и постельных принадлежностей. В некоторых бараках вагонки сдвигались и на сдвоенных щитах ложились уже не по двое, а по четверо впритыку.

Да, и ещё же была работа: каждый день сто десять — сто двадцать человек выходило на рытьё могил. Два «студебекера» возили трупы в обрешётках, откуда руки и ноги выпячивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949 умирало по шестьдесят — семьдесят человек в день, а зимой по сотне (считали эстонцы, работавшие при морге).

(В других Особлагах не было такой смертности, и кормили лучше, но и работы же покрепче, ведь не инвалиды,— это читатель уравнивает уже сам.)

Всё это было в 1949 (тысяча девятьсот сорок девятом) году — на тридцать втором году Октябрьской революции, через четыре года после того, как кончилась война и её суровые необходимости, через три года после того, как закончился Нюрнбергский процесс, и всё человечество узнало об ужасах фашистских лагерей и вздохнуло с облегчением: «это не повторится!»...²³

Ко всему этому режиму ещё добавить, что с переездом в Особлаг почти прекращалась связь с волей, с ожидающей тебя и твоих писем женой, с детьми, для которых ты превращался в миф. (Два письма в год,— но не отправлялись и эти, куда вложил ты лучшее и главное, собранное за месяцы. Кто смеет проверить цензорш, сотрудниц МГБ? Они часто облегчали себе работу — сжигали часть писем, чтобы не проверять. А что твоё письмо не дошло,— всегда можно свалить на почту. В Спасске позвали как-то арестантов отремонтировать печь в цензуре,— те нашли там сотни не отправленных, но ещё и не сожжённых писем,— забыли цензоры поджечь. Вот обстановка Особлага: печники ещё боялись об этом рассказывать друзьям! — гебисты могли с ними быстро расправиться... Эти цензорши МГБ, для своего удобства сжигавшие душу узников,— были ли они гуманнее тех эсэсовок, собиравших кожу и волосы убитых?) А уж о свиданиях с родственниками в Особлагах и не заикались,— адрес лагеря был зашифрован и не допускалось приехать никому.

Если ещё добавить, что хемингуэвский вопрос *иметь или не иметь* почти не стоял в Особлагах, он со дня создания их был уверенно разрешён в пользу не иметь. Не иметь денег и не получать зарплаты (в ИТЛ ещё можно было заработать какие-то гроши, здесь — ни копейки). Не иметь смены обуви или одежды, ничего для поддевания, утепления или сухости. Бельё (и что то было за бельё! — вряд ли хемингуэвские бедняки согласились бы его натянуть) менялось два раза в месяц, одежда и обувь — два раза в год, кристальная ясность. (Не в первые дни лагеря, но позже наладили «вечную» камеру хранения — до дня «освобождения»; считалось важным проступком не сдать туда какой-либо собственной носильной вещи: это была подготовка к побегу, карцер, следствие.) Не иметь никаких продуктов в тумбочке (а утром стоять в очереди в продуктовую каптёрку, чтобы сдать их, вечером — чтобы получить,— тем самым удачно занимались ещё оставшиеся свободными для ума утренние и вечерние получасы). Не иметь ничего рукописного, не иметь чернил, химических и цветных карандашей, не иметь чистой бумаги свыше одной ученической тетради. Не иметь в конце концов и книг. (В Спасске отбирали собственные книги при приёме арестанта в лагерь. У нас сперва разрешалось иметь одну-две собственные книги в КВЧ, поставить на титульном листе «Степлаг. Лагпункт №...». Все книги без штампа будут впредь отбираться как незаконные, книги же со штампом будут считаться библиотечными и уже не принадлежат владельцу.)

²³ Я предвижу волнение читателя и спешу его заверить: все эти Чечев, и Мишин, и Воробьёв, и надзиратель Новгородов живут хорошо. Чечев — в Караганде, генерал в отставке. Никто из них не был судим и не будет. А за что их судить? Ведь они просто выполняли приказ. Нельзя же их сравнивать с нацистами, которые просто выполняли приказ. А если они делали что сверх приказа — то ведь от чистоты идеологии, с полной искренностью, просто по неведению, что Берия, «верный соратник великого Сталина», — также и агент международного империализма.

Если ещё напомнить, что в Особлагах настойчивее и чаще, чем в ИТЛ, производились обыски (ежедневный тщательный выходной и входной; плановые обыски барачков с поднятием полов, выламыванием печных колосников, выламыванием досок у крылечек; затем ещё тюремного типа повальные личные обыски с раздеванием, перещипыванием, отпарыванием подкладок, подметок). Что со временем стали выпалывать в зоне всю траву дочиста («чтобы не прятали в траве оружия»). Что выходные дни занимались хозяйственными работами в зоне.

Всё это вспомнив, пожалуй не удивись, что ношение номеров было далеко не самым чувствительным или язвительным способом унижить достоинство арестанта. Когда Иван Денисович говорит, что «они не весят, номера», это вовсе не утеря чувства достоинства (как упрекали гордые критики, сами номеров не носившие, да ведь и не голодавшие),— это просто здравый смысл. Досада, причиняемая нам номерами, была не психологическая, не моральная (как рассчитывали хозяева ГУЛАГа),— а практическая досада, что под страхом карцера надо было тратить досуг на пришивку отпоровшегося края, подновлять цифры у художников, а изодравшиеся при работе тряпки — целиком менять, изыскивать где-то новые лоскуты.

Для кого номера были действительно самой дьявольской из здешних затей,— это для истовых верующих. Такие были в женском лаготеделении близ станции Суслово (Камышлаг),— женщин, сидевших за религию, там вообще была треть. Ведь прямо же всё предсказано Апокалипсисом:

13, 16 — ...положено будет начертание на правую руку их или на чело их.

И эти женщины отказывались носить номера — печать сатаны! Не соглашались они и давать свою подпись (сатане же) за казённое обмундирование. Администрация лагеря (начальник Управления — генерал Григорьев, начальник ОЛПа майор Богуш) проявила достойную твёрдость: она велела *раздеть этих женщин до сорочек, снять с них обувь* (надзирательницы-комсомолки всё сделали),— чтобы зима помогла принудить бессмысленных фанатичек принять казённое обмундирование и носить номера. Но и в мороз женщины ходили по зоне босиком и в сорочках, а не соглашались отдать душу сатане!

И перед этим духом (конечно, реакционным, мы-то люди просвещённые, мы бы не стали так возражать против номеров) — администрация сдалась, вернула женщинам их носильные вещи,— и они надели их без номеров! (Елена Ивановна Усова так и проходила все десять лет в своём, одежда и бельё истлели уже, сползали с плеч,— но не могла бухгалтерия выдать ей ничего казённого без расписки.)

Ещё досаждали нам номера тем, что, крупные, они легко прочитывались издали конвоем. Конвой всегда нас видел только на расстоянии, возможным для автоматной изютовки и выстрела, никого из нас по фамилии разумеется не знал и, одинаково одетых, не различал бы, если б не наши номера. Теперь же конвоиры примечали, кто в колонне разговаривал или путал пятёрки, или рук не держал назад, или поднял что-нибудь с земли,— и достаточно было рапорта начкара в лагерь, чтобы виновника ждал карцер.

Конвой был ещё одной силой, сжимающей воробышка нашей жизни в жмых. Эти «краснопогонники», регулярные солдаты, эти сынки с автоматами были силой тёмной, нерассуждающей, о нас не знающей, никогда не принимающей объяснений. От нас к ним ничто не могло перелететь, от них к нам — окрики, лай собак, лязг затворов и пули. И всегда были правы они, а не мы.

В Экибастузе на подсыпке железнодорожного полотна, где зоны нет, а есть оцепление, один зэк в дозволенной черте ступил несколько шагов, чтобы взять свой хлеб из брошенной куртки,— а конвой

вскинулся и убил его. И он был, конечно, прав. И получить мог только благодарность. И, конечно, не раскаивается по сей день. А мы ничем не выразили возмущения. И, разумеется, не писали никуда (да никто б нашей жалобы и не пропустил).

19 января 1951 года наша колонна в пятьсот человек подошла к объекту АРМу (авторемонтные мастерские). С одной стороны была зона, и тут уже не стояло солдат. Вот-вот должны были впускать нас в ворота. Вдруг заключённый Малой (а на самом деле — рослый широкоплечий парень) ни с того ни с сего отделился от строя и как-то задумчиво пошёл на начальника конвоя. Впечатление было, что он не в себе, что он сам не понимает, что делает. Он не поднял руки, он не сделал ни одного угрожающего жеста, но просто задумчиво пошёл. Начальник конвоя, франтоватый гаденький офицер, — перепугался и стал задом наперёд бежать от Малого, что-то визгливо крича и никак не умея вынуть пистолета. Против Малого быстро выдвинулся сержант-автоматчик и за несколько шагов дал ему очередь в грудь и живот, тоже медленно отходя. И Малой, прежде чем упасть, ещё шага два продолжал своё медленное движение, а из спины его по следу невидимых пуль вырвались видимые клочки ваты из телогрейки. Но хотя Малой упал, а мы, вся остальная колонна, не шевельнулись, начальник конвоя так был перепуган, что выкрикнул солдатам боевую команду, и со всех сторон захлопали автоматы, полосая чуть выше наших голов, застучал пулемёт, развёрнутый заранее на позиции, и во много голосов, состязаясь в истеричности, нам кричали: «Ложись! Ложись! Ложись!» И пули пошли ниже, ниже, в проволоку зоны. Мы, полтысячи, не бросились на стрелков, не смяли их, а все повалились ничком и так, уткнувшись лицами в снег, в позорном, беспомощном положении, в это крещенское утро дольше четверти часа лежали как овцы, — всех нас они шутя могли бы перестрелять и не несли бы ответа: ведь попытка к бунту!

Такие мы были подавленные жалкие рабы на первом и на втором году особых лагерей, — и о периоде этом довольно сказано в «Иване Денисовиче».

Как же это сложилось? Почему многие тысячи этой скотинки, Пятьдесят Восьмой, — но ведь *политических* же, чёрт возьми? но ведь теперь-то — отделённых, выделенных, собранных вместе, — теперь-то, кажется, *политических*? — вели себя так ничтожно? так покорно?

Эти лагеря и не могли начаться иначе. И угнетённые, и угнетатели пришли из ИТЛовских лагерей, и десятилетия рабской и господской традиции стояли и за теми и за другими. Образ жизни и образ мыслей переносился вместе с живыми людьми, они притепляли и поддерживали его друг в друге, потому что ехали по несколько сот человек с одного лаготделения. На новое место они привозили с собой всеобщую внушённую уверенность, что в лагерном мире человек человеку — крыса и людоед, и не бывает иначе. Они привозили в себе интерес к одной лишь своей судьбе и полное равнодушие к судьбе общей. Они ехали, готовые к беспощадной борьбе за захват бригадирства, за теплые придурочки места на кухне, в хлебрезке, в каптёрках, в бухгалтерии и при КВЧ.

Но когда на новое место едет одиночка, он в своих расчётах устроиться там может полагаться только на свою удачу и на свою бессовестность. Когда же долгим этапом, две-три-четыре недели везут в одном вагоне, моют в одних пересылках, ведут в одном строю уже довольно stalkивавшихся лбами, уже хорошо оценивших друг в друге и бригадирский кулак, и умение подползать к начальству, и умение кусать из-за угла, и умение тянуть «налево», *отворачивая* от работяг, — когда вместе этапируют уже спевшееся кубло придурков, — естественно им не предаваться свободолюбивым мечтам, а дружно перенести эстафету рабства, сговориться, как они будут захватывать ключевые посты в новом лагере, оттесняя придурков из других лаге-

рей. А работяги тёмные, вполне смирившиеся со своей корявой тёмной судьбой, сговариваются, как им на новом месте составить бригаду получше да подпасть под сносного бригадира.

И все эти люди бесповоротно забыли не только то, что каждый из них — человек, и несёт в себе Божий огонь, и способен на высшую участь, но забыли даже, что спину можно бы и разогнуть, что простая свобода есть такое же право человека, как воздух, что все они — так называемые *политические*, и вот теперь остаются промеж себя.

Правда, толика блатных всё-таки среди них была: отчаявшись удержать своих любимцев от частых побегов (82-я статья УК давала за побег только до двух лет, а у воров бывали уже десятки и сотни наплюсованных, отчего же не бежать, коли некому унять?), власти решились клепать им за побег 58-14, то есть экономический саботаж.

Таких блатных ехало в Особые лагеря в общем очень мало, в каждом этапе — горстка, но, по их кодексу, вполне достаточно, чтобы вести себя дерзко, нагло, ходить в комендантах с палками (как те два азербайджанца в Спасске, зарубленные потом) и помогать придуркам утверждать на новых островах Архипелага всё то же чёрно-го-вённое знамя рабских подлых истребительно-трудовых лагерей.

Экибастузский лагерь был создан за год до нашего приезда — в 1949 году, и всё тут так и сложилось по подобию прежнего, как оно было принесено в умах лагерников и начальства. Были комендант, помкомеданта и старшие бараков, кто кулаками, кто доносами изни-мавшие своих подданных. Был отдельный барак придурков, где на вагонках и за чаем дружески решались судьбы целых объектов и бригад. Были (благодаря особому устройству финских бараков) отдельные «кабины» в каждом бараке, которые занимались, по чину, одним или двумя привилегированными зками. И нарядчики били в шею, и бригадиры — по морде, а надзиратели — плётками. И подобрались нагие мордастые повара. И всеми каптёрками завладели свободолюбивые кавказцы. А прорабские должности захватила группка проходимцев, которые считались все инженерами. А стукачи исправно и безнаказанно носили свои доносы в оперчасть. И, год назад начатый с палаток, лагерь имел уже и каменную тюрьму, — однако ещё не достроенную и потому сильно переполненную: очереди в карцер с уже выписанным постановлением приходилось ожидать по месяцу и по два — незаконные, да и только: очередь в карцер! (Мне был присуждён карцер, так я и не дождался очереди.)

Правда, за этот год уже поблекли блатные (точнее суки, поскольку не пренебрегали лагерными постами). Уже как-то почувствовалось, что нет им настоящего размаха, — нет блатной молодёжи, пополнения, не скачет никто на дырлах. Что-то у них не срабатывало. Комендант Магеран, когда начальник режима представлял его выстроившемуся лагерю, ещё пытался смотреть с мрачной бодростью; но уже неуверенность владела им, и скоро бесславно сошла его звезда.

На наш этап, как и на всякий новый, был сделан натиск уже в первой приёмной бане. Банщики, парикмахеры и нарядчики были напряжены и дружно налетали на каждого, кто пытался сделать хотя бы робкое возражение против рваного белья, или холодной воды, или порядка прожарки. Они только и ждали таких возражений и налетали сразу несколько, как псы, нарочито, кричали повышенно громко: «Здесь вам не Куйбышевская пересылка!», и совали к носу откормленные кулаки. (Это психологически очень верно. Голый человек десятикратно беззащитен против одетых. И если новый этап припугнуть в первой бане, он будет уже и в лагерной жизни ущемлён.)

Тот самый школьник Володя Гершуни, который предполагал в лагере, осмотревшись, понять, «с кем идти», был в первый же день поставлен укреплять лагерь — копать яму под столб освещения. Он был слаб, не одолел нормы. Помпобыт Батурин, из сук, тоже притихающий,

но ещё не притихший, обозвал его «пиратом» и ударил в лицо. Гершуни бросил лом и вовсе ушёл от ямки. Он пошёл в комендатуру и объявил: «сажайте, на работу больше не пойду, пока ваши пираты дерутся» (его этот «пират» особенно обидел с непривычки). Посадить его не отказались, он отсидел в два приёма восемнадцать суток карцера (делается это так: сперва выписывается пять или десять суток, а потом по окончании срока не освобождают, ждут, чтобы заключённый начал протестовать и ругаться, — и тут-то «законно» *втирают* ему второй карцерный срок). После карцера ему, за буйство, выписали ещё два месяца БУРа, то есть в той же тюрьме сидеть, но получать горячее, пайку по выработке и ходить на известковый завод. Видя, что погрязает всё глубже, Гершуни пытался спастись теперь через санчасть, он ещё не знал цену её начальнице мадам Дубинской. Он предполагал, что предъявит своё плоскостопие и его освободят от далёких хождений на известковый. Но его и в санчасть отказались вести, экибастузский БУР не нуждался в амбулаторном приёме. Чтобы всё-таки туда попасть, Гершуни, наслушавшись, как надо протестовать, по разводу остался на нарах в одних кальсонах. Надзиратели «Полундра» (психованный бывший морячок) и Коненцов стащили его за ноги с нар и так, в кальсонах, поволокли на развод. Они волокли, а он руками хватался за лежащие там камни, подготовленные к кладке, — чтоб удержаться за них. Уж Гершуни согласен был на известковый и только кричал «дайте брюки надеть!» — но его волокли. На вахте, задерживая весь четырёхтысячный развод, этот слабый мальчик кричал: «Гестаповцы! Фашисты!» и отбивался, не давая надеть наручников. Всё же Полундра и Коненцов согнули его голову до земли, и надели наручники, и теперь толкали идти. Их и начальника режима лейтенанта Мачеховского не смущало, смущало почему-то самого Гершуни: как это через весь посёлок пойдёт в кальсонах? И он отказался идти. Рядом стоял курносый собаковод-конвоир. Запомнилось Володе, как он тихо ему буркнул: «Ну что бушуешь, становись в колонну. Посидишь у костра, неужто работать будешь?» И крепко держал свою собаку, которая из рук его рвалась, чтобы достичь Володиного горла, она же видела, что этот пацан сопротивляется голубым поганам! Володю сняли с развода, повели назад, в БУР. Руки в наручниках за спиной стягивало ему всё большее, а надзиратель-казак держал за горло и тыкал коленом под вздох. Потом бросили его на пол, кто-то сказал профессионально-деловито: «Так его бейте, чтоб у...лся!» И его стали бить сапогами, попадая и по виску, пока он не потерял сознание. Через день вызвали к оперуполномоченному и стали мотать ему дело о намерении террора: ведь когда волокли его, он хватался за камни! Зачем?

На другом разводе так же сопротивлялся идти Твердохлеб, он и голодовку объявил: на сатану работать не будет! Презирая его голодовку и его забавовку, тащили и его силком, только из простого барака, и Твердохлеб мог дотянуться и бить стёкла. Разбиваемые стёкла резко звенели на всю линейку, мрачно аккомпанируя счёту наряжчиков и надзирателей.

Аккомпанируя тягучему однообразному тону наших дней, недель, месяцев, лет.

И никакого просвета не предвиделось. Не задумано было просвета в плане МВА, когда эти лагеря создавались.

Мы, четверть сотни новоприбывших, большей частью западных украинцев, сбились в одну бригаду и удалось договориться с наряжчиками иметь бригадира из своих — того же Павла Баранюка.

Получилась из нас бригада смиренная, работающая (западных украинцев, недавно от земли, ещё не коллективизированной, не подгонять надо было, а впору пожалуй удерживать). Дней несколько мы считались чернорабочими, но скоро объявились у нас каменщики-мастера, а другие взялись подучиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. Начальство это заметило и сняло нас с

жилого объекта — с постройки домов для вольных, оставило в зоне. Показали бригадире кучу камней у БУРа — тех самых, за которые цеплялся Гершуни, пообещали, что камни с карьера будут подвозить непрерывно. И объяснили, что тот БУР, который стоит, это только половина БУРа, а нужно теперь пристроить такую же вторую половину, и это сделает наша бригада.

Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя.

Стояла долгая сухая осень,— за весь сентябрь и за половину октября не выпало ни дождика. Утром бывало тихо, потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал опять. Иногда этот ветер был постоянен,— он дул тонко, щемяще и особенно давал чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся нам даже с лесов БУРа,— ни посёлок с первыми заводскими зданиями, ни военный городок конвоя, ни тем более наша ещё проволочная зона не закрывали от нас беспредельности, бесконечности, совершенной ровности и безнадёжности этой степи, по которой только первый рядок едва ошкуренных телефонных столбов пошёл на северо-восток к Павлодару. Иногда ветер вдруг брался крутой, за час надувал холоду из Сибири, заставлял натянуть телогрейки и ещё бил и бил в лицо крупным песком и мелкими камушками, которые мёл по степи. Да уж не обойтись, проще повторить стихотворение, которое я написал в те дни на кладке БУРа.

КАМЕНЩИК

Вот — я каменщик. Как у поэта сложено,
Я из камня дикого кладу тюрьму.
Но вокруг — не город. Зона. Огорожено.
В чистом небе коршун реет настороженно.
Ветер по степи!.. И нет в степи прохожего,
Чтоб спросить меня: кладу — кому?
Стерегут колючкой, псами, пулемётами,—
Мало! Им ещё в тюрьме нужна тюрьма...
Мастерок в руке. Размеренно работаю,
И влечёт работа по себе сама.
Был майор. Стена не так развязана.
Первых посадить нас обещал.
Только ль это! Слово вольно сказано.
На тюремном деле — галочка прокажю,
Что-нибудь в доносе на меня показано,
С кем-нибудь фигурной скобкой сообща.
Вперекличь дробят и тешут молотки проворные.
За стеной стена растёт, меж стенами стена...
Шутим, закурив у ящика растворного,
Ждём на ужин — хлеба, каш добавка вздорного,—
А с лесов, меж камня — камер ямы чёрные,
Чьих-то близких мук немая глубина.
И всего-то нить у них одна — автомобильная,
Да с гуденьем проводов недавние столбы...
Боже мой! Какие мы бессильные!
Боже мой! Какие мы рабы!

Рабы! Не потому даже, что, боясь угроз майора Максименко, клали камни вперехлест и цементу честно, чтобы нельзя было легко эту стену разрушить будущим узникам. А потому что, действительно, хотя мы не выполняли и ста процентов нормы,— бригаде, клавшей тюрьму, выписывались дополнительные, и мы не швыряли их майору в лицо, а съедали. А товарищ наш Володя Гершуни сидел в уже отстроенном крыле БУРа. А Иван Спасский, без всяких проступков, за какую-то неведомую галочку, уже сидел в режимке. И из нас ещё многим предстояло посидеть в этом самом БУРе, в этих самых камерах, которые мы так аккуратно надёжно выкладывали. И в самое время работы, когда мы быстро поворачивались с раствором и камнями, вдруг раздалась выстрелы в степи. Скоро к вахте лагеря, близ нас, подъехал «воронки» (самый настоящий, городской, он состоял в штате конвойной части, только на боках не было расписано для сусликов «Пейте советское шампанское!»). Из «воронка» вытолкнули четве-

рых — избитых, окровавленных; двое спотыкались, одного тянули; только первый, Иван Воробьёв, шёл гордо и зло.

Так провели беглецов под нашими ногами, под нашими подмостками — и завели в готовое крыло БУРа.

А мы — клали камни...

Побег! Что за отчаянная смелость! — не имея гражданской одежды, не имея еды, с пустыми руками — пройти зону под выстрелами — и бежать — в открытую безводную бесконечную голую степь! Это даже не замысел — это вызов, это гордый способ самоубийства. И вот на какое сопротивление только и способны самые сильные и смелые из нас.

А мы... кладём камни.

И обсуждаем. Это — уже второй побег за месяц. Первый тоже не удался, но тот был глуповатый. Василий Брюхин (прозванный «Блюхер»), инженер Мутьянов и ещё один бывший польский офицер выкопали в мехмастерских под комнатой, где работали, яму в один кубометр, с запасом еды засели туда и перекрылись. Они наивно рассчитывали, что вечером, как обычно, с рабочей зоны снимут охрану, они вылезут и пойдут. Но ведь на съёме не досчитались троих, а проволока вокруг вся цела, — и оставили охрану на несколько суток. За это время наверху ходили люди и приводили собаку, — и скрывшиеся подносили ватку с бензином к щели, отбивая собаке нюх. Трое суток они сидели не разговаривая, не шевелясь, с руками и ногами переплетёнными, скорченными, потому что в одном кубометре трое, — наконец, не выдержали и вышли.

Приходят в зону бригады и рассказывают, как бежала группа Воробьёва: рвала зону грузовиком.

Ещё неделя. Мы кладём камни. Уже очень ясно вырисовывается второе крыло БУРа — вот будут уютные карцерочки, вот одиночки, вот тамбурочки, уже нагородили мы в малом объёме множество камня, а его всё везут и везут с карьера: камень даровый, руки даровые там и здесь, только цемент государственный.

Приходит неделя, достаточное время четырём тысячам экибастузцев помыслить, что побег — безумие, что он не даёт ничего. И — в такой же солнечный день опять гремят выстрелы в степи — побег!!! Да это эпидемия какая-то: снова мчится конвойный «воронок» — и привозит двоих (третий убит на месте). Этих двоих — Батанова и совсем ещё какого-то молоденького, молодого, — окровавленных проводят мимо нас, под нашими подмостками, в готовое крыло, чтобы там бить их ещё, и раздетыми бросить на каменный пол и не давать им ни есть, ни пить. Что испытываешь ты, раб, глядя вот на этих, искромсанных и гордых? Неужели подленькую радость, что это не меня поймали, не меня избили, не меня обрекли?

«Скорей, скорей кончать надо левое крыло!» — кричит нам пузатый майор Максименко.

Мы — кладём. Нам будет вечером дополнительная каша.

Носит раствор кавторанг Бурковский. Всё, что строится, — всё на пользу Родине.

Вечером рассказывают: и Батанов тоже бежал на рывок, на машине. Подстрелили машину.

Но теперь-то поняли вы, рабы, что бежать — это самоубийство, бежать никому не удастся дальше одного километра, что доля ваша — работать и умереть?!

Дней пять не прошло, и никаких выстрелов никто не слышал, — но будто небо всё металлическое и в него грохают огромным ломом — такая новость: побег!! опять побег!!! И на этот раз удачный!

Побег в воскресенье 17 сентября сработан так чисто, что проходит благополучно вечерняя проверка — и всё сошлось у вертухаев. Только утром 18-го что-то начинает не получаться у них, — и вот отменяется развод и устраивают всеобщую проверку. Несколько общих

проверок на линейке, потом проверки по баракам, потом проверки по бригадам, потом переключка по формулярам,— ведь считать только деньги у кассы умеют псы. Всё время результат у них разный! До сих пор не знают, сколько же бежало? кто именно? когда? куда? на чём?

Уже к вечеру и понедельник, а нас не кормят обедом (поваров с кухни тоже пригнали на линейку, считать),— но мы ничуть не в обиде, мы рады-то как! Всякий удачный побег — это великая радость для арестантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы все — именинники! Мы ходим гордо. Мы-то умнее вас, господа псы! Мы-то вот убежали! (И, глядя в глаза начальству, мы все затаённо думаем: хоть бы не поймали! хоть бы не поймали!)

К тому ж — и на работу не вывели, и понедельник прошёл для нас как второй выходной. (Хорошо, что ребята *дёрнули* не в субботу: угли, что нельзя нам воскресенья портить!)

Но — кто ж они? кто ж они?

В понедельник вечером разносится: это — Георгий Тэнно с Колькой Жданком.

Мы кладём тюрьму выше. Мы уже сделали наддверные перемычки, мы уже замкнули сверху маленькие оконца, мы уже оставляем гнёзда для стропил.

Три дня с побега. Семь. Десять. Пятнадцать.

Нет известий!

Бежали!!!

.....

Глава 12

СОРОК ДНЕЙ КЕНГИРА

Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадёживало и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.

И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой (но без авиационной птички), до сей поры самые почётные, самые несомненные во всех Вооружённых Силах,— вдруг понесли на себе как бы печать порока и не только в глазах заключённых или их родственников (шут бы с ними),— но не в глазах ли и правительства?

В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату («за звёздочки»), то есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные конечно. Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, мы становимся не нужны?

Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как?

Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением: побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было *принимать меры*. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат.

Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шёл случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным²⁴.

²⁴ Очевидно, такое же ускорение событиям придавало лагерное руководство и в других местах, например в Норильске.

Застрелили ту девушку Лиду с растворомешалки, которая повешила чулки сушить на предзоннике.

Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру — с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подзвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил.

Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключённому собрать и застрелил его.

Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли шестнадцать раненых. (А ещё десятка два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.)

Тут зэки не смолчали — повторилась история Экибастуза: 3-й лагпункт Кенгира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных.

Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто эзков позовут на суд, и они проверят!..). Вышли на работу.

Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного — «евангелиста», как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек отсидел из своей десятки девять лет и девять месяцев. Работа его была — обмазывать сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки — и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. (Всё это время близ зоны Деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беяева — «Бородавки», названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беяев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить всё это убийство.)

Всё в зоне заволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут в лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. «За что убили?» — кричали им. Объяснение у хозяев было уже готово: виноват убитый сам — он первый стал бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? — что ему три месяца осталось и что он евангелист?..)

Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идёт не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулемётчики, готовые к стрельбе (уже кенгирцам известно было, что — слишком готовые...). Пулемётчики дежурили и на крышах конвойного городка.

Это было опять всё на том же 3-м лагпункте, который знал уже шестнадцать раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, норосло чувство незащищённости, обречённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто.

Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: «Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!» И так секция за секцией, барак за бараком.

Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был, и обдуманно раньше не раз, сумели объявить и там. На 2-м лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники, и у многих сроки шли к концу — однако они присоединились.

Утром мужские лагпункты — 3-й и 2-й, на работу не вышли.

Такая повадка — бастовать, а от казённой пайки и хлёбова не отказываться, всё больше начинала пониматься арестантами, но всё меньше — их хозяевами. Придумали: надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки, и вдвоём берясь за одного зэка, — выталкивали, выпирали его из барака. (Система слишком

гуманная, так пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отважился первый отдать приказ стрелять по зоне из пулемётов.) Этот труд, однако, себя не оправдал: заключённые шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод.

Два дня так они выстояли.

Простая мысль — наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно, полковник из Караганды с большой свитой: «Долго думаете *волынку* тянуть?»²⁵ И наугад, никого не зная тут, тыкал пальцем: «Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!.. Ты — выходи!» И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на «волынку». Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: «И я пойду» — «Иди!» — охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверно, что это был — протест, и против чего тут можно было протестовать.

В ту же ночь было объявлено, что демократия с питанием кончена и не вышедшие на работу будут получать штрафной паёк. 2-й лагпункт утром вышел на работу. 3-й не вышел ещё и третье утро. Теперь к ним применили ту же тактику выталкивания, но уже увеличенными силами: мобилизованы были все офицеры, какие только служили в Кенгире или съехались туда на помощь и с комиссиями. Офицеры во множестве входили в намеченный барак, ослепляя арестантов мельканием папах и блеском погонов, пробирались, нагнувшись, между вагонками и, не гнушаясь, садились своими чистыми брюками на грязные арестантские подушки из стружек: «Ну, подвинься, подвинься, ты же видишь, я подполковник!» И дальше так, подбоченясь и пересаживаясь, выталкивали обладателя матраса в проход, а там его за рукава подхватывали надзиратели, толкали дальше к разводу, а тех, кто и тут ещё слишком упирался — в тюрьму. (Ограниченный объём двух кенгирских тюрем очень стеснял командование — туда помещалось лишь около полутысячи человек.)

Так забастовка была пересилена, не щадя офицерской чести и привилегий. Эта жертва вынуждалась двойственным временем. Непонятно было, что же надо? и опасно было ошибиться! Перестаравшись и расстреляв толпу, можно было оказаться подручным Берии. Но не достаравшись и не вытолкнув энергично на работу, можно было оказаться его же подручным²⁶. К тому же личным и массовым своим участием в подавлении забастовки офицеры МВД как никогда доказали и нужность своих погонов для защиты святого порядка, и несокрушаемость штатов, и индивидуальную отвагу.

Применены были и все проверенные ранее способы. В марте — апреле несколько этапов отправили в другие лагеря. (Поползла зараза дальше!) Человек семьдесят (среди них и Тэнно) были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой: «все меры исправления исчерпаны, разлагающе влияет на заключённых, содержанию в лагере не подлежит». Списки отправленных в закрытые тюрьмы были для устрашения вывешены в лагере. А для того, чтобы хоз-

²⁵ Слово «волынка» очень прижилось в официальном языке после берлинских волнений в июне 1953 года. Если простые люди где-нибудь в Бельгии добиваются прыжка зарплаты, это называется «справедливый гнев народа», если простые люди у нас добиваются чёрного хлеба — это «волынка».

²⁶ Полковник Чечев, например, не вынес этой головоломки. После февральских событий в Кенгире он ушёл в отпуск, затем след его мы теряем — и обнаруживаем уже персональным пенсионером в Караганде. — Не знаем, как скоро ушёл из Озёрлага его начальник полковник Евстигнеев. «Замечательный руководитель... скромный товарищ», он стал заместителем начальника Братской ГЭС. (У Евтушенко его прошлое не отражено.)

расчёт, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключённым свободу и справедливость, — в ларьки, до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов. И даже — о, невозможность! — выдали заключённым аванс, чтобы эти продукты брать. (ГУЛАГ верил туземцу в долг! — это небывало.)

Так второй раз нараставшее здесь, в Кенгире, не дойдя до назреву, рассасывалось.

Но тут хозяева двинули лишку. Они потянулись за своей главной дубинкой против Пятьдесят Восьмой — за блатными. (Ну в самом деле: зачем же пачкать руки и погоны, когда есть социально-близкие?)

Перед первомайскими праздниками в 3-й мятежный лагпункт, уже сами отказываясь от принципов Особлагов, уже сами признавая, что невозможно политических содержать беспримесно и дать им себя *понять*, — хозяева привезли и разместили шестьсот пятьдесят воров, частично и бытовиков (в том числе много малолеток). «Прибывает *здоровый контингент!* — злорадно предупреждали они Пятьдесят Восьмую. — Теперь вы не шелохнётесь». А к привезённым ворам воззвали: «Вы у нас наведёте порядок!»

И хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно *порядок* начинать: чтоб воровали, чтоб жили за счёт других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворами, когда те, услышав, что есть рядом и женский лагпункт, уже канючили в развязной своей манере: «Покажи нам баб, начальничек!»

Но вот он, непредсказуемый ход человеческих чувств и общественных движений. Впрыснув в 3-й кенгирский лагпункт лошадиную дозу этого испытанного трупного яда, хозяева получили не замиренный лагерь, а самый крупный мятеж в истории Архипелага ГУЛАГа!

* * *

Как ни огорожены, как ни разбросаны по видимости островки Архипелага, они через пересылки живут одним воздухом, и общие протекают в них соки. И потому резня стукачей, голодовки, забастовки, волнения в Особлагах не остались для воров неизвестными. И вот говорят, что к пятьдесят четвёртому году на пересылках стало заметно, что *воры уважали каторжан*.

И если это так — что же мешало нам добиться воровского «уважения» — раньше? Все 20-е, все 30-е, все 40-е годы мы, Укропы Помидоровичи и Фан Фанычи, так озабоченные своей собственной общемировой ценностью и содержимым своего *сидора*, и своими ещё не отнятыми ботинками или брюками, — мы держали себя перед ворами как персонажи юмористические: когда они грабили наших соседей, таких же общемировых интеллектуалов, мы отводили стыдливо глаза и жались в своём уголке; а когда подчеловеки эти переходили расправляться с нами, мы также разумеется не ждали помощи от соседей, мы услужливо отдавали этим образинам всё, лишь бы нам не откусили голову. Да, наши умы были заняты не тем, и сердца приготовлены не к этому! Мы никак не ждали ещё этого жестокого низкого врага. Мы терзались извивами русской истории, а к смерти готовы были только публичной, вкрасне, на виду у целого мира и только спасая сразу всё человечество. А может быть на мудрость нашу довольно было самой простой простоты. Может быть с первого шага по первой пересыльной камере мы должны были быть готовы все, кто тут есть, получить ножи между рёбрами и слечь в сыром углу, на парашной слизи, в презренной потасовке с этими крысо-людьми, которым на загрызание бросили нас Голубые. И тогда-то, быть может, мы понесли бы гораздо меньше потерь и воспрянули бы раньше, выше и даже с ворами этими об руку разнесли бы в щепки сталинские лагеря? В самом деле, за что было ворами нас *уважать?*..

Так вот, приехавшие в Кенгир воры уже слышали немного, уже ожидали, что дух боевой на каторге есть. И прежде чем они осмотрелись и прежде чем слизались с начальством,— пришли к паханам выдержанные широкоплечие хлопцы, сели поговорить о жизни и сказали им так: «Мы — представители. Какая в Особых лагерях идёт рубилка — вы слышали, а не слышали — расскажем. Ножи теперь делать мы умеем не хуже ваших. Вас — шестьсот человек, нас — две тысячи шестьсот. Вы — думайте и выбирайте. Если будете нас давить — мы вас перережем».

Вот этот-то шаг и был мудр и нужен был давно! — повернуться против блатных всем остриём! увидеть в них — главных врагов!

Конечно, Голубым только и было надо, чтобы такая свалка началась. Но прикинули воры, что против осмелевшей Пятьдесят Восьмой один к четырём идти им не стоит. Покровители — всё-таки за зоной, да и хрена ли в этих покровителях? Разве воры их когда-нибудь уважали? А союз, который предлагали хлопцы,— был весёлой небывалой авантюрой, да ещё кажется открывал и дорожку — через забор в женскую зону.

И ответили воры: «Нет, мы умнее стали. Мы будем с мужиками вместе!»

Эта конференция не записана в историю, и имена участников её не сохранились в протоколах. А жаль. Ребята были умные.

Ещё в первых же карантинных бараках здоровый контингент отметил своё новоселье тем, что из тумбочек и вагонок развёл костры на цементном полу, выпуская дым в окна. Несогласие же своё с запираемостью бараков они выразили, забивая щепками скважины замков.

Две недели воры вели себя как на курорте: выходили на работу, загорали, не работали. О штрафном пайке начальство, конечно, и не помышляло, но при всех светлых ожиданиях и зарплату выписывать ворами было не из каких сумм. Однако появились у воров боны, они приходили в ларёк и покупали. Обнадежилось начальство, что здоровый элемент начинает-таки воровать. Но, плохо осведомлённое, оно ошиблось: среди политических прошёл сбор на выручку воров (это тоже было, наверно, частью конвенции, иначе ворами неинтересно), от туда у них были и боны. Случай слишком небывалый, чтобы хозяева могли о нём догадаться!

Вероятно, новизна и необычность игры очень занимала блатных, особенно малолеток: вдруг относиться к «фашистам» вежливо, не входить без разрешения в их секции, не садиться без приглашения на вагонки.

Париж прошлого века называл своих блатных (а у него, видимо, их хватало), сведённых в гвардию,— *мобили*. Очень верно схвачено. Это племя такое мобильное, что оно разрывает оболочку повседневной косной жизни, оно никак не может в ней заключаться в покое. Установлено было не воровать, незтично было *вкалывать* на казённой работе,— но что-то же надо было делать! Воровской молодняк развлекался тем, что срывал с надзирателей фуражки, во время вечерней проверки джигитовал по крышам бараков и через высокую стену из 3-го лагпункта во 2-й, сбивал счёт, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лагпункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор.

Когда режимные офицеры, или воспитатели, или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, ворюшки-малолетки оскорбляли их лучшие чувства тем, что в разговоре вытаскивали из их карманов записные книжки, кошельки, или с верхних нар вдруг оборачивали куму фуражку козырьком на затылок — небывалое для ГУЛАГа обращение! — но и обстановка сложилась невиданная. Воры и раньше всегда считали своих гулаговских отцов — дураками, они тем больше презирали их всегда, чем те индюшачее

верили в успехи перековки, они до хохота презирали их, выходя на трибуну или перед микрофон рассказать о начале новой жизни с тачкой в руках. Но до сих пор не надо было с ними ссориться. А сейчас конвенция с политическими направляла освободившиеся силы бластных как раз против хозяев.

Так, имея низкий административный рассудок и лишённые высокого человеческого разума, гулаговские власти сами подготовили кенгирский взрыв: сперва бессмысленными застрелами, потом — вливом воровского горючего в этот накалённый воздух.

События шли неотвратимо. Нельзя было политическим не предложить ворами войны или союза. Нельзя было ворами отказываться от союза. А установленному союзу нельзя было коснеть — он бы распался и открылась бы внутренняя война.

Надо было *начинать*, что-нибудь, но начинать! А так как начальелей, если они из Пятьдесят Восьмой, подвешивают потом в верёвочных петлях, а если они воры — только журят на политбеседах, то воры и предложили: мы — начнём, а вы поддержите!

Заметим, что всё кенгирское лагерное отделение представляло собой единый прямоугольник, с общей внешней зоной, внутри которой, поперёк длины, нарезаны были внутренние зоны: сперва 1-го лагпункта (женского), потом хоздвора (о его индустриальной мощи мы говорили), потом 2-го лагпункта, потом 3-го, а потом — тюремного, где стояли две тюрьмы — старая и новая, и куда сажали не только лагерников, но и вольных жителей посёлка.

Естественной первой целью было — взять хозяйственный двор, где располагались также и все продовольственные склады лагеря. Операцию начали днём в нерабочее воскресенье 16 мая 1954 года. Сперва все мобили влезли на крыши своих барачков и усеяли стену между 3-м и 2-м лагпунктами. Потом по команде паханов, оставшихся на высотах, они с палками в руках спрыгивали во 2-й лагпункт, там выстраивались в колонну и так строем пошли по линейке. А линейка вела по оси 2-го лагпункта — к железным воротам хоздвора, в которые и упиралась.

Все эти ничуть не скрываемые действия заняли какое-то время, за которое надзор успел организовать и получить инструкции. И вот преинтересно! — надзиратели стали бегать по барачкам Пятьдесят Восьмой и к ним, тридцать пять лет давным, как мразь, звать: «Ребята! Смотрите! Воры идут ломать женскую зону! Они идут насиловать ваших жён и дочерей! Выходите на помощь! Отобьём их!» Но уговор был уговор, и кто рванулся, о нём не зная, того остановили. Хотя очень было вероятно, что при виде котлет коты не выдержат условий конвенции, — надзор не нашёл себе помощников из Пятьдесят Восьмой.

Уж как там защищал бы надзор от своих любимцев женскую зону — неизвестно, но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота хоздвора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат, а сзади ими руководил Бородавка-Беляев, который то ли от усердия оказался в воскресенье в зоне, то ли потому что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Не применяя дрынов, воры стали отступать к своему 3-му лагпункту и карабкаться снова на стену, а со стены их резерв бросал в солдат камнями и саманами, прикрывая отступление.

Разумеется, никаких арестов среди воров не последовало. Всё ещё видя в этом лишь резвую шалость, начальство дало лагерному воскресенью спокойно течь к отбою. Без приключений был роздан обед, а вечером с темнотою близ столовой 2-го лагпункта стали, как в летнем кинотеатре, показывать фильм «Римский-Корсаков».

Но отважный композитор не успел ещё уволиться из консерватории, протестуя против гонений на свободу, как зазвенели от камней фонари на зоне: мобили били по ним из рогаток, гася освещение

зоны. Уже их полно тут сновало в темноте по 2-му лагпункту, и залихватые их разбойничьи свисты резали воздух. Бревном они рассидили ворота хоздвора, хлынули туда, а оттуда рельсом сделали пролом и в женскую зону. (Были с ними и молодые из Пятьдесят Восьмой.)

При свете боевых ракет, запускаемых с вышек, всё тот же опер капитан Беляев ворвался в хоздвор извне, через его вахту, со взводом автоматчиков и — впервые в истории ГУЛАГа! — открыл огонь по *социально-близким!* Были убитые и несколько десятков раненых. А ещё — бежали сзади краснопогонники со штыками и докалывали раненых. А ещё сзади, по разделению карательного труда, принятому уже в Экибастузе, и в Норильске, и на Воркуте, бежали надзиратели с железными ломами и этими ломами досмерти добивали раненых. (В ту ночь в больнице 2-го лагпункта засветилась операционная, и заключённый хирург испанец Фустер оперировал.)

Хоздвор теперь был прочно занят карателями, пулемётчики там расставились. А 2-й лагпункт (мобили сыграли свою увертюру, теперь вступили политические) соорудил против хоздвора баррикаду. 2-й и 3-й лагпункты соединились проломом, и больше не было в них надзирателей, не было власти МВД.

Но что случилось с теми, кто успел прорваться на женский лагпункт и теперь отрезан был там? События перемахнули через то развязное презрение, с которым блатные оценивают баб. Когда в хоздворе загремели выстрелы, то проломившиеся к женщинам оказались уже не жадные добытки, а — товарищи по судьбе. Женщины спрятали их. На поимку вошли безоружные солдаты, потом — и вооружённые. Женщины мешали им искать и отбивались. Солдаты били женщин кулаками и прикладами, таскали и в тюрьму (в жензоне была предусмотрительно своя тюрьма), а в иных мужчин стреляли.

Испытывая недостаток карательного состава, командование ввело в женскую зону «чернопогонников» — солдат строительного батальона, стоявшего в Кенгире. Однако солдаты стройбата не стали выполнять несолдатского дела! — и пришлось их увести.

А между тем именно здесь, в женской зоне, было главное политическое оправдание, которым перед своими высшими могли защититься каратели. Они вовсе не были простаками. Прочли ли они где-нибудь такое или придумали, но в понедельник впустили в женскую зону фотографов и двух-трёх своих верзил, переодетых в заключённых. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографии фотографировать. Вот от какого произвола защищая слабых женщин, капитан Беляев вынужден был открыть огонь!

В утренние часы понедельника напряжённость сгустилась над баррикадой и проломленными воротами хоздвора. В хоздворе лежали неубранные трупы. Пулемётчики лежали за пулемётами, направленными на те же всё ворота. В освобождённых мужских зонах ломали вагонки на оружие, делали щиты из досок, из матрасов. Через баррикаду кричали палачам, а те отвечали. Что-то должно было сдвинуться, положение было неустойчиво слишком. Зэки на баррикаде готовы были и сами идти в атаку. Несколько исхудалых сняли рубахи, поднялись на баррикаде и, показывая пулемётчикам свои костлявые груди и рёбра, кричали: «Ну, стреляйте, что же! Бейте по отцам! Добивайте!»

И вдруг на хоздвор к офицеру прибежал с запиской боец. Офицер распорядился взять трупы, и вместе с ними краснопогонники покинули хоздвор.

Минут пять на баррикаде было молчание и недоверие. Потом первые зэки осторожно заглянули в хоздвор. Он был пуст, только валялись там и здесь лагерные чёрные картузики убитых с нашитыми лоскутками номеров.

(Позже узнали, что очистить хоздвор приказал министр внутрен-

них дел Казахстана, он только что прилетел из Алма-Аты. Унесённые группы отвезли в степь и закопали, чтобы устранить экспертизу, если её потом потребуют.)

Покатилось «Ура-а-а!.. Ура-а-а...» — и хлынули в хоздвор и дальше в женскую тюрьму — и всё соединилось! Всё было свободно внутри главной зоны! — только 4-й тюремный лагпункт оставался тюрьмой.

На всех вышках стало по четыре краснопогонника! — было кому в уши вбивать оскорбления. Против вышек собирались и кричали им (а женщины, конечно, больше всех): «Вы — хуже фашистов!.. Кровавицы!.. Убийцы!..»

Обнаружился, конечно, в лагере священник и не один, и в морге уже служили панихидную службу по убитым и умершим от ран.

Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудь восьми тысячам человек, всё время и давеча и только что бывших разобщёнными рабами — и вот соединившихся и освободившихся, не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен, под взглядами этих счетверённых конвоиров?! Экибастузское голодное лежание в запертых бараках — и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут — революция! Столько подавленное — и вот прорвавшееся братство людей! И мы любим блатных! И блатные любят нас! (Да куда денешься, кровью скрепили. Да ведь они от своего закона отошли!) И ещё больше, конечно, мы любим женщин, которые вот опять рядом с нами, как полагается в человечестве, и сёстры наши по судьбе.

В столовой прокламации: «Вооружайся, чем можешь, и нападай на войска первый!» На кусках газет (другой бумаги нет) чёрными или цветными буквами самые горячие уже вывели в спешке свои лозунги: «Хлопцы, бейте чекистов!», «Смерть стукачам, чекистским холоумя!» В одном-другом-третьем месте лагеря, только успевай — митинги, ораторы! И каждый предлагает своё! Думай — тебе думать разрешено — за кого ты? Какие выставить требования? Чего мы хотим? Под суд Беляева — это понятно. Под суд убийц! — это понятно. А дальше?.. Не запирать барачков, снять номера! — а дальше?..

А дальше — самое страшное: для чего это начато и чего мы хотим? Мы хотим, конечно, свободы, одной свободы! — но кто же нам её даст? Те суды, которые нас осудили, — в Москве. И пока мы недовольны Степлагом или Карагандой, с нами ещё разговаривают. Но если мы скажем, что недовольны Москвой... нас всех в этой степи закопают.

А тогда — чего мы хотим? Проламывать стены? Разбежаться в пустыню?..

Часы свободы! Пуды цепей свалились с рук и плеч. Нет, всё равно не жаль! — этот день стоил того!

А в конце понедельника в бушующий лагерь приходит делегация от начальства. Делегация вполне благожелательная, они не смотрят зверьками, они без автоматов, да ведь и то сказать — они же не подручные кровавого Берии. Мы узнаём, что из Москвы прилетели генералы — гулаговский Бочков и заместитель генерального прокурора Вавилов. (Они служили и при Берии, но зачем бередить старое?) Они считают, что наши требования вполне справедливы. (Мы сами ахаем: справедливы? Так мы не бунтовщики? Нет-нет, вполне справедливы.) «Виновные в расстреле будут привлечены к ответственности». — «А за что женщин избили?» — «Женщин избили? — поражается делегация. — Быть этого не может». Аня Михалевич приводит им вереницу избитых женщин. Комиссия растрогана: «Разберёмся, разберёмся». — «Звери!» — кричит генералу Люба Бершадская. Ещё кричат: «Не запирать барачков!» — «Не будем запирать». — «Снять номера!» — «Обязательно снимем», — уверяет генерал, которого мы в глаза никогда не видели (и не увидим). — «Проломы между зонами — пусть остаются! — наглеем мы. — Мы должны общаться!» — «Хорошо, общайтесь, — со-

гласен генерал.— Пусть проломы остаются». Так, братцы, чего нам ещё надо? Мы же победили!! Один день побушевали, порадовались, покипели — и победили! И хотя среди нас качают головами и говорят — обман, обман! — мы верим. Мы верим нашему в общем неплохому начальству. Мы верим потому, что так нам легче всего выйти из положения...

А что остаётся угнетённым, если не верить? Быть обманутыми — и снова верить. И снова быть обманутыми — и снова верить.

И во вторник 18 мая все кенгирские лагпункты вышли на работу, примираясь со своими мертвецами.

И ещё в это утро всё могло кончиться тихо. Но высокие генералы, собравшиеся в Кенгире, считали бы такой исход своим поражением. Не могли же они серьёзно признать правоту заключённых! Не могли же они серьёзно наказывать военнослужащих МВД! Их низкий рассудок извлёк один только урок: недостаточно были укреплены межзонные стены. Там надо сделать *огневые* зоны!

И в этот день усердное начальство впрягало в работу тех, кто отвык работать годами и десятилетиями: офицеры и надзиратели надевали фартуки: кто знал, как взяться, — брал в руки мастеров; солдаты, свободные от вышек, катили тачки, несли носилки; и инвалиды, оставшиеся в зонах, подтаскивали и поднимали саманы. И к вечеру заложены были проломы, восстановлены разбитые фонари, вдоль внутренних стен проложены запретные полосы и на концах поставлены часовые с командой: открывать огонь!

А когда вечером колонны заключённых, отдавших труд дневной государству, входили снова в лагерь, их спешно гнали на ужин, не давая опомниться, чтобы поскорей запереть. По генеральской диспозиции, нужно было выиграть этот первый вечер — вечер слишком явного обмана после вчерашних обещаний, — а там как-нибудь привыкнется и втянется в колею.

Но раздался перед сумерками те же залихватые разбойничьи свисты, что и в воскресенье, — перекликались ими третья и вторая зоны, как на большом хулиганском гулянии (эти свисты были ещё один удачный вклад блатных в общее дело). И надзиратели дрогнули, не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Один только офицер сплеховал (старший лейтенант интендантской службы Медвежонок), задержался по своим делам и взят был до утра в плен.

Лагерь остался за зэками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам — вышки открывали пулёмётный огонь. Несколько уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки светили ракетами. Вот тут 3-му лагпункту пригодился хозофицер: с одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к стене (с их стороны предзонника не сделали), и он вопил из темноты своим: «Не стреляйте, здесь я, Медвежонок! Здесь я, не стреляйте!» — а с вышек его матюгали: а ты врагам не попадайся. В конце концов зэки пожалели его и отпустили, с расстройством.

Длинными столами били по колючке, по свежим столбикам предзонника, но под огнём нельзя было ни проломить стену, ни лезть через неё, — значит, надо было подкопаться. Как всегда, в зоне не было лопат, кроме пожарных. Пошли в ход поварские ножи, миски.

В эту ночь, с 18 на 19 мая, безоружные люди под пулёмётным огнём прошли подкопами и проломами все стены и снова соединили все лагпункты и хоздвор. Теперь вышки перестали стрелять. А на хоздворе инструмента было вдоволь. Вся дневная работа каменщиков с погонами пошла насмарку. Под кровом ночи ломали предзонники, расширяли проходы в стенах, чтобы не стали они западней (в другие дни их сделали шириной метров в двадцать).

В эту же ночь пробили стену и в 4-й лагпункт, тюремный. Надзор-состав, охранявший тюрьмы, бежал кто к вахте, кто к вышкам, им

спускали лестницы. Узники громили следственные кабинеты. Тут были освобождены из тюрьмы и те, кому предстояло стать завтра во главе восстания: бывший полковник Красной Армии Капитон Кузнецов (выпускник Фрунзенской академии, уже немолодой; после войны он командовал полком в Германии, и кто-то у него сбежал в Западную — за это и получил он срок; а в лагерной тюрьме он сидел «за очернение лагерной действительности» в письмах, отосланных через вольняшек); бывший старший лейтенант Красной Армии Глеб Слученок (он побывал в плену, как некоторые говорят — и власовцем).

В «новой» тюрьме сидели жители посёлка Кенгира, бытовики. Сперва они поняли так, что в стране — всеобщая революция, и с ликованием приняли неожиданную свободу. Но быстро узнав, что революция — слишком местного значения, бытовики лояльно вернулись в свой каменный мешок и безо всякой охраны честно жили там весь срок восстания — лишь за едою ходили в столовую мятежных эков.

Мятежных эков! — которые уже трижды старались оттолкнуть от себя и этот мятеж и эту свободу. Как обращаться с такими дарами, они не знали, и больше боялись их, чем жаждали. Но с неуклонностью морского прибора их бросало и бросало в этот мятеж.

Что оставалось им? Верить обещаниям? Снова обманут, это хорошо показали рабовладельцы вчера, да и раньше. Стать на колени? Но они все годы стояли так и не выслужали милости. Проситься сегодня же быть наказанными? — но наказание сегодня, как и через месяц свободной жизни, будет одинаково жестоко от тех, чьи суды работают машинно: если *четвертаки*, так уж всем вкруговую, без пропуска.

Бежит же беглец, чтоб испытать хоть один день свободной жизни. Так и эти восемь тысяч человек не столько подняли мятеж, сколько бежали в свободу, хоть и не надолго! Восемь тысяч человек вдруг из рабов стали свободными, и предоставилось им жить! Привычно ожесточённые лица смягчились до добрых улыбок²⁷. Женщины увидели мужчин, и мужчины взяли их за руки. Те, кто переписывались изощрёнными тайными путями и никогда не видели друг друга, — теперь познакомились. Те литовки, чьи браки заключали ксёндзы через стену, теперь увидели своих законных по церкви мужей — их брак спустился от Господа на землю! Верующим впервые за их жизнь никто не мешал собираться и молиться. Рассеянные по всем зонам одинокие иностранцы теперь находили друг друга и говорили на своём языке об этой странной азиатской революции. Всё продовольствие лагеря оказалось в руках заключённых. Никто не гнал на развод и на одиннадцатичасовой рабочий день.

Над бессонным взбудораженным лагерем, сорвавшим с себя собачьи номера, рассвело утро 19 мая. На проволоках свисали столбики с побитыми фонарями. По траншейным проходам и без них эки свободно двигались из зоны в зону. Многие надевали свою вольную одежду, взятую из каптёрки. Кое-кто из хлопцев нахлобучил папахи и кубанки. (Скоро будут и расшитые рубашки, на азиатах — цветные халаты и тюрбаны, серо-чёрный лагерь расцветёт.)

Ходили по баракам дневальные и звали в большую столовую на выборы Комиссии — комиссии для переговоров с начальством и для самоуправления (так скромно, так боязливо она себя назвала).

Её избирали может быть на несколько всего часов, но суждено было ей стать сорокадневным правительством кенгирского лагеря.

* * *

Если б это всё свершилось на два года раньше, то из одного только страха, чтоб не узнал Сам, степлаговские хозяева не стали бы медлить, а с вышек перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу.

²⁷ Это отметил недоброжелатель Макеев.

И надо ли было бы при этом уложить все восемь тысяч или четыре — ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые.

Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов и тот же Бочков ощущали в Москве некоторые новые веяния. Здесь уже постреляно было немало, и сейчас изыскивалось, как придать сделанному законный вид. И так создалась заминка, а значит — время для мятежников начать свою независимую новую жизнь.

В первые же часы предстояло определиться политической линии мятежа, а значит бытию его или небытию. Повлечься ли должен был он за теми простосердечными листовками поверх газетных механических столбцов: «Хлопцы, бейте чекистов»?

Едва выйдя из тюрьмы — и тут же силою обстоятельств, военной ли хваткой, советами ли друзей или внутренним позывом направляясь к руководству, Капитон Иванович Кузнецов сразу, видимо, принял сторону и понимание немногочисленных и затёртых в Кенгире ортодоксов: «Пресечь эту стряпню (листовки), пресечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями!» (Эти выражения я цитирую по записям другого члена Комиссии А. Ф. Макеева об узком разговоре в вещкаптерке Петра Акоева. Ортодоксы кивали Кузнецову: «Да за эти листовки нам всем начнут мотать новые сроки».)

В первые же часы, ещё ночные, обходя все бараки и до хрипоты держа там речи, а с утра потом на собрании в столовой и ещё позже не раз, полковник Кузнецов, встречая настроения крайние и озлобленность жизней, настолько растоптанных, что им, кажется, уже нечего было терять, повторял и повторял, не уставая:

— Антисоветчина — была бы наша смерть. Если мы выставим сейчас антисоветские лозунги — нас подавят немедленно. Они только и ждут предлога для подавления. При таких листовках они будут иметь полное оправдание расстрелов. Спасение наше — в лояльности. Мы должны разговаривать с московскими представителями как *побойте советским гражданам!*

И уже громче потом: «Мы не допустим такого поведения отдельных провокаторов!» (Да впрочем, пока он те речи держал, а на вагонках громко целовались. Не очень-то в речи его и вникали.)

Это подобно тому, как если бы поезд вёз вас не в ту сторону, куда вы хотите, и вы решили бы соскочить с него, — вам пришлось бы соскакать по ходу, а не против. В этом инерция истории. Далеко не все хотели бы так, но разумность такой линии была сразу понята и победила. Очень быстро по лагерю были развешаны крупные лозунги, хорошо читаемые с вышек и от вахт:

«Да здравствует Советская Конституция!»

«Да здравствует Президиум ЦК!»

«Да здравствует советская власть!»

«Требуем приезда члена ЦК и пересмотра наших дел!»

«Долой убийц-бериевцев!»

«Жёны офицеров Степлага! Вам не стыдно быть жёнами убийц?»

Хотя большинству кенгирцев было отлично ясно, что все миллионные расправы, далёкие и близкие, произошли под болотным солнцем этой конституции и утверждены этим составом Политбюро, им ничего не оставалось, как писать — да здравствует эта конституция и это Политбюро. И теперь, перечитывая лозунги, мятежные арестанты нащупали законную твёрдость под ногами и стали успокаиваться: движение их — не безнадежно.

А над столовой, где только что прошли выборы, поднялся видный всему посёлку флаг. Он висел потом долго: белое поле, чёрная кайма, в середине красный санитарный крест. По международному морскому коду флаг этот значил:

«Терпим бедствие. На борту — женщины и дети».

В Комиссию было избрано человек двенадцать во главе с Кузнецовым. Комиссия сразу специализировалась и создала отделы:

- агитации и пропаганды (руководил им литовец Кнопкус, штрафник из Норильска после тамошнего восстания),
- быта и хозяйства,
- питания,
- внутренней безопасности (Глеб Слученков),
- военный и
- технический, пожалуй самый удивительный в этом лагерном правительстве.

Бывшему майору Макееву были поручены контакты с начальством. В составе Комиссии был и один из воровских паханов, он тоже чем-то ведал. Были и женщины (очевидно: Шахновская, экономист, партийная, уже седая; Супрун, пожилая учительница из Прикарпатья; Люба Бершадская).

Вошли ли в эту Комиссию главные подлинные вдохновители восстания? Очевидно, нет. *Центры*, а особенно украинский (во всём лагере русских было не больше четверти), очевидно остались сами по себе. Михаил Келлер, украинский партизан, с 1941 воевавший то против немцев, то против советских, а в Кенгире публично зарубивший стукача, являлся на заседания молчаливым наблюдателем от того штаба.

Комиссия открыто работала в канцелярии женского лагпункта, но военный отдел вынес свой командный пункт (полевой штаб) в баню 2-го лагпункта. Отделы принялись за работу. Первые дни были особенно оживлёнными: надо было всё придумать и наладить.

Прежде всего надо было укрепиться. (Макеев, ожидавший неизбежного войскового подавления, был против создания какой-либо обороны. На ней настояли Слученков и Кнопкус.) Много самана образовалось от широких расчищенных проломов во внутренних стенах. Из этого самана сделали баррикады против всех вахт, то есть выходов вовне (и входов извне), которые остались во власти охранников и любой из которых в любую минуту мог открыться для пропуска карателей. В достатке нашлись на хоздворе бухты колючей проволоки. Из неё наматывали и разбрасывали на угрожаемых направлениях спирали Бруно. Не упустили кое-где выставить и дощечки: «Осторожно! Минировано!»

А это была одна из первых затей Технического отдела. Вокруг работы отдела была создана большая таинственность. В захваченном хоздворе Техотдел завёл секретные помещения, на входе в которые нарисованы были череп, скрещенные кости и написано: «Напряжение 100 000 вольт». Туда допускались лишь несколько работающих там человек. Так даже заключённые не стали знать, чем занимается Техотдел. Очень скоро распространён был слух, что изготавливает он секретное оружие по химической части. Так как и энкам и хозяевам было хорошо известно, какие умники-инженеры здесь сидят, то легко распространилось суеверное убеждение, что они всё могут, и даже изобрести такое оружие, какого ещё не придумали в Москве. А уж сделать какие-то мины несчастные, используя реактивы, бывшие на хоздворе,— отчего же нет? И так дощечки «минировано» воспринимались серьёзно.

И ещё придумано было оружие: ящики с толчёным стеклом у входа в каждый барак (засыпать глаза автоматчикам).

Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки — отрядами, и назначены были командиры отрядов, подчинённые Военному отделу. Начальником всех караулов стал Михаил Келлер. По точному графику все угрожаемые места занимали пикеты, особенно усиленные в ночное время. Учитывая ту особенность мужской психологии, что при женщине мужчина не побежит и вообще

проявит себя храбрее, пикеты составляли смешанные. А женщин в Кенгире оказалось много не только горластых, но и смелых, особенно среди украинских девушек, которых и было в женском лагпункте большинство.

Не дожидаясь теперь доброй воли барина, сами начинали снимать оконные решётки с бараков. Первые два дня, пока хозяева не догадались отключить лагерную электросеть, ещё работали станки в хоздворе и из прутьев этих решёток сделали множество *пик*, заостряя и обтачивая их концы. Вообще кузня и станочники эти первые дни непрерывно делали оружие: ножи, алебарды-секиры и сабли, особенно излюбленные блатными (к эфесам цепляли бубенчики из цветной кожи). У иных появлялись в руках кистени.

Вскинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты. И женские взводы, направляемые на ночь в мужскую зону в отведённые для них секции, чтобы по тревоге высыпать навстречу наступающим (было такое наивное предположение, что палачи постесняются давить женщин), шли ощетиленные кончиками *пик*.

Это всё было бы невозможно, рассыпалось бы от глумления или от похоти, если бы не было овеею суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечной была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрьма в будущем. Пики были игрушечные, но хоть их послала судьба! — эту первую возможность защитить свою волю. В пуританском воздухе ранней революции, когда присутствие женщины на баррикаде тоже становится оружием, — мужчины и женщины держались достойно тому и достойно несли свои пики остриями в небо.

Если кто в эти дни и вёл расчёты низменного сладострастия, то — хозяева в голубых погонах там, за зоной. Их расчёт был, что предоставленные на неделю сами себе, заключённые захлебнутся в разврате. Они так и изображали это жителям посёлка, что заключённые взбунтовались для разврата. (Конечно, чего другого могло не доставать арестантам в их обеспеченной судьбе?)²⁸

Главный же расчёт начальства был, что блатные начнут насиловать женщин, политические вступятся, и пойдёт резня. Но и здесь ошиблись психологи МВД! — и это стоит нашего удивления тоже. Все свидетельствуют, что воры вели себя как *люди*, но не в их традиционном значении этого слова, а в нашем. Встречно — и политические и сами женщины относились к ним подчеркнуто дружелюбно, с доверием. А что скрытей того — не относится к нам. Может быть ворами всё время помнились и кровавые их жертвы в первое воскресенье.

Если кенгирскому мятежу можно приписать в чём-то силу, то сила была в единстве.

Не посягали воры и на продовольственный склад, что, для знающих, удивительно не менее. Хотя на складе было продуктов на многие месяцы, Комиссия, посоветовавшись, решила оставить все прежние нормы на хлеб и другие продукты. Верноподданная боязнь перестать казённый харч и потом отвечать за растрату! Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестантам! Наоборот — почти смешной изворот: всё лагерное начальство, оставшееся за зоной, должно было получать снабжение с хоздвора, а как же! — и по их просьбе Комиссия допустила на хоздвор старшего лейтенанта Болтушкина (невредного, бывшего фронтовика), и он регулярно отгружал продукты начальству, например, сухие фрукты, из расчёта норм для вольных — и эски отпускали.

Лагерная бухгалтерия выписывала продукты в прежней норме, кухня получала, варила, но в новом революционном воздухе не воро-

²⁸ После мятежа хозяева не постеснялись провести повальный медицинский осмотр всех женщин. И обнаружив многих с девственностью, изумлялись: как? чего ж ты смотрела? столько дней вместе!.. Они судили о событиях на своём уровне.

вала сама, и не являлся посланец от блатных с указанием *носить для людей*. И не наливалось лишнего черпака придуркам. И вдруг оказалось, что из той же нормы — еды стало заметно больше!

И если блатные продавали вещи (то есть награбленные прежде в другом месте), то не являлись тут же по своему обыкновению отбирать их назад. «Теперь не такое время», — говорили они...

Даже ларьки от местного ОРСа продолжали торговать в зонах. Вольной инкассаторше штаб обещал безопасность. Она без надзирателей допускалась в зону и здесь в сопровождении двух девушек обходила все ларьки и собирала у продавцов их выручку — боны. (Но боны, конечно, скоро кончились, да и новых товаров в зону не пропускали.)

В руках у хозяев оставалось ещё три вида снабжения зоны: электричество, вода, медикаменты. Воздухом распорядились, как известно, не они. Медикаментов не дали в зону за сорок дней ни порошка, ни капли *йога*. Электричество отрезали дня через два-три. Водопровод — оставили.

Технический отдел начал борьбу за свет. Сперва придумали крючки на тонкой проволоке забрасывать с силой на внешнюю линию, идущую за лагерной стеной, — и так несколько дней воровали ток, пока щупальцы не были обнаружены и отрезаны. За это время Техотдел успел испробовать ветряк и отказаться от него и стал на хоздворе (в укрытом месте от прозора с вышек и от низко летающих самолётов У-2) монтировать гидроэлектростанцию, работающую от... водопроводного крана. Мотор, бывший на хоздворе, обратили в генератор и так стали питать телефонную лагерную сеть, освещение штаба и... радиопередатчик! А в бараках светили лучины... Уникальная эта гидростанция работала до последнего дня мятежа.

В самом начале мятежа генералы приходили в зону как хозяева (ну, не слишком-то свободно по самой зоне, остерегались). Правда, нашёлся и Кузнецов: на первые переговоры он велел вынести из морга убитых и громко скомандовал: «Головные уборы — снять!» Обнажили головы зэки — и генералам тоже пришлось снять военные картузы перед своими жертвами. Но инициатива осталась за гулаговским генералом Бочковым. Одобрив избрание Комиссии («нельзя ж со всеми сразу разговаривать»), он потребовал, чтоб депутаты на переговорах сперва рассказали о своём следственном деле (и Кузнецов стал длинно и может быть охотно излагать своё); чтобы зэки при выступлениях непременно вставали. Когда кто-то сказал: «Заклѳчѳнные требуют...», Бочков с чувствительностью возразил: «Заклѳчѳнные могут только просить, а не требовать!» И установилась эта форма — «заклѳчѳнные просят».

На просьбы заклѳчѳнных Бочков ответил лекцией о строительстве социализма, небывалом подъѳме народного хозяйства, об успехах китайской революции. Самодовольное кѳсое ввинчивание шурупа в мозг, отчего мы всегда слабеем и немеем... Он пришѳл в зону, чтобы разъяснить, почему применение оружия охраной было правильным (скоро они заявят, что вообще никакой стрельбы по зоне не было, это ложь бандитов, и избиений тоже не было). Он просто изумился, что смеют просить его нарушить «инструкцию о раздельном содержании зѳ-ка зѳ-ка». (Они так говорят о своих инструкциях, будто это довечные и домировые законы.)

Вскоре прилетели на «Дугласах» ещё новые и более важные генералы: Долгих (будто бы в то время — начальник ГУЛАГа) и Егоров (замминистра МВД СССР). Было назначено собрание в столовой, куда собралось до двух тысяч заклѳчѳнных. И Кузнецов скомандовал: «Внимание! Встать! Смирно!», и с почѳтом пригласил генералов в президиум, а сам по субординации стоял сбоку. (Иначе вѳл себя Слученков. Когда из генералов кто-то обронил о врагах здесь, Слученков звонко им ответил: «А кто и з в а с не оказался враг? Ягода — враг,

Ежов — враг, Абакумов — враг, Берия — враг. Откуда мы знаем, что Круглов лучше?»)

Макеев, судя по его записям, составил проект соглашения, по которому начальство обещало бы никого не этапировать и не репрессировать, начать расследование, а эски за то соглашались немедленно приступить к работе. Однако когда он и его единомышленники стали ходить по баракам и предлагали принять проект, эски чистили их «лысыми комсомольцами», «уполномоченными по заготовкам» и «чекистскими холуями». Особенно враждебно встретили их на жецком лагпункте и особенно неприемлемо было для эсков согласиться теперь на разделение мужских и женских зон. (Рассерженный Макеев отвечал своим возражениям: «А ты подержался за сисю у Параси и думаешь, что кончилась советская власть? Советская власть на своём стоит, всё равно!»)

Дни текли. Не спуская с зоны глаз — солдатских с вышек, надзирательских оттуда же (надзиратели, как знающие эсков в лицо, должны были опознать и запомнить, кто что делает) и даже глаз лётчиков (может быть, с фотосъёмкой), — генералы с огорчением должны были заключить, что в зоне нет резни, нет погрома, нет насилий, лагерь сам собой не разваливается, и повода нет вести войска на вырубку.

Лагерь — стоял, и переговоры меняли характер. Золотопогонники в разных сочетаниях продолжали ходить в зону для убеждения и бесед. Их всех пропускали, но приходилось им для этого брать в руки белые флаги, а после вахты хоздвора, главного теперь входа в лагерь, перед баррикадой, сносить обыск, когда какая-нибудь украинская дивчина в телогрейке охлопывала генеральские карманы, нет ли, мол, там пистолета или гранат. Зато штаб мятежников *гарантировал* им личную безопасность!..

Генералов проводили там, где можно (конечно, не по секретной зоне хоздвора), и давали им разговаривать с эсками и собирали для них большие собрания по лагпунктам. Блеща погонями, хозяева и тут рассаживались в президиумах — как раньше, как ни в чём не бывало.

Арестанты выпускали ораторов. Но как трудно было говорить! — не только потому, что каждый писал себе этой речью будущий приговор, но и потому, что слишком разошлись знания и представления об истине у серых и у голубых, и почти ничем уже нельзя было пронять и просветить эти дородные благополучные туши, эти лоснящиеся дынные головы. Кажется, очень их рассердил старый ленинградский рабочий, коммунист и участник революции. Он спрашивал их, что это будет за коммунизм, если офицеры пасутся на хоздворе, из ворованного с обогатительной фабрики свинца заставляют делать себе дробь для браконьерства; если огороды им копают заключённые; если для начальника лагпункта, когда он моется в бане, расстилают ковры и играет оркестр.

Чтоб меньше было такого бестолкового крику, эти собеседования принимали и вид прямых переговоров по высокому дипломатическому образцу: в июне как-то поставили в женской зоне долгий столовский стол и по одну сторону на скамье расселись золотопогонники, а позади них стали допущенные для охраны автоматчики. По другую сторону стола сели члены Комиссии, и тоже была охрана — очень серьёзно стояла она с саблями, пиками и рогатками. А дальше подтапливались эски — слушать толковище, и подкрикивали. (И стол не был без угощений! — из теплиц хоздвора принесли свежие огурцы, с кухни — квас. Золотопогонники грызли огурцы, не стесняясь...)

И ещё было как-то полускрытое совещание лагерной Комиссии с пятью генералами МВД в домике у вахты 3-го лагпункта.

Требования-просьбы восставших были сформулированы ещё в первые два дня и теперь повторялись многократно:

- наказать убийцу евангелиста;
- наказать всех виновных в убийствах с воскресенья на понедельник в хоздворе;
- наказать тех, кто избивал женщин;
- вернуть в лагерь тех товарищей, которые за забастовку незаконно посланы в закрытые тюрьмы;
- не надевать больше номеров, не ставить на бараки решёток, не запирают бараков;
- не восстанавливать внутренних стен между лагпунктами;
- восьмичасовой рабочий день, как у вольных;
- увеличение оплаты за труд (уж не шла речь о равенстве с вольными);
- свободная переписка с родственниками и иногда свидания;
- пересмотр дел.

И хотя ни одно требование тут не сотрясало устоев и не противоречило конституции (а многие были только — просьба о возврате в старое положение), — но невозможно было хозяевам принять ни малейшего из них, потому что эти подстриженные жирные затылки, эти лысины и фуражки давно отучились признавать свою ошибку или вину. И отвратна, и неузнаваема была для них истина, если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций, а из уст чёрного народа.

Но всё-таки затянувшееся это сидение восьми тысяч в осаде клало пятно на репутацию генералов, могло испортить их служебное положение, и поэтому они обещали. Они обещали, что требования эти почти все можно выполнить, только вот (для правдоподобия) трудно будет оставить открытой женскую зону, это не положено (как будто в ИТЛ двадцать лет было иначе), но можно будет обдумать, какие-нибудь устроить дни встреч. А вот начать в зоне работу следственной комиссии (по обстоятельствам расстрелов) генералы внезапно согласились. (Но Слученков разгадал и настоял, чтоб этого не было: под видом показаний будут стукачи *гуть* на всё, что происходит в зоне.) Пересмотр дел? Что ж, и дела, конечно, будут пересматривать, только *надо подождать*. Но что совершенно безотложно — надо выходить на работу! на работу! на работу!

А уж это эски знали: разделить на колонны, оружием положить на землю, арестовать зачинщиков.

Нет, — отвечали они через стол и с трибуны. Нет! — кричали из толпы. Управление Степлага вело себя провокационно! Мы не верим руководству Степлага! Мы не верим МВД!

— Даже МВД не верите? — поражался заместитель министра, вытирая лоб от крамолы. — Да кто внушил вам такую ненависть к МВД? Загадка.

— Члена Президиума ЦК! Члена Президиума ЦК! Тогда поверим! — кричали эски.

— Смотрите, — угрожали генералы. — Будет хуже!

Но тут вставал Кузнецов. Он говорил складно, легко и держался гордо.

— Если войдёте в зону с оружием, — предупреждал он, — не забывайте, что здесь половина людей — бравших Берлин. Овладеют и вашим оружием!

Капитон Кузнецов! Будущий историк кенгирского мятежа разъяснит нам этого человека. Как понимал и переживал он свою посадку? В каком состоянии представлял своё судебное дело? давно ли просил о пересмотре, если в самые дни мятежа ему пришлось из Москвы *освобождение* (кажется, с реабилитацией)? Только ли профессионально-военной была его гордость, что в таком *порядке* он содержит мятежный лагерь? Встал ли он во главе движения, потому что оно его захватило? (Я это отклоняю.) Или, зная командные свои способности, — для того, чтобы умерить его, ввести в берега (и взаимные расправы

предотвратить, сдерживая Слученкова) и укрощённой волною положить под сапоги начальству? (Так думаю.) Во встречах, переговорах и через второстепенных лиц он имел возможность передать карателям то, что хотел, и услышать от них. Например, в июне был случай, когда отправляли за зону для переговоров ловкача Маркосяна с поручением от Комиссии. Воспользовался ли такими случаями Кузнецов? Допускаю, что и нет. Его позиция могла быть самостоятельной, гордой.

Два телохранителя — два огромных украинских хлопца, всё время сопровождали Кузнецова, с ножами на боку.

Для защиты? Для расплаты?

(Макеев утверждает, что в дни восстания была у Кузнецова и временная жена — тоже бандеровка.)

Глебу Слученкову было лет тридцать. Это значит, в немецкий плен он попал лет девятнадцати. Сейчас, как и Кузнецов, он ходил в прежней своей военной форме, сохранённой в каптёрке, выявляя и подчёркивая военную косточку. Он чуть прихрамывал, но это испалось большой подвижностью.

На переговорах он вёл себя чётко, резко. Придумало начальство вызывать из зоны «бывших малолеток» (посажённых до восемнадцати лет, — сейчас уже было кому и двадцать — двадцать один год) — для освобождения. Это, пожалуй, не был и обман, около того времени их действительно повсюду освобождали или сбрасывали сроки. Слученков ответил: «А вы спросили бывших малолеток — хотят ли они переходить из одной зоны в другую и оставить в беде товарищей?» (И перед Комиссией настаивал: «Малолетки — наша гвардия, мы их не можем отдать!») В том и для генералов был частный смысл освобождения этих юношей в мятежные дни Кенгира; уж там не знаем, не рассовали бы их по карцерам за зоной?) Законопослушный Макеев начал всё же сбор бывших малолеток на «суд освобождения» и свидетельствует: из *четырёхсот девяти*, подлежащих освобождению, удалось ему собрать на выход лишь *тринадцать* человек. Учитывая расположение Макеева к начальству и враждебность к восстанию, этому свидетельству можно изумиться: *четыре*ста молодых людей в самом расцветном возрасте и даже в массе своей не политических *отказались не только от свободы — но от спасения!* остались в гиблом мятеже...

А на угрозу военного подавления Слученков отвечал генералам так: «Присылайте! Присылайте в зону побольше автоматчиков! Мы им глаза толчёным стеклом засыпем, отберём автоматы! Ваш кенгирский гарнизон разнесём! Ваших кривоногих офицеров до Караганды догоним, на ваших спинах войдём в Караганду! А там — наш брат!»²⁹

Можно верить и другим свидетельствам о нём. «Кто побежит — будем бить в грудь!» — и в воздухе финкой взмахнул. Объявлял в бараке: «Кто не выйдет на оборону — тот получит ножа!» Неизбежная логика всякой военной власти и военного положения...

Новорождённое лагерное правительство, как и извечно всякое, не умело существовать без службы безопасности, и Слученков эту службу возглавил (занял в женском лагпункте кабинет опера). Так как победы над внешними силами быть не могло, то понимал Слученков, что его пост означал для него неминуемую казнь. В ходе мятежа он рассказывал в лагере, что получил от хозяев тайное предложение — спровоцировать в лагере национальную резню (очень на неё золотопогонники рассчитывали, и удивительно, что она не случилась! добрый прообраз к нашему будущему) — и тем дать благовидный предлог для вступления войск в лагерь. За это хозяева обещали Слученкову жизнь. Он отверг предложение. (А кому и что предлагали ещё? Те не рассказывали.) Больше того, когда по лагерю пущен был

²⁹ Может быть эти угрозы и повлияли на начальство, когда выбиралось орудие подавления.

слух, что ожидается еврейский погром, Слученков предупредил, что переносчиков будет публично сечь. Слух угас.

Ждало Слученкова неизбежное столкновение с благонамеренными. Оно и произошло. Надо сказать, что все эти годы во всех каторжных лагерях ортодоксы, даже не сговариваясь, единодушно осуждали резню стукачей и всякую борьбу арестантов за свои права. Не приписывая это непременно низменным соображениям (немало ортодоксов были связаны службой у кума), вполне объясним это их теоретическими взглядами. Они признавали любые формы подавления и уничтожения, также и массовые, но сверху — как проявление диктатуры пролетариата. Такие же действия, к тому ж порывом, разрозненные, но снизу, — были для них бандитизм, да к тому ж ещё в «бандеровской» форме (среди благонамеренных никогда не бывало ни одного, допускавшего право Украины на отделение, потому что это был бы уже буржуазный национализм). Отказ каторжан от рабской работы, возмущение решётками и расстрелами огорчило, удручило и напугало покорных лагерных коммунистов.

Так и в Кенгире всё гнездо благонамеренных (Генкин, Апфельцвейг, Талалаевский, очевидно Акоев, больше фамилий у нас нет; потом ещё один симулянт, который годами лежал в больнице, притворяясь, что у него «циркулирует нога», — такой интеллигентный способ борьбы они допускали; а в самой Комиссии явно — Макеев, очевидно и Бершадская) — все они с самого начала упрекали, что «не надо было начинать»; и когда проходы заделали — не надо было подкапываться; что всё затеяла бандеровская накипь, а теперь надо поскорее уступить. (Да ведь и те убитые шестнадцать были — не с их лапункта, а уж евангелиста и вовсе смешно жалеть.) В записках Макеева выбрюзжано всё их сектантское раздражение. Всё кругом — дурно, все — дурны, и опасности со всех сторон: от начальства — новый срок, от бандеровцев — нож в спину. «Хотят всех железяками запугать и заставить гибнуть». Кенгирский мятеж Макеев зло называет «кровавой игрой», «фальшивым козырем», «художественной самодетельностью» бандеровцев, а то чаще — «свадьбой». Расчёты и цели главарей мятежа он видит в распутстве, уклонении от работы и оттяжке расплаты. (А сама ожидаемая расплата подразумевается у него как справедливая.)

Это очень верно отражает отношение благонамеренных ко всему лагерному движению свободы 50-х годов. Но Макеев был весьма осторожен, ходил даже в руководителях мятежа, — а Талалаевский эти упреки рассыпал вслух — и слученковская служба безопасности за агитацию, враждебную восставшим, посадила его в камеру кенгирской тюрьмы.

Да, именно так. Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою. Извечная усмешка. Правда, всего посажено было по разным поводам (сношение с хозяевами) человека четыре, и ни один из них не был расстрелян (а наоборот, получил лучшее алиби перед Руководством).

Вообще же тюрьму, особенно мрачную старую, построенную в 30-е годы, широко показывали: её одиночки без окон, с маленьким люком наверху; топчаны без ножек, то есть попросту деревянные щиты внизу, на цементном полу, где ещё холодней и сырей, чем во всей холодной камере; рядом с топчаном, то есть уже на полу, как для собаки, грубая глиняная миска.

Туда отдел агитации устраивал экскурсии для своих — кому не привелось посидеть и может быть не придётся. Туда водили и проходящих генералов (они не были очень поражены). Просили прислать сюда и экскурсию из вольных жителей посёлка — ведь на объектах они всё равно сейчас без заключённых не работают. И даже такую экскурсию генералы прислали — разумеется, не из простых рабочих, в персонал подобранный, который не нашёл, чем возмутиться.

Встречно и начальство предложило свозить экскурсию из заключённых на Рудник (1-е и 2-е лаготделение Степлага), где по лагерным слухам тоже вспыхнул мятеж (кстати, слова этого мятеж, или ещё хуже *восстание*, избегали по своим соображениям и рабы и рабовладельцы, заменяя стыдливо-смягчающим словом *сабантуй*). Выборные поехали и убедились, что там таки действительно всё по-старому, выходят на работу.

Много надежд связывалось с распространением таких забастовок! Теперь вернувшиеся выборные привезли с собой уныние.

(А свозили-то их вовремя. Рудник, конечно, был взбудоражен, от вольных слышали были и небылицы о кенгирском мятеже. В том же июне так сошлось, что многим сразу отказали в жалобах на пересмотр. И какой-то пацан полусумасшедший был ранен на *запретке*. И на Руднике тоже началась забастовка, сбили ворота между лагпунктами, вывалили на линейку. На вышках появились пулемёты. Вывесил кто-то плакат с антисоветскими лозунгами и кличем «Свобода или смерть!». Но его сняли, заменили плакатом с *законными* требованиями и обязательством полностью возместить убытки от простоя, как только требования будут удовлетворены. Приехали грузовики вывозить муку со склада — не дали. Что-то около недели забастовка продлилась, но нет у нас никаких точных сведений о ней, это всё — из третьих уст, и вероятно — преувеличенно.)

Вообще были недели, когда вся война перешла в войну агитационную. Внешнее радио не умолкало: через несколько громкоговорителей, обставивших лагерь, оно чередило обращения к заключённым с информацией, дезинформацией и одной-двумя заезженными, надоевшими, все нервы источившими пластинками.

Ходит по полю девчонка,
Та, в чьи косы я влюблён.

(Впрочем, чтобы заслужить даже эту невысокую честь — проигрывание пластинок, надо было восстать. Коленопреклонённым даже этой дряни не играли.) Эти же пластинки работали в духе века и как глушилка — для глушения передач, идущих из лагеря и рассчитанных на конвойные войска.

По внешнему радио то чернили всё движение, уверяя, что начато оно с единственной целью насиловать женщин и грабить (в самом лагере зэки смеялись, но ведь громкоговорители доставалось слышать и вольным жителям посёлка. Да ни до какого другого объяснения рабовладельцы не могли и подняться — недостижимой высотой для них было бы признать, что эта чернь способна искать справедливости). То старались рассказать какую-нибудь гадость о членах Комиссии (даже об одном пахане: будто этапирюясь на Колыму на барже, он открыл в трюме отверстие и потопил баржу и триста зэ-ка. Упор был на то, что именно бедных зэ-ка, да чуть ли всё не Пятьдесят Восьмую он потопил, а не конвой; и непонятно, как при этом спасся сам). То терзали Кузнецова, что ему пришло освобождение, но теперь отменено. И опять шли призывы: работать! работать! почему Родина должна вас содержать? не выходя на работу, вы приносите огромный вред государству! (Это должно было пронзить сердца, обречённые на вечную каторгу.) Простаивают целые эшелоны с углём, некому разгрузать! (Пусть постоят! — смеялись зэки, — скорей уступите! Но даже и им не приходила мысль, чтоб золотопогонники сами разгрузили, раз уж так сердце болит.)

Однако не остался в долгу и Технический отдел. В хоздворе нашлись две кинопередвижки. Их усилители и были использованы для громкоговорения, конечно, более слабого по мощности. А питались усилители от засекреченной гидростанции. (Существование у восставших электрического тока и радио очень удивляло и тревожило хозяев. Они опасались, как бы мятежники не наладили радиопередатчик да

не стали бы о своём восстании передавать за границу. Такие слухи в лагере тоже кто-то пускал.)

Появились в лагере свои дикторы (известна Слава Яримовская). Передавались последние известия, радиогазета (кроме того была и ежедневная стенная, с карикатурами). «Крокодиловы слёзы» называлась передача, где высмеивалось, как охранники болеют о судьбе женщин, прежде сами их избив. Были передачи и для конвоя. Кроме того, ночами подходили под вышки и кричали солдатам в рупоры.

Но не хватало мощности вести передачи для тех единственных сочувствующих, кто мог найтись тут в Кенгире,— для вольных жителей посёлка, часто тоже ссыльных. А именно их, уже не по радио, а там где-то, недоступно для эзков, власти посёлка заморочивали слухами, что в лагере верховодят кроважандные бандиты и сладострастные проститутки (такой вариант имел успех у жительниц³⁰); что здесь истязают невинных и живьём сжигают в топках (и непонятно только, почему Руководство не вмешивается!..)

Как было крикнуть им через стены, на километр, и на два, и на три: «Братья! Мы хотим только справедливости! Нас убивали невинно, нас держали хуже собак! Вот наши требования...»?

Мысль Технического отдела, не имея возможности современную науку обогнать, попятилась, напротив, к науке прошлых веков. Из папиросной бумаги (на хоздворе чего только не было, мы писали о нём³¹, много лет он заменял джеказганским офицерам и столичное ателье и все виды мастерских ширпотреба) склеен был по примеру братьев Монгольфье огромный воздушный шар. К нему была привязана пачка листовок, а под него подвязана жаровня с тлеющими углями, дающая ток тёплого воздуха во внутренний купол шара, снизу открытый. К огромному удовольствию собравшейся арестантской толпы (арестанты уж если радуются, то как дети), это чудное воздухоплавательное устройство поднялось и полетело. Но увы! — ветер был быстрее, чем оно набирало высоту, и при перелёте через забор жаровня зацепилась за проволоку, лишённый горячего тока шар опал и сгорел вместе с листовками.

После этой неудачи стали надувать шары дымом. Эти шары при попутном ветре неплохо летели, показывая посёлку крупные надписи:

- Спасите женщин и стариков от избиения!
- Мы требуем приезда члена Президиума ЦК!

Охрана стала расстреливать эти шары.

Тут пришли в Техотдел зэки-чечены и предложили делать змеев (они на змеев мастера). Этих змеев стали удачно клеить и далеко выбрасывать над посёлком. На корпусе змея было ударное приспособление. Когда змей занимал удобную позицию, оно рассыпало привязанную тут же пачку листовок. Запускающие сидели на крыше барака и смотрели, что будет дальше. Если листовки падали близко от лагеря, то собирать их бежали пешие надзиратели, если далеко, то мчались мотоциклисты и конники. Во всех случаях старались не дать свободным гражданам прочесть независимую правду. (Листовки кончались просьбой к каждому нашедшему кенгирицу — доставить её в ЦК.)

По змеям тоже стреляли, но они не были так уязвимы к пробоинам, как шары. Нашёл скоро противник, что ему дешевле, чем гонять толпу надзирателей, запускать контрзмеев, ловить и перепутывать.

Война воздушных змеев во второй половине XX века! — и всё против слова правды...

³⁰ Когда уже всё было кончено, и повели женскую колонну по посёлку на работу, собрались замужние русские бабы вдоль дороги и кричали им: «Проститутки! Шлюхи! Захотелось...?», и ещё более выразительно. На другой день повторилось то же, но зэчки вышли из зоны с камнями и теперь засыпали оскорбительниц в ответ. Конвой смеялся.

³¹ Часть третья, глава 22.

(Может быть читателю будет удобно для привязки кенгирских событий по времени вспомнить, что происходило в дни кенгирского мятежа на воле? Женевская конференция заседала об Индо-Китае. Была вручена сталинская премия мира Пьеру Коту. Другой передовой француз писатель Сартр приехал в Москву, для того чтобы приобщиться к нашей передовой жизни. Громко и пышно праздновалось трёхсотлетие воссоединения Украины и России³². 31 мая был важный парад на Красной площади. УССР и РСФСР награждены орденами Ленина. 6 июня открыт в Москве памятник Юрию Долгорукому. С 8 июня шёл съезд профсоюзов (но о Кенгире там ничего не говорили). 10-го выпущен заём. 20-го был день воздушного флота и красивый парад в Тушине. Ещё эти месяцы 1954 года отмечены были сильным наступлением на литературном, как говорится, фронте: Сурков, Кочетов и Ермилов выступали с очень твёрдыми одёргивающими статьями. Кочетов спросил даже: *какие это времена?* И никто не ответил ему: *времена лагерных восстаний!* Много *неправильных* пьес и книг ругали в это время. А в Гватемале достойный отпор получили империалистические Соединённые Штаты.)

В посёлке были ссыльные чечены, но вряд ли тех змеев клеили они. Чеченов не упрекнёшь, чтоб они когда-нибудь служили угнетению. Смысл кенгирского мятежа они поняли прекрасно и однажды подвезли к зоне автомашину печёного хлеба. Разумеется, войска отогнали их.

(Тоже вот и чечены. Тяжелы они для окружающих жителей, говорю по Казахстану, грубы, дерзки, русских откровенно не любят. Но стоило кенгирцам проявить независимость, мужество — и расположение чеченов тотчас было завоёвано! Когда кажется нам, что нас мало уважают,— надо проверить, так ли мы живём.)

Тем временем готовил Техотдел и пресловутое «секретное» оружие. Это вот что такое было: алюминиевые угольники для коровопилок, оставшиеся от прежнего производства, заполнялись спичечной серой с примесью карбида кальция (все ящики со спичками укрыли за дверью «100 000 вольт»). Когда сера поджигалась и угольники бросались, они с шипением разрывались на части.

Но не злополучным этим остроумцам и не полевому штабу в баньке предстояло выбрать час, место и форму удара. Как-то, по прошествии недель двух от начала, в одну из тёмных, ничем не освещённых ночей раздались глухие удары в лагерную стену во многих местах. Однако в этот раз не беглецы долбили её — разрушали стену сами войска конвоя! В лагере был переполох, метались с пиками и саблями, не могли понять, что делается, ожидали атаки. Но войска в атаку не пошли.

К утру оказалось, что в разных местах зоны, кроме существующих и забаррикадированных ворот, внешний противник проделал с десяток проломов. По ту сторону проломов, чтоб зэки теперь не хлынули в них, расположились посты с пулемётами³³. Это конечно была подготовка к наступлению через проломы, и в лагерном муравейнике закипела оборонная работа. Штаб восставших решил: разбирать внутренние стены, разбирать саманные пристройки и ставить свою вторую обводную стену, особенно укреплённую саманными навалами против проломов — для защиты от пулемётов.

Так всё переменялось! — конвой разрушал зону, а лагерники её восстанавливали, и воры с чистой совестью делали то же, не нарушая своего закона.

Теперь пришлось установить дополнительные посты охранения против проломов; назначить каждому взводу тот пролом, куда он стро-

³² Кенгирские украинцы объявили тот день траурным.

³³ Говорят, опыт проломов был норильский: там тоже сделали их, чтобы через них выманить дрогнувших, через них натравливать урок и через них же ввести войска под предлогом наведения порядка.

го должен бежать ночью по сигналу тревоги и занимать оборону. Удары в вагонный буфер и те же залихватые свисты были условлены как сигналы тревоги.

Эски не в шутку готовились выходить с пиками против пулемётов. Кто и не был готов — подчас, привыкал.

Лихо до дна, а там дорога одна.

И раз была дневная атака. В один из проломов против балкона Управления Степлага, на котором толпились чины, крытые погонями строевыми широкими и прокурорскими узкими, с кинокамерами и фотоаппаратами в руках, — в пролом были двинуты автоматчики. Они не спешили. Они лишь настолько двинулись в пролом, чтобы подан был сигнал тревоги и прибежали бы к пролому назначенные взводы, и, потрясая пиками и держа в руках камни и саманы, заняли бы баррикаду, — и тогда с балкона (исключая автоматчиков из поля съёмки) зажужжали кинокамеры и защёлкали аппараты. И режимные офицеры, прокуроры и политработники, и кто там ещё был, все члены партии конечно, — смеялись дикому зрелищу этих воодушевлённых первобитных с пиками. Сытые, бесстыжие, высокопоставленные, они глумились с балкона над своими голодными обманутыми согражданами, и им было очень смешно³⁴.

А ещё к проломам подкрадывались надзиратели и вполне как на диких животных или на снежного человека пытались набросить верёвочные петли с крючьями и затащить к себе языка.

Но больше они рассчитывали теперь на перебежчиков, на дрогнувших. Гремело радио: опомнитесь! переходите за зону в проломы! в этих местах — не стреляем! перешедших — не будем судить за бунт!

По лагерному радио отозвалась Комиссия так: кто хочет спастись — валите хоть через главную вахту, не задерживаем никого.

Так и сделал... член самой Комиссии бывший майор Makeев, подойдя к главной вахте как бы по делам. (Как бы — не потому, что его бы задержали, или было чем выстрелить в спину, — а почти невозможно быть предателем на глазах улюлюкающих товарищей!³⁵) Три недели он притворялся — и только теперь мог дать выход своей жажде поражения и своей злости на восставших за то, что они хотят той свободы, которой он, Makeев, не хочет. Теперь отработывая грехи перед хозяевами, он по радио призывал к сдаче и поносил всех, кто предлагал держаться дальше. Вот фразы из его собственного письменного изложения той радиоречи: «Кто-то решил, что свободы можно добиться с помощью сабель и пик... Хотят подставить под пули тех, кто не берёт железок... Нам обещают пересмотр дел. Генералы терпеливо ведут с нами переговоры, а Слученков рассматривает это как их слабость. Комиссия — ширма для бандитского разгула... Ведите переговоры, достойные политических заключённых, а не (!!) готовьтесь к бессмысленной обороне».

Долго зияли проломы — дольше, чем стена была во время мятежа сплошная. И за все эти недели убежало за зону человек лишь около дюжины.

Почему? Неужели верили в победу? Нет. Неужели не угнетены были предстоящим наказанием? Угнетены. Неужели людям не хотелось спастись для своих семей? Хотелось! И терзались, и эту возможность обдумывали втайне может быть тысячи. А бывших малолеток вызывали и на самом законном основании. Но поднята была на этом клочке земли общественная температура так, что если не переплавлены, то оплавлены были по-новому души, и слишком низкие законы, по которым «жизнь даётся однажды», и бытие определяет созна-

³⁴ Эти фотографии ведь где-то сейчас подклеены в карательных отчётах. И может быть не достанет у кого-то расторопности уничтожить их перед лицом будущего...

³⁵ Ещё и спустя десяток лет это так стыдно, что в своих мемуарах, вероятно и затеянных для оправдания, он пишет, будто случайно вылянул за вахту, а там — на него накинулись и руки связали...

ние, и шкура гнёт человека в трусость, — не действовали в это короткое время на этом ограниченном месте. Законы бытия и разума диктовали людям сдаться вместе или бежать порознь, а они не сдавались и не бежали! Они поднялись на ту духовную ступень, откуда говорится палачам:

— Да пропадите вы пропадом! Травите! Грызите!

И операция так хорошо задуманная, что заключённые разбегутся через проломы как крысы и останутся самые упорные, которых и раздавить, — операция эта провалилась потому, что изобрели её шкуры.

И в стенной газете восставших рядом с рисунком — женщина показывает ребёнку под стекланным колаком наручники — «вот в таких держали твоего отца», — появилась карикатура: «Последний перебежчик» (чёрный кот, убегающий в пролом).

Но карикатуры всегда смеются, людям же в зоне было мало до смеха. Шла вторая, третья, четвёртая, пятая неделя... То, что по законам ГУЛАГа не могло длиться ни часа, то существовало и длилось неправдоподобно долго, даже мучительно долго — половину мая и потом почти весь июнь. Сперва люди были хмельны от победы, свободы, встреч и затей, — потом верили слухам, что поднялся Рудник, — может, за ним поднимутся Чурбай-Нура, Спасск, весь Степлаг! там, смотришь, Караганда! там весь Архипелаг извергнется и рассыпется на четыреста дорог! — но Рудник, заложив руки за спину и голову опустив, всё так же ходил на одиннадцать часов заражаться силикозом, и не было ему дела ни до Кенгира, ни даже до себя.

Никто не поддержал остров Кенгир. Уже невозможно было и рвануть в пустыню: прибывали войска, они жили в степи, в палатках. Весь лагерь был обведен снаружи ещё двойным обводом колючей проволоки. Одна была только розовая точка: придет барин (ждали Маленкова) и рассудит. Приедет добрый и ахнет и всплеснёт руками: да как они жили тут? да как вы их тут держали? судить убийц! расстрелять Чечева и Беляева! разжаловать остальных... Но слишком точкою была, и слишком розовой.

Не ждать было милости. Доживать было последние свободные денёчки и сдаваться на расправу Степлагу МВД.

И всегда есть души, не выдерживающие напряжения. И кто-то внутри уже был подавлен и только томился, что натуральное подавление так долго откладывается. А кто-то тихо смекал, что он ни в чём не замешан, и если осторожненько дальше — то и не будет. А кто-то был молодожён (и даже по настоящему венчальному обряду, ведь западная украинка тоже иначе замуж не выйдет, а заботами ГУЛАГа были тут священники всех религий). Для этих молодожёнов горечь и сладость сочетались в такой переслойке, которой не знают люди в их медленной жизни. Каждый день они намечали себе как последний, и то, что расплата не шла, — каждое утро было для них даром неба.

А верующие — молились, и, переложив на Бога исход кенгирского смятения, как всегда были самые успокоенные люди. В большой столовой по графику шли богослужения всех религий. Иеговисты дали волю своим правилам и отказались брать в руки оружие, делать укрепления, стоять в караулах. Они подолгу сидели, сдвинув головы, и молчали. (Заставили их мыть посуду.) Ходил по лагерю какой-то пророк, искренний или поддельный, ставил кресты на вагонках и предсказывал конец света. В руку ему наступило сильное похолодание, какое в Казахстане надувает иногда даже в летние дни. Собранные им старушки, не одетые в тёплое, сидели на холодной земле, дрожали и выгибали к небу руки. Да и к кому ж ещё...

А кто-то знал, что замешан уже необратимо и только те дни осталось жить, что до входа войск. А пока нужно думать и делать, как продержаться дольше. И эти люди не были самыми несчастными. (Самыми несчастными были те, кто не был замешан и молил о конце.)

Но когда эти все люди собирались на собрания, чтобы решить, сдаваться им или держаться, — они опять попадали в ту общественную температуру, где личные мнения их расплавились, переставали существовать даже для них самих. Или боялись насмешки больше, чем будущей смерти.

— Товарищи! — уверенно говорил статный Кузнецов, будто знал он много тайн и все тайны были за арестантов. — У нас есть *средства огневой защиты*, и пятьдесят процентов от наших потерь будут и у противника!

И так ещё он говорил:

— Даже гибель наша не будет бесплодной!

(В этом он был совершенно прав. И на него тоже действовала та общая температура.)

И когда голосовали — держаться ли? — большинство голосовало за.

Тогда Слученков многозначительно угрожал:

— Смотрите же! С теми, кто остаётся в наших рядах и захочет сдать, мы разделаемся за пять минут до сдачи!

Однажды внешнее радио объявило «приказ по ГУЛАГу»: за отказ от работы, за саботаж, за... за... за... кенгирское лаготделение Степлага расформировать и всех отправить в Магадан. (ГУЛАГу явно не хватало места на планете. А те, кто и без того посланы в Магадан, — за что те?) Последний срок выхода на работу...

Но прошёл и этот последний срок, и всё оставалось так же.

Всё оставалось так же, и вся фантастичность, вся сновиденность этой невозможной, небывалой, повиснувшей в пустоте жизни восьмью тысяч человек только ещё более разила от аккуратной жизни лагеря: пища три раза в день; баня в срок; прачечная; смена белья; парикмахерская; швейная и сапожная мастерские. Даже примирительные суды для спорящих. И даже... освобождение на волю!

Да, внешнее радио иногда вызывало освобождающихся: это были или иностранцы одной и той же нации, чья страна заслужила собрать своих вместе, или кому подошёл (или якобы подошёл?) конец срока. Может быть таким образом Управление и брало «языков» — без надзирательской верёвки с крючками? Комиссия проверить не могла и отпускала всех.

Почему тянулось это время? Чего могли ждать хозяева? Конца продуктов? Но они знали, что протянется долго. Считались с мнением посёлка? Им не приходилось. Разрабатывали план подавления? Можно было быстрее. (Правда, потом-то узнали, что за это время из-под Куйбышева выписали полк «особого назначения», то бишь, карательный. Ведь это не всякий умеет.) Согласовывали подавление *наверху*? И как высоко? Нам не узнать, какого числа и какая инстанция приняла это постановление.

Несколько раз вдруг раскрывались внешние ворота хоздвора — для того ли, чтобы проверить готовность защитников? Дежурный пикет объявлял тревогу, и взводы высыпали навстречу. Но в зону не шёл никто.

Вся разведка защитников лагеря была — дозорные на крышах барраков. И только то, что доступно было увидеть с крыш через забор, было основанием для предвидения.

В середине июня в посёлке появилось много тракторов. Они работали или что-нибудь перетягивали около зоны. Они стали работать даже по ночам. Эта ночная работа тракторов была непонятна. На всякий случай стали рыть против проломов ещё ямы (впрочем, У-2 все их сфотографировал или зарисовал).

Этот недобрый какой-то рёв добавил мраку.

И вдруг — посрамлены были скептики! посрамлены были отчаявшиеся! посрамлены были все, говорившие, что не будет пощады и не о чем просить. Только ортодоксы могли торжествовать. 22 июня внеш-

нее радио объявило: требования лагерников приняты! В Кенгир едет член Президиума ЦК!

Розовая точка обратилась в розовое солнце, в розовое небо! Значит, можно добиться! Значит, есть справедливость в нашей стране! Что-то уступят нам, в чём-то уступим мы. В конце концов и в номерах можно походить, и решётки на окнах нам не мешают, мы ж в окна не лазим. Обманывают опять? Так ведь не требуют же, чтобы мы *до* этого вышли на работу!

Как прикосновение палочки снимает заряд с электроскопа и облегчённо опадают его встревоженные листочки, так объявление внешнего радио сняло тягучее напряжение последней недели.

И даже противные трактора, поработав с вечера 24-го июня, замолкли.

Тихо спалось и сороковую ночь мятежа. Наверно, завтра он и приедет, может уже приехал...³⁶ Эти короткие июньские ночи, когда не успеваешь выспаться, когда на рассвете спится так крепко. Как тринадцать лет назад.

На раннем рассвете 25 июня в пятницу в небе развернулись ракеты на парашютах, ракеты взвились и с вышек — и наблюдатели на крышах бараков не пикнули, снятые пулями снайперов. Ударили пушечные выстрелы! Самолёты полетели над лагерем бреюще, нагоняя ужас. Прославленные танки Т-34, занявшие исходные позиции, под маскировочный рёв тракторов, со всех сторон теперь двинулись в проломы. (Один из них всё-таки попал в яму.) За собой одни танки тащили цепи колючей проволоки на козлах, чтобы сразу же разделять зону. За другими бежали штурмовики с автоматами в касках. (И автоматчики и танкисты получили водку перед тем. Какие б ни были спецвойска, а всё же давить безоружных спящих легче в пьяном виде.) С наступающими цепями шли радисты с рациями. Генералы поднялись на вышки стрелков и оттуда при дневном свете ракет (а одну вышку эски подожгли своими угольниками, она горела) подавали команды: «Берите такой-то барак!.. Кузнецов находится там-то!..» Они не прятались, как обычно, на наблюдательном пункте, потому что пули им не грозили³⁷.

Издалека, со строительных конструкций, на подавление смотрели вольные.

Проснулся лагерь — весь в безумии. Одни оставались в бараках на местах, ложились на пол, думая так уцелеть и не видя смысла в сопротивлении. Другие поднимали их идти сопротивляться. Третьи выбегали вон, под стрельбу, на бой или просто ища быстрой смерти.

Бился Третий лагпункт — тот, который и начал (он был из двадцатипятилетников, с большим перевесом бандеровцев). Они... швыряли камнями в автоматчиков и надзирателей, наверно и серными угольниками в танки... О толчёном стекле никто и не вспомнил. Какой-то барак два раза с «ура» ходил в контратаку...

Танки давили всех попадавших по дороге (киевлянку Аллу Пресман гусеницей переехали по животу). Танки наезжали на крылечки бараков, давили там (эстонку Ингрид Киви и Махлапу)³⁸. Танки притирались к стенам бараков и давили тех, кто виснул там, спасаясь от гусениц. Семён Рак со своей девушкой в обнимку бросились под танк и кончили тем. Танки вминались под дощатые стены бараков и даже били внутрь бараков холостыми пушечными выстрелами. Вспо-

³⁶ А может быть и правда приехал? Может быть он-то и распорядился?..

³⁷ Они только спрятались от истории. Кто были эти расторопные полководцы? Почему не салютовала страна их славной кенгирской победе? С трудом мы разыскиваем теперь имена не главных там, но и не последних: начальник оперчекистского отдела Степлага полковник Рязанцев; начальник политотдела Степлага Семушкин... Помогите! Продолжите!

³⁸ В одном из танков сидела пьяная Нагибина, лагерный врач. Не для оказания помощи, а — посмотреть, интересно.

минает Фаина Эпштейн: как во сне отвалился угол барака, и наискосок по нему, по живым телам, прошёл танк; женщины вскакивали, метались; за танком шёл грузовик, и полуодетых женщин туда бросали.

Пушечные выстрелы были холостые, но автоматы и штыки винтовок — боевые. Женщины прикрывали собой мужчин, чтоб сохранить их,— кололи и женщин! Опер Беляев в это утро своей рукой застрелил десятка два человек. После боя видели, как он вкладывал убитым в руки ножи, а фотограф делал снимки убитых *бангитов*. Раненная в лёгкое, скончалась член Комиссии Супрун, уже бабушка. Некоторые прятались в уборные, их решетки очередями там³⁹.

Кузнецова арестовали в бане, в его КП, поставили на колени. Слученкова со скрученными руками поднимали на воздух и бросали обземь (приём блатных).

Потом стрельба утихла. Кричали: «Выходи из бараков, стрелять не будем!» И, действительно, только били прикладами.

По мере захвата очередной группы пленных, её вели в степь через проломы, через внешнюю цепь конвойных кенгирских солдат, обыскивали и клали в степи ничком, с протянутыми над головой руками. Между такими распято лежащими ходили лётчики МВД и надзиратели и отбирали, опознавали, кого они хорошо раньше видели с воздуха или с вышек.

(За этой заботой никому не был досуг развернуть «Правду» того дня. А она была тематическая — день нашей родины: успехи металлургов, шире механизированные уборочные работы. Историк будет обозреть нашу Родину, какой она была *в тот день*.)

Любознательные офицеры могли осмотреть теперь тайны хоздвора: откуда брался ток и какое было «секретное оружие».

Победители-генералы спустились с вышек и пошли позавтракать. Никого из них не зная, я берусь утверждать, что аппетит их в то июньское утро был безупречен и они выпили. Шумок от выпитого несколько не нарушал идеологической стройности в их голове. А что было в груди — то навинчено было снаружи.

Убитых и раненых было: по рассказам — около шестисот, по материалам производственно-плановой части кенгирского отделения, как мои друзья познакомились с ними через несколько месяцев, — более *семисот*⁴⁰. Ранеными забили лагерную больницу и стали возить в городскую. (Вольным объяснили, что войска стреляли только холостыми патронами, а убивали друг друга заключённые сами.)

Рыть могилы заманчиво было заставить оставшихся в живых, но для большего неразглашения это сделали войска: человек триста закопали в углу зоны, остальных где-то в степи.

Весь день 25 июня заключённые лежали ничком в степи под солнцем (все эти дни — нещадно знойные), а в лагере был сплошной обыск, взламывание и перетрях. Потом в поле привезли воды и хлеба. У офицеров были заготовлены списки. Вызывали по фамилиям, ставили галочку, что — жив, давали пайку и тут же разделяли людей по спискам.

Члены Комиссии и другие подозреваемые были посажены в лагерную тюрьму, переставшую служить экскурсионным целям. Больше тысячи человек — отобранные для отправки кто в закрытые тюрьмы, кто на Колыму. (Как всегда, списки эти были составлены полуслепо: и попали туда многие ни в чём не замешанные.)

Да внесёт картина усмирения — спокойствие в души тех, кого коробили последние главы. Чур нас, чур! — собираться в «камеры хранения» никому не придётся, и возмездия карателям не будет никогда.

³⁹ Эй, «Трибунал Военных Преступлений» Жана Поля Сартра! Эй, философы! Материал-то какой! Отчего не заседаете?

⁴⁰ 9 января 1905 года было убитых около ста человек. В 1912 году в знаменитых расстрелах на Ленских присаках, потрясших всю Россию, было убито двести семьдесят человек, раненых — двести пятьдесят.

26 июня весь день заставили убирать баррикады и заделывать проёмы.

27 июня вывели на работу. Вот когда дождался железнодорожные эшелоны рабочих рук.

Танки, давившие Кенгир, поехали самоходом на Рудник и там поехали перед глазами эков. Для умозаклочения...

Суд над верховодами был осенью 1955 года, разумеется закрытый и даже о нём-то мы толком ничего не знаем... Говорят, что Кузнецов держался уверенно, доказывал, что он безупречно себя вёл и нельзя было придумать лучше. Приговоры нам не известны. Вероятно, Слученкова, Михаила Келлера и Кнопкуса расстреляли. То есть расстреляли бы обязательно, но может быть 1955 год смягчил?

А в Кенгире налаживали честную трудовую жизнь. Не преминули создать из недавних мятежников *угарные* бригады. Расцвёл хозрасчёт. Работали ларьки, показывалась кинофильмовая дрянь. Надзиратели и офицеры снова потянулись в хоздвор — делать что-нибудь для дома: спиннинг, шкатулку, починить замок на дамской сумочке. Для мятежные сапожники и портные (литовцы и западные украинцы) шили им лёгкие обхватные сапоги и обшивали их жён. И так же велели экам на обогатилровке сдирать с кабеля свинцовый слой и носить в лагерь для перелива на дробь — охотиться товарищам офицерам на сайгаков.

Тут общее смятение Архипелага докатилось до Кенгира: не ставили снова решёток на окна, и баракон не запирали. Ввели условно-досрочное «двух-третье» освобождение и даже невиданную «активировку» Пятдесят Восьмой — отпускали полумёртвых на волю.

На могилах бывает особенно густая зелёная травка.

А в 1956 году и самую ту зону ликвидировали — и тогда тамошние жители из не уехавших ссыльных разведали всё-таки, где похоронили тех, — и приносили степные тюльпаны.

*Мятеж не может кончиться удачей.
Когда он победит — его зовут иначе...*

(Бёрнс)

Всякий раз, когда вы проходите в Москве мимо памятника Долго-рукому, вспоминайте: его открыли в дни кенгирского мятежа — и так он получился как бы памятник Кенгиру.

Конец пятой части

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ССЫЛКА

И кости по родине плачут.

Русская пословица.

Глава 1

ССЫЛКА ПЕРВЫХ ЛЕТ СВОБОДЫ

Наверно, придумало человечество ссылку раньше, чем тюрьму. Изгнание из племени ведь уже было ссылкой. Соображено было рано, как трудно человеку существовать оторванным от привычного окружения и места. Всё не то, всё не так и не ладится, всё временное, не настоящее, даже если зелено вокруг, а не вечная мерзлота.

И в Российской империи со ссылкой тоже не запозднились: она закономерно утверждена при Алексее Михайловиче Соборным Уложением

1648 года. Но и ранее того, в конце XVI века ссылали безо всякого Собора: опальных каргопольцев; затем угличан, свидетелей убийства царевича Димитрия. Просторы разрешали — Сибирь уже была наша. Так набралось к 1645 году полторы тысячи ссыльных. А Пётр ссылали многими сотнями. Мы уже говорили, что Елизавета заменяла смертную казнь вечной ссылкой в Сибирь. Но тут сделали подмену, и под ссылкой стали понимать не только вольное поселение, а и — каторгу, принудительные работы, это уже не ссылка. Александровский устав о ссыльных 1822 года эту подмену закрепил. Поэтому, очевидно, в цифрах ссылки XIX века надо считать вклучённой и каторгу. В начале XIX века ссылались, что ни год, от двух до шести тысяч человек. С 1820 года стали ссылать ещё и бродяг (по-нашему туеядцев) и так уже вытягивали в иной год до десяти тысяч. В 1863 излюбили и приспособили к ссылке отчуждённый от материка пустынный остров Сахалин, возможности ещё расширились. Всего за XIX век было сослано полмиллиона, в конце века числилось ссыльных единовременно триста тысяч⁴¹.

Ссылка так развита была в России именно потому, что мало было отсидочных тюрем, не в практике.

К концу века ссыльное установление многообразилось. Появлялись и более лёгкие виды: «высылка за две губернии», даже «высылка за границу» (это не считалось такой безжалостной карой, как после Октября)⁴². Внедрялась и административная ссылка, удобно дополняющая ссылку судебную. Однако: ссыльные сроки выражались ясными точными цифрами, и даже пожизненная ссылка не была подлинно пожизненной. Чехов пишет в «Сахалине», что после десяти отбытых лет ссылки (а если «вёл себя совершенно одобрительно» — критерий неопределённый, но применяли его, по свидетельству Чехова, широко, — то и после шести) наказанный переводился в крестьянское состояние и мог возвратиться куда угодно, кроме своего родного места.

Подразумеваемой, всем тогда естественной, а нам теперь удивительной особенностью ссылки последнего царского столетия была её индивидуальность: по суду ли, административно ли, но ссылку определяли отдельно каждому, никогда — по групповой принадлежности.

От десятилетия к десятилетию менялись условия ссылки, степень тяжести её, — и разные поколения ссыльных оставили нам разные свидетельства. Тяжелы были этапы в пересыльных партиях, однако и от П. Ф. Якубовича и от Льва Толстого мы узнаём, что политических этапировали весьма сносно. Ф. Кон добавляет, что при политических этапная конвойная команда даже и с уголовниками хорошо обращалась, отчего уголовники очень ценили политических. Многие десятилетия сибирское население встречало ссыльных враждебно: им выделялись худшие участки земли, им доставалась худшая и плохо оплачиваемая работа, за них крестьяне не выдавали дочерей. Непристроенные, худо одетые, клеймёные и голодные, они собирались в шайки, грабили — и тем пуще ожесточали жителей. Однако это всё не относилось к политическим, чья струя заметна стала с 70-х годов. Тот же Ф. Кон пишет, что якуты встречали политических приязненно, с надеждой, как своих врачей, учителей и законосоветчиков в защите от власти. У политических в ссылке были во всяком случае такие условия, что выдвинулось из них много учёных (чья наука только и пошла со ссылки) — краеведов, этнографов, языковедов⁴³, естественников, а

⁴¹ Все эти данные взяты из тома XVI («Западная Сибирь») известной книги «Россия» Семёнова-Тянь-Шанского. Не только сам знаменитый географ, но и его братья были настойчивыми самоотверженными либеральными деятелями, они много способствовали прояснению идеи свободы в нашей стране. В революцию вся семья их разгромлена, один брат расстрелян в их уютном имении на реке Ранове, само оно сожжено, вырублен большой сад, аллеи лип и тополей.

⁴² П. Ф. Якубович. В мире отверженных. М. «Художественная литература». 1964.

⁴³ Тан-Богораз, В. И. Иохельсон, Л. Я. Штернберг.

также публицистов и беллетристов. Чехов на Сахалине не видел политических и не описал их нам⁴⁴. Но например Ф. Кон, сосланный в Иркутск, стал работать в редакции прогрессивной газеты «Восточное обозрение», где сотрудничали народники, народовольцы и марксисты (Красин). Это был не рядовой сибирский город, а столица генерал-губернаторства, куда по Уставу о ссыльных не надлежало вовсе допускать политических, — они же служили там в банках, в коммерческих предприятиях, преподавали, перетирались на журфиксах с местной интеллигенцией. А в омском «Степном крае» ссыльные протаскивали такие статьи, которых цензура нигде в России не пропустила бы. Даже золотушников стачку ссыльный Омск снабжал своей газетой. Ещё стал через ссыльных радикальным городом и Красноярск. А в Минусинске вокруг мартьяновского музея собралась столь уважаемая и не знающая административных помех группа ссыльных деятелей, что не только беспрепятственно создавала всероссийскую сеть перехоронок-приютов для беглецов (впрочем, о лёгкости тогдашних побегов мы уже писали), но даже направляла деятельность официального минусинского «Виттевского» комитета⁴⁵. И если о сахалинском режиме для уголовных Чехов восклицает, что он сведён «самым пошлым образом к крепостному праву», — этого не скажешь о русской ссылке для политических с давнего времени и до последнего. К началу XX века административная ссылка для политических стала в России уже не наказанием, а формальным, пустым, «обветшалым приёмом, доказавшим свою негодность» (Гучков). Столыпин с 1906 принимал меры к полному упразднению её.

А что такое была ссылка Радищева? В посёлке Усть-Илимский Острог он купил двухэтажный деревянный дом (кстати — за десять рублей) и жил со своими младшими детьми и свояченицей, заменившей жену. Работать никто и не думал его заставлять, он вёл жизнь по своему усмотрению и имел свободу передвижения по всему Илимскому округу. Что была ссылка Пушкина в Михайловское, — теперь уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобной тому была ссылка и многих других писателей и деятелей: Тургенева — в Спаское-Лутовинско, Аксакова — в Варварино (по его выбору). С декабристом Трубецким ещё в камере нерчинской тюрьмы жила жена (родился сын), когда ж через несколько лет он был переведён в иркутскую ссылку, там у них был огромный особняк, свой выезд, лакеи, французские гувернёры для детей (юридическая тогдашняя мысль ещё не созрела до понятий «враг народа» и «конфискация всего имущества»). А сосланный в Новгород Герцен по своему губернскому положению принимал рапорты полицеймейстера.

Такая мягкость ссылки простиралась не только на именитых и знаменитых людей. Её испытали и в XX веке многие революционеры и фрондёры, особенно — большевики: их не опасались. Сталин, уже имея за спиной четыре побега, был на пятый раз сослан... в самую Вологду. Вадим Подбельский за резкие антиправительственные статьи был сослан... из Тамбова в Саратов. Какая жестокость! Уж разумеется, никто не гнал его там на изневольную работу⁴⁶.

Но даже и такая ссылка, по нашим теперь представлениям льготная, ссылка без угрозы голодной смерти, воспринималась ссылаемым подчас тяжело. Многие революционеры вспоминают, как болезнен

⁴⁴ По юридической своей простоте, а верней в духе своего времени, Чехов не запаса для Сахалина никакой командировкой, никакой служебной бумагой. Тем не менее он был допущен к придуманной им переписи ссыльно-кагоржных и даже к тюремным документам! (Примерьте это к нам, Поезжайте проверить гнездо лагерей без направления от НКВД!) Только с политическими встретиться ему не дали.

⁴⁵ Феликс Кон. За пятьдесят лет. Т. 2 — «На поселении». М. Изд-во Все-союзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев. 1933.

⁴⁶ Этот революционер, чьим именем переозвучены Почтовые улицы многих русских городов, настолько, видимо, не имел навыков труда, что на первом же субботнике получил мозоль и от мозоли... умер.

пришёлся им перевод из тюрьмы с её обеспеченным хлебом, теплом, кровом и досугом для университетов и партийных перебранок — в ссылку, где приходится одному среди чужих измысливаться о хлебе и крове. А когда изыскивать их не надо, объясняют они (Ф. Кон), ещё хуже: «ужасы безделья... Самое страшное то, что люди обречены на бездействии», — и вот некоторые уходят в науки, кто — в наживу, в коммерцию, а кто — спивается от отчаяния.

Но — отчего безделье? Ведь местные жители не жалуются на него, они едва управляют спину разогнуть к вечеру. Так точнее сказать — от перемены почвы, от сбива привычного образа жизни, от обрыва корней, от потери живых связей.

Всего два года ссылки понадобилось журналисту Николаю Надеждину, чтобы потерять вкус свободолюбия и переделаться в честного слугу престола. Буйный разгульный Меншиков, сосланный в 1727 году в Берёзов, построил там церковь, толковал с местными жителями о суете мира, отпустил бороду, ходил в простом халате и в два года умер. Казалось бы — чем изнурительна, чем уж так невыносима была Радищеву его вольготная ссылка? — но когда потом в России стала угрожать ему повторная ссылка, он из страха перед нею покончил с собой. А Пушкин из села Михайловского, из этого рая земного, где б, кажется, довёл только Бог жить и жить, в октябре 1824 года писал Жуковскому: «Спаси меня (т. е. от ссылки. — А. С.) хоть крепостью, хоть Соловецким монастырём!» И это не фраза была, потому что и губернатору писал он, прося о замене ссылки на крепость.

Нам, узнавшим, что такое Соловки, это вдвю теперь: в каком порыве, в каком отчаянии и неведении мог поэт швырять Михайловское и просить Соловецкие острова?..

Вот это и есть та мрачная сила ссылки — чистого перемещения и водворения со связанными ногами, о которой догадались ещё древние властители, которую изведал ещё Овидий.

Пустота. Потерянность. Жизнь, несколько не похожая на жизнь...

* * *

В перечне орудий угнетения, которые должна была навсегда размести светлая революция, на каком-нибудь четвёртом месте числилась, конечно, и ссылка.

Но едва лишь первые шаги ступила революция своими кривеющими ножками, ещё не возмужала, она поняла: нельзя без ссылки! Может быть, год какой не было в России ссылки, ну до трёх. И тут же вскоре начались, как это теперь называется, депортации — вывоз нежелательных. Вот подлинные слова народного героя, потом и маршала, о 1921 году в Тамбовской губернии: «Было решено организовать широкую высылку бандитских (читай — «партизанских». — А. С.) семей. Были организованы общие концлагеря, куда предварительно эти семьи заключались» (разрядка моя. — А. С.)⁴⁷.

Только удобство расстреливать на месте, вместо того чтобы куда-то везти, и в дороге охранять и кормить, и потом расселять и опять охранять, — только это одно удобство задержало введение регулярной ссылки до конца военного коммунизма. Но уже 16 октября 1922 при НКВД была создана постоянная Комиссия по Высылке «социально-опасных лиц, деятелей антисоветских партий», то есть всех, кроме большевистской, и расхожий срок был — 3 года⁴⁸. Таким образом, уже в самые ранние 20-е годы институция ссылки действовала привычно и размеренно.

Правда, уголовная ссылка не возобновилась: ведь были уже избреты исправтруд-лагеря, они и поглотили. Но зато политическая

⁴⁷ Тухачевский, «Борьба с контрреволюционными восстаниями» («Война и революция», 1926, 7/8, стр. 10).

⁴⁸ «Собрание Узаконений РСФСР», 1922, № 65, стр. 844.

ссылка стала удобнее, чем когда-либо: в отсутствие оппозиционных газет высылка становилась безгласной, а для тех, кто рядом, кто близко знал ссылаемых, после расстрелов военного коммунизма трёхлетняя незлобная неспешная ссылка казалась лирической воспитательной мерой.

Однако из этой вкрадчивой санитарной высылки не возвращались в родные места, если же успевали вернуться, то вскоре их брали вновь. Затянутые начинали свои круги по Архипелагу, и последняя обломанная дуга спускалась непременно в яму.

По благодущию людскому нескоро проявился замысел власти: просто ещё не окрепла власть, чтобы всех неугодных сразу искоренить. И вот обречённых вырывали пока не из жизни, а из памяти людской.

Тем легче восстанавливалась ссылка, что не залегли ещё, не запали дороги прежних этапов, и сами места сибирские, архангельские и вологодские не изменились ничуть, не удивлялись нисколько. (Впрочем, государственная мысль на том не замрёт, чей-то палец ещё ползает по карте шестой части суши, и обширный Казахстан, едва прикинув к Союзу Республик, хорошо приляжет к ссылке своими просторами, да и в самой Сибири сколько мест откроется погуще.)

Но осталась в ссыльной традиции и кое-какая помеха, именно: иждивенческое настроение ссыльных, что государство обязано их кормить. Царское правительство не смело заставлять ссыльных увеличивать национальный продукт. И профессиональные революционеры считали для себя унижительным работать. В Якутии имел право ссыльно-поселенец на пятнадцать десятин земли (в шестьдесят пять раз больше, чем колхозник теперь). Не то чтоб революционеры бросались эту землю обрабатывать, но очень держались за землю якуты и платили революционерам «отступного», арендную плату, расплачивались продуктами, лошадьми. Так, приехав с голыми руками, революционер сразу оказывался кредитором якутов (Ф. Кон). И ещё кроме того платило царское государство своему политическому врагу в ссылке: двенадцать рублей в месяц кормёжных и двадцать два рубля в год одёжных. Лепешинский пишет⁴⁹, что и Ленин в шушенской ссылке получал (не отказывался) двенадцать рублей в месяц, и сам Лепешинский — шестнадцать рублей, ибо был не просто ссыльный, но ссыльный чиновник. Ф. Кон уверяет нас теперь, что этих денег было крайне мало. Однако известно, что сибирские цены были в два-три раза ниже российских, и потому казённое содержание ссыльного было даже избыточным. Например, В. И. Ленину оно дало возможность все три года безбедно заниматься теорией революции, не беспокоясь об источнике существования. Мартов же пишет, что он за пять рублей в месяц получал от хозяина квартиру с полным столом, а остальные деньги тратил на книги и откладывал на побег. Анархист А. П. Улановский говорит, что только в ссылке (в Туруханском крае, где он был вместе со Сталиным) у него впервые в жизни появились свободные деньги, он высылал их вольной девице, с которой познакомился где-то по дороге, и впервые мог купить и попробовать, что такое какао. У них там оленьё мясо и стерлядь были нипочём, хороший крепкий дом стоил двенадцать рублей (месячное содержание!). Никто из политических не знал недостатка, денежное содержание получали все административно-ссыльные. И одеты были все хорошо (сни и приезжали такими).

Правда, пожизненные ссыльно-поселенцы, по нашему сказать «бытовики», денежного содержания не получали, но безвозмездно шли им от казны шубы, вся одежда и обувь. На Сахалине же, установил Чехов, все поселенцы два-три года, а женщины и весь срок, получали бесплатное казённое содержание натурой, в том числе мяса на

⁴⁹ П. Н. Лепешинский. На повороте (От конца 80-х годов к 1905 г.). Путные впечатления участника революционной борьбы. Петербург. Госиздат. 1922.

день сорок золотников (значит двести граммов), а хлеба печёного — три фунта (то есть «кило двести», как стахановцы наших воркутинских шахт за 150% нормы. Правда, считает Чехов, что хлеб этот — недопечен и из дурной муки — ну да ведь и в лагерях же не лучше!). Ежегодно выдавалось им по полушубку, армяку и по несколько пар обуви. Ещё такой был приём: платила ссыльным царская казна умышленно-высокие цены за их изделия, чтобы поддержать их продукцию. (Чехов пришёл к убеждению, что не Сахалин, колония, выгоден для России, но Россия кормит эту колонию.)

Ну, разумеется, на таких нездоровых условиях не могла основываться наша советская политическая ссылка. В 1928 2-й Всероссийский съезд административных работников признал существующую систему высылки неудовлетворительной и ходатайствовал об «организации ссылки в форме колоний в отдалённых изолированных местностях, а также о введении системы *неопределённых приговоров*» (то есть бессрочных)⁵⁰. С 1929 стали разрабатывать ссылку *в сочетании с принудительными работами*⁵¹.

«Кто не работает — тот не ест», вот принцип социализма. И только на этом социалистическом принципе могла строиться советская ссылка. Но именно социалисты привыкли в ссылке получать питание бесплатно! Не сразу посмев сломить эту традицию, стала и советская казна платить своим политическим ссыльным — только, конечно, не всем, уж конечно не каэрам, а — *политам*, среди них тоже делая ступенчатые различия: например, в Чимкенте в 1927 году эсерам и эсдекам по шесть рублей в месяц, а троцкистам — по тридцать (всё-таки — свои, большевики). Только рубли эти были уже не царские, за самую маленькую комнатуху надо было платить в месяц десять рублей, а на двадцать копеек в день питаться очень скудно. Дальше — твёрже. К 1933 году «политам» платили пособие шесть рублей двадцать пять копеек в месяц. А в том году, сам помню отлично, килограмм ржаного сырого «коммерческого» хлеба (сверх карточного) стоил три рубля. И так, не оставалось социалистам учить языки и писать теоретические труды, оставалось социалистам *горбить*. С того же, кто шёл на работу, ГПУ тотчас снимало и последнее ничтожное пособие.

Однако и при желании работать — сам тот заработок получить ссыльным было нелегко. Ведь конец 20-х годов известен у нас большой безработицей, получение работы было привилегией людей с незапятнанной анкетой и членом профсоюза, а ссыльные не могли конкурировать, выставляя своё образование или опыт. Над ссыльными ещё тяготела и комендатура, без согласия которой ни одно учреждение и не посмело бы ссыльного принять. (Да даже и *бывший* ссыльный имел слабую надежду на хорошую работу: мешало тавро в паспорте.)

В 1934 году, в Казани, вспоминает П. С-ва, группа отчаявшихся образованных ссыльных нанялась мостить мостовые. В комендатуре их корили: зачем эта демонстрация? Но не помогли найти другую работу, и Григорий Б. отмерил оперу: «А вы какого-нибудь *процессика* не готовите? А то б мы нанялись платными свидетелями».

Приходилось крошечки со стола да сметать в рот.

Вот как упала русская политическая ссылка! Не оставалось времени спорить и протесты писать против «Credo». И горя такого не знали: как им справиться с бессмысленным бездельем... Забота стала — как с голоду не помереть. И не опуститься стать стукачом.

В первые советские годы в стране, освобождённой наконец от векового рабства, гордость и независимость политической ссылки опала, как проколотый шар надувной. Оказалось, что мнимой была та

⁵⁰ ЦГАОР, ф. 4042, оп. 38, д. 8, лл. 34 — 35.

⁵¹ Там же, ф. 393, оп. 84, д. 4, л. 97.

сила, которой побаивалась прежняя власть в политических ссыльных. Что создавало и поддерживало эту силу лишь общественное мнение страны. Но едва общественное мнение заменено было мнением организованным — и низверглись ссыльные с их протестами и правами под произвол тупых зачуханных гепеушников и бессердечных тайных инструкций (к первым таким инструкциям успел приложить руку и ум министр внутренних дел Дзержинский). Хриплый выкрик один, хоть словечко о себе туда, на волю, крикнуть стало теперь невозможно. Если сосланный рабочий посылал письмо на прежний свой завод, то рабочий, огласивший его там (Ленинград, Василий Кириллович Егшин), тут же ссылался сам. Не только денежное пособие, средства к жизни, но и всякие вообще права потеряли ссыльные: их дальнейшее задержание, арест, этапирование было ещё доступнее для ГПУ, чем пока эти люди считались вольными, — теперь уже не стесняемы ничем, как бы над гуттаперчевыми куклами, а не людьми⁵². Ничего не стоило и так их сотрясти, как было в Чимкенте: объявили внезапно о ликвидации здешней ссылки в одни сутки. За сутки надо было: сдать служебные дела, разорить своё жилище, освободиться от утвари, собраться — и ехать указанным маршрутом. Не намного мягче арестантского этапа! Не намного увереннее ссыльное завтра...

Но не только безмолвность общества и давление ГПУ — а что были сами эти ссыльные? эти мнимые члены партии без партий? Мы не имеем в виду кадетов — всех кадетов внутри страны уже извели, — но что значило к 1927 или к 1930 году считаться эсером или меньшевиком? Нигде в стране никакой группы действующих лиц, соответственных этому названию, не было. В начале 20-х годов всем социалистам предлагали отречься от своих партийных убеждений, и во множестве они соглашались и отваливались, лишь небольшое меньшинство заявляло верность этим убеждениям. (Хотя для нас, в историческом огляде, эти убеждения уже мало понятны, поскольку все социалистические партии практически лишь помогли утвердиться большевикам.) Давно, с самой революции, за десять громокипящих лет, не пересматривались программы этих партий, и даже если б эти партии внезапно воскресли, — неизвестно было, как им понимать события и что предлагать? Вся печать давно поминала их только в прошлом времени — и уцелевшие члены партий жили в семьях, работали по специальности и думать забывали о своих партиях. Но — нестираемы скрижальные списки ГПУ. И по внезапному ночному сигналу этих рассеянных кроликов выдёргивали и через тюрьмы этапировали — например, в Бухару.

Так приехал И. В. Столяров в 1930 и встретил там собранных со всех концов страны стареющих эсеров и эсдеков. Вырванным из своей обычной жизни, только и оставалось им теперь, что начать спорить, да оценивать политический момент, да предлагать решения, да гадать, как пошло бы историческое развитие, если бы... если бы...

Так сколачивали из них — но уже не партии, а — мишень для потопления.

Более многочисленны были в ссылке грузинские с-д и армянские дашнаки, в больших количествах сосланные в дальние места после захвата их республик коммунистами. Вспоминают, что живой и боевой партией в 20-е годы были сионисты-социалисты с их энергичной юношеской организацией «Гашемер» и легальной организацией «Гехалуц», создававшей земледельческие еврейские коммуны в Крыму. В 1926 посадили всё их ЦК, а в 1927 мальчишек и девчонок до пятнадцати-шестнадцати лет взяли из Крыма в ссылку. Давали им Турткуль

⁵² Те западные социалисты, как Даниэль Мейер, которые только в 1967 ощутили «постыдным быть социалистами вместе с СССР», могли бы, пожалуй, придти к этому убеждению лет на сорок — сорок пять пораньше. Ведь советские коммунисты уже тогда под корень уничтожали советских социалистов, но: за чужой щекою зуб не болит.

и другие строгие места. Это была действительно партия — спаянная, настойчивая, уверенная в правоте. Но добивались они не общей цели, а своей частной: жить как нация, жить своею Палестиной. Разумеется, коммунистическая партия, добровольно отвергшая отечество, не могла и в других потерпеть узкого национализма!⁵³

Уже в самих местах ссылки социалисты находили друг друга, и возникали, оживлялись фракции их, возникали кассы взаимопомощи (но все строго-фракционные — только свои своим). Из мест, где было легко с работой, например из Чимкента, посылали помощь своим «северным» безработным однопартийцам и тем, кто сидел в изоляторах. Оживлялась идея борьбы за «статус политических» (всё советское время социалисты так и не поняли, как это неприлично — отстаивать права не всему народу эзков, а только себе и своим). Ещё было у них местами соединённое приготовление пищи, уход за детьми и естественные при этом сборища, взаимопосещения. Ещё дружно праздновали они в ссылке 1 мая (демонстративно не отмечая 7-е ноября).

Ссылные очень были ослаблены недружественными отношениями между партиями, которые сложились в советские годы, и особенно обострились со середины 20-х годов, когда в ссылке появились многочисленные троцкисты, никого, кроме себя, не признающие за политических.

Ещё и в ссылке оставалась у «политов» возможность отречься и через то освобождаться, — но уже здесь, на глазах фракций, такие случаи были редки. Да к 1936 году многие с-д и эсеры всё равно были от ссылки освобождены (не значит, что имена их забыты), — тем жёстче заморгает коршуний глаз оперсектора над оставшимися. А в 1937 всех их пересадили в тюрьмы.

Ну да не одни же социалисты содержались в ссылке 20-х и 30-х годов — и главным образом (что ни год, то верней) совсем не социалисты. Лились и просто беспартийные интеллигенты — те духовно-независимые люди, которые мешали новому режиму установиться. И — бывшие, недоуничтоженные в гражданскую войну. И даже — мальчишки «за фокстрот»⁵⁴. И спириты. И оккультисты. И духовенство — сперва ещё с правом служения в ссылке. И просто верующие, просто христиане, или *крестьяне*, как переиначили русские много веков назад. И крестьяне как таковые.

И все попадали под око того же оперсектора, все разъединялись и костенели. С годами они всё более станут чуждаться друг друга, чтоб НКВД не заподозрило у них «организации» и не стало бы *брать по новой*. (А именно эта участь и ждёт их многих.) Так в черте государственной ссылки они углубятся во вторую добровольную ссылку — в одиночество. (А Сталину именно это и надо.)

Ослаблены были ссылные и отчуждённостью от них местного населения: местных преследовали за какую-либо близость к ссылным, провинившихся самих ссылали в другие места, а молодёжь исключали из комсомола.

Обесценены были равнодушием страны, советские ссылные потеряли и волю к побегам. У ссылных царского времени побег был весёлым спортом: пять побегов Сталина, шесть побегов Ногина, — грозила им за то не пуля, не каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющее, но тяжелеющее ГПУ со середины 20-х годов наложило на ссылных партийную круго-

⁵³ Казалось бы, такой природный и благородный порыв сионистов — воссоздать землю своих предков, утвердить веру своих предков и стянуться туда из двухтысячелетнего рассеяния, должен был бы вызвать дружную поддержку и помощь хотя бы европейских народов. Правда, Крым вместо Палестины никак не был той чисто сионистской идеей, и не насмешкою ли Сталина было предложение этому средиземноморскому народу избрать себе вторую Палестиную притаежный Биробиджан? Великий мастер выгаивать подолгу свои мысли — он этим ласковым приглашением может быть делал первую примерку той ссылки, которую им наметит на 1953 год?

⁵⁴ 1926 год, Сибирь. Свидетельство Д. П. Витковского.

вую поруку, все сопартийцы отвечают за своего бежавшего. И уже так не хватало воздуха, и уже так был прижимист гнёт, что социалисты, недавно гордые и неукротимые, приняли эту поруку! Они теперь сами, своим партийным решением, *запрещали себе бежать!*

Да и куда бежать? К кому бежать?..

Тёртые ловкачи теоретических обоснований быстро пристроили: *бежать — не время, нужно ждать.* И вообще *бороться не время*, тоже нужно ждать. В начале 30-х годов Н. Я. Мандельштам отмечает у чердынских ссыльных социалистов полный отказ от сопротивления. Даже — ощущение неизбежной гибели. И единственную практическую надежду: когда будут новый срок добавлять, то хоть бы без нового ареста, дали бы *расписаться* тут же, на месте — и тогда хоть не разорится скромно-налаженный быт. И единственную моральную задачу: сохранить перед гибелью человеческое достоинство.

Нам, после каторжных лагерей, где мы из раздавленных единиц внезапно стали соединяться, — грустно поминать этот процесс всеобщего расчленения. Но в наши десятилетия идёт общественная жизнь к расширению и полноте (вдох), а тогда она шла к угнетению и сжатию (выдох).

Так не гоже нашей эпохе судить эпоху ту.

А ещё у ссылки были многие градации, что тоже разъединяло и ослабляло ссыльных. Были разные сроки обмена удостоверений личности (некоторым — ежемесячно, и это с изнурительными процедурами). Дорожа не попасть в категорию худшую, должен был каждый блюсти правила.

До начала 30-х годов сохранялась и самая смягчённая форма: не ссылка, а м и н у с. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, а давали выбрать город за *минусом* скольких-то. Но, однажды выбрав, к месту этому он прикреплялся на тот же трёхлетний срок. Минусник не ходил на отметки в ГПУ, но и выезжать не имел права. В годы безработицы биржа труда не давала минусникам работы; если ж он умудрялся получить её, — на администрацию давили: уволить.

Минус был булавкой: им прикалывалось вредное насекомое и так ждало покорно, пока придёт ему черёд арестоваться по-настоящему.

А ещё же была вера в этот передовой строй, который не может, не будет нуждаться в ссылке! Вера в амнистию, особенно к блистательной десятой годовщине Октября!..

И амнистия пришла, амнистия — ударила. Четверть срока (из трёх лет — девять месяцев) стали сбрасывать ссыльным, и то не всем. Но так как раскладывался Большой Пасьянс, и за тремя годами ссылки дальше шли три года политизолятора и потом снова три года ссылки, — это ускорение на девять месяцев несколько не украшало жизни.

А там приходила пора и следующего суда. Анархист Дмитрий Венедиктов в конце трёхлетней тобольской ссылки (1937) был взят по категоричному точному обвинению: «распространение слухов о займах» (какие же могут быть слухи о займах, наступающих каждого с неизбежностью майского расцвета?) «и недовольство советской властью» (ведь ссыльный должен быть доволен своей участью). И что ж дали за такие гнусные преступления? *Расстрел* в семьдесят два часа и не подлежит обжалованию! (Его оставшаяся дочь Галина уже мелькнула на страницах этой книги.)

Такова была ссылка первых лет завоёванной свободы, и таков путь полного освобождения от неё.

Ссылка была — предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели — вызова т у д а. (Были умные люди — из *бывших*, да и простых крестьян, ещё в 20-е годы понявшие всё предлежание. И окончив первую трёхлетнюю ссылку, они на всякий случай там же,

например в Архангельске, оставались. Иногда это помогало больше не попасть под гребешок.)

Вот как для нас обернулась мирная шушенская ссылка, да и туруханская с какао.

Вот чем была у нас догружена Овидиева тоска.

Глава 2

МУЖИЧЬЯ ЧУМА

Тут пойдёт о малом, в этой главе. О пятнадцати миллионах душ. О пятнадцати миллионах жизней.

Конечно, не образованных. Не умевших играть на скрипке. Не знавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой.

Во всей первой мировой войне мы потеряли убитыми и пропавшими без вести меньше двух миллионов. Во всей второй — двадцать миллионов (это — по Хрущёву, а по Сталину — только семь. Недогадел Иосиф капиталу?). Так сколько же од! Сколько обелисков, вечных огней! романов и поэм! — да четверть века вся советская литература этой кровушкой только и напоена.

А о той молчаливой предательской чуме, сглодавшей нам пятнадцать миллионов мужиков — и это по самому малому расчёту и только кончая 1932 годом!⁵⁵ — да не подряд, а избранных, а становой хребет русского народа, — о той Чуме нет книг. А о шести миллионах выморенных вослед искусственным большевистским голодом, — о том молчит и родина наша и сопредельная Европа. На изобильной Полтавщине в деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощицы у станций нельзя было вступить — дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. «Безбелковый отёк» записывали тем, кто добирался умереть на пороге больницы. На Кубани было едва ли не жутче. И в Белоруссии во многих местах собирали мертвецов приезжие команды, своим — уже некому было хоронить.

И трубы не будят нас встрепенуться. И на перекрестках просёлочных дорог, где визжали обозы обречённых, не брошено даже камешков трёх. И лучшие наши гуманисты, так отзывчивые к сегодняшним несправедливостям, в те годы только кивали одобрительно: всё правильно! так им и надо!

И так это глухо было сделано, и так начисто соскребено, и так всякий шёпот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам: «не надо, братцы, уж вороха у меня этих рассказов, не убираются», а по ссылке мужичьей нисколько не несут. А кто бы и где бы рассказал нам?..

Да знаю я, что здесь не глава нужна и не книга отдельного человека. А я и главу одну собрать обстоятельно не умею.

И всё ж начинаю. Я ставлю её как знак, как мету, как эти камешки первые — чтоб только место обозначить, где будет когда-нибудь же восставлен новый Храм Христа Спасителя.

С чего это всё началось? С догмы ли, что крестьянство есть «мелкая буржуазия»? (А кто у них — не мелкая буржуазия? По их замечательно чёткой схеме кроме фабричных рабочих, да и то исключая квалифицированных, и кроме тузов-предпринимателей, все остальные,

⁵⁵ Эта цифра преуменьшена, если судить по речи Сталина на 1-м съезде колхозников-ударников. (Сочинения. М. 1951, т. 13, стр. 246). Он назвал: на каждые 100 дворов — 4—5 кулацких, 8—10 зажиточных. Объединяя, получим процент дворов на уничтожение от 12 до 15. А в 1929 крестьянских дворов было около 26 миллионов, а крестьянская семья того времени в среднем больше 5 человек, а зажиточная — и больше 6.

весь собственно народ, и крестьяне, и служащие, и артисты, и лёгчики, и профессора, и студенты, и врачи — как раз и есть «мелкая буржуазия».) Или с разбойного верховного расчёта: одних ограбить, а других запугать?

Из последних писем Короленко Горькому в 1921 году, перед тем как первый умер, а второй эмигрировал, мы узнаём, что этот бандитский наскок на крестьянство уже тогда начался и осуществлялся почти в той же форме, что и в 1930 году. (С годами всё больше открывается об этом материалов.)

Но ещё не по силе была дерзость — и отсыгнули, отступили.

Однако замысел в голове оставался, и все 20-е годы открыто козыряли, кололи, попрекали: кулак! кулак! кулак! Приготовлялось в сознании горожан, что жить с «кулаком» на одной земле нельзя.

Истребительная крестьянская Чума готовилась, сколько можно судить, ещё с ноября 1928 года, когда, по докладу северо-кавказского секретаря крайкома Андреева, ЦК ВКП(б) *запретил принимать в колхозы состоятельных мужиков («кулаков»)*, — вот они уже и отделялись для уничтожения. Это решение было подтверждено в июле 1929 — и уже готовы были душегубные списки, и начались конфискации и выселение. А в начале 1930 года совершаемое (уже отрететированное и налаженное) возглашено публично — в постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января об ускорении коллективизации (партия имеет «полное основание перейти в своей практической работе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса»).

Не задержались вослед ЦК и послушно-согласные ЦИК и СНК — 1 февраля 1930 развернули волю партии законодательно. Предоставлялось край-облисполкомам «применять все необходимые меры в борьбе с кулачеством вплоть до (а иначе и не было) полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краёв».

Лишь на последнем слове застыдился Мясник. *Из каких пределов* — назвал. Но не назвал — *в какие*. Кто веками хлопает, могли так понять, что — за тридцать вёрст, по соседству...

А *подкулачника* в Передовой Теории, кажись, и не было. Но по захвату косилки ясно стало, что без него не обойтись. Цену этого слова мы разобрали уже. Коль объявлен «сбор тары» и пошли пионеры по избам собирать от мужиков мешки в пользу нищего государства, а ты не сдал, пожалел свой кровненький (их ведь в магазине не купишь), — вот и подкулачник. Вот и на ссылку.

И прекрасно пошли гулять эти клички по Руси Советской, чьи ноздри ещё не остыли от кровавых воспарений гражданской войны! Пущены были слова, и хотя ничего не объясняли — были понятны, очень упрощали, не надо было задумываться нисколько. Восстановлен был дикий (да по-моему и нерусский; где в русской истории такой?) закон гражданской войны: десять за одного! сто за одного! За одного в оборону убитого *активиста* (и чаще всего — бездельника, болтуна; все рядом упоминают: ведали раскулачиванием воры да пьяницы) искореняли сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смыслёных крестьян, тех, кто и несли в себе остойчивость русской нации.

Как? как! — кричат нам. А *мироеды*? Прижимщики соседей? На тебе ссуду, а ты мне шкурой вернёшь?

Верно, в малой доле попали туда и мироеды (да все ли?). Только спросим и мы: мироеды — по крови ли? от сути ли своей доконной? Или по свойству всякого богатства (и всякой власти) портить человека? О, если б так проста была «очистка» человечества или сословия! Но когда железным частым гребнем так *очистил* и крестьянство от бессердечных мироедов, пятнадцати миллионов на это не пожалел. **ли**, — откуда же в сегодняшней колхозной деревне эти злые, пузатые,

краснорожие, возглавляющие её (и райком)? Эти безжалостные притеснители одиноких старух и всех беззащитных? Как же и х хищный корень пропустили при «раскулачивании»? Батюшки, да не из активистов ли они?..

Тот, кто вырос на грабеже банков, не мог рассудить о крестьянстве ни как брат, ни как хозяин. Он только свистнуть мог Соловьём-разбойником — и поволокли в тайгу и тундру миллионы трудяг, хлеборобов с мозолистыми руками, именно тех, кто власть советскую устанавливал, чтоб только получить землю, а получив — быстро укреплялся на ней («земля принадлежит тем, кто на ней трудится»).

Уж о каких мироедах звонить языком в деревянные щёки, если кубанские станицы, например Урупинскую, выселили *всю под метлу*, от старика до младенца (и заселили демобилизованными)? Вот где ясен «классовый принцип», да? (Напомним, что именно Кубань почти не поддерживала белых в гражданскую войну и первая разваливала денкинский тыл, искала соглашения с красными. И вдруг — «кубанский саботаж»?) А знаменитое на Архипелаге село Долинка, центр архипелажного сельского хозяйства, — откуда взялось? В 1929 году в с его жители (немцы) были «раскулачены» и высланы. Кто там кого эксплуатировал — непонятно.

Ещё хорошо понятен принцип «раскулачивания» на детской доле. Вот Шурка Дмитриев из деревни Маслено (Селищенские казармы у Волхова). В 1925 году, по смерти своего отца Фёдора, он остался тринадцати лет, единственный сын, остальные девчонки. Кому ж возглавить отцовское хозяйство? Он взялся. И девчонки и мать подчинились ему. Теперь как занятой и взрослый раскланивался он со взрослыми на улице. Он сумел достойно продолжить труд отца, и были у него к 1929 году закрома полны зерна. Вот и кулак! Всю семью и угнали!..

Адамова-Слиозберг трогательно рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 1936 году в тюрьму за самовольный уход — *пешком две тысячи километров!* спортивные медали за это надо давать — из уральской ссылки в родное село Светловидово под Тарусой. Малолетней школьницей она была сослана с родителями в 1929 году, навсегда лишена учёбы. Учительница ласково звала её «Мотя-Эдисончик»: девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад ума, она какую-то турбинку ладил от ручья и другие изобретения для школы. Через семь лет потянуло её хоть глянуть на брёвна той недостижимой школы — и получила за то «Эдисончик» тюрьму и лагерь.

Дайте-ка детскую судьбу такую из XIX века!

Под раскулачивание непременно подходил всякий мельник, — а кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Вот мельник Прокоп Иванович Лактюнкин из рязанских (петелинских) Пеньков. Едва он был «раскулачен», как без него через меру зажали жернова — и спалили мельницу. После войны, прощённый, воротился он в родное село, и не мог успокоиться, что нет мельницы. Лактюнкин испросил разрешение, сам отлил жернова и на том же (обязательно на том же!) месте поставил мельницу — отнюдь не для своей выгоды, а для колхоза, ещё же верней — для полноты и украшения местности.

А вот и деревенский кузнец, сейчас посмотрим, какой кулак. Да же, как любят отделы кадров, начнём с отца. Отец его, Гордей Васильевич, двадцать пять лет служил в Варшавской крепости и выслужил, как говорится, только то серебро, что пуговка оловца: солдат-двадцатипятилетник лишился земельного надела. Женясь при крепости на солдатской дочке, приехал он после службы на родину жены в деревню Барсуки Красненского уезда. Тут подпоила его деревня, и половиной накопленных им денег заплатил он за всю деревню недоимки податей. А на другую половину взял в аренду мельницу у помещика, но быстро на этой аренде потерял и остальные деньги. И долговую ста-

рость пробыл пастухом да сторожем. И было у него шесть дочерей, всех выдал за бедняков, и единственный сын Трифон (а фамилия их — Твардовские). Мальчик отдан был услуживать в галантерейный магазин, но оттуда сбежал в Барсуки и нанялся к кузнецам Молчановым — год бесплатным батраком, четыре года учеником, через четыре года стал мастером и в деревне Загорье поставил избу, женился. Детей родилось у них семеро (среди них — поэт Александр), вряд ли разбогатеешь от кузни. Помогал отцу старший сын Константин. От света и до света они ковали и варили — и выработывали пять отличных настаненных топоров, но кузнецы из Рославля с прессами и наёмными рабочими сбивали им цену. Кузница их так и была до 1929 года деревянная, конь — один, иногда корова с тёлкой, иногда — ни коровы, ни тёлки, да восемь яблонь, вот такие мироеды. Крестьянский Поземельный банк продавал в рассрочку заложенные имения. Взял Трифон Твардовский одиннадцать десятин пустоши, всю заросшую кустами, и вот ту пустошь корчевали своим горбом до самого года Чумы — пять десятин освоили, а остальные так и покинули в кустах. Наметили их раскулачить — во всей деревне пятнадцать дворов, а кого-то же надо! — приписали небывалый доход от кузницы, непосильно обложили, не уплачено в срок, — так собирайся в отъезд, кулачье проклятое!

Да у кого был дом кирпичный в ряду бревенчатых, или двухэтажный в ряду одноэтажных — вот тот и кулак, собирайся, сволочь, в шестьдесят минут! Не должно быть в русской деревне домов кирпичных, не должно двухэтажных! Назад, в пещеру! Топись по-чёрному! Это наш великий преобразующий замысел, такого ещё в истории не было.

Но главный секрет — ещё не в том. Иногда, кто и лучше жил, — если быстро вступал в колхоз, оставался дома. А упорный бедняк, кто заявленья не подавал, — высылался.

Очень важно, это самое важное! Ни в каком не «раскулачивании» было дело, а в насильственном вгоне в колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян землю, обещанную революцией, — и на эту же землю их же посадить крепостными.

И вот, по деревне, уже много раз очищенной от зерна, снова шли грозные вооружённые активисты, штыками искалывали землю во дворах, молотками обстукивали стены в избах, — иногда разваливали стену — и оттуда сыпалась пшеница. Уже для пуга больше вспарывали ножами и подушки. Хозяйская малая девочка подпырнула отбираемый мешок и отсочила себе пшенички, — «воровка!» — закричала на неё активистка и сапогом выбила, рассыпала пшеницу из девочкиного подола. И не дала собирать по зёрнышку.

Это была вторая гражданская война — теперь против крестьян. Это был Великий Перелом, да, только не говорят — чего перелом?

Русского хребта.

* * *

Нет, согрешили мы на литературу соцреализма — описано у них раскулачивание, описано — и очень гладко, и с большой симпатией, как охота на лязгающих волков.

Только не описано, как в длинном порядке деревни — и все заколочены окна. Как идёшь по деревне — и на крыльчке видишь мёртвую женщину с мёртвым ребёнком на коленях. Или сидящего под забором старика, он просит у тебя хлеба, — а когда ты идёшь назад, он уже завалился мёртвый.

И такой картины у них не прочтём: председатель сельсовета с понятой учительницей входит в избу, где лежат на полатах старик и старуха (старик тот прежде чайную держал, ну как не мироед? — никто ведь не хочет с дороги горячего чаю), и трясёт наганом: «слезай, тамбовский волк!» Старуха завyla, и председатель для пущей остраст-

ки выпалили в потолок (это очень гулко в избе получается). В дороге те старики оба умерли.

Уж тем более не прочтём о таком приёме раскулачивания: всех казаков (донская станица) скликали «на собрание»,— а там окружили с пулемётами, всех забрали и угнали. А уж баб потом выселить ничего не стоило.

Нам опишут и даже в кино покажут целые амбары или ямы зерна, укрытые мироедами. Нам только не покажут то малое нажитое, то родное и своекожное — скотинку, двор да кухонную утварь, которую всю покинуть велено плачущей бабе. (Кто из семьи уцелеет, и извернётся схлопотать, и Москва «восстановит» семью как середняцкую,— уже не найдут они, вернувшись, своего среднего хозяйства: всё растащено активистами и бабами их.)

Нам только тех узелков малых не покажут, с которыми допускают семью на казённую телегу. Мы не узнаем, что в доме Твардовских в лихую минуту не оказалось ни сала, ни даже печёного хлеба,— и спас их сосед, Кузьма многодетный, тоже не богач,— принёс на дорогу.

Кто успевал — от той чумы бежал в город. Иногда и с лошадьёю — но некому было в такую пору лошадьё продать: как чума стала и та крестьянская лошадьё, верный признак кулака. И на конном базаре хозяин привязывал её к коновязи, трепал по храпу последний раз — и уходил, пока не заметили.

Принято считать, что Чума та была в 1929-30. Но трупный дух ее долго ещё носился над деревней. Когда на Кубани в 1932 намолоченный хлеб весь до зерна тут же из-под молотилки увозили государству, а колхозников кормили лишь пока уборка и молотёба, отмолотились — и горячая кормёжка кончилась, и ни зёрнышка на трудодень,— как было одёргивать воющих баб? А кто ещё тут недокулачен? А кого — сослать? (В каком состоянии оставалась раннеколхозная деревня, освобождённая от кулаков, можно судить по свидетельству Скрипниковой: в 1930 при ней некоторые крестьянки из Соловков посылали посылки с чёрными сухарями в родную деревню!)

Вот история Тимофея Павловича Овчинникова, 1886 года рождения, из деревни Кишкино Михневской волости (невдали от Горок Ленинских, близ того же шоссе). Воевал германскую, воевал гражданскую. Отвоевался, вернулся на декретную землю, женился. Умный, грамотный, бывалый, золотые руки. Разумел и по ветеринарному делу самоучкой, был доброхот на всю округу. Неустанно трудясь, построил хороший дом, разбил сад, вырастил доброго коня из малого жеребёнка. Но смутил его НЭП, угораздило Тимофея Павловича ещё и в это поверить, как поверил в землю,— завёл на паях с другим мужиком маленькую кустарную мастерскую по выделке дешёвых колбас. (Теперь-то, сорок лет без колбасы деревню продержав, почесать бы в затылке: и что было в той колбасной плохого?) Трудились в колбасной сами, никого не нанимая, да и колбасы-то продавали через кооперацию. И поработали всего два года, с 1925 по 1927, тут стали душить их налогами, исходя из мнимых крупных заработков (выдумывали их фининспекторы по службе, но ещё надували в уши финотделу деревенские завистники-лентяи, сами ни к чему не способные, только стать активистами). И пайщики закрыли колбасную. В 1929 Тимофей вступил в колхоз одним из первых, свёл туда свою добрую лошадьё, и корову, и отдал весь инвентарь. Во всю мочь работая на колхозном поле, ещё выращивал двух племенных бычков для колхоза. Колхоз разваливался, и многие шли и бежали из него — но у Тимофея было уже пятеро детей, не стронешься. По злой памяти фининспектора он всё считался зажиточным (ещё и за ветеринарную помощь народу), уже и на колхозника несли и несли на него непомерные налоги. Платить было нечем, потянули из дому тряпки; трех последних овечек одиннадцатилетний сын спроворился разик тихо угнать от описи, другой раз забрали и их. Когда ещё раз описывать имущество пришли,

ничего уже не было у бедной семьи, и бесстыдные финотдельщики описали фикусы в кадках. Тимофей не выдержал — и у них на глазах эти фикусы изрубил топором. Это что ж он, значит, сделал: 1) уничтожил имущество, принадлежащее уже государству, а не ему; 2) агитировал топором против советской власти; 3) дискредитировал колхозный строй.

А как раз колхозный строй в деревне Кишкино трещал, никто уже работать не хотел, не верил, ушла половина, и кого-то надо было примерно наказать. Заядлый нэпман Тимофей Овчинников, пробравшийся в колхоз для его развала, теперь и был раскулачен по решению председателя сельсовета Шоколова. Шёл 1932 год, массовая ссылка кончилась, и жену с шестью детьми (один грудной) не сослали, лишь выбросили на улицу, отняв дом. На свои уже деньги они через год добирались к отцу в Архангельск. Все в роду Овчинниковых жили до восьмидесяти лет, а Тимофей от такой жизни загнулся в пятьдесят три⁵⁶.

Даже и в 1935 году, на Пасху, ходит по ободранной деревне пьяное колхозное начальство — и с *единоличников* требует денег на водку. А не дашь — «раскулачим! сошлём!». И сошлют! Ты же — *единоличник*. В том-то и Великий Перелом.

А саму дорогу, сам путь этот крестный, крестьянский — уж этот соцреалисты и вовсе не описывают. Погрузили, отправили — и сказке конец, и три звёздочки после эпизода.

А грузили их: хорошо, если по тёпловому времени в телеги, а то — на сани, в лютый мороз и с грудными детьми, и с малыши, и с отроками. Через село Коченево (Новосибирской области) в феврале 1931, когда морозы перемежались буранами, — шли, и шли, и шли окружённые конвоем бесконечные эти обозы, из снежной степи появляясь и в снежную степь уходя. И в избы войти обогреться — дозволялось им только с разрешения конвоя, на короткие минуты, чтоб не держать обоза. (Эти конвойные войск ГПУ — ведь живы же! ведь пенсионеры! ведь помнят, поди! А может — и не помнят...) Все тянулись они в нарымские болота — и в ненасытимых этих болотах остались все. Но ещё раньше, в жестоком пути, околевали дети.

В том и был замысел, чтобы семя мужицкое погибло вместе со взрослыми. С тех пор как Ирода не стало — это только Передовое Учение могло нам разъяснить: как уничтожить до младенцев. Гитлер уже был ученик, но ему повезло: прославили его душегубки, а вот до наших нет никому интереса.

Знали мужики, что их ждёт. И если счастье выпадало, что слали их эшелонами через обжитые места, то своих детей малых, но уже умеющих карабкаться, они на остановках спускали через окошечки: живите по людям! побирайтесь! — только б с нами не умирать.

(В Архангельске в голодные 1932-33 годы нищим детям спецпереселенцев не давали бесплатных школьных завтраков и ордеров на одежду, как другим нуждающимся.)

В том эшелоне с Дона, где баб везли отдельно от казаков, взятых на «собрании», одна баба в пути родила. А давали им стакан воды в день и не всякий день по триста граммов хлеба. Фельдшера? — не спрашивай. Не стало у матери молока, и умер в пути ребёнок. Где ж

⁵⁶ Не относится к нашей теме, но к пониманию эпохи. Со временем и в Архангельске устроился Тимофей работать в *закрытую* колбасную — тоже из двух мастеров, но с заведующим над ними. Собственная его была закрыта как вредная для трудящихся, эга была закрытой, чтоб не знали о ней трудящиеся. Они выделяли дорогие сорта колбас для личного снабжения правителей этого северного края. Не раз и Тимофея посылали относить изделия в одноэтажный за высоким забором особняк секретаря обкома товарища Аустрина (угол улиц Либкнехта и Чумбарова-Лучинского) и начальника областного НКВД товарища Шейрона.

хоронить? Два конвоира сели в их вагон на один пролёт, на ходу открыли дверь — и выбросили трупик.

(Этот эшелон пригнали на великую магнитогорскую стройку. И мужей туда же привезли, копайте землянку! Начиная с Магнитогорска наши барды уже позаботились, *отразили*.)

Семью Твардовских везли на подводах только до Ельни и, к счастью, уже был апрель. Там грузили их в товарные вагоны, и вагоны запирали на замок, а вёдер для оправки или дырок в полу — не было. И рискуя наказанием или даже сроком за попытку побега, Константин Трифонович на ходу поезда, когда шумней, кухонным ножом прорезал дырку в полу. Кормёжка была такая: раз в три дня на узловых станциях приносили в вёдрах суп. Правда, везли их (до станции Ляля, Северный Урал) всего дней десять. А там — ещё зима, встречали эшелон на сотнях саней и по речному льду — в лес. Стоял барак для сплавщиков на двадцать человек, привезли больше полтысячи к вечеру. Ходил по снегу комендант пермяк Сорокин, комсомолец, и показывал колышки вбивать: вот тут будет улица, вот тут дома. Так основан был посёлок Парча.

В эту жестокость трудно верится: чтобы зимним вечером в тайге сказали: вот здесь! Да разве люди так могут? А ведь везут — днём, вот и привозят к вечеру. Сотни-сотни тысяч именно так завозили и покидали, со стариками, женщинами и детьми. А на Кольском полуострове (Апатиты) всю полярную тёмную зиму жили в простых палатках под снегом. Впрочем, настолько ли уж милосердной, если приволжских немцев эшелонами привозят летом (1931 года — тридцать первого, не сорок первого, не ошибитесь!) в безводные места карагандинской степи — и там велют копать и строить, а воду выдают rationом? Да и там же наступит зима тоже. (К весне 1932 дети и старики вымерли — дизентерия, дистрофия.) В самой Караганде, как и в Магнитогорске, строили долгие низкие землянки-общежития, похожие на склады для овощей. На Беломорканале селили приехавших в опустевших лагерных бараках. А на Волгоканал — да за Химками сразу, их привозили ещё до лагеря, тотчас после конца гидрографической разведки, сбрасывали на землю и велели землю кайлить и тачки катать (в газетах писали: «на канал привезены машины»). Хлеба не было; свои землянки рыть — в свободное время. (Там теперь катера и пароходы прогулочные возят москвичей. Кости — на дне, кости — в земле, кости — в бетоне.)

При подходе Чумы, в 1929, в Архангельске закрыли все церкви: их и вообще-то назначено было закрывать, а тут подкатила всамделишная нужда размещать «раскулаченных». Большие потоки ссылаемых мужиков текли через Архангельск, и на время стал весь город как одна большая пересылка. В церквяхстроили многоэтажных нар, только топить было нечем. На станции разгружались и разгружались телячьи эшелоны, и под лай собак шли угрюмые лапотники на свои церковные нары. (Мальчику Ш. запомнилось, как один мужик шёл под упряжной дугой на шею: впопыхах высылки не сообразил, что ему всего нужнее. А кто-то нёс граммофон с трубой. Кинооператоры, вам работа!..) В церкви Введения восьмизэтажные нары, не скреплённые со стенами, рухнули ночью, и много было подавлено семей. На крики стянулись к церкви войска.

Так они жили чумной зимою. Не мылись. Гноились тела. Развился сыпняк. Мёрли. Но архангелогородцам был строгий приказ: *спецпереселенцам* (так назывались сосланные мужики) не помогать!! Бродили умирающие хлебобобы по городу, но нельзя было ни единого в дом принять, накормить или за ворота вынести чаю: за то хватала местных жителей милиция и отбирала паспорта. Идёт-бредёт голодный по улице, споткнулся, упал — и мёртв. Но и таких нельзя было подбирать (ещё ходили агенты и следили, кто выказал добросердечие). В это самое время пригородных огородников и животноводов тоже высила-

ли целыми деревнями под гребло (опять: кто ж там кого эксплуатировал?), и жители Архангельска сами тряслись, чтоб не сослали и их. Даже остановиться, наклониться над трупом боялись. (Один лежал близко от ГПУ, не подбирали.)

Хоронили их в порядке *организованном*, коммунальная служба. Без гробов, конечно, в общих ямах, рядом со старинным городским кладбищем по Вологодской улице — уже в открытом поле. И памятных знаков не ставили.

И всё это было для хлебоделов — только пересылка. Ещё был большой лагерь их за селом Талаги, и некоторых брали на лесопогрузочные работы. Но исхитрился кто-то написать на бревне письмо за границу (вот так и обучай крестьян грамоте!) — и сняли их с той работы. Их путь лежал дальше — на Онегу, на Пинегу и вверх по Двине.

Мы шутили в лагере: «дальше солнца не сошлют». Однако тех мужиков слали дальше, где ещё долго не будет того крова, под которым засветит лучину.

От всех предыдущих и всех последующих советских ссылок мужицкая отличалась тем, что их ссылали ни в какой населённый пункт, ни в какое обжитое место, — а к зверям, в дичь, в первобытное состояние. Нет, хуже: и в первобытном состоянии наши предки выбирали посёлки хотя бы близ воды. Сколько живёт человечество — ещё никто не строился иначе. Но для *спецпосёлков* чекисты выбирали места (а сами мужики не имели права выбирать) на каменистых косогорах (над рекой Пинегой на высоте сто метров, где нельзя докопаться до воды и ничего не вырастет на земле). В трёх-четырёх километрах бывала удобная пойма, — но нет, по инструкции не положено близ неё селить! Оказывались сенокосы в десятках километров от посёлка, и сено привозили на лодках... Иногда прямо за прещали сеять хлеб. (Направление хозяйства тоже определяли чекисты.) Нам, горожанам, ещё одно непонятно — что значит исконная жизнь, со скотиной, без скотины не бывает жизни у крестьянина, — и вот на много лет обречены они не слышать ни ржанья, ни мычанья, ни бляения; ни седлать, ни доить, ни кормить.

На реке же Чулым в Сибири спецпосёлок кубанских казаков обтянули колючей проволокой и поставили вышки, как в лагере. (Мы уже писали: это во многих местах так переводили ссыльные посёлки в лагери.)

Кажется, всё было сделано, чтобы ненавистные эти трудяги вымирали поскорей, освободили бы нашу страну и от себя, и от хлеба. И действительно, много таких спецпосёлков вымерло полностью. И теперь на их местах какие-нибудь случайные переходящие люди постепенно дожигают бараки, а ногами отшвыривают черепа.

Никакой Чингиз-хан не уничтожил столько мужика, сколько славные наши Органы, ведомые Партией.

Вот — Васюганская трагедия. В 1930 году десять тысяч семей (значит, пятьдесят — шестьдесят пять тысяч человек, по тогдашним семьям) прошли через Томск, и дальше погнали их зимою пешком: сперва вниз по Томи, потом по Оби, потом вверх по Васюгану — всё ещё зимником. (Жителей попутных сёл выгоняли потом подбирать трупы взрослых и детей.) В верховьях Васюгана и Тары их покинули на релках (твёрдых возвышенностях среди болот). *Им не оставили ни продуктов, ни орудий труда.* Развезло, и дорог ко внешнему миру не стало, только две гати: одна — на Тобольск, одна — к Оби. На обеих гатях стали пулемётные заставы и не выпускали никого из душегубки. Начался мор. Выходили в отчаянии к заставам, молили — тут их растреливали. Опоздняя, по вскрытии рек, из томского Интегралсоюза (промыслово-потребительской кооперации) послали им баржи с мукой и солью, но и те не смогли подняться по Васюгану. (Вёл этот груз уполномоченный Интегралсоюза Станиславов, от него и известно.)

Вымерли — все.

Говорят, было всё-таки расследование по этому делу и даже будто одного человека расстреляли. Сам я не очень этому верю. Но если и так — приемлемая пропорция! знакомая пропорция гражданской войны: за одного нашего — тысячу ваших! За шестьдесят тысяч ваших — одного нашего.

А без этого не построишь Нового Общества.

* * *

И всё-таки — сосланные жили! По их условиям поверить в это нельзя, а — жили.

В посёлке Парча день начинали палками десятники, коми-зыряне. Всю жизнь эти мужики начинали день сами, теперь их палками гнали на лесозаготовку и лесосплав. Месяцами не давая обсушиваться, уменьшая мучную норму, с них требовали выработку, а потом, вечерами, можно было и строиться. Вся одежда износилась на них, и мешки надевали как юбки и перешивали на штаны.

Да если б сплошь они помирали, так не было бы многих сегодняшних городов, хоть и той Игарки. Игарку-то с 1929 года строил и построил — кто? Неужто СевПолярЛесТрест? А не раскулаченные ли мужики? При пятидесяти градусах жили в палатках, — но уже в 1930 дали первый лесной экспорт.

В своих спецпосёлках жили раскулаченные как ээки в режимных лагпунктах. Хоть и не было круговой зоны, но обычно пребывал в посёлке один стрелок, и был он хозяин всех запретов и разрешений, и право имел единолично безоговорочно застреливать всякого непорочного.

А порода крепкая была, кому-то удавалось из тех посёлков бежать. Галина Осиповна Рябоконт из-под Кулянска — вывела из такого посёлка в Вологодской области кучку мужиков (шла впереди, песни пела, якобы ягоды собирали). Приехала в Харьков к двоюродной сестре, прислуге. Хозяева той посветовали крупному начальнику: хотите хорошую няньку? Те оформили ей документы, взяли, очень были довольны, и она жила припеваючи. Но в 1937 арестовали и ту семью, а Галина не удержалась и в хромовых сапожках и в шерстяном платке поехала в свою деревню пофорсить. Её, конечно, арестовали, сослали второй раз. Но она сбежала и второй раз!

Гражданский разряд, в который входили спецпосёлки, их кровная близость к Архипелагу легко проясняется законом сообщающихся сосудов: когда на Воркуте ощущался недостаток рабочей силы, то перебрасывали (не пересуживали! не переименовывали!) спецпереселенцев из их посёлков — в лагерные зоны. И преспокойненько жили они в зонах, ходили работать в зоны же, ели лагерную баланду, только платили за неё (и за охрану и за барак) из своей зарплаты. И никто ничему не удивлялся.

И из посёлка в посёлок, разрываемые с семьёю, пересылались спецмужики как ээки с лагпункта на лагпункт.

В странных иногда шатаниях нашего законодательства, 3 июля 1931 года ЦИК СССР издал постановление, разрешавшее восстанавливать раскулаченных в правах через пять лет, «если они занимались (это в режимном посёлке!) общественно-полезным трудом и проявили лояльность по отношению к советской власти» (ну, помоги стрелку, коменданту или оперу). Однако написано это было вздорно, под минутным веянием. Да и кончались те пять лет как раз в годы, когда Архипелаг стал каменеть.

Шли всё годы такие, что нельзя было ослабить режима: то после убийства Кирова; то тридцать седьмой — тридцать восьмой; то с тридцать девятого началась война в Европе; то с сорок первого у нас. Так надёжней было другое: с тридцать седьмого стали многих всё тех же злосчастных «кулаков» и сыновей их дёргать из спецпосёлков, клетать им 58-ю и совать в лагерь.

Правда, во время войны, когда уж не хватало на фронте буйной русской силушки, прибегли и к кулакам: должна ж была их русская совесть выше стоять, чем кулацкая! Там и здесь предлагали им из режимных спецпосёлков и из лагерей идти на фронт, защищать святое отечество.

И — шли...

Однако — не всегда. Николаю Х-ву, сыну «кулацкому», чью биографию в ранней части я использовал для Тюрина в «Иване Денисовиче», а в поздней выложить тогда не решился, — было в лагере предложено то, в чём отказывали троцкистам и коммунистам, как они ни рвались идти защищать отечество. Х-в нисколько не колебался, он сразу вылепил лагерному УРЧу: «Ваше отечество — вы и защищайте, говноеды! А у пролетариата нет отечества!!»

Как будто точно было по Марксу, и действительно всякий лагерник ещё бедней, ниже и бесправней пролетариата — а вот лагколлегия ничего этого не усвоила и приговорила Х-ва к расстрелу. Недели две посидел он *под вышкой* и о помиловании не подавал, так был на них зол. Но сами принесли ему замену на вторую десятку.

Иногда случалось, что отвозили раскулаченных в гундру или тайгу, выпускали — и забывали там: ведь отвозили их на смерть, зачем учитывать? Не оставляли им и стрелка — по глухости и дальности. И от мудрого руководства наконец отпущенное — без коня и без плуга, без рыбной снасти, без ружья, это трудолюбивое упорное племя, с немногими, может быть, топорами и лопатами, начинало безнадежную борьбу за жизнь в условиях чуть полегче, чем в Каменный век. И наперекор экономическим законам социализма посёлки эти вдруг не только выживали, но крепили и богатели!

В таком посёлке, где-то на Оби, и не рядом, значит, с судоходством, а на боковом оттоке, вырос Буров, мальчиком туда попал. Он рассказывает, что как-то уже перед войной шёл мимо катер, заметил их и призвал. А в катере оказалось районное начальство. Допросило, откуда, кто такие, с какого времени. Изумилось начальство их богатству и доброденствию, какого не знали в своём колхозном краю. Уехали. А через несколько дней приехали уполномоченные со стрелками НКВД и опять, как в год Чумы, велели им в час всё нажитое покинуть, весь тёплый посёлок — и наголё, с узелками, отправили дальше в тундру.

Не довольно ли этого рассказа одного, чтобы понять и суть «кулаков» и суть «раскулачивания»?

Что ж можно было сделать с этим народом, если б дать ему вольно жить, свободно развиваться!!

Староверы! — вечно гонимые, вечные ссыльные, — вот кто на три столетия раньше разгадал заклую суть Начальства! В 1950 году летел самолёт над просторами Подкаменной Тунгуски. А после войны лётная школа сильно усовершеншалась, и доглядел старательный лётчик, что двадцать лет до него не видели: обиталище какое-то неизвестное в тайге. Засёк. Доложил. Глухо было, далеко, но для МВД невозможного нет, и через полгода добрались туда. Оказалось, это — яруевские старообрядцы. Когда началась великая желанная Чума, то бишь коллективизация, они от этого добра ушли глубоко в тайгу, всей деревней. И жили, не высываясь, лишь старосту одного отпускали в Яруево за солью, рыболовной и охотничьей металлической снастью да железками к инструменту, остальное делали сами всё, а вместо денег, должно быть, снаряжался староста шкурками. Управясь с делами, он, как следимый преступник, изникал с базара оглядчиво. И так выиграли яруевские староверы двадцать лет жизни! — двадцать лет свободной человеческой жизни между зверей вместо двадцати лет колхозного уныния. Все они были в домотканой одежде, в самодельных брюках, и выделялись могучностью.

Так вот этих гнусных дезертиров с колхозного фронта всех теперь арестовали и вlepили им статью... ну как бы вы думали, какую?.. Связь с мировой буржуазией? Вредительство? Нет, 58-10, антисоветскую агитацию (!?!?) и 58-11, организацию. (Многие из них попали потом в джезказганскую группу Степлага, откуда и известно.)

А в 1946 году ещё других староверов, из какого-то забытого глухого монастыря выбитых штурмом нашими доблестными войсками (уже с миномётами, уже с опытом Отечественной войны), сплавляли на плотах по Енисею. Неукротимые пленники — те же при Сталине великом, что и при Петре великом! — прыгали с плотов в енисейскую воду, и автоматчики наши достреливали их там.

Воины Советской Армии! — неустанно крепите боевую подготовку.

Нет, не перемерла обречённая порода! И в ссылке опять-таки рождались у них дети — и так же наследственно прикреплялись к тому же спецпосёлку. («Сын за отца не отвечает, помните?») Выходила сторонняя девушка замуж за спецпереселенца — и включалась в то же крепостное сословие, лишалась гражданских прав. Женился ли мужчина на такой — и становился ссыльным сам. Приезжала ли дочь к отцу — вписывали и её в спецпереселенцы, исправляли ошибку, что не попала раньше. Этими всеми добавками пополнялась убыль пересажённых в лагерь.

Очень на виду были спецпереселенцы в Караганде и вокруг. Много их там было. Как предки их к уральским и алтайским заводам, так они — к шахтам карагандинским были прикреплены *навечно*. Мог не стесняться шахтовладелец, сколько их заставлять работать и сколько им платить. Говорят, сильно завидовали они заключённым сельскохозяйственных лагпунктов.

До 50-х годов, а где и до смерти Сталина, не было у спецпереселенцев паспортов. Лишь с войны стали применять к игарским полярный коэффициент зарплат.

Но вот — пережившие двадцатилетие чумной ссылки, освобождённые из-под комендатуры, получившие гордые наши паспорта, — кто ж они и что ж они внутренне и внешне? Ба! — да кондиционные наши граждане! Да точно такие же, как параллельно воспитаны рабочими посёлками, профсоюзными собраниями и службой в советской армии. Они так же вколачивают свою недочерпанную лихость в костяшки домино (не старообрядцы, конечно). Так же согласно кивают каждому промельку на телевизоре. В нужную минуту так же гневно клеймят Южноафриканскую Республику или собирают свои гроши на пользу Кубе.

Так потупимся же перед Великим Мясником, склоним головы и ссутулим плечи перед его интеллектуальной загадкой: значит, прав оказался он, сердцевед, заводя этот страшный кровавый замес и проворачивая его год от году?

Прав — морально: на него нет обид! При нём, говорит народ, было «лучше, чем при Хрущё»: ведь в шуточный день 1 апреля, что ни год, дешевели папиросы на копейку и галантерея на гривенник. До смерти звенели ему похвалы да гимны, и ещё сегодня не позволено нам его обличать: не только цензор любой остановит ваше перо, но любой магазинный стоялец и вагонный сиделец поспешит задержать хулу на ваших губах.

Ведь мы уважаем Больших Злодеев. Мы поклоняемся Большим Убийцам.

И тем более прав — государственно: этой кровью спаял он послушные колхозы. Нужды нет, что через четверть века оскудеет деревня до последнего праха и духовно вырождается народ. Зато будут ракеты летать в космос, и раболепствовать будет перед нашей державой передовой просвещённый Запад.

Глава 3

ССЫЛКА ГУСТЕЕТ

С такой лютостью, в такие дикие места и так откровенно на вымирание, как ссылали мужиков — ни до, ни после никого больше не ссылали. Однако по другой мере и своим порядком наша ссылка густела год от году: ссылали больше, селили гуще, и становились круче ссыльные порядки.

Можно предложить такую грубую периодизацию. В 20-е годы ссылка была как бы предварительным перевалочным состоянием перед лагерем: мало у кого кончалось ссылкой, почти всех перегребали потом в лагерь.

С конца 30-х годов, оттого ли, что ссылка очень многолюдела, — она приобрела вполне самостоятельное значение вполне удовлетворительного вида ограничения и изоляции. И в годы военные и послевоенные всё больше укреплялся её объём и положение наряду с лагерями: она не требовала затрат на постройку бараков и зон, на охрану, она ёмко охватывала большие контингенты, особенно женско-детские. (На всех крупных пересылках отведены были постоянные камеры для ссылаемых женщин с детьми, и они никогда не пустовали⁵⁷.) Ссылка обеспечивала в короткий срок надёжную и безвозвратную очистку любого важного района метрополии. И так ссылка укрепилась, что с 1948 года приобрела ещё новое государственное значение с в а л к и — того резервуара, куда сваливаются отходы Архипелага, чтобы никогда уже не выбраться в метрополию. С весны 1948 спущена была в лагеря такая инструкция: Пятьдесят Восьмую по окончании срока за малыми исключениями освобождать в ссылку. То есть не распускать её легкомысленно по стране, ей не принадлежащей, а каждую особь под конвоем доставлять от лагерной вахты до ссыльной комендатуры, от закола до закола. А так как ссылка охватывала строго-оговоренные районы, то все они вместе составили какую-то ещё отдельную (хоть и впредслойку) страну между СССР и Архипелагом — не чистилище, а скорее грязнище, из которого можно переходить на Архипелаг, но не в метрополию.

1944-45 годы принесли ссылке особенно густое пополнение с оккупированно-освобождённых территорий, 1947—1949 — из западных республик. И всеми потоками вместе, даже без ссылки мужицкой была много раз, и много раз, и много раз превзойдена та цифра в полмиллиона ссыльных, какую сложила за весь XIX век царская Россия, тюрьма народов.

За какие же преступления граждан нашей страны в 30-е — 40-е годы подлежал ссылке или высылке? (Из какого-то административного наслаждения это различие все годы если не соблюдалось, то упоминалось. Гонимому за веру М. И. Бродовскому, удивлявшемуся, как это его сослали без суда, подполковник Иванов разъяснил благородно: «Потому не было суда, что это не ссылка, а высылка. Мы не считаем вас судимым, вот даже не лишаем вас избирательных прав». То есть самого важного элемента гражданской свободы!..)

Наиболее частые преступления указать легко:

1) принадлежность к преступной национальности (об этом — следующая глава);

2) уже отбытый тобою лагерный срок;

3) проживание в преступной среде (крамольный Ленинград; район партизанского движения вроде Западной Украины или Прибалтики).

А затем — многие из тех потоков, перечисленных в самом

⁵⁷ Их мужичины, если и ссылались, с ними не ехали: была инструкция рассылать членов осуждаемых семей в разные места. Так, если кишинёвского адвоката И. Х. Горника за сионизм сослали в Красноярский край, то семью его — в Салехард.

начале книги, отструивались кроме лагерей и на ссылку, постоянно выбрасывали какую-то часть и в ссылку. Кого же? В общем виде, чаще всего — семьи тех, кто осуждался к лагерю. Но далеко не всегда тянули семьи, и далеко не только семьи лились в ссылку. Как объяснение потоков жидкости требует больших гидродинамических знаний, либс уж отчаяться и только наблюдать бессмысленно-ревущую крутящую стихию, так и здесь: нам недоступно изучить и описать все те дифференциальные толчки, которые в разные годы разных людей вдруг направляли не в лагерь, а в ссылку. Мы только наблюдаем, как гёстро смешивались тут переселенцы из Маньчжурии, какие-то иностранноподданные одиночки (которым и в ссылке не разрешал советский закон сочетаться браком ни с кем из окружающих ссыльных, а всё же советских); какие-то кавказцы и среднеазиаты, которым за плен не дали по десять лет лагерей, а всего по шесть лет высылки; и даже такие бывшие пленные, сибиряки, которые возвращаемы были в свой родной район и жили там как вольные, без отметок в комендантуре, однако же не имели права выехать из района.

Нам не проследить разных типов и случаев ссылки, потому что лишь случайными рассказами или письмами направляются наши знания. Не напиши письма А. М. Ар-в, и не было бы читателю вот такого рассказа. В 1943 году в вятское село пришло известие, что их колхозника Кожурина, рядового пехоты, не то послали в штрафную, не то сразу расстреляли. И тотчас к жене его с шестью детьми (старшей — десять лет, младшему — шесть месяцев, а ещё с нею жили две сестры, две старых девы под пятьдесят лет) явились *исполнители* (вы это слово уже понимаете, читатель, это смягчение для слова *палач*). И не дав семье ничего продать (изба, корова, овцы, сено, дрова — всё покинуто на растаск), бросили их девятерых с вещичками малыми в сани — и крепким морозом повезли за шестьдесят километров в город Вятку-Киров. Как они не помёрзли в дороге — только знает Бог. Полтора месяца их держали на Кировской пересылке и потом сослали на гончарный заводик под Ухту. Там сёстры-девы пошли по помойкам, сошли с ума обе и обе умерли. Мать же с детьми осталась в живых лишь помощью (безыдейной, непатриотической, пожалуй даже антисоветской помощью) окружавших местных. Подросшие сыновья все потом служили в армии и, как говорится, были «отличниками боевой и политической подготовки». В 1960 мать вернулась в родное село — и ни брёвнышка, ни печного кирпича не нашла на месте своей избы.

Такой сюжетик — разве плохо вплетается в ожерелье Великой Отечественной Победы? Не берут, *не типичен*.

А в какое ожерелье вплести, а к какому разряду ссылки отнести *ссылку калек Отечественной войны*? Почти ничего не знаем мы о ней (да и мало кто знает). А освежите в памяти: сколько этих калек, и не старых ещё, шевелилось на наших базарах около чайных и в электричках в конце войны? И как-то быстро и незаметно они проредились. Это тоже был поток, тоже кампания. Их сослали на некий остров — за то сослали, что во славу отечества они дали себя обезобразить на войне, и для того сослали, чтобы представить здоровой нацию, так победно себя проявившую во всех видах атлетики и играх с мячом. Там, на неведомом острове, этих неудачливых героев войны содержат естественно без права переписки с большой землёй (редкие письма прорываются, оттуда известно) и естественно же на пайке скудном, ибо трудом своим они не могут оправдать изобильного.

Кажется и сейчас они там доживают.

Великое грязнилище, страна ссылки, между СССР и Архипелагом, включила в себя и большие города, и малые, и посёлки, и вовсе глушь. Старались ссыльные проситься в города, верно считалось, что там нашему брату всё-таки легче, особенно с работой. И как-то больше похоже на обычную жизнь людей.

Едва ли не главной столицей ссыльной стороны, во всяком случае из её жемчужин, была Караганда. Я повидал её перед концом всеобщей ссылки, в 1955 году (ссыльного, меня на короткое время отпустила туда комендатура: я там жениться собирался, на ссыльной же). У въезда в этот голодный тогда город, близ клопяного барака-вокзала, куда не подходили близко трамваи (чтоб не провалиться в накопанные под землёю штреки), стоял при трамвайном круге вполне символический кирпичный дом, стена которого была подперта деревянными искосями, дабы не рухнула. В центре Нового города насычено было камнем по каменной стене: «Уголь — это хлеб» (для промышленности). И правда, чёрный печёный хлеб каждый день продавался здесь в магазинах — и в этом была льготность городской ссылки. И работа чёрная и не только чёрная всегда была здесь. А в остальном продуктовые магазины были очень пустоваты. А базарные прилавки — неприступны, с умопостижимыми ценами. Если не три четверти города, то две трети жило тогда без паспортов и отмечалось в комендатурах; на улице меня то и дело окликали и узнавали бывшие ээки, особенно экибастузские. И что ж была тут за ссыльная жизнь? На работе униженное положение, и принижённая зарплата, ибо не всякий после катастрофы ареста-тюрьмы-лагеря найдёт чем доказать образование, а стаж тем более нет. Или так просто вот, как неграм, не платят вровень с белыми, и всё, можешь не наниматься. И очень худо с квартирами — жили ссыльные в неотгороженных коридорных углах, в тёмных чуланах, в сарайчиках — и за всё это лихо платили, всё это было от частного. Уже молодые женщины, изжёванные лагерем, с металлическими зубами, мечтали иметь хоть одну крепдешиновую «выходную» блузку, одни «выходные» туфли.

А ещё в Караганде велики расстояния, многим долго ехать от квартиры до работы. Трамвай от центра до рабочей окраины скрежетал битый час. В трамвае напротив меня сидела замученная молодая женщина в грязной юбке, в рваных босоножках. Она держала ребёнка в очень грязных пелёнках, всё время засыпала, ребёнок из ослабших рук сползал по коленям на край и почти падал, тут ей кричали: «упустишь!» Она успевала его подхватить, но через несколько минут засыпала опять. Она работала на водокачке в ночной смене, а день проздила по городу, искала обуви — и не нашла нигде.

Вот такая была карагандинская ссылка.

Насколько знаю, гораздо легче было в городе Джамбуле: благодатная южная полоса Казахстана, очень дешевы продукты. Но чем мельче город, тем труднее с работой.

Вот — городок Енисейск. В 1948 везли туда Г. С. Митровича с Красноярской пересылки, и бодро отвечал им конвойный лейтенант: «Работа? Бу-удет». — «А жильё?» — «Бу-удет». Но сдав их комендатуре, конвой ушёл себе належке. А приехавшим пришлось спать — под перевёрнутыми лодками на берегу, под базарными навесами. Хлеба купить они не могли: хлеб продавался только по домовым спискам, а новоприбывшие нигде не прописаны, чтобы где-то жить — надо деньги за квартиру платить. Митрович уже инвалид, просил работу по специальности, он зоотехник. Смекнул комендант-эмвешник и позвонил в райзо: «Слушай, дашь бутылку — дам тебе зоотехника».

Это была та ссылка, где угроза: «за саботаж дадим 58-14, посадим в лагерь назад!» — не пугала никого. О том же Енисейске есть свидетельство 1952 года. В день отметки отчаявшиеся ссыльные стали требовать от коменданта именно арестовать их и отправить обратно в лагерь. Взрослые мужчины, они не могли добыть себе тут хлеба! Комендант разогнал их: «МВД вам не биржа труда!»⁵⁸

⁵⁸ Ведь ему необязательно, а арестантам невозможно знать закона Страны Советов, ну хотя бы Уголовный кодекс, его пункт 35-й: «ссыльные должны быть наделены землёй или им должна быть предоставлена оплачиваемая работа».

А вот ещё глуше — Тасеево Красноярского края, двести пятьдесят километров от Канска. Туда ссылались немцы, чечены, ингуши и бывшие эки. Это место — не новое, не придуманное, поблизости там — деревня Хандалы, где когда-то перековывали кандалы. Но новое там — целый город из землянок, с полом тоже земляным. В 1949 году привезли туда группу *повторников*, к вечеру, сгрузили в школу. Поздно ночью собралась комиссия, принимать рабочую силу: начальник райМВД, от леспромхоза, председатели колхозов. И потянулись перед комиссией — больные, старые, измотанные лагерной десяткой, и всё больше женщины, — вот кого мудрое государство изъяло из опасных городов и кинуло в суровый район осваивать тайгу. От такой «рабочей силы» все стали отказываться, МВД заставило их брать. Самых же забракованных доходяг насовали сользаводу, представитель которого опоздал, не присутствовал. Сользавод — на реке Усолке в селе Троицком (тоже место давне-ссылное, ещё при Алексее Михайловиче загоняли сюда старообрядцев). В середине XX века техника там была такая: гоняли лошадей по кругу и этим накачивали соль на противни, а потом выпаривали её (дрова с лесоповала, на это и кинули старух). Крупный известный кораблестроитель угодил в эту партию, его поставили ближе к специальности: упаковывать соль в ящики.

Попал в Тасеево шестидесятилетний коломенский рабочий Князев. Работать он уже не мог, нищенствовал. Иногда подбирали его люди ночевать, иногда спал он на улице. В инвалидном доме для него места не было, в больнице его долго не задерживали. Как-то зимой он забрался на крыльцо райкома партии, партии рабочих, и там замёрз.

При переезде из лагеря в таёжную ссылку (а переезд такой: мороз двадцать градусов, в открытых кузовах автомашин, худо одетые, как освободились, в кирзовых ботинках последнего срока, конвоиры же в полушубках и валенках) эки даже не могли очнуться: в чём состояло их освобождение? В лагере были топленные бараки, — а здесь землянка лесорубов, с прошлой зимы не топленная. Там рычали бензопилы — зарычат и здесь. И только этой пилой и там и здесь можно было заработать пайку сырого хлеба.

Поэтому новосыльные ошибались, и когда (1953 год) приезжал (Кузеево, Сухобузимского района, Енисей) заместитель директора леспромхоза Лейбович, красивый, чистый, они смотрели на его кожансе пальто, на откормленное белое лицо и, кланяясь, говорили по ошибке:

— Здравствуйте, гражданин начальник!

А тот укоризненно качал головой:

— Нет-нет, какой же может быть «гражданин»! Я для вас теперь товарищ, вы уже не заключённые.

Собирали ссыльных в той единственной землянке, и мрачно освещённый керосиновой коптилкой-мигалкой замдир внушал им, как гвозди вколачивал в гроб:

— Не думайте, что это — жизнь временная. Вам действительно придётся жить здесь вечно. А поэтому поскорей принимайтесь за работу! Есть семья — зовите, нет — женитесь тут друг на друге, не откладывая. Стройтесь. Рожайте детей. На дом и на корову получите ссуду. За работу, за работу, товарищи! Страна ждёт нашего леса!

И уезжал *товарищ* в легковой.

И это тоже было льготно, что разрешали жениться. В убогих колымских посёлках, например под Ягодным, вспоминает Ретц, и женщины были, не выпущенные на материк, а МВД запрещало жениться: ведь семейным придётся давать жильё.

Но и это было послабление, что не разрешали жениться. А в Северном Казахстане в 1950—1952 годах иные комендатуры, напротив, чтобы ссыльного связать, ставили новоприбывшему условие: в две недели женись или сошлём в глубинку, в пустыню.

Любопытно, что во многих ссыльных местах запросто, не в шутку, пользовались лагерным термином «общие работы». Потому что таковы и были они, как в лагере: те неизбежные надрывные работы, губящие жизнь и не дающие пропитания. И если как *вольным* полагалось теперь ссыльным работать меньше часов, то двумя часами пути туда (в шахту или в лес), да двумя назад подтягивался рабочий день к лагерной норме.

Старый рабочий Березовский, в 20-е годы профсоюзный вождь, с 1938 оттянувший десять лет ссылки, а в 1949 получивший десять лет лагерей, при мне умиленно целовал лагерную пайку и говорил радостно, что в лагере он не пропадёт, здесь ему хлеб полагается. В ссылке же и с деньгами в лавку придёшь, видишь буханку на полке, но нахально в лицо тебе говорят: хлеба нет! — и тут же взвешивают хлеб местному. То же и с топливом.

Недалеко от того выражался и старый питерский рабочий Цивилько (всё люди не нежные). Он говорил (1951), что после ссылки чувствует себя в Особом каторжном лагере человеком: отработал двенадцать часов — и иди в зону. А в ссылке любое вольное ничтожество могло поручить ему (он работал бухгалтером) бесплатную сверхурочную работу — и вечером, и в выходной, и любую работу сделать лично для того вольного, — и ссыльный не смеет отказаться, чтоб не выгнали его завтра со службы.

Несладка была жизнь ссыльного, ставшего и ссыльным «придурком». Перевезенный в Кок-Терек Джамбулской области Митрович (тут его жизнь так началась: отвели ему с товарищем ослиный сарай — без окон и полный навоза; отгребли они навоз от стенки, постлали полынь, легли) получил должность зоотехника райсельхозотдела. Он пытался *честно служить* — и сразу же стал противен вольному партийному начальству. Из колхозного стада мелкое районное начальство забирало себе коров-первотёлок, заменяя их тёлками — и требовали от Митровича записывать двухлеток как четырёхлеток. Начав пристальный учёт, обнаружил Митрович целые стада, пасомые и обслуживаемые колхозами, но не принадлежащие им. Оказывается, эти стада *лично* принадлежали первому секретарю райкома, председателю райисполкома, начальнику финотдела и начальнику милиции. (Так ловко вошёл Казахстан в социализм.) «Ты их не записывай!» — велели ему. А он записал. С диковинной в эске-пересыльном жаждой советской законности, он ещё осмелился протестовать, что председатель исполкома забрал себе из колхоза серую смушку, — и был уволен (и это — только начало их войны).

Но и районный центр — ещё совсем не худое место для ссылки. Настоящие тяготы ссылки начинались там, где нет даже вида свободного посёлка, даже края цивилизации.

Тот же А. Цивилько рассказывает о колхозе «Жана Турмыс» («Новая жизнь») в Западно-Казахстанской области, где он был с 1937 года. Ещё до приезда ссыльных политотдел МТС насторожил и воспитал местных: везут троцкистов, контрреволюционеров. Напуганные жители *даже соли не огалживали* новопривывшим, боясь обвинения в связи с врагами народа! В войну ссыльные не имели хлебных карточек. В колхозной кузнице выработал рассказчик за восемь месяцев — пуд проса... Полученное зерно сами растирали жерновами из распиленного казахского памятника-терменя. И шли в НКВД: или сажайте в тюрьму или дайте перевестись в районный центр! (спросят: а как же местные? да в о т т а к... Привыкли... Ну и овечка какая-нибудь, коза, корова, юрта, посуда — всё помогает).

В колхозе ссыльным повсюду так — ни казённого обмундирования, ни лагерной пайки. Это самое страшное место для ссылки — колхоз. Это как бы учебная проверка: где ж тяжелей — в лагере или в колхозе?

Вот продают новичков, среди них С. А. Липшица, на Красноярской пересылке. Покупатели требуют плотников, пересылка отвечает: возьмите ещё юриста и инженера-электрика (Липшиц), тогда и плотника дадим. Ещё дают в нагрузку пожилых больных женщин. Потом при мягком двадцатипятиградусном морозе открытыми грузовиками их везут в глубинную-глубинную деревню, всего о трёх десятках дворов. Что же делать юристу и что электрику (тока никакого)? Получать пока аванс: мешок картошки, лук и муку (а это хороший аванс!). А деньги будут в следующем году, если заработаете. Работа пока такая — добывать коноплю, заваленную снегом. Для начала нет даже мешка под матрас: соломой набить. Первый же порыв: отпустите из колхоза! Нет, нельзя: за каждую голову заплатил колхоз Тюремному Управлению по сто двадцать рублей (1952 год).

О, как бы снова вернуться в лагерь!..

Но прошибётся читатель, если решит, что ссыльным намного лучше в совхозе, чем в колхозе. Вот совхоз в Сухобузимском районе, село Миндерла. Стоят бараки, правда — без зоны, как бы лагерь бесконвойных. Только пишутся цифирки: девять рублей (сталинских) в день человеку. И ещё пишется: сколько съедено тем человеком каши, сколько вычитается за телогрейку, за жильё. Всё вычитается, вычитается, и вот диво: выходит к расчёту, что ничего ссыльный не заработал, а ещё совхозу должен. В этом совхозе, вспоминает А. Стотик, двое от безвыходности повесились.

(Сам этот Стотик, фантазёр, несколько не усвоил свой злосчастный опыт изучения английского языка в Степлаг⁵⁹. Оглядевшись в такой ссылке, он придумал осуществить конституционное право гражданина СССР на... образование! И подал заявление с просьбой отпустить его в Красноярск учиться! На этом наглom заявлении, которого, может быть, не знавала вся страна ссылки, директор совхоза (бывший секретарь райкома) вывел резолюцию не просто отрицательную, но декларативную: «Никто и никогда не разрешит Стотику учиться». — Однако подвернулся случай: Красноярская пересылка набирала по районам плотников из ссыльных. Стотик, никакой не плотник, вызвался, поехал, в Красноярске жил в общежитии среди пьяниц и воров и там стал готовиться к конкурсным экзаменам в Медицинский институт. Он прошёл их с высоким баллом. До мандатной комиссии никто в его документах не разобрался. На мандатной: «Был на фронте... Потом вернулся...» — и пересохло горло. «А дальше?» — «А потом... меня... посадили...» — выговорил Стотик, — и огрознула комиссия. «Но я отбыл срок! Я вышел! У меня высокий балл!» — настаивал Стотик. Тщетно. А был уже — год падения Берии!)

И чем глубже — тем хуже, чем глуше — тем бесправнее. А. Ф. Макеев в упомянутых записках о Кенгире приводит рассказ «тургайского раба» Александра Владимировича Полякова о его ссылке между двумя лагерями в Тургайскую пустыню, на далёкий отгон. Вся власть была там — председатель колхоза, казах, и даже от отеческой комендантуры никто никогда не заглядывал. Жилище Полякова стало — в одном сарайчике с овцами, на соломенной подстилке; обязанности — быть рабом четырёх жен председателя, управляться с каждой по хозяйству и до выноса ночных горшков за каждой. И что ж было Полякову делать? Выехать с отгона, чтобы пожаловаться? Не только не на чем, но это бы значило — побег и двадцать лет каторги. Никого же русского на том отгоне не было. И прошло несколько месяцев, прежде чем приехал русский фининспектор. Он изумился рассказу Полякова и взялся передать его письменную жалобу в район. За ту жалобу как за гнусную клевету на советскую власть Поляков получил новый лагерный срок и в 50-е годы счастливо отбывал его в Кенгире. Ему казалось, что он почти освободился...

⁵⁹ Часть пятая, глава 5.

И мы ещё не уверены, был ли «тургайский раб» самым обездоленным из всех ссыльных.

Сказать, что ссылка имеет перед лагерем преимущество устойчивости жизни, как бы домашности (худо ли, хорошо ли, вот живёшь здесь — и будешь жить, и никаких этапов), — тоже без оговорок нельзя. Этап не этап, но необъяснимая неумолимая комендантская переброска, внезапное закрытие пункта ссылки или целого района всегда может разразиться; вспоминают такие случаи в разные годы в разных местах. Особенно в военное время — бдительность! — всем сосланным в Тайпакский район собраться за двенадцать часов! — и айда в Джембетинский! И весь твой жалкий быт и жалкий скарбик, а такой нужный, и кров протекающий, а уже и подчиненный, — всё бросай! всё кидай! шагом марш, босота лихая! Не померёшь — наживёшь!..

Вообще, при кажущейся распущенности жизни (не ходят строем, а все в разные стороны, не строятся на развод, не снимают шапок, не запираются на ночь наружными замками), ссылка имеет свой режим. Где мягче, где суровее, но ощутителен он был везде до 1953 года, когда начались всеобщие смягчения.

Например, во многих местах ссыльные не имели права подавать в советские учреждения никаких жалоб по гражданским вопросам — иначе как через комендатуру, и только та решала, стоит ли этой жалобе давать ход или пригасить на месте.

По любому вызову комендантского офицера ссыльный должен был покинуть любую работу, любое занятие — и явиться. Знающие советскую жизнь поймут, мог ли ссыльный не выполнить какой-нибудь личной (корыстной) просьбы комендантского офицера.

Комендантские офицеры в своём положении и правах вряд ли уж так уступали лагерным. Напротив, у них было меньше беспокойств: ни зоны, ни караулов, ни ловли беглецов, ни вывода на работу, ни кормления и одевания этой толпы. Достаточно было дважды в месяц проводить отметки и иногда на провинившихся заводить бумаги в согласии с Законом. Это были властительные, ленивые, развевшиеся (младший лейтенант комендатуры получал две тысячи рублей в месяц), а потому в большинстве своём злые существа.

Побегов в их подлинном смысле мало известно из советской ссылки: невелик был тот выигрыш в гражданской свободе, который достался бы удачливому беглецу: ведь почти на тех же правах жили тут вокруг него, в ссылке, местные вольные. Это не царские были времена, когда побег из ссылки легко переходил в эмиграцию. А кара за побег была ощутительная. Судило за побег ОСО. До 1937 оно давало свою максимальную цифру пять лет лагерей, после тридцать седьмого — десять. А после войны, публично нигде не напечатанный, всем стал известен и неуклонно применялся новый закон: за побег из места ссылки — *двадцать лет каторги!* Несоразмерно жестоко.

Комендатура на местах вводила собственные истолкования, что считать и что не считать побегом, где именно та запретная черта, которую ссыльный не смеет переступить, и может ли он отлучиться по дрова или по грибы. Например, в Хакасии, в рудничном посёлке Орджоникидзеvский было такое установление: отлучка наверх (в горы) — всего лишь нарушение режима и пять лет лагерей; отлучка вниз (к железной дороге) — побег и двадцать лет каторги. И до того внедрилась там непростительная эта мягкость, что когда группа ссыльных армян, доведённая до отчаяния самоуправством рудничного начальства, пошла на него жаловаться в райцентр, — а разрешения комендатуры на такую отлучку, естественно, не имела, — то получили они все за этот побег лишь по шесть лет.

Вот такие отлучки по недоразумению чаще всего и квалифицировались как побег. Да простодушные решения старых людей, не могущих взять в толк и усвоить нашу людоедскую систему.

Одна гречанка, уже древней восьмидесяти лет, была в конце вой-

ны сослана из Симферополя на Урал. Когда война кончилась и в Симферополь вернулся сын, она естественно поехала к нему и тайно жила у него. В 1949, уже восьмидесяти семи лет отроду, она была схвачена, осуждена на двадцать лет каторжных работ ($87+20=?$) и этапирована в Озёрлаг.— Другую старую тоже гречанку знали в Джамбулской области. Когда с Кубани ссылали греков, её взяли вместе с двумя взрослыми дочерьми, третья же дочь, замужем за русским, осталась на Кубани. Пожила-пожила старуха в ссылке и решила к той дочери поехать умирать. «Побег», каторга, двадцать лет! — В Кок-Тереке был у нас физиолог Алексей Иванович Богословский. К нему применили «аденауровскую» амнистию 1955 года, но не полностью: оставили за ним ссылку, а её быть не должно. Стал он слать жалобы и заявления, но всё это — долго, а тем временем в Перми слепла у него мать, которая не видела его уже четырнадцать лет, от войны и плена, и мечтала последними глазами увидеть. И, рискуя каторгой, Богословский решил за неделю съездить к ней и назад. Он придумал себе командировку на животноводческие отгоны в пустыню, сам же сел на поезд в Новосибирск. В районе не заметили его отлучки, но в Новосибирске бдительный таксист донёс на него оперативникам, те подошли проверить документы, их не было, пришлось открыться. Вернули его в нашу же кок-терекскую глинобитную тюрьму, начали следствие,— вдруг пришло разъяснение, что он не подлежит ссылке. Едва выпущенный, он уехал к матери. Но опоздал.

Мы сильно обеднили бы картину советской ссылки, если бы не напомнили, что в каждом ссыльном районе бдил неусыпный оперчек-стдел, тягал ссыльных на *собеседования*, вёл вербовку, собирал доносы и использовал их для намота новых сроков. Ведь приходила же когда-то пора ссыльной человеческой единице сменить однообразную ссыльную неподвижность на добрую лагерную скученность. *Вторая протяжка* — новое следствие и новый срок, были естественным окончанием ссылки для многих.

Надо было Петру Вискне в 1922 дезертировать из реакционной буржуазной латвийской армии, бежать в свободный Советский Союз, тут в 1934 за переписку с оставшейся латышской роднёй (родня в Латвии не пострадала нисколько) быть сосланным в Казахстан, не упасть духом, неутомимым ссыльным машинистом депо Аягуза выйти в стахановцы, чтобы 3 декабря 1937 повесили в депо плакат: «Берите пример с т. Вискне!», а 4 декабря товарища Вискне посадили на вторую протяжку, вернуться с которой ему уже не было суждено.

Вторые посладки в ссылке, как и в лагерях, шли постоянно, чтоб доказать наверх неусыпность оперчекистов. Как и везде, применялись *усиленные методы*, помогающие арестанту быстрее понять свой рок и верней ему подчиниться (Цивилько в Уральске в 1937 году — 32 суток карцера и выбили шесть зубов). Но наступали и особые периоды, как в 1948 году, когда по всей ссылке закидывался густой бредень и вылавливали для лагеря или всех дочиста, как на Воркуте («Воркута становится производственным центром, товарищ Сталин дал указание очистить её»), или всех мужчин, как в иных местах.

Но и для тех, кто на вторую протяжку не попадал, туманен был этот «конец ссылки». Так на Колыме, где и «освобождение» из лагеря всё состояло лишь в переходе от лагерной вахты до спецкомендатуры,— конца ссылки, собственно, не бывало, потому что не было выезда с Колымы. А кому и удалось оттуда вырваться «на материк» в краткие периоды разрешения, ещё не раз, наверно, похулили свою судьбу: все они получили на материке вторые лагерные сроки.

Тень оперчекотдела постоянно затмевала и без того не беззаботное небо ссылки. Под оком оперативника, на стукаческом простуке, постоянно в надрывной работе, в выколачивании хлеба для детишек — ссыльные жили трусливо и замкнуто, очень разъединённо. Не было тюремно-лагерных долгих бесед, не было исповедей о пережитом.

Поэтому трудно собирать рассказы о ссыльной жизни.

И фотографий почти не оставила наша ссылка: если были фотографии, то снимали только на документы — для *кагров* и спецчастей. Группе ссыльных — да вместе сфотографироваться, это — что? это как? Это — сразу донос в ГБ: вот, мол, наша подпольная антисоветская организация. По снимку всех и *возьмут*.

А то однажды скромно снялись (и даже появилось в западном издании⁶⁰): сжатые, в советском отрепьи, поблекшие, приунылые, а когда-то неукротимые — знаменитые Мария Спиридонова, Измайлович, Майоров, Каховская, — да где же их прежняя неукротимость? Да почему ж они не мчатся конспиративно в столицу? не стреляют в угнетателей народа? не бросают бомб?..

Не оставила наша ссылка фотографий — тех, знаете, групповых и довольно весёлых: третий слева Ульянов, справа второй Кржижановский. Все сыты, все одеты чисто, не знают труда и нужды, если борода, то холена, если шапка — то доброго меха.

Очень тогда были, дети, мрачные времена...

Глава 4

ССЫЛКА НАРОДОВ

Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не удержала ни от XIX, ни от XVIII, ни от XVII века массовой насильственной пересылки народов. Были колониальные покорения — на океанских островах, в Африке, в Азии, в Туркестане, победители приобретали власть над коренным населением, но как-то не приходило в неразвитые головы колонизаторов разлучить это население с его исконной землёю, с его прадедовскими домами. Может быть только вывоз негров для американских плантаций даёт нам некоторое подобие и предшествоие, но там не было зрелой государственной системы: там лишь были отдельные христиане-работорговцы, в чьей груди взрела огнём внезапно обнажившаяся выгода, и они ринулись каждый для себя вылавливать, обманывать и покупать негров по одиночке и по десяткам.

Нужно было наступить надежде цивилизованного человечества — XX веку, и нужно было на основе Единственно Верного Учения высочайше развиться Национальному вопросу, чтобы высший в этом вопросе специалист взял патент на поголовное искоренение народов путём их высылки в сорок восемь, в двадцать четыре и даже в полтора часа.

Конечно, это не так сразу прояснилось и ему Самому. Один раз он неосторожно высказался даже: «Не бывало и не может быть случая, чтобы кто-либо мог стать в СССР объектом преследования из-за его национального происхождения»⁶¹. В 20-е годы все эти национальные языки поощрялись, Крыму так и долдонили, что он — татарский, татарский, и даже был арабский алфавит, и надписи все по-татарски.

А оказалось — ошибка...

Даже прогрессовав великую мужицкую ссылку, не сразу мог понять Великий Рулевой, как это удобно перенесётся на нации. Но всё же опыт державного брата Гитлера по выкорчёвыванию евреев и цыган уже был поздний, уже после начала второй мировой войны, а Сталин-батюшка задумался над этой проблемой раньше.

Кроме только Мужичьей Чумы и до самой высылки народов наша советская ссылка, хотя и ворочала кое-какими сотнями тысяч, но не шла в сравнение с лагерями, не была столь славна и обильна, чтобы пробородился в ней ход Истории. Были *ссылочно-поселенцы* (по

⁶⁰ I. Steinberg. Spiridonova. Methuen & Coltd. London. 1935.

⁶¹ И. Сталин. Сочинения. М. 1951, т. 13, стр. 258.

суду), были *административно-ссылные* (без суда), но и те и другие — всё счётные единицы, со своими фамилиями, годами рождения, статьями обвинения, фотокарточками анфас и в профиль, и только мудро-терпеливые, нисколько не брезгливые Органы умели из песчинок свить верёвку, из этих разваленных семей — монолиты ссыльных районов.

Но насколько же возвысилось и ускорилося дело ссылки, когда погнали на высылку *спецпереселенцев!* Два первых термина были от царя, этот — советский кровный. Разве не с этой приставочки *спец* начинаются наши излюбленные сокровеннейшие слова (спецотдел, спецзадание, спецсвязь, спецпаёк, спецсанаторий)? В год Великого Перелома обозначили спецпереселенцами «раскулаченных» — и это куда верней, гибче получилось, без повода обжаловать, потому что «раскулачивали» не одних кулаков, а уж «спецпереселенец» — не выкусишь.

И вот указал Великий Отец применять это слово к ссылаемым нациям.

Не сразу далось и Ему открытие. Первый опыт был весьма остро-рожен: в 1937 году сколько-то десятков тысяч подозрительных этих корейцев — какое доверие этим черномазым косоглазым перед Халхин-Голом, перед лицом японского империализма? — были тихо и быстро, от трясущихся стариков до блеющих младенцев, с долей нищенского скарба переброшены с Дальнего Востока в Казахстан. Так быстро, что первую зиму прожили они в саманных домах без окон (где же стёкол набраться!). И так тихо, что никто, кроме смежных казахов, о том переселении не узнал, и ни один суший язык в стране о том не пролетел, и ни один заграничный корреспондент не пикнул. (Вот для чего вся печать должна быть в руках пролетариата.)

Понравилось. Запомнилось. И в 1940 году тот же способ применили в окрестностях колыбельного града Ленинграда. Но не ночью и не под перевешенными штыками брали ссылаемых, а называлось это — «торжественные проводы» в Карело-Финскую (только что завоёванную) республику. В зените дня, под трепетанье красных флагов и под медь оркестров, отправляли осваивать новые родные земли приленинградских финнов и эстонцев. Отвезя же их несколько поглуше (о судьбе партии в шестьсот человек рассказывает В. А. М.), отобрали у всех паспорта, оцепили конвоем и повезли дальше телячьим красным эшелном, потом баржей. С пристани назначения в глубине Карелии стали их рассылать «на укрепление колхозов». И торжественно провоженные и вполне свободные граждане — подчинились. И только двадцать шесть бунтарей, среди них рассказчик, ехать отказались, больше того — не сдали паспортов! «*Будут жертвы!*» — предупредил их приехавший представитель советской власти — Совнарком Карело-Финской ССР. «Из пулемёта будете стрелять?» — крикнули ему. Вот неразумцы, зачем же из пулемётов? Ведь сидели они в оцеплении, кучкой, и тут единственного ствола было бы достаточно (и никто б об этих *двадцати шести* финнах поэм не сложил). Но странная мягкотелость, нерасторопность или нераспорядительность помешала этой благорассудной мере. Пытались их разделить, вызывали к оперу по одному, — все двадцать шесть вместе ходили по вызову. И упорная бессмысленная их отвага взяла верх! — паспорта им оставили и оцепление сняли. Так они удержались пасть до колхозников или до ссыльных. Но случай — исключительный, а масса-то паспорта сдала.

Всё это были пробы. Лишь в июле 1941 года пришла пора испытать метод в развороте: надо было автономную и, конечно, изменническую республику Немцев Поволжья (с её столицами Энгельс и Маркштадт) выскребнуть и вышвырнуть в несколько суток куда-нибудь подалее на восток. Здесь первый раз был применён в чистоте динамичный метод ссылки целых народов, и насколько же легче, и насколько же плодотворней оказалось пользоваться единым ключом — пунктом о национальности — вместо всех этих следственных дел и именных

постановлений на каждого. И кого прихватывали из немцев в других частях России (а подбирали их всех), то не надо было местному НКВД высшего образования, чтоб разобраться: враг или не враг? Раз фамилия немецкая — значит, хватать.

Система была опробована, отлажена и отныне будет с неумолимостью цапать всякую указанную назначенную обречённую предательскую нацию, и каждый раз всё проворнее: чеченов, ингушей, карачаевцев; балкар; калмыков; курдов; крымских татар; наконец, кавказских греков. Система тем особенно динамичная, что объявляется наскоро решение Отца Народов не в форме болтливой судебного процесса, а в форме боевой операции современной мотопехоты: вооружённые дивизии входят ночью в расположение обречённого народа и занимают ключевые позиции. Преступная нация просыпается и видит кольцо пулемётов и автоматов вокруг каждого селения. И даётся двенадцать часов (но это слишком много, простаивают колёса мотопехоты, и в Крыму уже — только два и даже полтора часа), чтобы каждый взял то, что способен унести в руках. И тут же сажается каждый, как арестант, ноги поджав, в кузов грузовика (старухи, матери с грудными — садись, команда была!) — и грузовики под охраной идут на станцию железной дороги. А там телячьи эшелоны до места. А там, может быть, ещё (по реке Унже крымские татары, как раз для них эти северные болота) сами, как бурлаки, потянут бечевую плоты против течения на сто пятьдесят — двести километров в дикий лес (выше Кологрива), а на плотках будут лежать недвижные седобородые старики.

Наверно, с воздуха, с высоких гор это выглядело величественно: жажужжал моторами единовременно весь Крымский (только что освобождённый, апрель 1944) полуостров, и сотни змей-автоколонн поползли, поползли по его прямым и крученым дорогам. Как раз доцветали деревья. Татарки тащили из теплиц на огороды рассаду сладкого лука. Начиналась посадка табака. (И на том кончилась. И на много лет потом исчез табак из Крыма.) Автоколонны не подходили к самым селениям, они были на узких дорогах, аулы же оцеплялись спецотрядами. Было велено давать на сборы полтора часа, но инструктора сокращали и до сорока минут — чтобы справиться пободрей, не опоздать к пункту сбора, и чтобы в самом ауле богаче было разбросано для остающейся от спецотряда зондер-команды. Заядлые аулы, вроде Озенбаша близ Бюик-озера, приходилось начисто сжигать. Автоколонны везли татар на станции, а уж там, в эшелонах, ждали ещё и сутками, стонали, пели жалостные песни прощания⁶².

Стройная однообразность! — вот преимущество ссылать сразу нациями. Никаких частных случаев! Никаких исключений, личных протестов! Все едут покорно, потому что: и ты, и он, и я. Едут не только все возрасты и оба пола: едут и те, кто во чреве, — и они уже сосланы тем же Указом. Едут и те, кто ещё не зачат: ибо суждено им быть зачатыми под дланью того же Указа, и от самого дня рождения, вопреки устаревшей надоевшей статье 35-й УК («ссылка не может применяться к лицам моложе 16 лет»), едва только высунув голову на свет, — они уже будут спецпереселенцы, уже будут сосланы навечно. А совершеннолетие их, шестнадцатилетний возраст, только тем будет ознаменован, что они начнут ходить отмечаться в комендатуру.

И то, что осталось за спиною, — распахнутые, ещё не остывшие дома, и разворошенное имущество, весь быт, налаженный в десять и в двадцать поколений, — тоже единообразно достаётся оперативникам карающих органов, а что — государству, а что — соседям из более счастливых наций, и никто не напишет жалобы о корове, о мебели, о посуде.

⁶² В 60-х годах XIX века помещики и администрация Таврической губернии ходатайствовали о полном выселении крымских татар в Турцию; Александр II отказал. В 1943 о том же ходатайствовал гауляйтер Крыма; Гитлер отказал.

И тем последним ещё довышено и дотянуто единообразие, что не падит секретный Указ ни даже членов коммунистической партии из рядов этих негодных наций. Значит, и партбилетов проверять не надо, ещё одно облегчение. А коммунистов в новой ссылке обязать тянуть в два плеча — и всем кругом будет хорошо ⁶³.

Трещину в единообразии давали только смешанные браки (недавно наше социалистическое государство всегда против них). При ссылке немцев и потом греков таких супругов не высылали. Но очень это вносило большую путаницу и оставляло в местах, как будто очищенных, очаги заразы. (Как те старые гречанки, которые возвращались к детям умирать.)

Куда же ссылали нации? Охотно и много — в Казахстан, и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики, так что с успехом её можно было теперь называть Казэкстан. Но не обделены были и Средняя Азия, и Сибирь (множество калмыков вымерло на Енисее), Северный Урал и Север Европейской части.

Считать или не считать ссылкой народов высылку прибалтийцев? Формальным условиям она не удовлетворяет: ссылали не всех подчистую, народы как будто остались на месте (слишком близко к Европе, а то ведь как хотелось!). Как будто остались, но прорежены, по первому разряду.

Их чистить начали рано: ещё в 1940 году, сразу, как только вошли туда наши войска, и ещё прежде, чем обрадованные народы единодушно проголосовали за вступление в Советский Союз. Изъятие началось с офицеров. Надо представить себе, чем было для этих молодых государств их первое (и последнее) поколение собственных офицеров: это была сама серьёзность, ответственность и энергия нации. Ещё гимназистами в снегах под Нарвой они учились, как неокрепшей своей грудью отстоять неокрепшую родину. Теперь этот сгущённый опыт и энергию срезали одним взмахом косы, это было важнейшим приговлением к плебисциту. Да это испытанный был рецепт: разве не то же делалось когда-то и в коренном Союзе? Тихо и поспешно уничтожить тех, кто может возглавить сопротивление, ещё тех, кто может возбуждать мыслями, речами, книгами, — и как будто народ весь на месте, а уже и нет народа. Мёртвый зуб снаружи первое время вполне похож на живой.

Но в 1940 году для Прибалтики это не ссылка была, это были лагерь, а для кого-то — расстрелы в каменных тюремных дворах. И в 1941, отступая, хватали, сколько могли, людей состоятельных, значительных, заметных, увозили, угоняли их с собой как дорогие трофеи, а потом сбрасывали как навоз на коченелую землю Архипелага (брали непременно ночами, сто килограммов багажа на всю семью, и глав семей уже при посадке отделяли для тюрьмы и уничтожения). Всю войну затем (по ленинградскому радио) угрожали Прибалтике беспощадностью и мезтью. В 1944, вернувшись, угрозы исполнили, сажали обильно и густо. Но и это ещё не была массовая народная ссылка.

Главная ссылка прибалтийцев разразилась в 1948 году (непокорные литовцы), в 1949 (все три нации) и в 1951 (ещё раз литовцы). В эти же совпадающие годы скребли и Западную Украину, и последняя ссылка произошла там тоже в 1951 году.

Кого-то готовился Генералиссимус сослать в 1953 году? Евреев ли? Кроме них кого? Этого замысла мы никогда не узнаем. Я подозреваю,

⁶³ Конечно, всех изворотов не предусмотреть и Мудрому Кормчому. В 1929 изгоняли из Крыма татарских князей и высоких особ. Это делали мягче, чем с русскими дворянами; их не арестовывали, они сами уезжали в Среднюю Азию. Здесь среди родственного мусульманского населения они постепенно прижились, благоустроились. И вот через пятнадцать лет туда же привезли под гребёнку всех трудящихся татар! Старые знакомые встретились. Только трудящиеся были изменниками и ссыльными, а бывшие князья занимали прочные посты в советском аппарате, многие — в партии.

например, что была у Сталина неутолённая жажда сослать всю Финляндию куда-нибудь в прикитайские пустыни,— но не удалось это ему ни в 1940, ни в 1947 (попытка переворота Лейно). Приискал бы он местечко за Уралом хоть и сербам, хоть и пелопоннесским грекам.

Если бы этот Четвёртый Столп Передового Учения продержался бы ещё лет десять,— не узнали бы мы этнической карты Евразии, произошло бы великое Противопереселение народов.

Сколько сослано было наций, столько и эпосов напишут когда-нибудь — о разлуке с родной землей и о сибирском уничтожении. Им самим только и прочувствовать всё прожитое, а не нам пересказывать, не нам дорогу перебегать.

Но чтобы признал читатель, что та же это страна ссылки, уже наведенная ему, то же грязнилице при том же Архипелаге — проследим немного за высылкою прибалтов.

Высылка прибалтов происходила не только не насилем над верховной народной волей, но исключительно в выполнение её. В каждой из трёх республик состоялось свободное постановление своего Совета Министров (в Эстонии — 25 ноября 1948 года) о высылке определённых разрядов своих соотечественников в чужую дальнюю Сибирь — и притом наве ч н о, чтоб в родную землю они никогда более не вернулись. (Здесь отчётливо видна и независимость прибалтийских правительств и та крайность раздражения, до которого их довели негодные никчемные соотечественники.) Разряды эти были вот какие: а) семьи уже осуждённых (мало было, что отцы доходят в лагерях, надо было всё семя их вытравить); б) зажиточные крестьяне (это очень ускоряло уже назревшую в Прибалтике коллективизацию) и все члены их семей (рижских студентов брали в ту же ночь, когда и их родителей с хутора); в) люди заметные и важные сами по себе, но как-то проскочившие гребешки 1940, сорок первого и сорок четвертого годов; г) просто враждебно настроенные, не успевшие бежать в Скандинавию или лично неприятные местным активистам семьи.

Постановление это, чтобы не нанести ущерба достоинству нашей общей большой Родины и не доставить радости западным врагам, не было опубликовано в газетах, не было оглашено в республиках, да и самим ссылаемым не объявлялось при высылке, а лишь по прибытии на место, в сибирских комендатурах.

Организация высылки настолько поднялась за минувшие годы от времён корейских и даже крымско-татарских, ценный опыт настолько был обобщён и усвоен, что счёт не шёл уже ни на сутки, ни на часы, а всего на минуты. Установлено и проверено было, что вполне достаточно двадцати — тридцати минут от первого ночного стука в дверь до переступа последнего хозяйкиного каблука через родной порог — в ночную тьму и на грузовик. За эти минуты разбуженная семья успевала одеться, усвоить, что она ссылается навечно, подписать бумажку об отказе от всяких имущественных претензий, собрать своих старух и детей, собрать узелки и по команде выйти. (Никакого беспорядка с оставшимся имуществом не было. После ухода конвоя приходили представители финотдела и составляли конфискационный список, по которому имущество потом продавалось в пользу государства через комиссионные магазины. Мы не имеем основания их упрекнуть, что при этом они совали что-то себе за пазуху или грузили «по левой». Это не очень было и нужно, достаточно было ещё одну квитанцию выписать из комиссионного, и любой представитель народной власти мог везти приобретенную за бесценок вещь к себе домой вполне законно.)

Что можно было за эти двадцать — тридцать минут сообразить? Как определить и выбрать самое нужное? Лейтенант, ссылавший одну семью (бабушку семидесяти пяти лет, мать пятидесяти, дочь восемнадцати и сына двадцати), посоветовал: «швейную машину обязательно

возьмите!» Пойди догадайся! Этой швейной машиной только и кормилась потом семья⁶⁴.

Впрочем, эта быстрота ссылки иногда шла на пользу и обречённым. Вихрь! — пронёсся и нет его. От самого лучшего венника остаются же промётинны. Кто из семьи сумел продержаться трое суток, в ту ночь дома не ночевал, — приходил теперь в финотдел, просил распечатать квартиру, и что ж? — распечатывали. Чёрт с тобой, живи до следующего Указа.

В тех малых телячьих товарных вагонах, в которых полагается перевозить восемь лошадей или тридцать два солдата или сорок заключённых, ссылаемых таллинцев везли по пятьдесят и больше. По спеху вагонов не оборудовали, и не сразу разрешили прорубить дыру. Параша — старое ведро, тотчас была переполнена, изливалась и заплескивала вещи. Двunoгих млекопитающих, с первой минуты их заставили забыть, что женщины и мужчины — разное суть. Полтора дня они были заперты без воды и без еды, умер ребёнок. (А ведь всё это мы уже читали недавно, правда? Две главы назад, двадцать лет назад, — а всё то же...) Долго стояли на станции Юлемисте, а снаружи бежали и стучали в вагоны, спрашивали имена, тщетно пытались передать кому-то продукты и вещи. Но тех отгоняли. А запертые голодали. А неодетых ждала Сибирь.

В пути стали выдавать им хлеб, на некоторых станциях — супы. Путь у всех эшелонов был дальний: в Новосибирскую, Иркутскую область, в Красноярский край. В один Барабинск прибыло пятьдесят два вагона эстонцев. Четырнадцать суток ехали до Ачинска.

Что поддерживать может людей в этом отчаянном пути? Та надежда, которую приносит не вера, а ненависть: «Скоро им конец! В этом году будет война, и осенью обратно поедем».

Никому благополучному ни в западном, ни в восточном мире не понять, не разделить, может быть и не простить этого тогдашнего настроения за решётками. Я писал уже, что и мы так верили, и мы так жаждали в те годы — сорок девятом, в пятидесятом. В те годы всхлестнулась несправедность этого строя, этих двадцатипятилетних сроков, этих повторных возвратов на Архипелаг — до некоей высшей взрывной точки, уже до явности нетерпимой, уже охранниками незащитимой. (Да скажем общо: если режим безнравственен — свободен поданный от всяких обязательств перед ним.) Какую же искалеченную жизнь надо устроить, чтобы тысячи тысяч в камерах, в «воронках» и в вагонах взмолились об истребительной атомной войне как о единственном выходе?!..

А не плакал — никто. Ненависть сушит слёзы.

Ещё вот о чём думали в дороге эстонцы: как встретит их сибирский народ? В сороковом году сибиряки обдирали присланных прибалтов, выжимали с них вещи, за шубу давали полведра картошки. (Да ведь по тогдашней нашей раздетости прибалты действительно выглядели буржуями...)

Сейчас, в сорок девятом, наговорено было в Сибири, что везут к ним отъявленное кулачество. Но замученным и ободраным вываливали это кулачество из вагонов. На санитарном осмотре русские сёстры удивлялись, как эти женщины худы и обтрёпанны, и тряпки чистой нет у них для ребёнка. Приехавших разослали по обезлюдевшим колхозам, — и там, от начальства таясь, носили им сибирские колхозницы, чем были богаты: кто по пол-литра молочка, кто лепёшек свекольных или из очень дурной муки.

И вот теперь — эстонки плакали.

Но ещё был, разумеется, комсомольский актив. Эти так и приняли к сердцу, что вот приехало фашистское отребье («вас всех пото-

⁶⁴ Эти конвоиры — как и что понимали в своих действиях? Марию Сумберг ссылал сибирский солдат с реки Чулым. Вскоре он демобилизовался, приехал домой — и там увидел её и осклабился вполне радостно и душевно: «Тётя! Вы — меня помните?..»

пить!» — восклицали они), и ещё работать не хотят, неблагодарные, для той страны, которая освободила их от буржуазного рабства. Эти комсомольцы стали надзирателями над ссыльными, над их работой. И ещё были предупреждены: по первому выстрелу организовывать облаву.

На станции Ачинск произошла весёлая путаница: начальство Бирилюсского района купило у конвоя десять вагонов ссыльных, полтысячи человек, для своих колхозов на реке Чулым и проворно перекинуло их на сто пятьдесят километров к северу от Ачинска. А назначены они были (но не знали, конечно, об этом) Саралинскому рудоправлению в Хакасию. Те ждали свой *контингент*, а контингент был вытрясен в колхозы, получившие в прошлом году по двести граммов зерна на трудодень. К этой весне не оставалось у них ни хлеба, ни картошки, и стоял над сёлами вой от мычащих коров, коровы как дикие кидались на полусгнившую солому. И так, совсем не по злобности и не по зажиму ссыльных, выдал колхоз новоприбывшим по одному килограмму муки на человека в неделю — это был вполне достойный аванс, почти равный всему будущему заработку! Ахнули эстонцы после своей Эстонии... (Правда, в посёлке Полевой близ них стояли большие амбары, полные зерна: оно накоплялось там год за годом из-за того, что не управлялись вывозить. Но тот хлеб был уже государственный, он уже за колхозом не числился. Мёр народ кругом, но хлеба из тех амбаров ему не выдавали: он был государственный. Председатель колхоза Пашков как-то выдал самовольно по пять килограммов на каждого ещё живого колхозника — и за то получил лагерный срок. Хлеб тот был государственный, а дела — колхозные, и не в этой книге их обсуждать.)

На этом Чулыме месяца три колотились эстонцы, с изумлением осваивая новый закон: *или воруй или умирай!* И уж думали, что навечно, — как вдруг выдернули всех и погнали в Саралинский район Хакасии (это хозяева нашли свой контингент). Хакасцев самих там было не заметно, а каждый посёлок — ссыльный, а в каждом посёлке — комендатура. Всюду золотые рудники, и бурение, и силикоз. (Да обширные пространства были не столько Хакасия или Красноярский край, сколько трест Хакзолото или Енисейстрой, и принадлежали они не райсоветам и не райкомам партии, а генералам войск МВД, секретари же райкомов гнулись перед райкомендантами.)

Но ещё не горе было тем, кого посылали просто на рудники. Горе было тем, кого силком зачисляли в «старательские» артели. Старатели! — это так заманчиво звучит, слово поблескивает лёгкой золотой пылью. Однако в нашей стране умеют исказить любое земное понятие. В «артели» эти загоняли спецпереселенцев, ибо не смеют возражать. Их посылали на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже никакой охраны труда, и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было оправдать свой труд и заработать сносно; просто эти умирающие люди поселились вылизывать остатки золота, которые государству было жаль покинуть. Артели подчинялись «старательскому сектору» рудоправления, которое знало только — спустить план, и никаких других обязанностей. «Свобода» артели была не от государства, а от государственного законодательства: им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье (как уже полным зэкам), мог быть объявлен «стахановский месячник» безо всяких воскресений. А государственное оставалось: за невыход на работу — суд. Раз в два месяца к ним приезжал нарсуд и многих осуждал к 25% принудработ, причин всегда хватало. Зарабатывали эти «старатели» в месяц три-четыре «золотых» рубля (сто пятьдесят — двести сталинских, четверть прожиточного минимума).

На некоторых рудниках под Копьёвым ссыльные получали зарплату не деньгами, а бонами: в самом деле, зачем им общесоюзные

деньги, если передвигаться они всё равно не могут, а в рудничной лавке им продадут (завалящее) и за боны?

В этой книге уже развёрнуто было подробное сравнение заключённых с крепостными крестьянами. Вспомним, однако, из истории России, что самым тяжким было крепостное состояние не крестьян, а заводских рабочих. Эти боны для покупки только в рудничной лавке надвигают на нас наплывом алтайские прииски и заводы. Их приписное население в XVIII и XIX веке совершало нарочно преступление, чтобы только попасть на каторгу и вести более лёгкую жизнь. На алтайских золотых приисках и в конце прошлого века «рабочие не имели права отказаться от работы даже в воскресенье», платили штрафы (сравни принудработы), и ещё там были лавочки с недоброкачественными продуктами, спаиванием и обвесом. «Эти лавочки, а не плохо поставленная золотодобыча, были главным источником доходов» золотопромышленников (Семёнов-Тян-Шанский, «Россия», т. XVI) или, читай,— треста.

В 1952 году маленькая хрупкая Х. С. не пошла в сильный мороз на работу потому, что у неё не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели отправил её на три месяца на лесоповал — без валенок же. Она же в месяцы перед родами просила дать ей легче работу, не брёвна подтаскивать, ей ответили: не хочешь — увольняйся. А тёмная врачиха на месяц ошиблась в сроках её беременности и стпустила в декретный за два-три дня до родов. Там, в тайге МВД, много не поспоришь.

Но и это всё ещё не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь (и не вздорно): вообще колхоз легче ли лагеря? Ответим: а если и колхоз и лагерь — да соединить вместе? Вот это и было положение спецпереселенца в колхозе. От колхоза то, что пайки нет, — только в посевную дают семисотку хлеба, и то из зерна полусгнившего, с песком, земляного цвета (должно быть, в амбарах полы подметали). От лагеря то, что сажают в КПЗ: пожалуется бригадир на своего ссыльного бригадника в правление, а правление звонит в комендатуру, а комендатура сажает. А уж от кого зароботки — концов не сведёшь: за первый год работы в колхозе получила Мария Сумберг на трудодень по *двадцать граммов зерна* (птичка Божья при дороге напрыгает больше) и по пятнадцать сталинских копеек (хрущёвских — полторы). За зароботок целого *года* она купила себе... алюминевый таз.

Так на что же они жили?! А — на посылки из Прибалтики. Ведь народ их сослали — не весь.

А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам?..

Пройдите по могилам, спросите.

Всё тем же ли решением родного прибалтийского Совета Министров или уж сибирской принципиальностью применялось к прибалтийским спецпереселенцам до 1953 года, пока Отца не стало, спецуказание: никаких работ, кроме тяжёлых! только кайло, лопата и пила! «Вы здесь должны научиться быть людьми!» И если производство ставило кого выше, комендатура вмешивалась и сама снимала на общие. Даже не разрешали спецпереселенцам копать садовую землю при доме отдыха рудоуправления, — чтоб не оскорбить стахановцев, отдыхающих там. Даже с поста телятницы комендант согнал М. Сумберг: «вас не на дачу прислали, идите сено метать!» Еле-еле отбил её председатель. (Она спасла ему телят от бруцеллёза. Она полюбила сибирскую скотину, находя ее добрее эстонской, и не привыкшие к ласке коровы лизали ей руки.)

Вот понадобилось срочно грузить зерно на баржу, — и спецпереселенцы бесплатно и безнаградно работают тридцать шесть часов подряд (река Чулым). За эти полтора суток — два перерыва на еду по двадцать минут и один раз отдых три часа. «Не будете — сошлём даль-

ше на север!» Упал старик под мешком,— комсомольцы-надсмотрщики пинают его ногами.

Отметка — еженедельно. До комендатуры — несколько километров? старухе — восемьдесят лет? Берите лошадь и привозите! — При каждой отметке каждому напоминает: побег — двадцать лет каторжных работ.

Рядом — комната оперуполномоченного. И туда вызывают. Там помнят лучшей работой. И угрозы выслать дочь единственную — за Полярный Круг, от семьи отдельно.

А — чего они не могут? На каком чуре когда их рука останавливалась совестью?..

Вот задания: следить за такими-то. Собирать материалы для посадки такого-то.

При входе в избу любого комендантского сержанта все спецпереселенцы, даже пожилые женщины, должны встать и не садиться без разрешения.

Да не понял ли нас читатель так, что спецпереселенцы были лишены гражданских прав?

О, нет, нет! Все гражданские права за ними полностью сохранились. У них не отбирались паспорта. Они не были лишены участия во всеобщем, равном, тайном и прямом голосовании. Этот миг высокий, светлый — из нескольких кандидатов вычеркнуть всех, кроме своего избранника, — за ними был свято сохранён. И подписываться на заём им тоже не было запрещено (вспомним мучения коммуниста Дьякова в лагере, лишённого этой возможности). Когда вольные колхозники, бурча и отбраниваясь, еле давали по пятьдесят рублей, с эстонцев выжимали по четыреста: «Вы — богатые. Кто не подпишется, — не будем посылок передавать. Сошлём ещё дальше на север».

И — сошлют, а почему бы нет?..

О, как томительно! Опять и опять одно и то же. Да ведь кажется, эту часть мы начали с чего-то нового: не лагерь, но ссылка. Да ведь кажется эту главу мы начали с чего-то свежего: не административные ссыльные, но спецпереселенцы.

А пришло всё к тому ж.

И надо ли, и сколько надо теперь ещё, и ещё, и ещё рассказывать о других, об иных, об инаких ссыльных районах? Не о тех местах? Не о тех годах? Нациях не тех.

А кех же?..

* * *

Впереслойку расселенные, друг другу хорошо видимые, выявляли нации свои черты, образ жизни, вкусы, склонности.

Среди всех отменно трудолюбивы были немцы. Всех бесповоротнее они отрубили свою прошлую жизнь (да и что за родина у них была на Волге или на Маныче?). Как когда-то в щедроносные екатерининские наделы, так теперь вросли они в бесплодные суровые сталинские, отдалены новой ссыльной земле как своей окончательной. Они стали устраиваться не до первой амнистии, не до первой царской милости, а — навсегда. Сосланные в сорок первом году нагоlé, но рачительные и неутомимые, они не упали духом, а принялись и здесь так же методично, разумно трудиться. Где на земле такая пустыня, которую немцы не могли бы превратить в цветущий край? Не зря говорили в прежней России: немец что верба, куда ни ткни, тут и принялся. На шахтах ли, в МТС, в совхозах не могли начальники нахвалиться немцами — лучших работников у них не было. К 50-м годам у немцев были — среди остальных ссыльных, а часто и местных — самые прочные, просторные и чистые дома; самые крупные свиньи, самые молочные коровы. А дочери их росли завидными невестами не только по достатку родителей, но — среди распушенности прилагерного мира — по чистоте и строгости нравов.

Горячо схватились за работу и греки. Мечты о Кубани они, правда, не оставляли, но и здесь спины не щадили. Жили они поскученнее, чем немцы, но по огородам и по коровам нагнали их быстро. На казахстанских базарчиках лучший творог, и масло, и овощи были у греков.

В Казахстане ещё больше преуспели корейцы, — но они были и сосланы раньше, а к 50-м годам уже порядочно раскрепощены: уже не отмечались, свободно ездили из области в область и только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и домов (и те и другие были у них неуютны и даже первобытны, пока молодёжь не перешла на европейский лад). Но, очень способные к учению, они быстро заполнили учебные заведения Казахстана (уже в годы войны им не мешали в этом) и стали главным клином образованного слоя республики.

Другие нации, тая мечту возврата, раздваивались в своих намерениях, в своей жизни. Однако в общем подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти.

Калмыки — не стояли, вымирали тоскливо. (Впрочем, я их не наблюдал.)

Но была одна нация, которая совсем не поддавалась психологии покорности, — не одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. Это — чечены.

Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они изо всей джезказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание.

Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя з э к а м и по духу. После того, как их однажды предательски сдёрнули с места, они уже больше ни во что не верили. Они построили себе сакли — низкие, тёмные, жалкие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было всё их ссыльное хозяйство — на один этот день, этот месяц, этот год, безо всякого запаса, дальнего умысла. Они ели, пили, молодые ещё и одевались. Проходили годы — и так же ничего у них не было, как и в начале. Никакие чечены нигде не пытались угодить или понравиться начальству, — но всегда горды перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуча и те школьные государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, да и мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз. И сами на колхозных полях не горбили. Больше всего они старались устроиться шофёрами: ухаживать за мотором — не унижительно, в постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей джигитской страсти, в шофёрских возможностях — своей страсти воровской. Впрочем, эту последнюю страсть они удовлетворяли и непосредственно. Они принесли в мирный честный дремавший Казахстан понятие: «украли», «обчистили». Они могли угнать скот, обворовать дом, а когда и просто отнять силой. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только бунтарей.

И вот диво — все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже тридцать лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы.

Как же это получилось? Вот случай, в котором, может быть, собрано объяснение. В Кок-Терекской школе учился при мне в девятом классе юноша-чечен Абдул Худаев. Он не вызывал тёплых чувств да и не старался их вызвать, как бы опасался унизиться до того, чтобы быть приятным, а всегда подчёркнуто сух, очень горд да и жесток. Но нельзя было не оценить его ясный отчётливый ум. В математике, в физике он никогда не останавливался на том уровне, что его товарищи, а всегда шёл вглубь и задавал вопросы, идущие от неутомимо-

го поиска сути. Как и все дети поселенцев, он неизбежно охвачен был в школе так называемой *общественностью*, то есть сперва пионерской организацией, потом комсомольской, учкомами, стенгазетами, воспитанием, беседами,— той духовной платой за обучение, которую так нехотя платили чечены.

Жил Абдул со старухой-матерью. Никого из близких родственников у них не уцелело, ещё существовал только старший брат Абдула, давно изблатнённый, не первый раз уже в лагере за воровство и убийство, но всякий раз ускоренно выходя оттуда то по амнистии, то по зачётам. Как-то однажды явился он в Кок-Терек, два дня пил без присыпу, повздорил с каким-то местным чеченом, схватил нож и бросился за ним. Дорогу ему загородила посторонняя старая чеченка: она разбросила руки, чтоб он остановился. Если бы он следовал чеченскому закону, он должен был бросить нож и прекратить преследование. Но он был уже не столько чечен, сколько вор,— взмахнул ножом и зарезал неповинную старуху. Тут вступило ему в пьяную голову, что ждёт его по чеченскому закону. Он бросился в МВД, открылся в убийстве, и его охотно посадили в тюрьму.

Он-то спрятался, но остался его младший брат Абдул, его мать и ещё один старый чечен из их рода, дядька Абдулу. Весть об убийстве облетела мгновенно чеченский край Кок-Терека,— и все трое оставшихся из рода Худаевых собрались в свой дом, запаслись едой, водой, заложили окно, забили дверь, спрятались, как в крепости. Чечены из рода убитой женщины теперь должны были кому-то из рода Худаевых отомстить. Пока не прольётся кровь Худаевых за их кровь — они не были достойны звания людей.

И началась осада дома Худаевых. Абдул не ходил в школу,— весь Кок-Терек и вся школа знала, почему. Старшекласснику нашей школы, комсомольцу, отличнику, каждую минуту грозила смерть от ножа,— вот, может быть сейчас, когда по звонку рассаживаются за парты, или сейчас, когда преподаватель литературы толкует о социалистическом гуманизме. Все знали, все помнили об этом, на переменах только об этом разговаривали — и все потупили глаза. Ни партийная, ни комсомольская организация школы, ни завучи, ни директор, ни районг,— никто не пошёл спасти Худаева, никто даже не приблизился к его осаждённому дому в гудевшем, как улей, чеченском краю. Да если б только они! — но перед дыханием кровной мести так же трусливо замерли до сих пор такие грозные для нас и райком партии, и райисполком, и МВД с комендатурой и милицией за своими глинобитными стенами. Дохнул варварский дикий старинный закон,— и сразу оказалось, что никакой советской власти в Кок-Тереке нет. Не очень-то простиралась её длань и из областного центра Джамбула, ибо за три дня и оттуда не прилетел самолёт с войсками и не поступило ни одной решительной инструкции, кроме приказа оборонять тюрьму наличными силами.

Так выяснилось для чечен и для всех нас — что есть сила на земле и что мираж.

И только чеченские старики проявили разум! Они пошли в МВД раз — и просили отдать им старшего Худаева для расправы. МВД с опаской отказало. Они пришли в МВД второй раз — и просили устроить гласный суд и при них расстрелять Худаева. Тогда, обещали они, кровная месть с Худаевых снимается. Нельзя было придумать более рассудительного компромисса. Но как это — гласный суд? но как это — заведомо обещанная и публичная казнь? Ведь он же — не политический, он — вор, он — социально-близкий. Можно попирать права Пятьдесят Восьмой, но — не многократного убийцы. Запросили *область* — пришёл отказ. «Тогда через час убьют младшего Худаева», — объясняли старики. Чины МВД пожимали плечами: это не могло их касаться. Преступление, ещё не совершённое, не могло ими рассматриваться.

И всё-таки какое-то веяние XX века коснулось... не МВД, нет,— зачерствелых старых чеченских сердец! Они всё-таки не велели мстителям — мстить! Они послали телеграмму в Алма-Ату. Оттуда спешно приехали ещё какие-то старики, самые уважаемые во всём народе. Собрали совет старейшин. Старшего Худаева прокляли и приговорили к смерти, где б на земле он ни встретился чеченскому ножу. Остальных Худаевых вызвали и сказали: «Ходите. Вас не тронут».

И Абдул взял книжки и пошёл в школу. И с лицемерными улыбками встретили его там парторг и комсорг. И на ближайших беседах и уроках ему опять напевали о коммунистическом сознании, не вспоминая досадного инцидента. Ни мускул не вздрагивал на истемневшем лице Абдула. Ещё раз понял он, что есть главная сила на земле: к р о в н а я м е с т ь.

Мы, европейцы, у себя в книгах и в школах читаем и произносим только слова презрения к этому дикому закону, к этой бессмысленной жестокой резне. Но резня эта, кажется, не так бессмысленна: она не пресекает горских наций, а укрепляет их. Не так много жертв падает по закону кровной мести,— но каким страхом веет на всё окружающее! Помня об этом законе, какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распушенности, по капризу? И тем более какой не чечен решится связаться с чеченом — сказать, что он — вор? или что он груб? или что он лезет без очереди? Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок. И даже если ты схватишь нож (но его нет при тебе, цивилизованный), ты не ответишь ударом на удар: ведь падёт под ножом вся твоя семья! Чечены идут по казахской земле с нагловатыми глазами, расталкивая плечами,— и «хозяева страны» и нехозяева, все расступаются почтительно. Кровная месть излучает поле страха — и тем укрепляет маленькую горскую нацию.

«Бей своих, чтоб чужие боялись!» Предки горцев в древнем далеке не могли найти лучшего обруча.

А что предождало им социалистическое государство?

• • • • •

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эту книгу писать бы не мне одному, а раздать бы главы знающим людям и потом на редакционном совете, друг другу помогая, выправить всю.

Но время тому не пришло. И кому предлагал я взять отдельные главы,— не взяли, а заменили рассказом, устным или письменным, в моё распоряжение. Варламу Шаламову предлагал я всю книгу вместе писать — отклонил и он.

А нужна была бы целая контора. Свои объявления в газетах, по радио («откликнитесь!»), своя открытая переписка — так, как было с Брестской крепостью.

Но не только не мог я иметь всего того разворота, а и замысел свой, и письма, и материалы я должен был таить, дробить и сделать всё в глубокой тайне. И даже время работы над ней прикрывать работой будто бы над другими вещами.

Уж я начинал эту книгу, я и бросал её. Никак я не мог понять: нужно или нет, чтоб я один такую написал? И насколько я это выдюжу? Но когда вдобавок к уже собранному скрестились на мне ещё многие арестантские письма со всей страны — понял я, что раз дано это всё мне, значит я и должен.

Надо объяснить: *ни одного разу* вся эта книга, вместе все части её не лежали на одном столе! В самый разгар работы над «Архипелагом», в сентябре 1965 года, меня постиг разгром моего архива и арест романа. Тогда написанные части «Архипелага» и материалы для других частей разлетелись в разные стороны и больше не собирались

вместе: я боялся рисковать, да ещё при всех собственных именах. Я всё выписывал для памяти, где что проверить, где что убрать, и с этими листиками от одного места к другому ездил. Что ж, вот эта самая судорожность и недоработанность — верный признак нашей гонимой литературы. Уж такой и примите книгу.

Не потому я прекратил работу, что съёл книгу оконченной, а потому, что не осталось больше на неё жизни.

Не только прошу я о снисхождении, но крикнуть хочу: как наступит пора, возможность — соберитесь, друзья уцелевшие, хорошо знающие, да напишите рядом с этой ещё комментарий: что надо — исправьте, где надо — добавьте (только не громоздко, сходного не надо повторять). Вот тогда книга и станет окончательной, помощи вам Бог.

Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранности, несколько раз уж думал: не дадут.

Я кончаю её в знаменательный, дважды юбилейный год (и юбилей-то связанные): пятьдесят лет революции, создавшей Архипелаг, и сто лет от изобретения колючей проволоки (1867).

Второй-то юбилей, небось, пропустят...

27.4.58 — 22.2.67

Рязань — Укрывище

ЕЩЁ ПОСЛЕ

Я спешил тогда, ожидая, что во взрыве своего письма писательскому съезду если и не погибну, то потеряю свободу писать и доступ к своим рукописям. Но так с письмом обернулось, что не только я не был схвачен, а как бы на граните утвердился. И тогда я понял, что обязан и могу доделать и доправить эту книгу.

Теперь прочли её немногие друзья. Они помогли мне увидеть важные недостатки. Проверить на более широком круге я не смел, а если когда и смогу, то будет для меня поздно.

За этот год что мог — я сделал, дотянул. В неполноте пусть меня не винят: конца дополнениям здесь нет, и каждый, чуть-чуть касавшийся или размышлявший, всегда добавит — и даже нечто жемчужное. Но есть законы размера. Размер уже на пределе, и ещё толику этих зернинок сюда втолкать — развалится вся скала.

А вот что выражался я неудачно, где-то повторился или рыхло связал, — за это прошу простить. Ведь спокойный год всё равно не выдался, а последние месяцы опять горела земля и стол. И даже при этой последней редакции я опять ни разу не видел эту книгу вместе, не держал на одном столе.

Полный список тех, без кого б эта книга не написалась, не переделалась, не сохранилась, — ещё время не пришло доверить бумаге. Знают сами они. Кланяюсь им.

Май 1968

Рождество-на-Истьё

И ЕЩЁ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Ныне, в изгнании, всё же выпала мне спокойная доработка этой книги, хоть и после того, как прочёл её мир. Ещё новых два десятка свидетелей из бывших эков исправили или дополнили меня.

Тут, на Западе, я имел несравненные с прежним возможности использовать печатную литературу, новые иллюстрации. Но книга отказывается принять в себя ещё и всё это. Созданная во тьме СССР толчками и огнём эческих памятей, она должна остаться на том, на чём выросла.

1979

Вермонт

ГОЛОСА



ВИКТОР СМИРНОВ

* * *

...Ночь мутна.

Лодку взмах весла торопит.
Спичка гаснет вдалеке...
Словно кто младенца топит
Ночью темною в реке.

Словно крик во мгле раздался —
Одинокий, жуткий крик.
Словно с жизнью кто расстался,
Не узнав страстей и книг.

И невольно страшно станет:
Ни души. Весь мир уснул.
Лишь вода в реке сияет,
Где младенец утонул.

Всех людей он видит лица
Со звездой наедине.
С ним душа моя ложится
Тихо рядышком на дне...

ЛЕВ КОКИН

Архив

Ворошу прошлое. Источают бумаги
истонченную эманацию небытия.
Чернила выщвели. Рука истлела. Но некая магия
заставляет сердце заходиться до колотья.

Неразборчивый почерк, рука истлела, уста адресата
не отверзнутся перечесть дорогие слова.
Запинаясь на ятях и ерах, с пятого на десятое
жизнь, давно отошедшую, пробую: какова.

Присматриваюсь, примеряюсь и, время раздвинув,
в это чуждое внутрь, как в набитый троллейбус, бочком.
Наяву петли виселиц начинают покачиваться. И кринолины.
И во храмах дрожащие светы свечных язычков.

Как сказал бы знакомый профессор, психоконтакт установлен,
приступаем к реанимации... Что пропущу? Что возьму?
Не Господь, не монарх, высочайшею милостью Нумерованный,
я отныне здесь милую и казню.

А весна за окном по расчерченным клеточкам скачет и дуновеньем сирени вдруг встревожит архивный уют, и джинсовые девочки в обнимку с такими же мальчиками Окуджаву с Высоцким мимоходом под окнами пропоют.

И какое-то новое зрение, некое дальнорукое, многомерное, сложное, совместит временные пласты. Нет, не надо, пожалуйста, архивариус, захлопывать оконные

створки —

здесь глубокая почва. А там лепестки и ростки.

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ

* * *

Буря мглою небо кроет.

А. С. Пушкин.

Буи джуи Мулиён¹.

А. Рудаки.

Вихря пены, снеговала
Первобытное родство —
Плач гиены, вой шакала
Уй-я, ой-я, у-о-о!

Стонут ведьмы, лают черти,
Совершая ведовство,
И звучит из круговерти
Уй-я, ой-я, у-о-о!

Чуть поодаль друг от дружки,
Ухом вещи чутки —
Буря мглою — слышит Пушкин,
Буи джуи — Рудаки.

Изнывая, мрево злое
Застилает небосклон:
Буря мглою небо кроет,
Буи джуи Мулиён!

1979.

БОРИС СИРОТИН

Болезнь

...Углы уже разбухли, потемнели,
Сползает штукатурка, и панели
Внутрь выпирают, и сквозь них вода
Сочится — и не скрыться никуда.

Глядит в окно, а там — до середины —
Вода; он в ужас от такой картины
Приходит, но глядит, глядит в окно
И чувствует, как комната на дно
Беззвучно погружается; отважась,
Рывком приподнимается, но тяжесть,
Какой-то тошнотворно-теплый хмель
Его вминает в мягкую постель.
Он равнодушно спит, но на мгновенье
В мозгу огонь догадки: наводнение!

¹ Плещет, блещет Мулиён.

А это был потоп — распались кубы
 Домов, и смрадных испарений клубы
 Лениво поднимались к небесам,
 Светясь в лучах... Он это видел сам
 И, с комнатой падая все ниже,
 Дивился: почему я это вижу?

Он видел все: над сонмом всплывших тел
 Какой-то зверь космический летел,
 Чернели перепончатые крылья,
 И было пищи у него обилье,
 А он не трогал никого и лишь
 Тревожил мерзким свистом...

Свеча

Благородная свечка прозрачного воска,
 От нее на стене золотая полоска.
 Тонко светит свеча — и ее не смущает,
 Что одна целый космос она освещает.

Я свечу поднимаю в тяжелом шандале —
 Облака разбегаются, прядают дали,
 И из тьмы выступают любимые лица,
 Чтобы в памяти силой свечи воплотиться.

Меж живыми и мертвыми разницы нету —
 Все они подчиняются тонкому свету
 Этой теплой свечи благородного воска,
 От которой в ночи — золотая полоска.

РАВИЛЬ ИЗМАЙЛОВ

* * *

Словно ложкой по дну котелка,
 Догребая остатки пайка,
 Так скребет свое скудное русло
 Среднерусская эта река.

Плоскодонка уткнулась в песок,
 Смотрит мальчик на темный восток
 И не слышит:

почти под рукою
 Суматошно звенит сторожок.

Что он видит за ртутной рекой,
 Оглушенный шумящей листвой,
 И чему он доверился слепо,
 Как приманке из белого хлеба?

То ли щука на отмели бьет,
 То ли грузная туча идет,
 Или, может, разведка монголов,
 Наконец отыскавшая брод!



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ТАТЬЯНА ЕФИМЕНКО

(1890—1918)



ЖАДНОЕ СЕРДЦЕ

«Жадное сердце» — название единственной прижизненной книги стихотворений Ефименко, вышедшей в 1916 году. Книги, полной любви к жизни, слиянности с природой, погруженности в круговорот человеческого бытия. Книга была первой — и осталась по сей день последней. Переполненное поэзией жадное сердце Татьяны Ефименко перестало биться в 1918 году: деревенские погромщики разнесли в щепки «барский дом» и вырезали всю семью — так погибли и поэтесса и ее мать, известнейший русский египтолог.

Немногие ценители поэзии Т. Ефименко не только не сумели уберечь ее стихи от забвения, но забвение постигало их самих. Ефименко считали продолжательницей творческой линии А. Кондратьева, автора нашумевшего в начале века романа «Сатиресса» и очень неплохих стихотворений в духе пантеизма, — но когда Кондратьев, переживший чуть ли не всех своих современников, умер в 1967 году на Толстовской ферме в США, тьма безвестности уже поглотила и учителя и ученицу. Наиболее ценная из рецензий на «Жадное сердце» принадлежала перу А. Лозина-Лозинского — одареннейшего поэта, о котором только-только начинают вспоминать в наши дни, — но он в возрасте тридцати лет покончил с собой осенью того же шестнадцатого года. Наконец, творчеством как Ефименко, так и Лозина-Лозинского после их гибели всерьез занялся петербургский поэт Дмитрий Крачковский, успевший напечатать чуть ли не единственную посмертную статью о Ефименко. Он пытался работать над монографией о них (от нее осталось лишь заглавие — «Двое забытых»)… но сам более чем на два десятилетия выпал из литературы, в которую вернулся лишь после второй мировой войны в эмиграции под именем Дмитрия Кленовского. Литературоведением стареющий поэт более уже не занимался. Список можно продолжить, но не стоит. Имя Ефименко с начала 20-х годов можно было найти разве что в картотеке крупной библиотеки — на единственной книге. А в книге — лишь несколько десятков стихотворений. Прочтешь — не забудешь. Вспомнишь — тебя забудут. Мистика, заколдованный круг.

Если б не было у нас еще многих десятков подобных случаев, можно было б удивляться. Чудес в русской литературе XX века больше чем достаточно. Поэтому неудивительно и очередное чудо: усадьба сгорела, семья погибла — а вот архив Татьяны Ефименко, пять толстых тетрадей, в которых она изо дня в день записывала стихи, почти всегда ставя точные даты, множество отдельных листков со стихами — все это в значительной части уцелело и хранится в ЦГАЛИ. Утрачена, кажется, только тетрадь со стихотворениями 1914 года, а последние стихотворения в последней тетради датированы концом 1917-го. (Видимо, была еще одна тетрадь — которую поэтесса взяла с собой в дорогу, собираясь в деревню, не зная, что это ее последняя дорога.) А в тетрадях — несколько сотен стихотворений, нисколько не уступающих тем, что вошли в «Жадное сердце». Не хочется и строить предположений, чем стала бы в русской поэзии Татьяна Ефименко, не оборвись ее жизнь так нелепо и страшно — и так созвучно эпохе.

Поэтика Ефименко традиционна, разве что привязанность к чередованию длинных и коротких строк позволяет безошибочно узнать ее руку. Но «жадное сердце» меньше всего стремилось к новаторству — писала как могла, как умела, как хотела. И яркий ее, хоть и негромкий, голос слышен нам и в конце XX века.

Предлагаемые стихи — из числа тех, которые сама Ефименко опубликовать не успела. Время пришло только теперь¹.

¹ О Т. Ефименко см. также библиографическую заметку Ю. М. Гальперина в словаре «Русские писатели 1800—1917», т. 2 (в печати).

* * *

Этот длинный путь позади: он тянется целую вечность,
А этот длинный путь впереди — другая вечность.

Ницше.

Родные мертвецы из гроба говорят,
Неодолимые, живые.
Любимых дней и лиц, вещей заветных ряд
С забвеньем борется впервые.
Но роковая связь событий такова:
Пред нами лента жизни свита,
Другая вечность ждет и вечно в нас жива,
А вечность прошлого забыта.
Из дорогих гробниц нас манят и грозят,
Но вот уж их мертво значенье —
И если я порой киваю им назад,
То в знак прощанья и прощенья.

6.VIII.1912.

* * *

Моя душа дрожит у перепутья
И медлит без конца.
В песках кусты сухие тянут прутья
До самого лица.
И здесь и там все так же дали серы
И к цели не ведут.
Мне все равно; без смысла и без веры
Пути и там, и тут.
Пески, кусты; в кустах седые жабы,—
Другого не видать.
Желать и ждать... Желала бы, ждала бы,
Да нечего мне ждать.

23.IV.1912, Писаревка.

Город

I

От собак и нищих стало тесно,
Громко славит улица беду.
Может быть, весна в полях окрестных —
Но до них отсюда не дойду.
Не твои ль торжественные были
Этот мост и этот темный храм?
Пышный город горделивый, ты ли,
Пресмыкаясь, воешь по ночам?
Но давно тебя уже не слышат...
Прокаженный, кто к тебе придет?
На прогнивших, потускневших крышах
Ржавчина кровавая цветет.
А вверху, на западе, над ними —
Четко видно с улиц и дорог —
Три креста распластанные в дыме
И на среднем мертвый Бог.

II

Когда Господь к земле не благ,
Не будет радости с востока,
И даже время — словно враг
С мечом, занесенным высоко.
Лучи рассвета не спасут,
Не отопреют наши души
И ржаво-красную росу
С перил железных не осушат.
Пустой проклятый день уйдет,
Чтоб возвратиться слишком скоро.
Лишь чрево черное болот
Затянет глубже мертвый город,
Лишь мутно-желтая река
Повыше завтра волны вспенит
Да в небе розовом слегка
Луна свой облик переменит.

III

Мутнеет поверхность забытых каналов,
Линяют слепые дома.
Я улицы этой как будто не знала,
И там не стояла тюрьма...
А где же широкие вязы у дома,
В который влекли меня сны?
Известкой запачкана дверь и солома,
Гниющая возле стены.
Напрасно кресты потускневшие к Богу
Соборы возносят с мольбой...
Глаза ль мои видеть иного не могут,
Иль жизнь стала вправду такой?
И после, когда мы свое отстрадаем,
Неведомый долг отдадим,
Земля станет снова приветливым маем,
И жизнь — станет даром благим...
И снова я дом свой узнаю и площадь,
Чьи стены канал отразил,
И вязы, с которых свежительный дождик
Известку и копать обмыл.

IV

Нашедшие дом свой увидят, рыдая,
Что сумрак зловеший повсюду залег,
И тощих собак одичавшая стая
Всю ночь будет лаять и нюхать порог.
И в пыли оконной появятся лица,
И пятна паркета — как будто следы;
И сердце сожмется и будет томиться,
Считая шаги уходящей беды.
Уж небо спускается светлым и синим
На темя простертой прощенной земли,
И ангел безумья умолк на равнине,
И капли с меча его наземь стекли.
Но кто нашу память печальную вынет
Из сердца и кинет в колодез без дна?
Кто образы сгладит забытые — в дыме,
И в облаке быстром, и в пыли окна?

* * *

А. Л.-Л.

Шаги прошелестели за дверью невысокой,
Я снова посмотрела, как убран тихий дом.
Посыпан пол полынью и яркою осокой,
Гардины на окошке, от солнца золотом.

В столовой пахнет сладко нарезанная дыня,
В гостиной розы в блюде привянули давно.
Гремит сияньем запад, но словно стало сине
И затянуло дымкой восточное окно.

Я прислонилась к двери и слушаю без грусти
Тот легкий, легкий шелест шагов и нежных рук.
Как быстры реки жизни. И вот я в тихом устье,
А завтра я не буду. Ни лиц, ни дней, ни мук.

Как сладко это было: любить. И сладко кинуть...
По дому тянет запах от дыни, роз и трав.
И вот спешу на вечер окно свое задвинуть,
Зовущий нежный голос за дверью услышав.

7.III.1917.

* * *

Ни суеты, ни безразличья,
Ни безобразия, ни зла
Не испугалась Беатриче
И в город северный сошла.

Когда зима настлала ложе
И ночь над городом легла,
Она мне сделалась дороже
Дыханья, солнца и тепла.

Но слишком много зла и сора,
И глаз в слезах, и душ в тоске,
И проклял Бог холодный город
Гранитноликий на реке.

Рука, карающая строго,
Безумья слала на людей,
О жизни все молили Бога,
А я молила лишь о ней:

«Спаси ее от ран и крови,
Да идут мимо грязь и боль,
Безмернейшую из любви
В душе моей укрыть позволь».

Вот рев реки и крики птичьи,
Толпы смятение и страх,
Но не видала Беатриче
Я ни в церквах, ни во дворах.

Мне не мелькнуло покрывало
И не приветила рука,
Над улицей ее вставала
Заря, от утра далека.

Пожар, как Божия немилость,
Уже венчал дома вдали.
А тень за мною волочилась
По окровавленной пыли.

6.XI.1917, Белорецк.

* * *

Нельзя минут, нельзя сберечь.
О, как возможности убоги.
У наших взглядов, наших встреч
Такие древние дороги.

Погаснет жертвенный огонь,
Потянет ветер из пустыни.
Моя горячая ладонь
От жадных губ твоих остынет.

...И вот опять, как в первый раз,
Стыдом и страхом мы объаты,
Земля, проклятая за нас,
Взгорбила каменные скаты.

Ты никнешь к ней лицом,
плечом,
И я раскаяньем сгораю,
А ангел с огненным мечом
Уж пересек дорогу к раю.

25.VI.1915.

* * *

Из моря вечности — бежали,
 Как волны, длинные года,
 Стирая медленно скрижали
 И разрушая города.

Но все же дом мой я готовлю,
 Сады возвращаю, стерегу
 И пашню тучную, и ловлю,
 И козье стадо на лугу.

В отливе мерном и негромком
 Не все ль с песков волна
 сотрет?
 Не так ли, жизнь моя,
 обломком
 И ты мелькнешь в водоворот?

Как будто силы отдавая —
 Через преемственность плода, —
 Я жизнь мою переливаю
 В иные формы навсегда

7—8.I.1913.

Любви

Уж лето рожь свезло, возы его скрипят,
 Ветра холодные окрепли.
 Вот осень. Плащ на ней, разорванный до пят,
 И косы бронзовые в пепле.
 Я на пороге жду. Я трепетно зову
 И от желания бледнею.
 Я жду, но не ее, безумную вдову, —
 Тебя, идущую за нею.
 Пускай вокруг ветра холодные гремят,
 Как будто плачут: «поздно, поздно», —
 Ведь ты придешь ко мне, неся в руке гранат,
 Так молчаливо и серьезно.
 Тверда нагая грудь, невинный козий взгляд
 Янтарных глаз, совсем открытых;
 Усталые ступни нечаянно запылят
 Меня, лежащую на плитах.
 Не знаю: голос твой — он нежен или груб, —
 И плоть до самых тайных складок,
 И тяжкий зрелый плод полураскрытых губ
 Мне будет горек — или сладок?..

3.VIII.1913.

Публикация в предисловие Е. ВИТКОВСКОГО.



ПУБЛИЦИСТИКА

БОРИС ПИНСKER, ЛАРИСА ПИЯШЕВА



СОБСТВЕННОСТЬ И СВОБОДА

Сегодняшняя политика определяется тем, чему учили университетские профессора экономики 30 лет назад.

Ф. А. фон Хайек, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1974 год.

Концепция ускорения: надежды и разочарования

Изразрешенность основных политических и теоретических вопросов ведет обыкновенно к бесплодности любых обсуждений конкретной экономической политики и, следовательно, к увековечению экономической и социальной стагнации. Убедительным примером тому может служить так называемая концепция ускорения, во многом обусловившая углубление экономического кризиса в нашей стране.

Идея ускорения экономического роста вошла в общественное сознание в 1985—1986 годах вместе с тезисом о необходимости радикальной экономической реформы. «Перестройка и ускорение» — так звучал лозунг изначально. Единство понятное и естественное: экономическая реформа стала неотложной именно в силу длительного и закономерного процесса затухания темпов экономического роста, ухудшения его количественных и качественных показателей. Принципиальная непригодность механизма централизованного планирования становилась все более очевидной с конца 60-х годов по мере того, как слабел импульс незадавшейся косыгинской реформы. За три пятилетки темпы роста национального дохода замедлились в 2,5 раза и стали практически нулевыми в 1979—1983 годах. Причем и нулевыми-то они были лишь с учетом значительных поступлений от экспорта энергоносителей. Без этого реальная величина национального дохода на душу населения сокращалась.

Руководители экономики пытались поддержать затухающий процесс обновления и модернизации основных производственных фондов за счет перераспределения в инвестиционные фонды средств, предназначавшихся на социальные цели. Положение в промышленности от этого не улучшилось, но зато накопился груз тяжелых социальных проблем. К традиционным нашим бедам: нехватке жилья, детских садов, яслей, школ и больниц — добавились рост детской смертности, сокращение продолжительности жизни, широкое распространение в некоторых регионах генетических аномалий (в связи с неоправданным и бесконтрольным применением удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве, с недостаточной мощностью и низким качеством очистных сооружений в промышленности и тому подобными причинами), образование очагов нищеты и неразвитости, широкое распространение алкоголизма и наркомании. Вот далеко не полный перечень социальных проблем, накопившихся за десятилетия несбалансированного экономического развития. Своеобразным экономическим показателем обострения этих проблем явилось резкое, беспрецедентное в мирное время относительное сокращение расходов на образование, здравоохранение и культуру.

Для устранения негативных явлений, для лечения общества необходимы средства, а значит — необходимо повышение экономической эффективности. Понятен поэтому выбор основных приоритетов новой политики, сделанный на XXVII съезде партии: переход от количественного, экстенсивного экономического роста к интенсивному развитию.

Часть экономистов, политиков, идеологов и руководителей экономики (сторонники радикальных реформ) поняли новую политику партии как призыв к глубоким эко-

номическим и политическим преобразованиям, к проведению реформ во имя последующего ускорения экономического роста. Другие восприняли происходящее традиционно: нужно прибавить в работе, интенсифицировать усилия, нужно крутиться быстрее — это и будет ускорением. Перспективы перестройки они видели не в радикальной реформе всего хозяйственного и политического механизма, но в усилении администрирования, в подтягивании дисциплины. (Классическим образчиком такого реформаторства являются печальной памяти милицейские облавы на прогульщиков времен Ю. В. Андропова.)

Заскорузлость мышления, готовность воспроизводить старые ошибки проступают и во многих законодательных актах последних четырех лет, в стремлении рассчитать будущее развитие экономики в точных числовых пропорциях: столько-то стали, цемента, угля, нефти, столько-то каналов, мостов, самолетов... Достаточно, дескать, произвести две тонны стали вместо одной, пять тонн цемента вместо трех — и все пойдет на лад.

Но вот вопрос: где источник дополнительных ресурсов, способных сдвинуть с мертвой точки нашу экономику?

С конца 20-х годов в аналогичных ситуациях мы всегда обращались к «внутренним» резервам: укрепляли дисциплину, увеличивали нормы выработки, подхлестывали трудовой энтузиазм, сокращали производство потребительских товаров. Сегодня такого рода средства не годятся. Народ морально устал от проектов «лучшего будущего», для осуществления которых следует сегодня «приносить жертвы», сокращать потребление и стоять в очередях. Активизация резервов может осуществляться только через политику роста материального и социального благосостояния человека.

Не оправдали себя надежды и на другой «потенциальный источник» ускорения — перераспределение инвестиционных фондов из «нестратегических» отраслей в машиностроение и энергетику. (Здесь не место подробно рассматривать принципиальную реализуемость и возможные последствия этой уже провалившейся политики.)

Американские специалисты, промоделировавшие в 1986 году на ЭВМ нашу программу ускорения, нашли, что в результате ее возрастут несбалансированность экономики и производство промежуточных товаров, сырья и полуфабрикатов при сокращении производства конечных, потребительских, товаров.

В сущности, сходный прогноз мог быть получен и без экстраполяции плановых заданий на ЭВМ. В 1985—1986 годах правительство приняло традиционный вариант мобилизационной политики, впервые опробованной в годы коллективизации и индустриализации. При том, что основные сырьевые и людские ресурсы на сегодняшний день в стране фактически полностью исчерпаны, результатов следовало ожидать также традиционных.

Тем не менее советские ученые, располагавшие в отличие от своих американских коллег более подробными и, наверное, более достоверными цифрами, подобного результата предвидеть почему-то не смогли. В чем же дело? В недостатке компетентности? В непригодности наших теоретических разработок? Или, быть может, с самого начала разговоры о радикальной экономической реформе велись только для камуфляжа, для маскировки политики очередного «большого скачка»?

В 1988 году были введены в действие Закон о государственном предприятии и Закон о кооперации, внедрение семейного и группового подряда провозглашено основным направлением развития сельскохозяйственного производства.

Однако переход к оптовой торговле средствами производства до сих пор не состоялся, а значит, и Закон о предприятии обречен пока на бездействие.

Все еще никак не регламентируется законодательством порядок заключения и расторжения договоров об аренде земли и орудий труда. Ничто не гарантирует ни сохранения собственности арендаторов, ни выполнения условий договора их контрагентом — колхозами и совхозами. Переход на арендный подряд в большинстве районов и хозяйств все еще находится в полной зависимости от воли руководителей колхозов и совхозов и местного партийного начальства. А зачем руководителям новые хлопоты, в результате чего они могут к тому же лишиться своих мест?

Что до обеспеченности населения товарами народного потребления и продуктами питания, то здесь дело обстоит и вовсе худо: прилавки магазинов удручающе пусты, а кооператоры торгуют джинсовыми куртками по 200 рублей да пирожками по 20—50 копеек. Дескать хотели экономических свобод — так ешьте их. В целом эффект

политики ускорения выразился в сокращении экономического роста, обострении дефицитности практически всех рынков и дестабилизации финансовой системы.

Теперь уже вполне ясно, что ощутимого увеличения благосостояния народа невозможно достичь без серьезного изменения структуры производства.

Для того чтобы выполнить плановые пометки на 2000 год, изменение это должно быть очень крутым и решительным. Необходимо перераспределение инвестиций из сферы добычи и переработки сырья в отрасли, выпускающие не промежуточные, а конечные товары. Тогда за счет высвобождения людских и материальных ресурсов из сырьевых, добывающих отраслей и обслуживающего их машиностроения можно будет обеспечить и форсированную модернизацию станкостроения, и ускоренное развитие производства предметов потребления, и развитие сферы обслуживания. Но такая задача, по сути дела, не ставится и не обсуждается. А между тем других экономически осмысленных и состоятельных моделей структурной перестройки пока не выдвинуто.

Неспособность или же нежелание руководства видеть неизбежные и насущные решения указывает на основной тормоз и препятствие к реформированию — на групповые, классовые и кастовые интересы.

В самом деле, представим себе, что реформа пойдет по пути быстрого изменения структуры экономики. Допустим, решения, раскрепощающие производительные силы в сельском хозяйстве — по китайскому или венгерскому варианту, — приняты. Результатом станет не только быстрый рост производства сельскохозяйственных продуктов, но и резкое сокращение спроса на ряд орудий сельскохозяйственного труда, которыми рынок уже перенасыщен. Упадёт спрос на тракторы, комбайны. Параллельно он резко сократится и на стальной прокат, на железную руду, уголь, нефть. Уменьшится нагрузка железных дорог. Снизится спрос и на орудия труда, необходимые при добыче и переработке железной руды и угля, а также на нефтепродукты, поскольку использование сельскохозяйственных машин станет более рациональным. Иными словами, резкий скачок в развитии нашего сельского хозяйства неминуемо обернется серьезным кризисом в отраслях, обслуживающих потребности сельскохозяйственного производства.

Одновременно спрос снизится и на продукцию станкостроительной и инструментальной промышленности, обслуживающей потребности сельскохозяйственного машиностроения, а значит, он в очередной раз упадет и на сталь, уголь, руду, на перевозки товаров потребителям, на электроэнергию. Можно проследить и третий и последующие круги кумулятивного сжатия спроса, которые должны последовать за решением о перестройке отношений собственности в сельском хозяйстве.

Сокращение спроса на сырье, материалы и топливо автоматически создает условия для перестройки всей экономики. Станет возможным безболезненный переход к оптовой торговле средствами производства. Возникнет конкуренция поставщиков, произойдет демополизация рынков.

Выталкивание с рынка слабых и неэффективных производителей обеспечит резкое и быстрое возрастание производительности труда, рентабельности и фондоотдачи предприятий. Экономика станет экономной помимо всяких лозунгов и призывов. Высвободятся ресурсы для модернизации станкостроения и машиностроения. Причем это не будет сопровождаться сокращением производства потребительских товаров. Наоборот, произойдет очень быстрое насыщение рынка товарами для народа.

Конечно, для успеха преобразований потребуются перестройка отношений собственности не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности и в сфере обслуживания. На смену обезличенной государственной собственности, монопольное право распоряжаться которой принадлежит сейчас центральной бюрократии (хозяйственной и партийной), должна прийти тем или иным способом индивидуализированная собственность (кооперативная, акционерная, частная). Ведь никаким другим путем нельзя совершить переход от административных методов управления хозяйством к методам экономическим, к методам косвенного регулирования. Чтобы каждый производитель был кровно заинтересован в результатах своего труда, он должен иметь право на прибыль.

Первая мысль, которая приходит в голову при виде таких перспектив реформы: наконец-то падет диктатура отраслевых и центральных ведомств и нам удастся преодолеть заборы, создаваемые централизованным планированием. Но ведь этим дело не ограничится. Изменения не могут не быть более глубокими и всеобъемлющими. Они

непрерывно коснутся не только хозяйственных отношений, но и социальных и политических.

Сегодня партаппарат дублирует функции органов управления и планирования, контролирует и согласовывает интересы различных отраслей и ведомств. Он активно поддерживает требования «своих» предприятий в министерстве при решении вопросов о распределении сырья, капиталовложений и так далее. Иными словами, действует как организация, руководствующая местными и ведомственными интересами. Зачастую деятельность партийных «толкачей», не уравновешенная деятельностью других групп интересов — потребителей, различных местных организаций, — крайне разрушительна по своим последствиям. Так, например, именно давление обкомовского аппарата повлияло в свое время на выбор площадки для размещения Атоммаша, что привело к катастрофическим результатам и разовому убытку в несколько миллиардов рублей.

Теперь представим себе, что задача оптимального функционирования экономики у нас уже решена. На всех главных рынках страны царит диктат покупателя. Дефицита нет и в помине. Качество товаров определяется только ценой и спросом потребителей. И что же? Существование партийного аппарата в его нынешнем виде и с нынешними функциями окажется бесполезным.

Командных высот и привилегий добровольно, естественно, никто не отдает...

Одним из наиболее испытанных и действенных орудий, которое административная система использует в борьбе с губительными для нее преобразованиями, является своеобразный негласный свод всевозможных идеологических табу, не подлежащих ревизии обветшалых постулатов и догм, запретных для бескомпромиссного обсуждения тем. Именно с помощью этого орудия, этого свода бюрократия успешно тормозит сегодня прямое и честное рассмотрение стержневых для хозяйственной реорганизации вопросов и проблем, тем самым медленно, но верно сводя на нет и реформы и всю перестройку.

Взять, к примеру, одну из первостепенных для общества, вступающего в эпоху коренных социально-экономических перемен, тем — тему безработицы. До сей поры представители высших эшелонов власти, официальной науки и пропаганды твердят старые заклинания: при социализме безработицы нет и быть не может. Но уже и по данным ЦСУ можно судить, что у нас процент занятости трудоспособного населения не выше, чем в других промышленно развитых странах. Стало быть, отсутствие безработицы в СССР — это не завоевание передовой экономики, а всего лишь «достижение» нашего учета и статистики, «достижение», благодаря которому мы уничтожили самую возможность для человека иметь статус безработного, ликвидировали право на пособие, сделали состояние вынужденной незанятости уголовно и административно наказуемым. (Только в периоды социальных и политических взрывов печать проговаривается: в Фергане 200 тысяч безработных. В целом по Средней Азии и Закавказью 15—20 процентов трудоспособного населения не могут найти работу, а это уже миллионы людей.) Проблема безработицы в СССР не только не решена, но даже не поставлена и не осмыслена. Однако при всем том безработица в нашей стране существовала всегда и существует сейчас как безработица фрикционная, как безработица региональная. Если представить себе, что реформы начнут-таки осуществляться и предприятия станут более заинтересованными в повышении своей эффективности, то нам не избежать и безработицы структурной и безработицы циклической.

Почему обязательным следствием предполагаемой нами структурной перестройки экономики окажется рост безработицы? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Даже если будущая потребность в рабочих руках окажется много выше, чем сейчас (для строительства дорог, жилья, для сферы услуг и освоения новых технологий), невозможно добиться, чтобы новые рабочие места возникали в один миг и именно там, где будут закрываться устаревшие, невыгодные, избыточные производства. А это означает, что потребуются не только капитал и время на создание новых рабочих мест, но и время для их поиска. Время понадобится и для сбора информации и для принятия решений. Существующая же в стране система информирования населения о возможностях трудоустройства, ситуация с жильем и организацией профессиональной переподготовки отнюдь не благоприятствуют быстрому и безболезненному перераспределению людских ресурсов между отраслями и регионами.

А вот другой аспект той же проблемы. Перед нами стоит задача более открытого и полного включения в систему международного разделения труда. Но ведь это

означает, что мы должны включиться и в циклическую динамику мирового хозяйственного процесса. Кстати, такая перспектива — цикличность хозяйственной жизни, колебания конъюнктуры — неизбежна даже при простом переходе к экономическим методам управления. Стоит только отказаться от государственных гарантий сбыта некачественной, излишней продукции, от разорительного процесса накопления избытков и дефицита за счет инфляционного накачивания средств в виде безвозвратных кредитов, как цикл возродится сам по себе. Сегодня много говорится о благах, которые получит страна от большего участия в мировой торговле, от перехода к рынку, от конвертируемости рубля, но никак не обсуждаются сопряженные с этим трудности и опасности, а также механизмы защиты. Снова острейшая проблема — и снова общественная мысль как бы замерла, застыла и дальше деклараций, что-де социализм не знает циклических кризисов, дело не идет. А ведь цикл — это и проблема циклической безработицы, то есть острая социальная проблема. Неужели надо ждать, пока первый же экономический спад поставит под угрозу весь государственный и общественный порядок в стране?

Думается, одними из главных задач наших экономистов сегодня должны стать проектирование механизмов регулирования безработицы и разработка системы социального страхования по безработице. (Основные подходы к этим проблемам хорошо известны специалистам по капиталистической экономике.) Необходимо совершенствование (а скорее даже разворачивание) системы информации о спросе на рабочие руки. Следует изменить социальное законодательство и паспортный режим, дабы устранить все препоны на пути движения рабочей массы туда, где открываются лучшие перспективы приложения ее труда. Для того чтобы интенсивная миграция рабочих стала действительно возможна, жилище должно перейти в частную собственность граждан. Оно должно покупаться и продаваться и в конечном итоге превратиться в одну из основных форм накопления. Надо выработать надежный механизм приобретения земли для частной застройки и найти гарантии от произвола местных властей и ведомств. Придется развернуть множество кооперативных и частных строительных организаций, способных удовлетворять спрос населения на этот вид услуг. Иначе не обеспечить мобильность рабочей силы и не осуществить перестройку экономики. Наконец, нужно создать совершенно иную — новую систему подготовки и переквалификации трудящихся, поскольку никакие сколько-нибудь серьезные экономические сдвиги не могут не сопровождаться серьезным изменением профессиональной структуры занятости.

Но что же в настоящее время мы имеем в действительности?

Отдельные высказывания ученых о неизбежности безработицы, о необходимости к ней готовиться — если мы на самом деле намерены реформировать экономику — либо остаются незамеченными, либо встречаются с негодованием.

Вопрос о том, совместим ли советский вариант социализма с безработицей, по-прежнему остается вопросом не научных исследований, а вопросом идеологическим и политическим. И — все так же ответ на него не правомочны давать ни экономисты, ни даже сама жизнь, но только высшее политическое руководство. Отсутствие же здесь свободы научного исследования и подлинной гласности обрекает ученых на двойственность и непоследовательность анализа, политиков на непродуманные, заведомо ошибочные решения, а общество на стагнацию.

Впрочем, командно-административной системой блокируется трезвая научная разработка не только этого, но и всех остальных кардинальных вопросов экономической реформы. Рассмотрим их по порядку.

Цены

Уже четыре года обсуждается фундаментальная для перестройки проблема цен. От ее решения зависит практическое осуществление в нашей стране хозрасчетных отношений, реальная возможность перехода на самофинансирование и самоокупаемость. Обращение к экономическим методам управления — это и есть, по сути, создание новой системы ценообразования. Переход к оптовой торговле — это и условие и результат решения проблемы цен. От него во многом зависит судьба реформ. Пока же нам предлагается принять участие в обсуждении вопроса — поднимать цены на мясо или не поднимать, снижать их на колготки или не снижать, выравнивать цены по отношению к пропорциям внешнего рынка или оставить все как есть.

Давая подробную характеристику неэффективности действующей в стране системы ценообразования, В. С. Павлов, бывший председатель Госкомцен СССР и нынешний министр финансов, писал: «Совершенно очевидно, что система цен, которая в течение длительного времени сохраняется с минимальными изменениями, должна быть заменена. Ведь ее нельзя встроить в новую систему управления. При существующих ценах мы не можем иметь нового хозяйственного механизма... Вот почему в настоящее время вопрос стоит не о частичной, очередной корректировке тех или иных видов цен и тарифов, а о радикальной реформе всей системы цен»¹.

Какой же смысл вкладывает В. С. Павлов в понятие «радикальная реформа»? Еще раз предоставим слово ему самому. «В тринадцатую пятилетку наша страна должна вступить с новой системой цен и тарифов во всех отраслях и сферах...— провозглашает министр. И продолжает: — В связи с этим предполагается пересмотреть оптовые цены в промышленности и тарифы на транспорте и связи в сроки, позволяющие ввести их с 1 января 1990 года. Новые закупочные цены и расценки в строительстве предусматривается ввести с 1 января 1991 года. В этот же период — до начала следующей пятилетки — намечается провести реформу розничных цен, увязанную с совершенствованием денежных доходов населения»².

Очевидно, речь идет не о радикальной реформе системы ценообразования, а всего лишь о пересмотре структуры цен, о «более научном» их расчете, и только. Иначе говоря, радикальная реформа хозяйственного механизма сведена к косметическому ремонту. Вместо перестройки — переक्रаска.

Хорошо понятна и природа такой подмены. Прежде чем ставить и решать вопрос о том, как обеспечить гибкость механизмов ценообразования, как изменить структуру цен, необходимо разрешить основные, принципиальнейшие политико-экономические и чисто политические вопросы.

Известно, что рыночная система ценообразования, как она сложилась в странах развитого капитализма, предполагает определенные отношения собственности, которые и гарантируют сочетание хозяйственной самостоятельности и ответственности. Владелец фирмы, ее управляющий или совет управляющих устанавливают цены в большинстве случаев на свой страх и риск. Фирма может разбогатеть, а может и разориться, прогореть. Общество, государство участвуют в этом процессе только через механизм страхования от безработицы, защищающий лишь интересы рабочих и служащих. Основным механизмом ценообразования на Западе являются товарные биржи, на которых сталкиваются спрос и предложение и куда стекается вся хозяйственная, политическая, техническая, технологическая, коммерческая информация. Но решение на бирже, как известно, децентрализовано и автоматизировано. Каждый играет за себя — и на свои деньги. Каждый рискует своим личным или же лично ему доверенным капиталом. Отсюда — и свобода участников биржевой игры и их ответственность. Необходимой фигурой биржи является спекулянт, то есть человек или организация, специально посвящающие себя поиску товарных несбалансированностей, ориентированные на предвидение и опознание дефицита (или избытка). Сравнительно небольшая нажива, получаемая спекулянтом, допускается и даже поощряется обществом, так как именно он — спекулянт — предупреждает о возникновении дисбалансов в экономике. Легализовать спекуляцию, признать закономерность спекулятивных доходов — значит признать, что с экономическими диспропорциями можно бороться только экономическими, а не административными методами. Может показаться парадоксальным, однако именно законы против спекуляции (штрафы, конфискации, тюремное заключение) во многом способствуют тому, что экономические реформы то и дело запаздывают, пробуксовывают, вытесняемые столь привычным для нас малоэффективным администрированием. Закон существует, спекулянтов наказывают, пишутся рапорты о принятых мерах. А в результате почва для спекулятивной наживы становится все более и более благодатной.

В условиях свободного рынка именно спекулянт указывает пути капиталовложений для предпринимателей. Там спекулятивный доход краткосрочен и полезен обществу. Спекулятивная нажива как бы вкладывается в расширение производства, что,

¹ В. С. Павлов, «Важная составная часть перестройки» («Коммунист», 1987, № 13, стр. 17).

² Там же, стр. 26.

в свою очередь, приводит к устранению дефицита, к восстановлению равновесия цен, ликвидирующих в итоге спекуляцию в ее наиболее откровенных, уродливых и неприемлемых для общества формах. У нас же спекулянты привлекают внимание, увы, не предпринимателей (их нет) и не Госплана (учитывающего в своей работе, да и то не всегда, разве что последние постановления партии и правительства), а ОБХСС и Министерства юстиции. Как волка флажками, спекулянта облачают запретами и уголовными статьями, за которыми он может наживаться до бесконечности, совершенствуясь в искусстве избегать законодательных капканов, и даже поддерживать вполне мирные, а зачастую и дружеские отношения с загонщиками.

Бирж и биржевой игры в нашей стране не существует с 1930 года. Почти все авторы, пишущие на эти темы, избегают прямой и принципиальной постановки вопроса об альтернативных механизмах ценообразования. (Потому-то журнал «Вопросы экономики» ведет дискуссию о ценах под рубрикой «Плановое ценообразование».) Речь идет только об изменении структуры цен, о пересмотре пропорций, нормативов, о новом качестве «расчетных» цен. Все заявления о необходимости гибкого ценообразования, о желательности его децентрализации, что называется, повисли в воздухе...

Смена существующего механизма ценообразований требует перераспределения и прав и ответственности, изменения системы стимулов и санкций. Причем если вопрос о стимулах еще хоть как-то, пусть поверхностно, но рассматривается, то с проблемой санкций — полная неясность. Кто и как может отвечать за последствия неверных экономических решений? Рабочего, допустившего брак, штрафуют. И это разумно. Особенно когда сумма убытков от брака соизмерима с его заработком. Но как и чем могут ответить работники Госплана, министерств, директора предприятий в случае, когда их решения (или нерешительность) влекут миллионные, миллиардные убытки?

Наемному служащему, приказчику, никто и никогда не доверял полной хозяйственной самостоятельности, в том числе и свободы в установлении цен — разорит, по миру пустит. (Если уж появляется необходимость в том, чтобы посторонний, пришлый человек непосредственно участвовал в предприятии, его берут в долю, делают совладельцем. Такова повсеместная практика акционерных компаний. Она-то, в свое время и породила у основоположников марксизма веру в то, что акционерная собственность есть «отрицание буржуазной собственности».) Иллюзия возможности полного отрыва права собственности от права ею распоряжаться торжествует у нас уже семьдесят лет. И что же? Надежда привить чувство хозяина чиновнику оказалась столь же утопичной, как популярная когда-то идея перевоспитания волка в вегетарианца.

С самого начала большевики уповали на универсальность политики «кнута и пряника» и надеялись малые размеры пряника компенсировать умноженной силой кнута. В. И. Ленин учил, что головоотяпов следует сажать в тюрьму, а выдающиеся достижения в этом роде награждать стенкой. Сталин сделал стенку основным инструментом хозяйственной политики. Многие до сих пор убеждены, что только так и можно с «нашим народом».

От кнута, однако, научились уворачиваться, да еще так, чтоб и пряника не упустить, а получить его за какую-либо мистификацию, как говорится, на халяву. И никакие самые детальные, выверенные положения о премировании ничего здесь изменить не могут. Смоделировать рынок нельзя, как невозможно смоделировать саму жизнь, — слишком сложная задача. Нет, конечно, в науке теоретическая модель необходима и полезна. Но следует помнить, что это всего лишь модель — нечто абстрактное, искусственное. Никто ведь не ждет, чтобы, скажем, модель кошки ловила живых мышей. Но вот от модели «социалистического рынка» тем не менее ждут настоящих прибылей и настоящих товаров. А не лучше ли все же перейти к нормальному рынку и децентрализовать отношения собственности? Как-никак банкротство гуманнее расстрела...

При реформе ценообразования главный вопрос не в том, повышать или понижать, на что повысить и на сколько. Главный вопрос — вопрос о собственности, о мотивации производителя и торговца, о юридических и политических основах хозяйственной самостоятельности предприятий.

Пока же даже сама постановка этих вопросов все еще откладывается на неопределенное время из-за нерешенности некоторых политических и идеологических проблем. Например, совместим ли социализм с личным богатством? Если да, то в какой

степени? Может ли личное богатство принять форму производительного капитала? Может ли владелец стотысячерублевого бриллианта (а в продаже бывают и более ценные камни) обменять его, допустим, на трактор ценою в 10 тысяч рублей или на грузовой автомобиль? Почему в личной собственности может находиться «Волга», а «ЗИЛ-111» не может? Почему позволительно подрабатывать перевозкой людей (легковые такси), но не перевозкой грузов (частное грузовое такси)? Сейчас частному лицу разрешается иметь собственный персональный компьютер, равный по вычислительным возможностям крупногабаритным машинам 60-х и 70-х годов. Ну а мини-компьютер завтрашнего дня, который, конечно, по всем параметрам превзойдет сегодняшнюю государственную технику, сможет ли он с момента выпуска находиться в руках частника? Или мы, как и прежде, принципиально будем настаивать на том, что все самое современное и производительное должно принадлежать только государству (как в Древнем Китае, где соболиное манто могли носить только члены императорской семьи)?

Закон о кооперативах и индивидуальной трудовой деятельности до известной степени легализовал право на владение средствами производства. Другое дело — сколь гарантировано и последовательно. Допустимо владеть часовым токарным станком. А современным обрабатывающим центром? Если нет, то какова верхняя граница частного капитала? Имеет ли эта граница логическое основание, или она зависит только от уровня общественных предрассудков, определяется каким-либо интуитивным ощущением обывателя, ориентирующегося на «среднее благосостояние»?

В отличие от темы правомерности существования индивидуальной собственности и индивидуального труда все еще остается закрытой тема труда наемного. Можно нанять человека, чтобы наколоть дрова или вскопать огород под картошку — для личного потребления, но если ты, не дай Бог, собираешься торговать этими дровами или этой картошкой — нельзя. Трое официально зарегистрированных кооператоров могут подрядить работника, но каждый из них в отдельности сделать этого не имеет права. Еще бы — эксплуатация человека человеком!

Какой же все-таки смысл в этой борьбе с эксплуатацией, во имя которой, собственно, и было пролито столько крови и совершено столько злодеяний? Ведь эксплуатация в исходном значении слова означает: «использование природных богатств, получение выгоды от использования».

Библия наиболее полно сформулировала категорический императив: не относись к другому как к средству личного благополучия. Относись к нему как к самому себе, как к конечной цели бытия, как к высшей ценности жизни. Разумеется, недопустимо рассматривать человека только с точки зрения утилитарной: нужен — не нужен, выгоден — не выгоден. Но ведь люди не ангелы. В хозяйственной и социальной жизни взаимная эксплуатация и стремление к обогащению, увы, неизбежны. Речь может идти лишь об их мере и пропорциях. Представление о том, что частная собственность всегда и везде порождает несправедливость и безнравственность, ошибочно — как фактически, так и теоретически. Издавна существование частной собственности обуславливает рост производительности труда и заработной платы, принося прямую выгоду и самому наемному работнику и обществу в целом. С другой стороны, именно принцип добровольного найма человека устраняет из социальной и хозяйственной жизни общества возможность грубого физического принуждения работника, ставит условия его эксплуатации в зависимость исключительно от рыночных условий спроса и предложения.

Мы нашли в себе смелость отказаться от идеи уравниловки в оплате труда и от планов по организации безденежной экономики, в которой наемного труда не будет. Не пришло ли время признать, что труд на государственном предприятии, в общем-то, не имеет никаких особых преимуществ перед трудом на частном? Более того, коль скоро государственная промышленность зачастую менее прибыльна, то и оплата труда в ней хуже. А раз отношения отчуждения и эксплуатации неотделимы от разделения на управляющих экономическим процессом и его рядовых участников (а отчуждение становится только более резким и болезненным при росте централизации управления), то следует искать более производительные формы управления (и эксплуатации). И во многих случаях, как показывает мировая практика, частная форма собственности выгодней для общества в целом и для работника, так как делает эксплуатацию взаимной и производительной.

Долгие годы нам твердили, что рынок всегда и везде неизбежно ведет к реставрации капитализма. Соответствующие цитаты из работ В. И. Ленина заучивались нами наизусть со школьной скамьи и, видимо, давно уже стали составной частью нашего коллективного подсознания. Сейчас оно, правда, претерпело некоторые изменения. Вразуменные бесконечными дефицитами, растущим отставанием в уровне жизни от развитых стран Запада, нерешаемостью основных социальных и экономических проблем, мы ухватились за надежду: переход от административных отношений к рыночным поможет нам преодолеть затянувшийся на десятилетия кризис. Рынок накормит, обует и спасет. В принципе против этого возразить нечего: рынок действительно кормит, одевает и обувает миллиарды граждан Земли. Он тащит человечество уже через четвертую научно-техническую революцию и довольно эффективно решает основные экономические задачи самых разных обществ. Опасение вызывает одно обстоятельство: для описания будущей экономической системы, которая должна заменить административный порядок производства, планирования и распределения, мы всякий раз используем словосочетание «социалистический рынок». Видимо, надо понимать так, что социалистический рынок — это такой рынок, в котором не будет места институту частной собственности или, вернее, такой частной собственности, которая бы предполагала возможность использования наемного труда. Неизбежны вопросы: возможно ли эффективное функционирование рынка без института частной собственности? достаточно ли сочетания трех основных «социалистических» форм — государственной, кооперативной и арендной — собственности для полноценного экономического развития?

Арендаторство в сельском хозяйстве и в промышленности

Для разрешения многолетнего сельскохозяйственного кризиса — экономического, культурного и социального — некоторые политики и законодатели считают приемлемым выходом из положения внутривладельческую аренду, а также арендные фермерские хозяйства. Таким образом, предполагается, грубо говоря, и невинность собласта и капитал приобрести — сохранить монополичный режим национализированной земельной собственности и одновременно создать условия для развития рыночных систем регулирования сельскохозяйственного производства. Проект, мягко говоря, сомнительный. Ведь о чем свидетельствует весь многовековой исторический опыт других стран (благо арендаторство было широко распространено еще в императорском Риме и в средневековой Европе, да и сейчас во всех развитых странах аренда земли не редкость)? Краткосрочная и среднесрочная аренды разорительны и опасны для общества. Арендатор, не имеющий уверенности в том, что земля (именно этот надел, именно этот участок) перейдет к его сыну, к его внукам и правнукам, не станет обращаться с ней как настоящий хозяин. Напротив, неизбежно хищническое отношение арендатора к земле с целью получения для себя наибольших сиюминутных выгод. Так что аренда на срок менее пятидесяти лет, не гарантирующая наследования земли, — не выход из сельскохозяйственного кризиса. Более того, подобный способ хозяйствования несет в себе реальную опасность для будущего страны.

Долгосрочная аренда с правом наследования как будто лишена основных недостатков предыдущего варианта — она обеспечивает достаточную хозяйственную заинтересованность в улучшении качества земли, создает стимулы для разумной, долговременной интенсификации хозяйства. Вместе с тем и долговременная аренда содержит в себе зерна серьезных социальных и экономических конфликтов между арендаторами и владельцами земли, в нашем случае — с представителями государства. Источник этих конфликтов — неравномерное изменение ценности денег (арендной платы) и производительности земли. (Такого рода проблемы хорошо изучены специалистами на соответствующих примерах европейского средневековья.) С точки зрения интересов и самих арендаторов и всего народного хозяйства в целом наилучший вариант аренды — это такой вариант, при котором величина арендной платы фиксирована обычаем или законом. В подобном случае арендаторы, естественно, вкладывают больше собственных средств и труда в улучшение земли, в хозяйственное обустройство. Однако в периоды быстрого инфляционного обесценивания денег фиксированность денежной арендной платы ведет к обнищанию землевладельцев.

В средние века обесценивание денежной арендной платы привело в некоторых странах, в том числе в Германии и России, к барщине и закрепощению крестьянства. Результатом этого явились крестьянские войны и установление полицейских мо-

нархий. Выход из исторического тупика был найден в ликвидации крепостного права и помещичьего землевладения, то есть в переходе к капитализму.

Следует, правда, оговориться, что если в прошлом такого рода процессы длились столетиями — причиной тому сравнительная слабость товарно-денежного хозяйства и низкие темпы инфляции, — то сегодня кризисное развитие отношений арендаторов с новыми лендлордами — колхозами и совхозами — пойдет намного быстрее. Даже при относительно невысоких темпах инфляции, скажем при 5 процентах в год, покупательная способность арендной платы сократится вдвое всего за четырнадцать лет. Необходимость регулярного пересмотра величины арендной платы разрушит стабильность экономических отношений, превратит долгосрочную аренду в разновидность кратко- и среднесрочной. Неизбежно, что при таких регулярных пересмотрах величины арендной платы местные власти захотят учесть возрастающую производительность земли, что вынудит крестьян осторожничать с капитальными вложениями. Наконец, в нашем особом случае, когда владельцем земли является государство, а распоряжаться ею станут чиновники местных Советов, периодический пересмотр величины арендной платы поведет к еще большему коррумпированию чиновничества (на сколько кому повысит и т. д.), к практике насилия в разрешении конфликтов. Что же остается? Только то, к чему пришло уже все цивилизованное человечество: частная собственность на землю. Но в какой степени она совместима с «социалистическим рынком»?

Легко догадаться, что в промышленности отношения между коллективом арендаторов и собственником средств производства окажутся еще более проблематичными, более конфликтными и менее устойчивыми.

Вот что говорили о причинах нежизнеспособности производственных кооперативов в промышленности видные деятели английского социалистического движения супруги С. и Б. Вебб. Они выделили три основные причины, по которым провалились все известные к тому времени попытки организовать производительные артели в промышленности (а что же такое коллективная аренда как не разновидность артельного хозяйства?): 1) недостаток дисциплины среди артельщиков; 2) низкая коммерческая грамотность; 3) медленное внедрение передовой техники.

Низкий уровень дисциплины, наблюдавшийся повсеместно, Веббы связывали с принципом равенства и выборностью руководства в кооперативах. Руководитель «должен быть популярен у своих избирателей, чтобы оставаться у власти, и потому власть его не может не быть весьма слабой». Эффективная коммерческая деятельность предполагает значительную самостоятельность и независимость коммерсанта. Он должен иметь право на риск и не бояться риска. Коллективность артельного хозяйства создает крайне неблагоприятную атмосферу для эффективной коммерческой работы, чему причиной — коллективное руководство и коллективная собственность.

Но если два первых недостатка еще могут быть как-то устранены (хотя и без ущерба для принципа равной коллективной собственности и внутрихозяйственной демократии), то третий представляет собой непреодолимую природную слабость каждого коллективного хозяйства. Дело в том, что в условиях насыщенного рынка (а таков всякий хорошо организованный рынок) освоение любых технических усовершенствований ведет к сокращению занятости на предприятии, внедряющем прогрессивную трудосберегающую технику. Поскольку коллективное владение предприятием делает невозможным сокращение занятости по мере роста производительности труда, постольку в общем случае оказывается затруненным и сам рост производительности труда. Производственные кооперативы и коллективы арендаторов представляют собой крайне неподвижную и неэластичную хозяйственную организацию, с трудом допускающую сжатие и расширение оборотов и объемов производства. Общий вывод крайне неутешителен для тех, кто намерен создавать «социалистический рынок»: предприятия, собственником которых является коллектив работников, «ни в одном случае не охватывают большого числа рабочих или значительного капитала... Шансы успеха такого общества тем больше, чем дальше оно от типа самоуправляющейся мастерской». На неэффективность, изначальную ущербность модели коллективной собственности указывал и известный русский экономист и авторитетный деятель кооперативного и социалистического движений М. И. Туган-Барановский: «...самая слабая сторона артели заключается в ее коммерческих операциях, и чем примитивнее хозяйственный строй страны, тем легче в ней удаются артели, особенно в добывающей промышленности, в которой требуется наименьшая затрата капитала... Вот почему у нас в

России встречаются артели в рыболовных промыслах, охотничьих, в горном деле, например, по разработке камня, добыче разного рода руд, золота и пр.».

Если кому-нибудь свидетельства столь авторитетных деятелей, как супруги Вебб и М. И. Туган-Барановский, относившихся к кооперативному движению с безусловной симпатией и искавших пути повышения его эффективности, покажутся недостаточно убедительными, стоит задуматься о причинах, которые помешали развитию кооперативных форм собственности в развитых промышленных странах.

По данным 1987 года во всем несоциалистическом мире в производственных кооперативах (артелях) было занято 5,5 миллиона человек, что составляет менее 2 процентов от общей численности занятого в производстве населения. И это при том, что даже в странах с наиболее успешным кооперативным сектором (в Скандинавии, Франции, Испании, Италии) коммерческое процветание кооперативов поддерживается мощными налоговыми привилегиями. Но и при всех льготах, включающих налоговые поправки, техническое и коммерческое обслуживание государственными агентствами, существующими за счет налогоплательщиков, кооперативы не выказывают способности к росту. Трудности точно те же, что в начале века: слабость капиталообразования и малокавалифицированность коммерческого и технического руководства. Особенно любопытно, что кооператоры всегда и везде более склонны потреблять доходы, нежели накапливать их. Коллективная воля явно проигрывает в этом отношении воле индивидуального владельца.

Могут возразить, что в нашей стране в последние год-полтора кооперативы и коллективы арендаторов, напротив, показали замечательные примеры производительного и прибыльного труда и что, может статься, именно для нас такая форма хозяйствования наиболее подходяща и приемлема, поскольку соответствует исконным народным традициям и устремлениям. Думается, дело в другом. Удивительная эффективность наших первых кооперативных и арендаторских хозяйств определяется в основном двумя факторами. Во-первых, результаты работы наших государственных и колхозно-совхозных предприятий столь удручающие, что на их фоне деятельность любого предпринимателя выглядит куда как убедительно; во-вторых, первыми в аренду были переданы наиболее убыточные и разоренные производства, на которых даже небольшое ослабление регламентации и наведение элементарного экономического порядка дало впечатляющий эффект.

Совершенно ясно, что по мере сокращения числа убыточных производств, общего повышения эффективности хозяйствования эти видимые достоинства кооперативных и арендных предприятий потеряются, исчезнут. Ведь они — не более чем иллюзия, порожденная тем тяжелым, бедственным положением, в котором оказалась наша экономика.

Не придется ли нам в будущем для стимулирования накоплений в кооперативах устанавливать законом долю средств, предназначенных для инвестиционных фондов? Уже сейчас решимся ответить: придется. Следом возникнет нужда и в усилении системы контроля, в новых указах и подзаконных актах, которые будут призваны не допустить утечки средств из инвестиционных фондов. Кончится же все это непременно полной национализацией кооперативных предприятий. Так стоит ли при подобной перспективе огород городить? Не лучше ли тогда уж сразу признать, что на Руси возможна только собственность государственная, а власть — административная? (В общем, «не тратьте, куме, силы, опускайтесь на дно...»)

А может быть, есть смысл вспомнить, что в историческом соревновании победило свободное фермерское и предпринимательское хозяйство, а многовековой опыт человечества убедительно доказывает, что свобода личности есть не только высшая духовная ценность, но и основа самого рентабельного способа организации общественной жизни? Не учитывая этого, мы обречены заново воспроизводить ход человеческой истории.

Госплан и фондовая биржа

Существует еще одно обстоятельство, свидетельствующее о том, что кооперативной и арендной форм собственности совершенно недостаточно для полноценной работы рынка. Важнейшим элементом всякой хозяйственной системы является механизм принятия решений о направлении инвестиционных процессов. Именно этот механизм определяет будущие общехозяйственные экономические пропорции, обуславливает расцвет или упадок хозяйства. В странах с рыночной экономикой эту работу выпол-

няют фондовые и товарные биржи, на которых устанавливаются цены на основные факторы производства: сырье, материалы, оборудование. Исторически выработанный регламент поведения участников рыночного процесса обеспечивает установление основных цен на уровне так называемых цен равновесия, что дает возможность и в частных компаниях и в целых промышленных отраслях рационально планировать производство. Надежность цен равновесия постоянно испытывается биржевой игрой на повышение или понижение цен. Так рынки сырья, денег и ценных бумаг с помощью предельно формализованных процедур, ориентированных исключительно на извлечение наибольшей прибыли, определяют перспективу развития тех или иных отраслей и компаний. Автоматизм и своеобразная, почти математическая выверенность биржевого механизма делают его достаточно надежным инструментом выбраковки нежизнеспособных предприятий, поиска оптимальных направлений развития экономики. Но, подчеркнем еще раз, в основе механизма биржи лежит спекуляция.

Может ли существовать рынок без этого центрального механизма, определяющего направление экономического роста? Да. Но лишь как рынок второстепенный, как придаток к системе мирового хозяйства. Более того, в отсутствие фондовой биржи — механизма перераспределения ресурсов между отраслями и регионами — возникает необходимость в каком-либо плановом механизме, который возьмет на себя выполнение тех же функций. (А как работают такие административные механизмы, мы хорошо знаем на примере деятельности того же Госплана.) В сущности, это тоже рынок, только плохо управляемый, практически не прогнозируемый и поразительно малоэффективный, ибо учитываются на нем не столько непосредственные экономические факторы, сколько моменты «привходящие»: влияние тех или иных политических и хозяйственных деятелей и организаций на размещение капиталовложений, личные, субъективные мнения и предрассудки высокопоставленных партийных и государственных чиновников при выборе перспективных направлений развития хозяйства и т. д. Из-за таких особенностей нашего механизма распределения инвестиционных ресурсов мы каждые пятнадцать — двадцать лет предпринимаем попытки генеральной корректировки основных экономических пропорций, руководствуясь при этом не нуждами и потребностями собственного экономического и социального развития, но устаревшими на двадцать — двадцать пять лет данными об оптимальных пропорциях капиталистического рынка.

С идеей отказа от частной собственности в пользу собственности государственной и общественной некогда связывалась надежда на быстрый рост народного благосостояния. Сегодня надежда эта, похоже, опрокинута. За последние семьдесят лет нам была дана возможность убедиться, что эксплуатация труда на госпредприятиях выглядит, как правило, менее привлекательно и вознаграждается много хуже, чем в частнособственнической промышленности. Пришла, кажется, пора сделать наконец-то вывод из этого несомненного факта.

Собственность и экономическая политика государства

Как известно, ни одна из социалистических стран, вставших на путь реформ и выработки экономических моделей управления хозяйством, не сумела избежать значительной инфляции, в равной степени характерной для опыта Югославии и Венгрии, Китая и Польши. Бедствий, связанных с инфляцией, не избежала и ни одна из развитых капиталистических стран, попытавшихся в 50--60-х годах обеспечить бескризисное развитие и полную занятость населения.

Известный теоретик валютного обращения Ф. А. Хайек утверждает, что природа инфляции в нашем веке — чисто политическая. Право государственного аппарата создавать деньги из воздуха — слишком большой соблазн для политиков, которые таким образом снимают свои сиюминутные проблемы, пренебрегая длительными и трудными решениями. Советские ученые всегда полагали, что такое толкование инфляции имеет отношение исключительно к экономике госмонокапиталистического периода. Считалось, что социалистические страны (госмоносоциализм) от такого бедствия раз и навсегда застрахованы.

Н. Петраков, обсуждая проблему инфляции в категориях «план и рынок», писал: «В то время как инфляционные процессы в экономике капиталистических стран органически связаны с внутренними противоречиями протекания воспроизводственного

цикла, с объективными условиями проявления законов капиталистического способа производства, причиной превышения количества наличных и безналичных денег над их потребностью в экономике социалистических стран выступают несовершенство форм и методов планирования, нарушения координации в работе различных звеньев плановой системы хозяйства»³. Отсюда следует традиционный универсальный вывод: путь к устранению инфляционных процессов — в совершенствовании форм и методов планирования, в поисках возможностей большей координации различных звеньев с помощью расчетов и математических методов.

Н. Петраков не одинок в своем легковесном оптимизме. Доктор экономических наук А. Комин на страницах журнала «Коммунист» также заявлял: «В социалистической экономике можно и нужно взять под контроль инфляционные процессы, управлять ими...»⁴

Но как конкретно все это осуществить? Как «взять под контроль инфляционные процессы»?

Трудно не согласиться с выводом Хайека, что упорное обращение к инфляционным методом (как у нас, так и на Западе) является следствием внутренних пороков политического механизма, проявлением недемократичности и произвола власти и может быть устранено только вместе с изменением механизма власти. Критики инфляционизма (Хайек, Фридман и другие) связывают склонность к инфляционным мерам с недостатками представительной демократии. Борьба за популярность понуждает депутатов требовать от правительства увеличения расходов. И правительства удовлетворяют требования, порой даже понимая, что такая политика пагубна. Фридман считает, что решением проблемы инфляции может стать законодательное ограничение темпов денежной эмиссии в 3—5 процентов в год — пропорционально росту валового национального продукта. Для нас в этих дискуссиях важна определенность диагноза — для решения экономических проблем нужны политические долговременные решения. Волюнтаристская финансовая политика разрушает экономику.

В недавнем прошлом для нашего общества зависимость депутатов от избирателей была не характерна: как правило, они просто не знали друг друга. Но наши депутаты, в том числе и руководители Госбанка и министр финансов, крепко зависели от мнения политического руководства. Руководство, в свою очередь, тоже не могло бросать на произвол судьбы своих людей в партийном и ведомственном аппаратах: оно было вынуждено постоянно кому-то что-то подкидывать сверх финансово-бюджетного плана из загатника либо просто из ниоткуда, пользуясь своей привилегией «создавать деньги» росчерком пера. Как видно, авторитарное управление государством является столь же весомой причиной инфляции.

Сейчас положение изменилось. Депутаты почувствовали, что избиратели держат их на коротком поводке. И уже на первой сессии Съезда народных депутатов посыпались настоятельные требования: повысить минимальный уровень пенсий, повысить минимум зарплаты, повысить расходы на здравоохранение, на образование, на культуру, на экологические программы, на жилье и дороги... Несложно подсчитать, что только за первую неделю съезда неотложных нужд набралось минимум на 500—600 миллиардов рублей, практически еще на один госбюджет. Хотя у правительства таких денег нет и в помине, оно тоже ощутило силу общественного мнения. Потому скрепя сердце начало давать средства или обещания в скором времени выделить их. Однако где же все-таки эти средства брать? Даже если действительно допустить, что реформы откроют пути предпринимательству, устранив излишнее регулирование нормальных экономических процессов, сократят неоправданные расходы, то и тогда, прежде чем в казну начнут поступать новые доходы, мы неизбежно на первых порах столкнемся с резким ростом расходов.

В общем, судя по всему, страна вступает в период ускоряющейся инфляции по типу польской или югославской, когда внимание правительства к нуждам различных групп населения, отраслей и регионов выражается главным образом в ускоренном выпуске новых денег, что соответственно ведет к росту цен, пенсий и заработной платы. Наиболее предпочтительным, как свидетельствует мировая практика, окажется положение тех групп трудящихся, которые смогут в каждом туре роста цен и зара-

³ Н. Петраков, «Ускорение денежного обращения и стратегия ускорения» («Вопросы экономики», 1987, № 8, стр. 5).

⁴ А. Комин, «Финансы и цены» («Коммунист», 1987, № 9, стр. 62).

ботной платы добиваться удовлетворения своих требований. В нашем случае — это шахтеры, горняки, металлисты, химики, нефтяники, энергетики, железнодорожники. В выигрышном положении окажутся и сравнительно небольшие, но наиболее сплоченные и организованные национальные группы: прибалты, народы Закавказья.

Тревожит здесь то, что в общем-то нормальные для цивилизованного общества экономические конфликты будут по мере нарастания борьбы за кусок бюджетного пирога все более и более политизироваться, обостряться, приобретать характер борьбы за власть.

В рыночных системах, основанных на частной собственности на средства производства, каждый экономический конфликт заведомо локален. Он является внутренним делом предпринимателя и его рабочих. Государство обыкновенно только присматривает за соблюдением порядка и законности. Локальность конфликта обеспечивается не только реальным статусом участников — не государственные люди, простые граждане, — но и сознанием своей ответственности за его исход. Излишняя требовательность одних, чрезмерная податливость либо неуступчивость других могут привести к краху предприятия, разорению и потере работы. Тут уж хочешь не хочешь, а подумаешь: разумно ли твое поведение?

Но и в западных странах характер конфликта резко меняется, случись он в национализированных отраслях. Там уж требования работающих зачастую безмерны, а уступчивость администрации безгранична. И это понятно. Ведь, например, бастующие английские шахтеры «выбивали» прибавку к зарплате не у какого-то жалкого хозяйчика, который, чего доброго, может и сам разориться, а у всемогущего государства, у которого все есть и которое все даст, если умело на него нажать. И государство давало порой до 30 процентов единовременной прибавки к заработной плате: деньги казенные, налогоплательщик еще соберет. В 60—70-х годах борьба трудящихся за свои права породила печально знаменитую круговерть, когда очень трудно распознать: то ли рост цен вызывает забастовки, то ли чрезмерный рост зарплаты порождает рост цен и разрушает национальное хозяйство. (Имелся, впрочем, один неизменный показатель: ряды бастующих на 80—90 процентов составляли рабочие национализированных отраслей.) Выход был найден в политике приватизации собственности. И широкая распродажа государственного имущества помогла на удивление быстро: в 80-е годы проблема роста цен и заработной платы на Западе практически исчерпала себя. Опыт 60—70-х годов наглядно подтвердил правоту либеральных экономистов, на протяжении всего столетия не устававших напоминать миру, что демократическое устройство власти совершенно несовместимо с режимом национализированной монополевой собственности, которая в обязательном порядке ведет к единоличной, диктаторской власти в политике.

В нашем обществе всякий экономический конфликт заведомо универсален и является в равной степени как конфликтом экономическим, так и политическим. И это закономерно. Ведь всякий хозяйственный руководитель, директор любого предприятия выступает как агент государственной власти и сам по себе никакого решения принять не может. О чем бы ни шел разговор: о снабжении магазинов мылом и колбасой, о качестве спецодежды или о режиме работы детских садов и столовых, — решения ожидаются только от центрального руководства: Политбюро, Совмина, теперь вот — Верховного Совета. Июльские забастовки шахтеров отчетливо высветили: для полноценного обеспечения рабочих поселков товарами первой необходимости требуется вмешательство главы правительства. И как только работники других отраслей поймут (а они уже поняли сразу и крепко!), какой именно путь ведет к улучшению снабжения, к расширению хозяйственной самостоятельности, они тоже вступят на него. Забастовочный пистолет слишком соблазнительное оружие, чтобы им не воспользоваться.

Пока что правительство нашло выход: Кузбассу обещана хозяйственная самостоятельность, региональный хозрасчет. Шахтеры получают возможность продавать сверхплановый уголь за рубеж на твердую валюту либо выменивать его внутри страны на нужные товары: фрукты, овощи, мясо, мануфактуру. Положение шахтеров улучшится. А как же остальные? Допустим, республики и области переведут на региональный хозрасчет и самоокупаемость. Исчезнут ли тогда все проблемы? Нет, еще более обострятся. Ожесточенную борьбу за свой кусок в госбюджете сменят множество мелких, но не менее ожесточенных схваток за долю в местных бюджетах, и результат всякий

раз будет тем же самым: кто будет обладать большей экономической и политической властью, тот и окажется в выигрыше. Разумеется, сохранится и порочная спираль: рост цен — рост заработной платы, выплаты незаработанных денег — рост цен и т. д.

Сам по себе региональный хозрасчет ничего не решает и не решит. Если вместо Госплана распорядителями хозяйственной деятельности станут десятки республиканских и обланов, не только невиданно обострится давнишняя конкуренция за ресурсы, но и возникнет борьба за рынки сбыта. Страна покроется сетью таможен, а пестрая толпа героев подпольного бизнеса пополнится колеритной фигурой контрабандиста, специалиста по тайным переходам из Рязанской губернии в Московскую.

Не избежать при этом и ускоренного разбазаривания скудных инвестиционных ресурсов. В Средней Азии, например, начнут создавать свои ткацкие и швейные производства (решение проблемы занятости и повышения республиканского дохода). Что же будут перерабатывать в традиционных центрах хлопкопрядения и швейной промышленности? Импортное сырье? Либо наращивать собственное производство хлопка, чтобы хватило для новых и старых центров? Шахтеры начнут часть угля сами продавать за границу. И это либо приведет к окончательному истощению общесоюзного валютного фонда, либо придется еще и еще наращивать добычу угля. В первом случае возникнут дыры во всех экономических и социальных программах, которые зависят от импорта. Во втором вырастет спрос на продукцию машиностроения для увеличения производства угля, на сталь для машин, на уголь для этой стали... В случае массового перехода на региональный хозрасчет нам угрожает усиление сырьевого кризиса экономики, углубление структурного кризиса.

Нет никаких сомнений, что рано или поздно этот порочный круг прервется. Придется сделать выбор между дальнейшим ускорением инфляции и структурной перестройкой. И если этот выбор окажется не свободным и своевременным, а будет навязан стране ситуацией широкого и всестороннего кризиса и экономического спада, нам не избежать ужасающей многомиллионной безработицы и социальных волнений, поскольку у руководства в данном случае не будет уже никаких ресурсов для облегчения положения старых промышленных центров, на которые обрушится основная тяжесть безработицы. Не окажется у правительства и наиболее важного из всех видов ресурсов — морального авторитета, веры людей в его способность справиться с кризисом.

Ситуацию осложняет еще и то обстоятельство, что параллельно с экономическим кризисом в стране явственно обозначился кризис политический, усугубленный и усиленный работой Съезда народных депутатов СССР и курсом на разделение законодательной и исполнительной власти. Само разделение еще не стало фактом нашей жизни, но уже стало фактором подрыва прежней системы управления. Подобный результат можно только приветствовать, если бы растерянность и беспомощность ведомственных и местных управленческих аппаратов, робко ожидающих решений от Верховного Совета, не вели к быстрому углублению хаоса, к параличу хозяйственного и политического механизма.

Ведомственное своеволие, знаменитая страсть издавать множество указов, приказов и подзаконных актов не сами по себе родились на свет, но были вызваны к жизни потребностями централизованного национализированного хозяйства. Не подчиняющееся непосредственно закону рынка, оно требует детального административного регулирования, чтобы оставаться на ходу.

Но сможет ли нынешний демократический парламент с его неизбежно медленными, компромиссными процедурами и долгими дискуссиями управлять гигантским централизованным хозяйством? Конечно же, нет. Ведь основа основ хозяйственного управления — компетентность, оперативность, рассчитанный риск и ориентация на прибыль. Все это плохо согласуется с правилами парламентской политики: неторопливостью, основательностью, ориентацией на симметричность и сбалансированность решений. И, значит, либо наш парламент превратится в придаток аппарата власти, дискуссионный клуб при всемогущем Совмине, либо он осуществит переход к рыночной модели хозяйства, которая является естественной и единственной опорой политической демократии...

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

БОРИС ГУСЕВ



МОЙ ДЕД ЖАМСАРАН БАДМАЕВ

Из семейного архива

Творческое наследие виднейшего ученого в области тибетской медицины, врача Петра Александровича Багмаева (1841 — 1920), вновь привлекло сейчас внимание научной общественности. Его исследования и рекомендации по сохранению здоровья в различных экологических условиях, в том числе экстремальных, не имеют себе равных, как считают специалисты. Его переводы и трактовки «Чжуд-Ши» — основного руководства по тибетской медицине — были изданы до революции лишь частично и с тех пор не переиздавались. Багмаевский перевод третьей книги «Чжуд-Ши» вообще не увидел света и хранится в архиве его внука, писателя Бориса Сергеевича Гусева.

Неординарна судьба и личность этого человека, приехавшего в Петербург из глубины бурятских степей и ставшего широко образованным ученым, работы которого обрели сейчас актуальность. Академик В. А. Матюхин (Институт радиационной медицины Министерства здравоохранения БССР) пишет, что труды П. А. Багмаева должны стать доступны для научного мира, поскольку в них «содержатся не только переводы текстов индо-тибетской медицины, но и самостоятельные разработки П. А. Багмаева по приложению эколого-физиологических положений «Чжуд-Ши» к умеренно суровому климату Прибалтики».

По сохранившимся документам и семейным воспоминаниям Б. С. Гусев восстанавливает самобытный образ этого человека.

I

Мой дед по рождению монгол, с ранней молодости пас овец в Агинской степи Забайкалья и учился укрощать диких степных кобылиц. Жамсаран Багмаев был самым младшим, седьмым, сыном Засогола Батмы, скотоведа средней руки.

Жили в шестистенной юрте и кочевали по Агинской степи весьма независимо, кланяясь лишь русскому исправнику и угощая его водкой и бурятскими позами. Следуя учению Будды, в семье никто не пил водку, но держали штоф для гостей.

Задолго до рождения Жамсарана его старшего брата Сультима в шестилетнем возрасте эмчи-ламы, то есть ламы-целители, отобрали в числе немногих детей Аги для обучения в дацане тибетской медицине. Это считалось большой честью. Эмчи-лама пользовался огромным авторитетом среди своих земляков. В ученики отбирали весьма придирчиво, исследуя слух, зрение, обоняние, осязание будущего ученика, а еще стремились определить душевные качества ребенка, которые также весьма важны для эмчи-ламы. Происходило это в мирные времена середины прошлого века.

К тому времени, когда Жамсаран стал подростком, его старший брат Сультим был врачом Степной думы — выборного органа бурят.

Семья Батмы была известна в Аге; еще большую известность ей принес Сультим, о котором уже шла молва как о знаменитом докторе. Но глава семьи Засогол Батма мечтал, чтобы хотя бы один из его сыновей поехал в Иркутск и поступил в русскую классическую гимназию. Семья Батмы считалась потомком в восьмом колене Чингисхана по женской линии. (В Бурятии принято знать своих далеких предков.)

И отец обратился за советом к старшему сыну, вопрошая, кого же из братьев послать в гимназию, — это было связано с немалыми расходами.

— Жамсарана! — отвечал Сультим.

— Умней остальных? — хмуро спросил отец.

— Быстрый ум имеет. И знает, чего хочет.

— Чего же? — любопытно спросил отец.

— Белому царю служить хочет... Близко к нему быть хочет, — отвечал Сультим, и присутствующие буряты тотчас зацокали языками, одни — в знак напутствия дерзким мечтам, другие — в знак осуждения нескромности.

Властный Батма с минуту раздумывал, потом сказал:

— Пошлим Жамсарана. Мать! Готовь сына в дальнюю дорогу!

Далекий путь в Иркутск проходил через всю высокогорную Бурятию, которую называют малым Тибетом. Здесь климат суров и сух. Агинский аймак — совершенно безлесный. Вдали наконец сверкнуло синее море — Байкал. Десятилетия спустя Жамсаран напишет о своей родине так:

«Монголы издревле населяли прибайкальские страны, с которыми связаны лучшие воспоминания этого народа. Уголок этот, соприкасающийся на юге и западе с бесплодными степями, на севере — с безжизненными тундрами, с несоборимыми лесами — на востоке, отличается необыкновенной красотой групп своих гор, долин, ущелий и равнин, богатством минералов, флоры и фауны. дает начало величайшим рекам Северного и Восточного океанов; между горами его таится чудесное озеро Байкал — святылице монголов».

И еще не раз и не два проедет он по этому пути.

Вскоре изменилась судьба и самого Сультима Бадмаева. В начале 50-х годов XIX века в Забайкалье пришла беда — эпидемия тифозной горячки. Начался мор. Губернские власти были в растерянности. Генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский был наслышан о врачебной науке Тибета. Призванные на совет старейшие буряты указали ему на Сультима. Генерал-губернатор повелел привести его.

— Роту солдат надо, — отвечал Сультим.

— Солдат? Не лекарства? — удивился губернатор.

— Лекарства — моя, солдаты — ваши. Порядок держать, кордон ставить.

Сультим с помощниками быстро приостановил эпидемию. Сам он входил в тифозные бараки, окурив себя тлеющими палочками тугой скатанной сушеной травы, дым которой предохраняет от любой инфекции.

Граф Муравьев-Амурский вызвал к себе Сультима и спросил, какой награды он желал бы за услугу, оказанную правительству. Согласно семейной легенде, Сультим скрестил руки на груди, касаясь пальцами плеч и через переводчика отвечал издали в том смысле, что если русские власти признают в нем врача, то справедливо бы наделить его такими же правами, которые имеет русский военный врач.

— Ты просишь офицерское звание? Наши военные врачи — офицеры. Прошли курс императорской Медико-хирургической академии, — отвечал губернатор. — Где и чему обучался ты?

Сультим сказал, что изучил тибетский язык только для того, чтобы познать мудрейшую книгу «Жуд-Ши»¹, в которой сосредоточены великие истины тибетской медицины, а также перенял опыт от старейших эмчи-лам. Кроме того, он долгие годы, начиная с младенческих лет, слушал пульс больных, одержимых разными болезнями, и здоровых людей всех возрастов и теперь может по пульсу определить любую болезнь.

В 1853 году Сультим Бадмаев был избран в члены-сотрудники Сибирского отделения русского императорского Географического общества. В 1857 году он был приглашен в Петербург и зачислен лекарским помощником в Николаевский военный госпиталь, а спустя три года появился уже более значительный документ:

«По Высочайшему повелению, Медицинский департамент Военного министерства 3 октября 1860 года за № 10182 предлагает ламе Бадмаеву лечить больных, одержимых бугорчаткой во всех степенях развития, и испытывать свои средства над больными, одержимыми раком, в Николаевском военном госпитале под наблюдением госпитальных врачей».

¹ Здесь и далее оставляем бадмаевское написание (Прим. авт.)

Далее — предупреждение:

«Ламе Бадмаеву было объявлено, что, если он своими опытами не докажет на деле, что его средства действительно приносят пользу при лечении разных болезней, то правительство затруднится разрешить ему практику даже в его стране».

В конце об итогах:

«Результаты врачевания А. А. Бадмаева удостоверяются тем, что, по Высочайшему повелению, Медицинский департамент Военного министерства 16 января 1862 года за № 496 уведомил Бадмаева, что он награжден чином, с правом носить военный мундир и, в служебном отношении, пользоваться правами, присвоенными военным врачам».

В 1860 году Сульгим открыл в Петербурге аптеку тибетских лекарственных трав и занялся частной практикой. Он очень скоро обрел клиентуру. Конечно, за несколько лет жизни в Петербурге он научился говорить по-русски, но письма так и не одолел. Уже в зрелом возрасте он крестился и принял имя Александр, отчество же давали — по существовавшей традиции — царствующего императора, и он стал Александром Александровичем. Медицинский департамент позаботился о доставке Бадмаеву лекарственных трав из Бурятии и Тибета.

Все увеличивающийся поток больных, аптека лекарственных трав, открытая на Песках,— все это требует огромных усилий. Ему был нужен помощник, а в будущем и преемник. В письмах он просил отца отпустить к нему Жамсарана. Согласие было дано, и, окончив гимназию с золотой медалью, Жамсаран едет в Петербург. Вскоре по приезде в столицу империи он по примеру старшего брата принял православие и с ним новое имя Петр в честь Петра Великого, который был его кумиром. «Христос — это русский Будда»,— сказал ему брат.

В 1871 году Петр Бадмаев поступил на восточный факультет Петербургского университета, а в 1875-м окончил его — тоже с отличием — по китайско-монголо-маньчжурскому разряду. Одновременно он был зачислен вольнослушателем в Медико-хирургическую академию с правом сдачи экзаменов.

Для изучения европейской медицины имелись учебники, факультеты, профессора, клиники. С тибетской было сложнее. У Петра Бадмаева был лишь один учебник — древняя рукопись «Жуд-Ши», которую следовало еще расшифровывать, чтоб понять. И один учитель — старший брат Александр Александрович. Но и он умер рано, в 1873 году, прожив в Петербурге шестнадцать лет. Петр, еще студент, оказался один в огромном чужом городе. Правда, покойный брат оставил ему аптеку, своих пациентов и друзей, расположение которых смог завоевать.

Вот что пишет Петр Бадмаев об этом периоде своей жизни:

«Мне пришлось изучать врачебную науку Тибета под руководством своего брата, известного знатока этой науки, который учился у бурятских, монгольских и тибетских лам. После смерти моего брата я продолжал это изучение под руководством первых врачей в бурятских степях и Тибете и пополнял свои знания сведениями, сообщавшимися мне лучшими знатоками этой науки. Последние почти ежегодно, в продолжение двадцати с лишним лет, приезжали в Петербург и каждый раз проживали у меня не менее полугода, давая мне свои указания и советы.

Занятия в С.-Петербургском университете на факультете восточных языков и главным образом в Медико-хирургической академии дали мне возможность достигнуть некоторых результатов при переводе сочинения «Жуд-Ши»... Тибетская медицинская литература чрезвычайно обширна и касается различных вопросов жизни отдельного человека, семьи, общества и государства. Многие сочинения недоступны по своей редкости и невозможности попасть в отдаленный западный Тибет не только частным лицам, но даже богатым монголо-бурятским и буддийским монастырям. Но, благодаря знакомству на Востоке, мне удалось получать редкостные книги, лекарства и другие предметы, необходимые для полного изучения тибетской медицины».

После университета Петру Бадмаеву, показавшему в учении усердие и способности, предложили должность чиновника 8-го класса в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Он принял должность, она была связана с поездками в Китай, Монголию, Тибет — и это отвечало его планам. Прибыв в Петербург молодым, со знанием русского языка, Петр легче, чем брат, адаптировался в незнакомой для него среде. Он имел живой ум, был очень энергичен, общителен. В 1877 году он женился на молоденькой девице-дворянке Надежде Васильевой. Вскоре семья стала расти. По учению врачебной науки Тибета, первыми условиями здоровья детей являются чистый воздух и вода, незагрязненная почва и тепло-свет. Петербург уже в то время был достаточно задымленный город. Но Петр Александрович нашел и сухое и высокое место на северной окраине горсада — Поклонной горе. Там он откупил участок земли и построил двухэтажный каменный дом с восточной башенкой.

В энциклопедии Брокгауза и Ефрона, вышедшей на русском языке в 1891 году, в 4-м томе на странице 674 о Бадмаевых сказано:

«Бадмаевы — два брата, буряты, Александр Александрович Бадмаев был лектором калмыцкого языка С.-Петербургского университета в 60-х годах; Петр Александрович Бадмаев — младший брат и воспитанник предыдущего, родился в 1849 году². Учился некоторое время в Медико-хирургической академии и получил право врачебной практики. Лечит все болезни какими-то особыми, им самим изготовленными порошками, а также травами; несмотря на насмешки врачей, к Бадмаеву стекается огромное количество больных».

Из города ездить на Поклонную далеко и неудобно больным. Петр Александрович снял в аренду третий этаж дома шестнадцать по Литейному проспекту.

Прием длился по восемь, по десять часов. Но доктор не должен быть усталым, иначе он не воспримет больного. И каждые три часа Петр Александрович прерывал прием, шел в соседнюю смежную комнату, садился в вольтеровское кресло и засыпал на пять — семь минут, потом сам просыпался и был снова бодр и восприимчив. Он строго следовал указаниям врачебной науки Тибета. И эти буквы — ВНТ — приказал выгравировать на ложках и вилках столового серебра.

К нему за помощью обращаются министры, сенаторы. С Витте Петр Александрович делится своими мыслями о врачебной науке Тибета. Из письма П. А. Бадмаева Витте от 13 февраля 1893 года:

«Обширность литератур тибетской и европейской медицины,³ с которыми я обязан был ознакомиться, чрезвычайная важность предмета, когда идет речь о здоровье отдельного человека, семьи, общества и государства,— все это не позволяло спешить с печатанием моих трудов.

Я приготовил уже к печатанию руководство тибетской практической медицины и хирургии в переводе на русский язык с комментариями и намерен скоро издать его. (Речь идет о книге «Жуд-Ши». — Б. Г.)

Со времени выхода первого полновесного этого классического руководства, — около 3000 лет,— и со времени выхода предлагаемого мною в переводе руководства, — с лишком 1000 лет, — никогда тибетская медицина не отступала от своего разумного направления. В распоряжении этой медицины находятся средства, употребляемые с успехом для страждущего человечества, выдержавшие без изменения критику 1000 лет и критические отношения миллионов больных.

В самом Петербурге с начала моей практики, с 1875 года, по август месяц 1892 года я лицом к лицу стоял против 227 тысяч 506 посетителей, обращавшихся ко мне за медицинской помощью... с 1886 года при 179 различных лекарствах употреблено 1 миллион 816 тысяч 630 порошков...

Всеми силами старался избегать покровительства печати и вообще покровительственной системы, несмотря на мое близкое знакомство со многими представителями власти, науки, литературы и печати.

В настоящее время как в обществе, так и, главным образом, во врачебном сословии слышен ропот, что я умышленно, для личных целей, не желаю поделиться средствами тибетской медицины, которым я обязан своими успехами. Очевидно, наступило время к печатанию моих трудов».

1893 год — последний год службы Бадмаева в Министерстве иностранных дел. Он оставляет службу и принимает почетный, без жалования, пост члена попечительского совета приюта герцога Ольденбургского, а вскоре получает чин действительного статского советника. К этому времени он побывал в Китае, Монголии и Тибете.

Секретарь Бадмаева Евгений Иванович Вишневецкий рассказывает о том, как переводился «Жуд-Ши» на русский язык. Евгений Иванович был вначале секретарем Бадмаева, а затем стал его зятем, женившись на старшей дочери Петра Александровича Надежде. Письмо это Е. И. Вишневецкий написал незадолго до смерти, в 50-е годы нашего века, по просьбе своего сына полковника медицинской службы Петра Евгеньевича Вишневецкого — старшего внука П. А. Бадмаева. Выйдя в отставку, Петр Евгеньевич еще в 60-е годы хотел написать историю деда, но преждевременная смерть помешала ему.

Письмо Е. И. Вишневецкого от 27 декабря 1955 года:

«Моя работа у Петра Александровича Бадмаева в качестве помощника, секретаря заключалась в том, что я участвовал в переводе на русский язык древних тибетских рукописей по медицине. Работа эта проводилась по утрам до отъезда Петра Александровича в город на прием больных. Собирались мы в комнате с круглым столом, рядом со столовой. Туда приносили коробки, в которые уложены были рукописи. Длина рукописи (очевидно, листа. — Б. Г.) около метра, а ширина около 20 см. Текст рукописи изложен был строчками, шедшими не слева направо, как это делается теперь, а сверху вниз

² По сведениям семьи, год рождения П. А. Бадмаева — 1841. (Прим. авт.)

столбиками поперек листа. Коробки с листами рукописи привезены были из какого-то дацана (буддийского храма. — Б. Г.) старым ламой в желтом халате.

Самая работа протекала так: на круглый стол ставили коробку с листами рукописи и приводили старика ламу. Его сопровождал молодой лама. Старика усаживали в кресло за столом, а молодой лама становился за кресло старика. У молодой ламы в руках был синий шелковый платок, которым он в необходимых случаях утирал нос старика. Меня заинтересовало, почему старик сам не вытирает свой нос, а держит для этого человека Петр Александрович объяснил мне, что старик признан святым при жизни. Он не хочет лишним движением руки причинить вред живым существам, бесконечное количество которых имеется в воздухе. После такого разъяснения я успокоился. Вынутый из коробки лист клали перед ламой. Он читал написанное и тут же переподил его с тибетского на бурятский язык. Петр Александрович, не садясь за стол, на ходу переводил слова ламы на русский язык. Трушлевич (тоже секретарь П. А. Бадмаева. — Б. Г.) и я сидели за столом в разных точках, друг против друга. Мы записывали то, что говорил Петр Александрович. Когда же заседание оканчивалось, я с Трушлевичем сравнивали свои тексты, делали необходимые поправки, излагали записанные фразы и согласовывали затем свою работу с Петром Александровичем. Работа наша длилась много дней. Результаты ее были затем изданы в виде книги под названием „Жуд-Ши“.

Письмо от 29 июля 1955 года:

«...Через несколько месяцев я получил от Петра Александровича приглашение приезжать на Поклонную гору по воскресениям в качестве гостя...

Слушая происходившие при мне разговоры гостей на Поклонной горе, я узнал, что у Петра Александровича обострились тогда отношения с министром внутренних дел Плеве В. К. на почве бурятского дела. Заключалось оно в том, что забайкальская администрация или, вернее, Читинская администрация по директивам из Петербурга стала заставлять бурят прекратить кочевой образ жизни и переходить к оседлому занятию земледелием. Буряты противились. Стали выбирать уполномоченных их в Пекин и в Петербург. В Пекине они хлопотали о разрешении переселиться из забайкальских степей в Монголию. В Петербурге жаловались на читинских администраторов. Петр Александрович принимал своих земляков и учил, как действовать. Это злило министра Плеве. Он приказал передать Бадмаеву, что если он не перестанет мутить бурят, то сам очутится в Архангельске. Петр Александрович, получив это предупреждение, сейчас же послал Плеве письмо, в котором между прочим заявил: «...Что же касается Архангельска, то я еду туда только вместе с Вами». Тогда же брат Петра Александровича по имени Дамдин был выслан из Аги, где он жил, в другую местность. Через некоторое время положение улучшилось. Бурят оставили в покое и дали им возможность жить, как они хотят, быть может, потому, что Плеве перестал быть министром. Адресованное министру Плеве В. К. письмо я лично читал перед его отсылкой.

...Велись разговоры об образовании акционерного общества для постройки железной дороги через Ургу и Калган до Пекина. Главное финансирование этого предприятия брал на себя бакинский нефтяной король Манташев. Почему предприятие это не было осуществлено, я не знаю. Интересно, во всяком случае, что более 50 лет тому назад Петр Александрович выработал проект сооружения железной дороги, которая строится только теперь.

Что касается поездки Петра Александровича в Пекин, то она произошла до моего знакомства с Петром Александровичем. Ездил он в Пекин по заданию правительства. Цель поездки и результаты ее мне неизвестны.

Копия верна.

[Подпись]: Н. Вишнеvский — младший сын Евгения Ивановича».

Первое издание книги «Жуд-Ши» на русском языке вышло в 1898 году. Примерно треть книги — восемьдесят страниц — занимает труд самого Петра Александровича. Он дает свое толкование врачебной науке Тибета. Наука эта зародилась три тысячи лет назад в Индии.

Из введения П. А. Бадмаева к «Жуд-Ши»:

«Прежде чем говорить о Цо-жед-шонну как авторе «Жуд-Ши», считаем нужным объяснить само название «Жуд-ши» и кажущуюся легендарность первой главы первой книги этого сочинения.

«Жуд-Ши» в переводе означает «Сердце Нектара, восьмиветвистые четыре основы специальной терапии».

Название «Сердце Нектара» указывает, что в «Жуд-Ши» изложены основные взгляды врачебной науки. Восьмиветвистым это сочинение называется потому, что излагает учение о восьми предметах: 1) об организме взрослого человека, 2) о женщинах, 3) о детском организме, 4) о нервно-истеричных субъектах, 5) о язвах и ранах, 6) об отравлениях и ядах, 7) о старческом организме, 8) о поддержании и укреплении старости.

Ламы предполагают, что «Жуд-Ши» проповедовал сам Будда Сакья-Муни...»

Легендарный автор «Жуд-Ши» Цо-жед-шонну, по преданию, был сыном Бамбасара — царя индийского города Саравасты — и купеческой дочери, жившей с ним в морганатическом браке. Цо-жед-шонну в юности извездил Восток и всюду изучал внутренние болезни и хирургию и даже научился приемам, необходимым для вскрытия чере-

па... Затем он вернулся на родину, стал лечить людей и прослыл великим целителем. Все свои наблюдения, опыт и мудрость он вложил в «Жуд-Ши». Врачи последующих поколений продолжили и развили это учение, а около 685 года нашей эры учение с помощью переводчика Березаноя проникло в Тибет, и еще более тысячи лет оно хранилось в тайне тибетскими ламами. Во второй половине XIX века оно вошло в Европу.

Тибетская медицина — это искусство лечить исключительно природными средствами в точно взвешенных пропорциях. Лекарством является все, что находится в пространстве, включая само пространство, утверждает ВНТ.

Хирургия допустима лишь в крайнем случае. Опухоли предпочитается лечить без применения скальпеля, и это обстоятельство служило поводом для нападок и на Петра Александровича и на тибетскую медицину в целом. Довод: ВНТ усыпляет бдительность больного и мешает вовремя удалить опухоль.

По словам моей бабушки Елизаветы Федоровны Бадмаевой, дед лечил рак, при этом успешно. Но большинство хранившихся после смерти деда историй болезни было конфисковано в 1937 году и пропало бесследно. И фактов, подтверждающих излечение больных со злокачественными опухолями, нет. Поэтому мама моя, хирург, в ответ на рассказы бабушки обычно говорила: «Ну, значит, это был не рак. Против рака пока что средств нет».

Для тибетских средств нет противопоказаний. Они безвредны и служат преимущественно стимулом к тому, чтобы организм сам поборол болезнь. Моя мама, работая в районной поликлинике, никогда не применяла тибетских лекарств. Особенно после событий 1937 года. Но однажды к ней пришла больная с застарелой экземой на руках. Эту экзему лечили всевозможными мазями, лечили и при помощи хирургического вмешательства. Никаких результатов. И, как рассказывала мама, она пожалела больную женщину и дала ей бадмаевский шижет — порошки, принимаемые внутрь. Это лекарство устанавливает правильный обмен веществ в нашем организме. И оно за две недели сняло застарелую экзему.

Рекомендуют делать прививки от инфекционных болезней. А тибетская медицина считает, что здоровый организм вообще не подвержен инфекции.

Вот как разбирает все эти вопросы сам П. А. Бадмаев в рукописи, датированной 11 февраля 1910 года, Санкт-Петербург:

«Рассматривая человека, как огромную колонию простейших существ, связанных одним общим волевым импульсом, тибетский врач говорит, что, если мы добьемся правильного обмена веществ в одной малой, вполне самостоятельной части (клетке), мы уже добились оздоровления и всего организма. Следовательно, основа и главный метод лечения тибетской медицины заключается в том, что, дав каждой части в отдельности силу и возможность борьбы с аномальными условиями, вызывающими расстройство, она тем самым оздоравливает весь организм.

Средства же к борьбе с болезнями тибетский врач находит во всем, что его окружает. Он говорит, что четыре стихии (воздух, вода, огонь, земля) дают нам лекарства. Поэтому, видя в минералах [нрзб] соединение воды и земли, в растениях — воздуха, воды и земли, в животных — воздуха, воды, земли и огня, тибетский врач берет из этих трех царств: животного, минерального, растительного — материалы борьбы с болезнями

Чтобы быть добрым — надо быть здоровым. Чтобы не презирать меньших себя — надо помнить, что и ты сам создан так же, как и они. Чтобы помочь совершенствоваться — надо уметь лечить духовные и физические страдания, ибо, чтобы постигнуть высшее, надо опереться на твердую и надежную опору, то есть на свое вполне духовно и физически здоровое тело, говорит тибетский врач.

Врачебная наука Тибета распадается на два больших отдела: наука о здоровом человеке и наука о больном человеке...

В культурных странах не постоянно встречаемся с весьма серьезным расстройством питания в разных сферах организма обоего пола вследствие нравственного переутомления. Большинство общества прибегает к врачебному сословию в моменты страдания физического, умственного и нравственного, вызванного им же самим вследствие надругания над законами своей природы.

Между тем врачебная наука как вера неразрывно должна быть связана с человеком с самого момента его воспроизведения.

Какая наука как не врачебная может давать совет молодым людям обоего пола при браке разумно относиться друг к другу, чтобы сохранить здоровье и избежать физического, умственного и нравственного переутомления? Эта же наука только и может дать совет разумный любящим родителям о воспроизведении потомства...

Наука как великая истина не признает насилия и воспитывает своих представителей относиться ко всему окружающему осторожно и скромно. Хорошие, нравственные и знающие люди незаметны в общественной жизни, они не стараются выдвигаться, ибо исполняют только свой долг. С глубокой древности выдающиеся представители врачебной науки имели на народы гуманизирующее влияние.

Таковы были знаменитые врачи Индии, Тибета, Египта — александрийского периода, Греции, Рима и современной Европы, но зато общество и до сих пор еще не понимает и не вникает в этот великий смысл врачебной науки вследствие своей... [нрзб]...

Выбирайте себе лучшую воду и охраняйте ее, пользуйтесь ею в изобилии как для возмещения живой воды, в вас находящейся, так и для поддержания необходимой чистоты.

Пользуйтесь в изобилии атмосферным воздухом, не портите его и помните, что живой воздух, находящийся в вас, нуждается в обновлении — в атмосферном воздухе.

Врачебная наука говорит: будь правдив и не делай никому зла даже мысленно, не утруждай все пять чувств, но и не оставляй их в бездействии, — всегда и везде будь осторожен, — избегай всего, что невольно вызывает чувство страха, — не проводи бессонных ночей, в крайности необходимо немного заснуть на другой день, но непременно натошак, — не спи днем, этим могут пользоваться только истощенные, испытавшие горе, старики и лица чрезвычайно трусливые. Далее, не следует злоупотреблять половыми отношениями, в особенности же избегать последних, когда зрелость субъекта не выразилась еще естественным образом, наконец, следует избегать и чрезмерного физического труда».

Врачебная наука Тибета очень серьезно занимается исследованием женского организма. Именно в женщине, в ее организме, считает ВНТ, скрыта великая тайна духовного и телесного возрождения будущего человечества. Высоко призвание женщины как матери-руководительницы, которая, получив образование, равное с мужчиной, и сохранив ей присущие нравственность и чистоту, может дать миру Мир и Благодеяние.

В газете «Медицина» № 1 за 1889 год декан медицинского факультета Юрьевского университета, профессор, впоследствии академик С. М. Васильев в статье «О системе врачебной науки Тибета П. А. Бадмаева» писал:

«Г-ну П. Бадмаеву пришла удачная мысль дать в русском переводе сборник тибетской медицины «Жуд-Ши», с которой европейские врачи, вообще, очень мало знакомы. В самом деле, одни из них смотрят на тибетскую медицину как чуть ли не на медицину знахарей и т. п., другие ставят ее в ряд так называемой народной медицины. Действительно же... тибетская медицина, по-видимому, возникнув из одного и того же первоисточника с европейской, то есть греческой и даже египетской, рано отделилась от влияния последних и продолжала совершенно самостоятельно развиваться сначала в Индии, а потом на тибетском плато.

О холере тибетцы знали не только в то время, когда узнали европейцы, но еще за много лет раньше; точно так же о брюшном тифе, крупозном воспалении легких, чуме и т. д., тибетские врачи... о так называемых наших токсинах подзревали еще в то время, когда в Европе не допускали мысли о заразном характере вышеприведенных болезней. Не менее достойна удивления та мысль, что эти яды, по учению тибетской медицины, проникая в организм, теряют свою ядовитость, если физиологические процессы нормальны, а ткани органов вполне целы; если же целость и нормальность органов были нарушены, хотя бы временно в момент соприкосновения с заразным ядом, то заражение делается безусловным. Вот где по тибетской медицине скрывается случайность, на которую жалуется человечество вследствие низкой культуры».

В зрелые годы, достигнув известности, Бадмаев задумывает создать на Поклонной бурятскую школу с программой классической гимназии.

Из Аги, Читы, Забайкалья в Петербург потянулись бурятские дети. Среди них оказался будущий нарком здравоохранения Бурятии и будущий хамбала лама Гобоев — глава буддийской общины в СССР и на всем буддийском Востоке. Бадмаев учредил на восточном факультете университета две стипендии для инородцев. Когда в 70-е годы я был в Бурятии, на родине деда, кандидат исторических наук Жигжитжаб Доржиев подарил мне свою книжку, изданную Дальневосточным научным центром Академии наук СССР, — «Научное наследие Г. Ц. Цыбикова». (Цыбиков — бурят, знаменитый исследователь Тибета, профессор, писатель.) Автор книги сделал такую надпись: «Борису Сергеевичу — высокоуважаемому внуку агинского мудрого предка, который обучил Г. Цыбикова. Ж. Доржиев». «Мудрый предок» — это П. А. Бадмаев, фамилию которого автор в те годы предпочел не упоминать. А Цыбиков был стипендиатом Бадмаева.

П. А. Бадмаев обращается с ходатайством об открытии пяти медицинских семилетних школ при дацанах для бурятского населения Восточной Сибири. Ему разрешают открыть две медицинские школы для бурят и одну для калмыков. Кроме того, у него на Поклонной постоянно стажировались врачи Медико-хирургической академии.

Дорога, дорога на Восток — вот предмет его мечты и раздумий! В письме Витте от 26 декабря 1896 года есть такие строчки:

«Дорогой Сергей Юльевич! Вспомните начало нашего знакомства. Вы только умом обнимали Восток, хотя мало были знакомы с ним. Вы, по воле в бозе почившего государя Александра III, энергично настояли на проведении Сибирской железной дороги, изыскивая на это средства. Вы шире взглянули на это дело, когда узнали важное значение Китая для этой дороги, если она будет соединена с внутренними провинциями собственно Китая. Вы, вероятно, вспомните ту записку, которую я подал государю императору и Вам в самый разгар войны Японии с Китаем. Я просил четыре вещи: первое о том, чтобы Россия принудила Японию заключить мир; второе, чтоб никоим образом Россия не допустила Японии захвата на материке; третье, в отдельной записке, чтобы Россия удалила японского посланника Нисси, как вредного человека, а четвертое, с чем вы не согласились, полного преобразования Приамурского края, преобразования Азиатского департамента и факультета восточных языков».

В начале 900-х годов Петр Александрович обращается с просьбой признать за тибетской медициной право государственности и получает отказ. Тогда он пишет «Ответ на неосновательные нападки членов медицинского совета на врачебную науку Тибета» и издает его большим тиражом.

«У меня излечились десятки тысяч больных с болезнью «боро». Эти больные приходили ко мне с разными диагнозами европейских врачей: кто определял катар желудка, другой — язву желудка, камни в печени, туберкулез. Все эти больные совершенно излечились при употреблении шижэ дугба номер 179 совместно с другими лекарствами сообразно сложениям. Итак, способ исследования болезни, определения болезни и лечение по системе врачебной науки Тибета... стоит на строго научной почве».

В свою очередь он спрашивает своих оппонентов: «Чем объяснить, что в Петербурге, в центре цивилизации России, где ученые европейские врачи держат так высоко знамя своей науки, тибетская медицина привлекла к себе взоры страждущих и стала центром всеобщего внимания? Почему трудящийся рабочий люд, имея даровое лечение... наполняет приемную врачебной науки Тибета, ежедневно, сотнями, ожидая очереди по два, по три часа, платя последний трудовой рубль... Кроме того, теряет восемь рабочих часов в месяц на ожидание, — почему? Почему богатые также ожидают своей очереди и платят 5, 10, 25 р., тогда как они, сидя дома, могли бы пригласить к себе любую знаменитость, — почему?»

Здесь необходимо разъяснение относительно платы за лечение. Указанные суммы довольно значительны по тем временам. Но ему самому лекарства обходились дорого: большинство составных частей лекарств — травы, плоды деревьев — приходилось транспортировать из Бурятии, а некоторые из Монголии и Тибета. С бедных он брал мало. По свидетельству моей бабушки, дед иногда, увидев бедно одетого человека, пришедшего к нему на прием, говорил ему: «Спрячьте деньги, потом, потом...» И лекарства давал бесплатно. А миллионер Манташев за визит к доктору оставлял не менее 25 рублей золотом.

В предисловии к брошюре Бадмаев пишет:

«Отвечаю членам мед. совета лишь во имя науки и идеи.

Считаю своим долгом передать свое, воистину святое наследие миру. Забочусь о тех несчастных страждущих, которые, благодаря только тибетской медицине, получают и должны получать в будущем красоту — здоровье.

Мне лично — представителю этой науки — ничего не нужно...»

В 1900 году Петр Александрович расстался со своим секретарем Е. И. Вишневым, который, став его зятем, вместе с молодой женой уехал служить в Луцк. Доктор дал объявление в газету о том, что ему требуется секретер, желательно имеющий фельдшерское образование.

...Годом раньше в Петербург из Тифлиса приехали две подруги, окончившие гимназию, — Лиза Юзбашева и Виргиния Арцруни. Лиза Юзбашева была старшей дочерью в многодетной семье армянина штабс-капитана Федора Ивановича Юзбашева, служившего в Кавказском корпусе русской армии. Мать, Наталия Егоровна, была грузинкой. Сама Лиза являла образец пронзительной кавказской красоты. Семья Юзбашевых жила на скромное офицерское жалованье. И Лиза, сознавая, что сама должна подумать о своем будущем, решила ехать в Петербург и договорилась о том с подругой. Лизу тянуло к медицине, и она поступила на фельдшерские курсы, Виргиния — в консерваторию по классу вокала. Лиза снимала комнату на Фурштатской, близ Литейного, и жила репетиторством и перепишкой частных бумаг.

Лиза Юзбашева прочла в газете объявление Бадмаева — в 1900 году это имя было уже достаточно известно в Петербурге — и в тот же день отравила письмо, сообщив о себе короткие сведения и адрес. Она мало надеялась на успех — у нее не было рекомендаций. Однажды, вернувшись домой с урока, Лиза была встречена взволнованной квартирной хозяйкой, которая сообщила, что девицу Юзбашеву спрашивал

какой-то важный генерал, приезжавший в карете. Узнав, что ее нет дома, пожелал взглянуть на ее комнату. На бюроаре Лиза нашла визитную карточку: «Петр Александрович Бадмаев. Доктор тибетской медицины. Действительный статский советник. Поклонная, 1» — и записку с предложением приехать в назначенный час.

Позже она рассказывала, как, войдя в его кабинет, увидела невысокого, без единой сединки человека — волосы ежиком, — который стоял около большого письменного стола; он хоть и стоял, но всей своей позой, острым взглядом узких монгольских глаз выражал движение, стремительность. У него была небольшая борода и усы. Внешне ему нельзя было дать больше сорока, хотя ему было около шестидесяти. Полвека спустя моя бабушка Елизавета Федоровна Бадмаева с улыбкой вспоминала, что и в Тифлисе и в Петербурге вокруг нее крутились молодые люди. Она отвергала предложения. Войдя в кабинет и увидев Бадмаева, она сказала себе: «Тот самый».

..Он коротким жестом предложил Лизе сесть, взглянул на часы и сказал: «Первый экзамен на точность выдерж».

Он говорил с легким восточным акцентом и не все слова договаривал до конца, обрывая на полуслове. На нем был светло-коричневый, тонкой шерсти сюртук, темные брюки и мягкие туфли. Неслышно проаживался по мягкому персидскому ковру. «Как у вас память? — первое что спросил он и добавил: — Мои слова — ваша память».

Затем спросил, сколько мадемуазель Юзбашева желает получать жалованья. Лиза молчала. Тогда последовал вопрос: «Какой вы имете доход от переписки и репетиторства?» «Пятнадцать, иногда двадцать рублей», — ответила Лиза. «Хорш. Для начала положим тридцать. Согласны?» — «Да». — «Тогда завтра к двум часам дня на Литейный, шестнадцать. Работы много».

Как Петр Александрович рассказывал потом сам, на свое объявление он получил несколько десятков предложений. Он сам объездил претендентов и остановился на Лизе Юзбашевой, не видая ее, потому что ему понравился порядок в комнате и особенно на письменном столе. Трудолюбивая по натуре, Лиза проявила большое усердие в новой должности. К медицине ее тянуло с гимназических лет, ей нравился доктор. Все было так необычно и вначале казалось загадочным.

..Спустя год Елизавета Федоровна держала корректуру второго издания книги «Жуд-Ши».

«Голос больного, тон его голоса, вообще речь, звуки и шум, производимые больным при дыхании, при движении... дают возможность узнать как причину, так и сущность болезни. По голосу человека легко узнается его душевное настроение», — писал Петр Александрович. И далее продолжал:

«...Врачебная наука Тибета считает, что как благосостояние человеческого организма, так и расстройство его находится в зависимости от трех основных причин, которые, в свою очередь, зависят от степени физического и умственного развития человека: 1) от неумения пользоваться своими страстями; 2) от отсутствия истинной доброты и 3) от незнакомства с врачебной наукой в частности и от незнания вообще.

От первой причины — от неумения пользоваться своими страстями — возникают расстройства питания органов, тканей и частиц, поддерживающих равновесие жизненной, живой теплоты в организме.

От второй причины — отсутствия истинной доброты — возникают расстройства питания кровеносной системы с сердцем и печенью во главе.

От третьей причины, и в частности от незнания условий нашей жизни, возникают все расстройства питания и... простудно-катаральные болезни.

Как мы видим, врачебная наука Тибета связывает нравственное здоровье со здоровьем физическим: 1) ложь и клеветничество суть продукты потери воли вследствие расстройства восприятия, уподобления, всасывания, усвоения, удаления — очищения — расходования воздуха центральной нервной системы; 2) воровство, убийство, зависть, гордость, честолюбие, сребролюбие — продукты потери воли вследствие расстройства восприятия, уподобления, всасывания, усвоения, удаления — очищения — расходования воздуха и жизненных процессов желчи; 3) чрезмерная наклонность к яду, пьянству и беспутству — продукты потери воли вследствие расстройства восприятия, уподобления, всасывания, усвоения, удаления — очищения — расходования воздуха и расстройств жизненных процессов слизисто-серозной и млечно-лимфатической систем. Все другие аномальные явления в области мысли, речи и действий по врачебной науке Тибета также объяснимы расстройством жизненных процессов».

В трактате «Жуд-Ши» так поэтически описан наш организм:

«Сердце — царь органов, опора жизни, опора возраста, то есть от состояния сердца зависит продолжительность жизни и состояние духа.

Пять маленьких отростков легких... его держат, как мать держит на руках своего ребенка. Белая часть грудобрюшной преграды подобна белой занавеси. Печень подобна горе с острыми вершинами. Селезенка имеет толстые края, тонкую середину.

Правая и левая почки подобны силачам, со сложенными назад руками. Желудок подобен котлу для варки пищи и имеет вид редьки с четырьмя складками. Желчный пузырь подобен мешочку с золотом, привешенному к печени. Толстые кишки похожи на змею с тремя сгибами. Начало и конец тонких кишок указывают на начала и концы многочисленных оросительных канавок. Прямая кишка служит продолжением толстых кишок. Белая и темные жировые ткани брюшной полости помещаются между и впереди органов брюшной полости. Мочевой пузырь подобен мешку, отверстие которого обращено вниз. Семенной пузырь подобен железке и казнохранилицу.

Серьезные повреждения всех вышеуказанных органов ведут к смерти».

В 1903 году Петр Александрович поручил Елизавете Федоровне заведовать аптекой на Поклонной.

Впоследствии Елизавета Федоровна стала гражданской женой Петра Александровича Бадмаева. В 1907 году у них родилась дочь Аида.

Я — сын Аиды Петровны — родился уже после смерти деда. Родился в доме на Ярославском проспекте в Ленинграде, где он умер. Это всего в восьмистах метрах от Поклонной горы. Под горой в сиреневом саду с прудом стоял бревенчатый пятикомнатный особняк под железной крышей, над прудом росли черемуха, ивы. И мои первые десять лет жизни, вплоть до 1937 года, прошли в доме бабушки Елизаветы Федоровны. Мы с бабушкой часто ездили на Шуваловское кладбище, где был похоронен дед. И случалось, заставляли там в могильной ограде совершенно посторонних людей, бывших его пациентов; они приносили цветы на его могилу. В 30-е годы в округе Удельная — Озерки, пригородах Ленинграда, была жива память о нем, и даже останков на Поклонной называлась «Дача Бадмаева» — так объявляла кондукторша.

Взрослея, я узнавал подробности посещения дворца дедом. Во дворце он бывал в начале 900-х годов. Обыкновенно накануне Бадмаеву на Поклонную по телефону, который уже появился в Петербурге, звонил министр двора Фредерик и объявлял высочайшее желание, чтоб доктор посетил одну из заболевших дочерей. Обычно его встречала императрица, она и присутствовала при осмотре заболевшей дочери, задавала вопросы, тревожась, как всякая мать. (П. А. Бадмаев считался блестящим диагностом.) «Могу ли я допускать к больной моих девочек?» — следовал вопрос. «Можете, — отвечал дед, — но для полной безопасности покурите в комнате этой вот травкой. Я с ней входил в тифозные бараки», — советовал доктор и оставлял несколько тоненьких, толщиной со спицу, папиросок, сделанных из скатанных листьев тибетской травы. (Этими папиросками в детстве, бывало, дымила бабушка, входя ко мне в детскую: она делала несколько взмахов, папироска медленно тлела, шел не едкий, скорей приятный запах. Не знаю, от этого ли, но в жизни я никогда не болел гриппом, никакой из его ежегодных форм, и вообще не подвержен инфекции. Простужаться, да, случалось.)

Но продолжу рассказ, слышанный от бабушки. Однажды в конце визита доктора появился император Николай II. Петр Александрович знал его с детских лет, так как Александр III тоже изредка приглашал его. Николай начал разговор с вопроса:

— Петр Александрович, я читал вашу записку, касающуюся нашей политики на Востоке... Какую опасность вы видите там?

Основная мысль рассуждений деда состояла в том, что Тибет — ключ к Азии со стороны Индии. И англичане ясно осознают, что, завладев Тибетом, они через Куку-нор, Алашань и Монголию будут иметь влияние с одной стороны на наш Туркестан, а с другой — на Маньчжурию... И будут возбуждать против нас весь буддийский мир. И действительно сделаются хозяевами над монголо-тибето-китайским Востоком.

Император молча выслушал и спросил о второй опасности.

— Япония, ваше величество! Да, это маленькая страна и отделена от нас водой... Но Япония уже не та, что полвека назад. И она ведет себя вызывающе.

Это не просто пересказ того, что я слышал от бабушки. В сохранившемся письме Николаю II после русско-японской войны в 1907 году действительный статский советник П. А. Бадмаев прямо укорял императора за провал русской политики на Востоке.

«Ваше Величество!

При дворе богдыхана соглашение министра финансов с Лихунчангом о железнодорожной линии было понято в неблагоприятном для России смысле. Японцы и европейцы, воспользовавшись этим, успели убедить китайских вельмож, что такая агрессивная политика России угрожает Китаю. Японцы, заручившись благожеланиями европейцев, Америки и Китая, объявили нам войну, для того, чтобы доказать всем, а главное — многомиллионному Китаю, могущество Японии, и в то же время показать слабость России.

Этого они вполне достигли. Японцы вели войну с Россией, а захватили вассальное Китаю государство — Корею и китайскую провинцию — Южную Маньчжурию, занятую нами, а также перехватили половину нашего Сахалина...

Современные деятели обязаны мудро исправить нашу ошибку на Востоке, умело начать переговоры с властями Китая и изменить существующее условие, возникшее на Маньчжурской ж. д. после Портсмутского договора».

Петр Александрович не раз обращался к царю с жалобой на читинскую русскую администрацию (особенно при министре Плеве), собирающую дань с бурят в виде взятки. И во время очередного визита Бадмаева во дворец между царем и дедом, как передают, произошел такой диалог.

— ...Мне докладывали... Вы пишете, жалуетесь на притеснения, чинимые будто бы бурятам. Но вот передо мной стоит бурят — известный врач и действительный статский советник, — улыбаясь, сказал Николай.

— Ваше величество, я один, один!.. Силой случая... Я другое хочу сказать. Русский чиновник в Сибири, особенно в Забайкалье, дискредитирует императорскую власть и этим подрывает доверие к трону... Известный вам Сперанский, будучи послан в Сибирь губернатором, привлек к суду шестьсот чиновников за взятки... И укрепил этим доверие к власти!

— Дайте мне Сперанского, и я пошлю его в Сибирь губернатором, — тихо, но уже без улыбки отвечал Николай.

Петр Александрович по наивности на мгновение задумался, кого же рекомендовать, но тут же понял и скрытую иронию Николая и свою наивность. И он промолчал.

— Говорят, ваша наука полна таинственности, это верно? — спросил император.

— Ее окружали таинственностью те, кто хотел скрыть ее от людей. Даже в «Жуд-Ши» это было. Но я, переводя эту книгу, постарался освободить ее от суеверия, шаманизма. Наука с этим не уживается.

Уже вышло второе издание «Жуд-Ши» и ряд других работ, но Бадмаева продолжают упрекать в том, что он не делает достоянием общей гласности самое важное — рецептуру своих лекарств. В ответ на эти упреки он выдвигает идею создания народных аптек:

«Лекарственные вещества ВНТ имеют огромное значение для больного только в том случае, если они приготовлены в высшей степени тщательно и точно, как предполагает эта наука...

Я нахожу нужным эксплуатировать эти лекарственные вещества в пользу народного образования, и название аптеки будет «Народная аптека П. А. Бадмаева». При этом лекарственные вещества, выходящие из этой аптеки, должны получать привилегию как в Российской империи, так и за границей, на западе и на востоке. Это необходимо потому: 1. Навсегда обеспечить капитал для народного образования. 2. Будет иметь возможность тщательно готовить лекарственные вещества; необходимо оградить эти лекарства от различных злоупотреблений.

Оглашение средств тибетской медицины заинтересует всех врачей и фармацевтов, и эти лекарственные вещества должны поступать в аптеки, а приготовленные там расходиться по клиникам, госпиталям и больницам. Доходы этой аптеки в пользу народного образования могут возрасти до многих миллионов рублей; П. А. Бадмаев желает, чтоб 50% этого дохода шло на народное образование, 30% для поддержания аптеки, для изучения ВНТ и 20% в пользу П. А. Бадмаева и его потомства по его указанию во все времена существования аптек».

В 1910 году был полувековой юбилей открытия в Петербурге аптеки тибетских лекарственных трав. На Поклонной был отслужен молебен. Петр Александрович издал «Справку о положении врачебной науки Тибета в России».

«С 1860 года по 1873 год руководил этой аптекой А. А. Бадмаев, а с 1873 года руководит П. А. Бадмаев. С 1873 года было всего 573 856 посещений и отпущено 8 140 276 порошков», — сообщает автор и подкрепляет это ссылкой на документы. Затем пишет:

«Если в руках только двух представителей Бадмаевых врачебная наука Тибета приобрела огромную аудиторию и амбулаторию в России, то, бесспорно, при наличии большего количества трудоспособных дипломированных врачей в короткий период времени эта наука сделается общим достоянием России, у которой должна будет позаимствовать ее вся Европа».

Письма из туберкулезных курортов Швейцарии не оставляют никакого сомнения, что и западноевропейские больные уже прислушиваются к результатам лечения по методу врачебной науки Тибета. По общему закону, страдающее человечество всегда **чутко** относится ко всему тому, что может облегчить его страдания».

Объявлена война, и оба сына Петра Александровича — Петр и Николай — идут добровольцами на фронт. На Поклонной организуется госпиталь.

Наступают последние годы самодержавия.

А. Блок в своей книге «Последние дни императорской власти» дает такую характеристику П. А. Бадмаеву: «Бадмаев — умный и хитрый азиат, у которого в голове политический хаос, а на языке шуточки и который занимался, кроме тибетской медицины, бурятской школой и бетонными трубами,— дружил с Распутиным и Курловым... при помощи бадмаевского кружка получил пост министра внутренних дел Протопопов».

Здесь, по-моему, одно неточное слово «дружил» — они были его пациентами. Если его приглашали во дворец, то, естественно, к нему стремились попасть и придворные. К нему ездил министр двора, известные думские деятели. Протопопов, например, лечился от тяжелой наследственной болезни, от него отступились европейские врачи. Что касается Распутина, то здесь дело сложнее; П. А. Бадмаев пытался бороться с ним: в январе 1912 года он скрывал у себя на Поклонной иеромонаха Илиодора, высланного из Петербурга за обличение Распутина. Записку Илиодора, знавшего много о Распутине, Бадмаев передал председателю Государственной думы Родзянко. Но эти попытки борьбы со старцем, как и попытки многих других бороться с Распутиным, с его влиянием, ни к чему не привели. За попытку разоблачить Распутина Петр Александрович был отлучен от двора. К этому времени относится нижеследующее горестное письмо П. А. Бадмаева, помеченное лишь датой — 9 октября 1912 года. Очевидно, оно было передано министру двора Фредериксу.

«Ужас меня объял, когда прочитал сегодня вечером бюллетень о состоянии здоровья государя-наследника.

Со слезами умоляю вас давать эти лекарства государю-наследнику в продолжение трех дней. Я убежден, что после трех чашек отвара, принятых вовнутрь, и одной чашки отвара для компресса снаружи улучшится состояние государя-наследника и изменится температура. А Европа не имеет никаких средств против ушиба наружного и внутреннего, кроме льда, йода, массажа, особенно в острых случаях с высокой температурой... Если вам удастся уговорить начать принимать мои лекарства, то просите никаких других лекарств не давать, как вовнутрь, так и наружу, не исключая льда.

Кухать только овсянку на бульоне и молоке. Если окажутся запоры, то давать мое желудочное, которое прилагаю. Что в этих лекарствах никаких ядов нет, вы можете легко доказать, выпив подряд три чашки отвара, а мое желудочное, вы знаете, худо действовать не может.

Псылаю вам три конверта с порошками: I. кипяченое, дабсен-тан, от ушиба. Давать каждые четыре часа; в промежутках бульон, овсянку или молоко; II. желудочное. Принимать за час до еды, час спустя после кипячения, если окажутся запоры; III. габьр-нирнга, при высокой температуре с моего ведома».

Я пишу о деде прежде всего как о выдающемся ученом — теоретике и практике врачебной науки Тибета. Но он был еще и человеком большой государственной мысли.

В «Объяснительной записке о проекте трансмонгольской железной дороги» он пишет:

«Несомненно, что новая железнодорожная линия пробудит самосознание инородцев всего этого края и создаст естественно новые статьи товарообмена соединяемых областей: непосредственная связь с Америкой даст возможность снабжения Туркестана американскими сельскохозяйственными орудиями, в частности машинами для обработки хлопка; в свою очередь Туркестан получит новый громадный рынок для плодов и фруктов, занимающих после хлопка главную статью добывающей промышленности края».

10 июля 1916 года в «Памятной записке» по поводу создания русско-армянского акционерного общества «с целью проведения необходимых путей сообщения, разработки естественных богатств страны, содействия развитию сельского хозяйства, торговли и промышленности с первоначальным капиталом в 10 000 000 рублей» он пишет:

«Настоящая великая война воочию доказала крайнюю трудность, если не сказать невозможность самостоятельного существования малых народностей, так как даже небольшие самостоятельные государства, как Сербия и Болгария, погибли при первых ударах столкнувшихся между собой великих держав. Поэтому для отдельных народностей, уже проживающих в пределах Российской империи, является наиболее целесообразным их полное слияние с империей при условиях сохранения своей национальной самобытности. Ставя свои интересы вполне солидарными с интересами империи, отдельные народности должны желать приобретения полностью тех же прав, какими пользуется коренное население, сохраняя свое национальное самоопределение в области религиозной, культурной и экономической.

Принимая настоящее общее положение к армянскому народу, как уже населяющему Российскую империю... необходимо прежде всего сжиться с существующим го-

сударственным строем, получить политические права, равные с русскими подданными... а путем развития экономического благосостояния получить полную свободу осуществить свои национальные особенности».

8 февраля 1917 года, за двадцать один день до падения династии Романовых, Петр Александрович отсылает Николаю письмо, найденное после революции в царском архиве; в письме П. А. Бадмаев указывает на огромное значение для России не замерзающего мурманского порта, предлагает проложить железнодорожную ветку для соединения Мурманской железной дороги с великой Транссибирской дорогой, а также увеличить пропускную способность Мурманской дороги созданием второй колеи. Он пишет:

«Порт Романов должен сыграть мировую роль для нашего Отечества — большую, чем берега Финского и Рижского заливов, Немецкого моря и даже Черного моря и Дарданелл. Порт Романов будет не только конечным портом для всей России... но даже конечной точкой для всего азиатского Востока... На берега Франции, Англии и на другие берега Европы доставка эта будет также производиться легче и быстрее, минуя огромные океанские пространства и минуя закрытые Балтийское и Черное моря».

Симптоматично окончание письма, подтверждающее разрыв Бадмаева с двором:

«Очень сожалею и удручен, что последние годы я не имел счастья видеть Ваше Величество, чтобы знать, в какой мере изменились взгляды Вашего Величества на все происходящее».

В роковой для Романовых день — 2 марта 1917 года, — узнав об отречении императора Николая II от престола, Петр Александрович с минуту сидел, опустив голову, потом сказал: «Поздно! Идет война. При переходе через бурные реки лошадей не меняют: снесет и лошадь и седока. Но, видно, такова Божья воля...»

II

...17 октября 1907 года в конце приема Петру Александровичу вручили телеграмму, заключающую в себе два слова: «Взошла звезда».

В этот день он кончил работать раньше обычного. Написал на бумаге слова: «Счастлив. Молюсь здоровье обоим», надписал адрес и просил секретаря отправить на городской телеграф по московскому адресу. Затем принял от горничной легкое пальто, спустился с третьего этажа семизэтажного дома на Литейном и сел в ожидающий его экипаж, который тотчас двинулся в сторону Литейного моста. Он думал о судьбе новорожденной дочери. Ей уготована тяжкая участь — считаться незаконнорожденной. Есть варианты, но они либо незаконны, либо неприемлемы. Какой-то выход он несомненно найдет. Цепь будет разорвана!

Здесь я передаю слово моей матери, Аиде Петровне, предоставляя место ее запискам. Текст буду сопровождать небольшими комментариями.

Записки мамы охватывают время с ее детских лет до 1920 года.

Аида Петровна была врач-хирург, скончалась в 1975 году. К глубокому сожалению, она немного не дожила до того времени, когда имя ее отца было признано научной медицинской общественностью; о П. А. Бадмаеве, о его выдающихся заслугах перед наукой появились статьи в центральной печати. В признании П. А. Бадмаева есть заслуга и его дочери: в 50—60-е годы она свела разрозненные в разных источниках рецепты отца в единую книгу-рукопись; в своей работе она дает названия тех или иных ингредиентов, входящих в состав лекарств, на трех языках — русском, тибетском, латинском. Работа эта получила высокую оценку комиссии Академии наук СССР, изучавшей архивы П. А. Бадмаева. В настоящее время ведется работа по подготовке к переизданию бадмаевского перевода «Жуд-Ши».

Итак, записки младшей дочери Петра Александровича Бадмаева — Аиды Петровны Гусевой, врача-хирурга, майора медицинской службы в период Отечественной войны, кавалера ордена Отечественной войны I степени, медалей «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и других. Записки датированы 1957—1960 годами.

«Дни детства»

Родилась в Москве 17 октября 1907 года, где в то время находилась моя мать и сопровождающая ее акушерка, близкая к дому отца моего. В хмурый октябрьский день в восемь утра появилась на свет удивительно некрасивая девочка с черными прямыми волосами, раскосыми глазами и расплюснутым носом.

Взглянув на меня, мать и обрадовалась и расстроилась. По сходству с отцом — монголом — сомневаться в моем происхождении было невозможно...

В десять часов утра пришла в дом моя няня, крестная мать, воспитательница, добрый гений моего детства да и всей моей жизни, умершая в глубокой старости на моих руках, — Акулина Яковлевна Бундина. Я буду называть ее, как звала, Кулюшей. До конца дней она сохранила светлый ум, необыкновенную доброту, красоту души.

Договорились, что на время Кулюша останется со мной, ребенком на искусственном питании. Через две недели мама вернулась в Петербург. Я была целиком на попечении Кулюши. Тем, что вернулась в Петербург одна, мама, вероятно, хотела пресечь слухи о моем появлении. В раннем детстве меня скрывали.

Через два месяца, как было условлено, Кулюша повезла меня в Петербург к моей матери. Она оставила в Москве свою дочь Маню пятнадцати лет, все вещи, повезла меня с твердым намерением вернуться в Москву. Но суждено было иначе. Позже Кулюша рассказала мне, что, устроив все, что было нужно в нашей небольшой квартирке на Песках, она собралась в обратный путь, но жалость к смешной маленькой девочке, признававшей только ее да еще находившейся в необычном положении незаконной, скрываемой от всех, удерживала ее. Она колебалась и уже собралась было в обратный путь, но пришел мой отец. Его властная просьба не оставлять меня решила ее и мою участь.

Все мои первые воспоминания связаны с Кулюшей, которую я до пяти лет звала мамой. (Потом появилась гувернантка, мадемуазель, начавшая строгую муштровку, она запретила называть Кулюшу мамой.) Но и позже Кулюше иногда приходилось выдавать меня за родную дочь.

Сейчас это кажется странным, но приехавшая из Тифлиса моя родная бабушка Наталия Егоровна не знала о моем существовании — от нее тоже скрывалась тайна моего рождения. Она считала меня жиличкой дочерью, а Кулюшу — жиличкой. Раз утром после ухода матери на прием Наталия Егоровна обнаружила меня хозяйничающей за туалетным столиком в маминной спальне. Бабушка, взяв меня за руку, вывела из комнаты и, приведя к Кулюше, строго сказала: «Возьмите, милая, вашу девочку, и пусть она не бегает по комнатам в отсутствие Лизочки».

Кулюша извинилась и приказала мне сидеть подле нее. Вечером бабушка пожаловалась маме, что «дочка твоей жилички ходит без спроса в твою комнату».

Мама промолчала, горько вздохнув и боясь все же признаться в нашем родстве. Но на второй или на третий день бабушка догадалась об этом сама и, плача, просила у меня прощения.

Жили мы тихо и уединенно. Мама все дни проводила с отцом на приеме больных. Из семьи отца моего нас посетила его старшая дочь Надежда Петровна. Она пришла и прямо сказала моей матери: «Покажите мне мою сестренку». И мама и я были очень дружны с Надюшей, как мы звали ее; эти дружеские отношения сохранились до сегодняшнего дня. Но остальные члены семьи отца относились к моей матери очень настороженно — ведь она была почти ровесницей Надюши.

Мной очень интересовалась жена Петра Александровича Надежда Васильевна и летом, когда мы жили на даче, приезжала меня смотреть, чтоб узнать, похожа ли я на отца. Но Кулюша, видимо, имея инструкцию, помню, загородила меня собой и спросила приехавшую барыню, кого нужно ей.

«Чья это девочка?» — грозно спросила барыня. «Это моя дочь», — судорожно, совсем необычным, важным голосом сказала Кулюша.

Я испуганно держалась за Кулюшину платку, но все же выглядывала из-за ее спины своими раскосыми, выдававшими меня глазками.

«Кто здесь живет и кто вы такие?» — продолжала допрашивать барыня. «Живу здесь я, купеческая вдова Бундина, с дочерью, а до большего вам, сударыня, деда нет. Ступайте с Богом!» — проговорила Кулюша и, крикнув горничную, приказала ей взять меня, а сама стала настойчиво наступать на барыню. Та отступала к калитке, гневно размахивая зонтиком. Села в стоявшую у дома карету и уехала. «Ну, слава Богу, пронесло», — вздохнула Кулюша. Но с этого дня меня не пускали в сад одну.

Мой отец, глава многочисленного семейства, сам уже дед, очевидно, не хотел громкого бракоразводного процесса, с консисторией и адвокатами и т. д. Он был очень религиозен, супруга не давала развод, и он не желал идти в открытый скандал. Мама же, работавшая вначале его секретарем, полюбила этого необычного человека, работавшего по двенадцать—четырнадцать часов в сутки, вспыльчивого и доброго. Узнав его, не могла не полюбить. И это была единственная любовь ее жизни, продолжавшаяся до смерти отца. И после... Память о нем была для нее священной...

Акулина Яковлевна прожила долгую жизнь и умерла на девяностом году, перед Отечественной войной. Она жила у нас в доме. В ней как-то интересно сочетались старина и современность. Каждое лето в гости к Акулине Яковлевне из Нижнего Новгорода приезжали дочь Маня с зятем и две внучки, девочки постарше меня. Дочь Маня всякий раз уговаривала мать переехать жить в Нижний. Но Акулина Яковлевна так любила маму, что не решалась оставить наш дом...

«Уже в наше время мама много мне рассказывала о своей жизни и работе на Поклонной до моего рождения. Отчетливо помню рассказ ее, как во время революции

1905 года группа бежавших студентов-революционеров обратилась к отцу с просьбой спрятать их от преследований полиции. И вот Петр Александрович одевает этих студентов в форму аптечных работников, которые в огромных медных ступах толкут лекарства. И сажает к ступам. Полицейские обошли усадьбу на Поклонной и никого не нашли. Вскоре Петр Александрович помог и деньгами, студентов благополучно переправили за границу через Финляндию...

Записки эти веду непоследовательно, выстроить их нет времени: работа, полторы ставки, внуки... Я — бабушка, сама даже не верю этому. Но я почувствовала необходимость вести записки после смерти моей мамы. Как теперь я ощущаю ее отсутствие!.. Она мне не раз рассказывала странный случай, происшедший с ней.

За несколько месяцев до родов моя мать выехала за границу. По дороге из Швейцарии в Париж она подошла к кассе, прося дать билет первого класса. Кассир просунул в окошко билет, сказав по-французски, что дает третий класс. Мама вернула ему билет, требуя первого класса. Начался спор. Кассир сказал: «Мадам, езжайте в третьем классе... Уверю вас, не раскаетесь». Мама махнула рукой и взяла то, что дали. И это спасло ее жизнь.

Судьба? Странная случайность? Ночью на горном перевале произошло крушение поезда, и все вагоны первого класса были разбиты падением с кручи. Уцелели лишь два вагона третьего класса. Мама рассказывала, какой ужас ей пришлось пережить, видя внизу, в ущелье, огненное, кровавое месиво...

Второй, уже забавный, случай. Возвращаясь в Россию, она приехала в Берлин заболевшая, беременная, одна, не зная немецкого языка. В гостиницу она устроилась, но утром никак не могла объяснить горничной, что ей нужна чашка кипятку, чтоб принять лекарство — шижет, который принимала всю жизнь. Та несет чай, но шижет нужно пить только с кипятком. Мать лежала и плакала. Вдруг у раскрытого окна (был сентябрь 1907 года) спустился лолька с маляром, красившим фасад здания гостиницы. К маме обратился рабочий, и снова по-немецки. Мама, плача, махнула рукой и по-русски ответила, что не знает немецкого языка. И вдруг раздался редкий русский голос: «Госпожа! Красить можно?» Нечего говорить, как мама обрадовалась: все затруднения тотчас кончились с помощью неожиданного переводчика, оказавшегося русским.

Впоследствии мать часто вспоминала этот случай и в трудные минуты жизни говорила мне: «Подожди, Аидочка, еще будет „красить можно?“ — придет неожиданность, и по странной случайности это иногда свершалось...

Забегая вперед расскажу один случай со мной.

Начало Отечественной войны. Конец августа 1941 года. Критические дни для Ленинграда. В первые недели войны я работала в медкомиссии военкомата, потом, когда основная масса прошла, всех хирургов отозвали на фронт. В горвоенкомате я получила назначение в медсанбат под Красным Селом. Вышла в коридор, перечитываю назначение, знаю, что там сейчас идут самые кровавые бои. Но у меня одна мысль: как предупредить четырнадцатилетнего сына, он на другом конце города и, главное, как соединиться с ним и быть с ним вместе, если наступит страшный час и немцы войдут в город — такие слухи ходили... Кругом снуют военные. Я докуриваю папиросу и создаю: я мобилизована, надо ехать под Красное Село, выполнять приказ. А если?..

Вдруг двери кабинета, из которого я только что вышла с назначением, открываются и выскакивает подполковник, видит меня, хватается за голову: «Вы еще здесь, военврач! Как удачно, что вы не ушли! Давайте назад свое назначение! Организуется госпиталь в Политехническом институте — там ни одного хирурга... Поедете туда, там нужней, сегодня поступит первая партия раненых».

Политехнический институт недалеко от моего дома.

Отца я помню с самого раннего детства, хотя я не знала, что это мой отец. Мы жили отдельно. Наконец в восемь лет меня повезли на Поклонную знакомить с моими старшими сестрами по отцу. В этот день мать моя с утра была не в духе, делала ненужные замечания гувернантке и, видимо, волновалась, оглядывая меня, разодетую и причесанную, с двумя косичками. И вот мы в зале. Ко мне подходит важная барыня в черных шелках, с массой кружев у шеи — та, что приезжала смотреть на меня.

«Так вот какая она славная девочка!» — сказала Надежда Васильевна и, приподняв мой подбородок, потрепала по щеке. Я сделала реверанс. «Милая девочка, — повторила она по-французски, обращаясь к моей матери, — и очень похожа на папу».

На Поклонной меня познакомили с моими старшими сестрами по отцу — Татьяной и Марией, а также с внуками Петра Александровича, почти моими ровесниками, Петей и Колей — детьми самой старшей дочери отца, Надюши. С ними у меня возникла дружба. Про отца я знала, что он умер. А Петр Александрович — мой крестный. Правда, он очень хорошо относился ко мне. Я была его последней дочерью... И узнала об этом при трагических обстоятельствах.

Ранние воспоминания о Кулуше. Будучи очень религиозной, она начала рано водить меня в церковь. Одна из любимых была прогулка в Александро-Невскую лавру. Туда мы ездили на паровике или конке. Причащала меня часто, но несмотря на глубокую веру, подносила меня к чаше первой, энергично расталкивая всех желающих, — боялась заразы.

Однажды в Петербург привезли чудотворную икону Почаевской Божьей Матери... И Кулюша повезла меня.

Росла я спокойной девочкой, сурово вымуштрованной бонной. Мать я видела редко. Жаловаться на суровость не приходило в голову. День был расписан по часам».

Примерно это время, 1912—1914 годы — канун первой мировой войны, вспоминает внук П. А. Бадмаева, ученый и изобретатель в области химии, ныне покойный (умер в 1988 году на восемьдесят втором году жизни), Николай Евгеньевич Вишневский — один из сыновей старшей дочери Бадмаева — Надежды Петровны, той, что вышла замуж за секретаря своего отца, Евгения Ивановича Вишневского. В последнюю нашу встречу (в 1987 году) Николай Евгеньевич вспоминал:

«Каждый раз, встречая меня с братом, дед целовал нас в голову, причем по монгольскому обычаю нужно было непременно прикоснуться не губами, а зубами... И мы подставляли свои макушки, чувствуя каждый раз прикосновение зубов деда. Зубы у деда были ровные, чистые, без единой пломбы, ни одного гнилого — на седьмом десятке! Вообще он чрезвычайно силен физически. Останавливал коня на скаку. С нами, внуками, был очень нежен... Просил читать ему вслух стихи Пушкина, Майкова.

По четвергам на Поклонной собиралась молодежь, в основном военная, — друзья нашего дяди Петра, офицера. Играли в городки, в теннис. Потом всех звали к обеду. За стол садилось человек двадцать... Вся атмосфера на Поклонной была очень доброжелательной. Правда, бабка наша, Надежда Васильевна, бывала сурова, но это не влияло на общее настроение. По учению врачебной науки Тибета, окружающее нас пространство — тоже лекарство. Вот дед и стремился создать атмосферу всеобщей доброжелательности».

Из рассказа бабушки, Елизаветы Федоровны, о конфликте деда с министром Протопоповым. Столкновение произошло, как считала бабушка, когда Протопопов был назначен министром. Он справедливо полагал, что теперь не он должен ехать к доктору, а доктор приедет к нему. Но не дождался его визита. Очередная порция порошков подошла к концу. И Протопопову волей-неволей пришлось ехать на Поклонную — он не хотел показываться в новом ранге на Литейном в качестве больного вне очереди. Лишние разговоры, любопытство...

Протопопов прошел в кабинет Петра Александровича и оставался там некоторое время. Бабушка не присутствовала при их разговоре. Но неожиданно услышала громкий крик Петсана: «Вон! Вон из моего дома!» И из дверей кабинета поспешно вышел Александр Дмитриевич, бледный. «Увидев меня, — говорила бабушка, — Протопопов быстро подошел ко мне и сказал: «Уйдите вашего безумного старика, иначе я его вышлю из города!» И пошел к лестнице. «Дурак, болван, осел!» — крикнул ему вслед Петр Александрович».

Бабушка говорила, что так и не могла узнать, из-за чего же произошел скандал. Петр Александрович лишь повторял: «Министр!!! Не знает, что делать, — какой он министр?! Честнее — в отставку... Карьеристы проклятые... Только власть иметь!»

На вопросы бабушки, что все-таки произошло, дед замахал руками и повторил трижды: «Пропать, пропать ведет!..»

«Постоянная и обширная переписка отца с Тибетом, Китаем была вызвана тем, что отцу присылали оттуда литературу и лекарственные травы. Зная Восток, он, как человек мыслящий, энергичный, выдвигал разные проекты, преследуя интересы и своих соплеменников и России в целом. Неверно, что он преследовал личные корыстные цели, что приписывали ему в 20-е годы. Да, по убеждению он был монархистом — это так. И отрицать это бессмысленно. Более того, он был сторонником абсолютной, не конституционной монархии. Мне трудно судить верно о событиях политического характера, к которым так или иначе был причастен отец; уже одно то, что он был знаком с такими одиозными фигурами, как Протопопов, о чем-то говорят. Но то были деятели того времени и его пациенты. Одно твердо можно сказать: он был предан России и доказал это. Имея неоднократную возможность покинуть ее в тяжелые годы гражданской войны, он остался в России и испытал горькую чашу крушения своих иллюзий, надежд».

Как много пережито за эти годы! Из девочки, гулявшей по Летнему саду с мадемуазель, я стала самостоятельным человеком, выполняющим и серьезные поручения. Когда мама отрывалась от приема больных, она поручала мне аптеку, то есть выдавать лекарства по повторным рецептам: записать, какие лекарства следует приготовить и какие больные придут повторно для беседы. Но все это было позднее...

Ближе к осени 1917 года на Поклонную прибыл комиссар Временного правительства с охраной. Разговор его с отцом был недолг — отец попросту выставил

пришельцев. Очевидно, комиссар не имел полномочий на арест его, но отношения с Временным правительством были испорчены. П. А. Бадмаева сопричислили к группе неугодных и неудобных лиц и решили выслать из России.

Мать ехала с ним и колебалась, брать меня или оставить с Кулюшей. Она решила спросить меня, оставив за мной последнее слово. Несмотря на сильную привязанность к Кулюше, моей второй матери, я все-таки попросила маму взять меня с собой. После долгих и горьких слез меня буквально оторвали от Кулюши и повезли на вокзал. Шел дождь, было холодно. Я продолжала тихонько плакать, прижимая к себе любимую куклу Лизу. На платформе Финляндского вокзала стоял состав. Нас посадили в последний вагон. У дверей встал караул. Мы устроились в одном из купе. Я стала бегать по коридору, присматриваться к спутникам. Как выяснилось, в нашем вагоне ехали Вырубова, Эльвенгрен, Глинка-Янчевский, Манасевич-Мануйлов.

Поезд тронулся. Провожачие все плакали — разлука предполагалась навсегда. Мама была все время хмурой, встревоженной. Петр Александрович, напротив, шутил, успокаивал всех. Началась игра в шахматы. Взрослые зазывают меня в купе, угощают конфетами — словом, развлекались мной.

Затем — граница, и поезд пошел по Финляндии. На станции Рахиньяки поезд был остановлен революционными войсками. Окружившим вагон матросам и солдатам сказали, что едут «царские приближенные». Понятна реакция возмущенной толпы...

Как все меняется! Помню, ранним летом 1914 года мы с Кулюшей шли по Невскому. Вдруг шедшие остановились, образовалась толпа. Пронеслось: «Царь, царь едет!» Кулюша подняла меня на руки, и я увидела проезжающих в открытом ландо императора и императрицу. Их приветствовали...

Наш вагон окружили. Солдаты приготовились стрелять прямо в окна. Началась паника. Сопровождающая вагон охрана исчезла, мы были брошены на суд народа. Вырубова рыдала, мама с потемневшим лицом металась между мной и Петром Александровичем. Кто-то молился...

Вдруг отец направился к дверям вагона. Он решил выйти к толпе. Помню чей-то крик: «Остановите его!.. Нас растерзают...» Мама попыталась удержать его, но Петр Александрович оттолкнул всех, распахнул дверь вагона, сорвав пломбу (вагон был запломбирован), и предстал перед толпой. И тотчас стал говорить. Странно, но толпа смолкла. Не могу передать содержание его речи, хотя мама послала меня вернуть отца, я стояла рядом с ним, дергала за рукав и шептала: «Пойдемте, мама зовет вас, Петр Александрович!» Не знаю, что подействовало — его речь или мой вид, — но вскоре я увидела улыбающиеся лица. Вагон наш отцепили от состава и оставили под охраной.

Мы должны были ехать через Швецию в Англию, но судьба решила иначе. Ночью нас под охраной направили в Гельсингфорс на легковых машинах. И ночью же нас доставили на бывшую царскую яхту «Полярная звезда» для решения нашей участи.

После допроса нас отвели в трюм. Помню сквозь сон голос мамы, просившей матроса отправить меня в Петроград, так как ждали смертного приговора — шло бурное заседание трибунала. Мне захотелось подняться наверх. Я прошла мимо часового на палубу. Смотрела на море. Потом зашла в каюту, там сидели несколько матросов, о чем-то спорили. Мое появление вызвало улыбки. Готовый для исполнения смертный приговор был отменен для всех арестованных. Потекли дни в заключении. Жили в трюме, по команде садились за стол, утренний чай, обед, ужин. Кормили хорошо, еда мне нравилась, отсутствием аппетита не страдала и ела все без разбора. Но в трюме было много черных тараканов, которых я очень боялась. И вот однажды на обед подали мою любимую запеканку из макарон. Съев половину, я, к ужасу, обнаружила запеченного таракана. Я промолчала, но перестала есть. Старик Глинка-Янчевский (бывший редактор газеты «Земщина») спросил: «Отчего ты не ешь, деточка?» «Не хочу, сыта», — отвечала я. Ведь меня воспитали так, что я не должна была замечать таких вещей. «Ну так я доем, если не хочешь», — сказал Глинка-Янчевский. Я растерялась, не зная, как вести себя, а он тем временем доел запеканку.

Комиссар хорошо относился ко мне, он показал мне яхту. Наверху было роскошное помещение — зал, где лежали пушистые ковры, стояли зеркала, большой рояль. Мне разрешили поиграть на нем.

Между тем к отцу в трюм стали ходить больные из числа матросов, а у него были с собой лекарства. И он лечил.

И вот приказ из Центра: всех сопровождающих освободить и отправить на родину, остальных — в Свеаборгскую крепость. Запомнилась ночь нашей отправки с корабля. Мать горько плакала, расставаясь с Петром Александровичем. Она выразила желание отправиться с ним, но ей не разрешили, да и отец советовал ей ехать в Петроград, хлопотать об освобождении его. Слез было много, ведь неизвестно было, просто ли это переезд в крепость или вновь стоит вопрос о жизни заключенных.

Мужчины хмурились, крепились... Это было в конце сентября 1917 года. И в темную сентябрьскую ночь я стояла на палубе, чувствуя себя забытой среди горя и слез старших. Но вот ко мне подошел отец, перекрестил, поцеловал, сказал, чтоб я была умницей, и стал спускаться по трапу в катер. Была черная и бурная ночь. Катер отъехал. Маму и меня перевезли на берег. Мы устроились в ближайшей гостинице «Фенна».

Вскоре мама заторопилась в Петроград, чтобы начать хлопоты. Она развила бурную деятельность за освобождение отца, ходила к министрам Временного правительства, но долго не рискнула задерживаться в Петрограде, боясь за жизнь и здоровье Петра Александровича, и, взяв меня с собой, вернулась в Гельсингфорс, чтобы быть ближе к нему. Маме разрешили свидания и передачи почти ежедневно. Жили мы в той же гостинице, недалеко был базар, куда я бегала покупать мясо для бурятского супа. Часто я ездила с мамой в Свеаборгскую крепость. Она представляла собой низкое каменное здание с небольшим двором.

Так мы прожили около месяца. И наконец пришел приказ об освобождении. Всем было разрешено вернуться на родину. Приказ об освобождении пришел уже от Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов где-то в середине ноября, то есть после Октябрьской революции. За отца хлопотали его пациенты — матросы с «Полярной звезды». Они его полюбили.

Вернувшись в Петроград, Петр Александрович вновь начал практику. Но здоровье его пошатнулось, он перенес воспаление легких. Контингент его пациентов значительно изменился — преобладали солдаты, матросы.

Однажды незадолго до отъезда на прием Петр Александрович вновь был арестован. Мама поехала принимать больных одна. Она объявила ожидавшим многочисленным больным об аресте отца. Трое вооруженных матросов тотчас подошли к маме с вопросами: кто арестовал, куда увезли? Среди больных началось волнение. Трое направились, кажется, в тюрьму Кресты, и часа через два отец вернулся в сопровождении их. Настроение у него было веселое, и он бодро начал прием больных.

Так было два или три раза. Центральная власть еще не утвердилась. Одна группа арестовывала, другая — освобождала. Появлялись и группы вооруженных анархистов... Это были тяжелые сцены. В памяти сохранилось: отец, раскрыв руки, говорит безстрашно: «Стреляйте!», стоя буквально перед стволами винтовок, наведенных на него. Но руки, державшие оружие, опускались под его взглядом.

К этому грозному времени относится знакомство нашей семьи с большевиками Марией Тимофеевной и ее мужем Иваном Дмитриевичем Ивановыми. Началось оно так. К отцу на машине приехали ныне здравствующий И. Д. Иванов и сопровождающая его охрана. Отца попросили поехать осмотреть больную туберкулезом. Петра Александровича предупредили, что больная — председатель ревтрибунала и известная деятельница революции. На это П. А. ответил: «Мне все равно, кто больная, едем, раз моя помощь вам потребовалась». Как всегда, с отцом поехала мама. Отец осмотрел больную, сказал: «Скоро будете на своих ногах», оставил ей лекарство и уехал.

Через две недели Мария Тимофеевна была на ногах, а вскоре приступила к работе. Она ответила добром на добро и способствовала его освобождению в 1920 году. После его смерти продолжала периодически лечиться у матери, сохранив до конца дней своих чудесное редкое отношение ко мне.

В 20-е годы Ивановы переехали в Москву. Бывая в Москве, мама останавливалась в их квартире на улице Грановского. В 1938 году они переехали на Суворовский бульвар. В 1940 году мама возвращалась из лагеря в Каракалпакии... Помню, я встретила маму и привезла к Ивановым. Мария Тимофеевна вышла навстречу, раскрыла объятия: «Наконец-то, дорогая Елизавета Федоровна!.. Я знала, что все уляжется...»

Их дружба, постоянная переписка продолжались до конца жизни моей матери».

Я тоже помню чету Ивановых. В 30-е годы мама брала меня с собой в Москву, и я помню огромную, в десятку комнат, квартиру на улице Грановского. В этой квартире, кроме Ивановых, жил Отто Юльевич Шмидт с семьей, а также его сестра Нора Юльевна, которая очень дружила с моей матерью. После челюскинской эпопеи Шмидт был знаменит, и я, мальчиком, сторожил в коридоре, чтоб увидеть большого человека с бородой. Ивановы встречали нас очень тепло. За столом царил хозяйка, а муж, Иван Дмитриевич, сидел и слушал, наклонив голову; в те времена он был красивым директором какого-то крупного завода.

Уже будучи взрослым, после войны я бывал у Ивановых в их новой квартире на Суворовском бульваре, в Доме полярника. Мария Тимофеевна была неизменно радушной хозяйкой, и я никак не мог представить ее в роли грозной председательницы ревтрибунала, выносившей смертные приговоры белогвардейцам.

«Отец как будто примирился с новой властью, но характер давал себя знать. Был еще один памятный случай... Отец с мамой ездил с Удельной в город на прием на поезде — экипажа уже не было. Они доезжали до Финляндского, а потом до Литейного, брали извозчика... И возвращались вечером таким же путем. Мы ехали втроем — я, мама и отец. В вагоне была разная публика — матросы, солдаты... Зашел разговор о положении в России. В то время в Петрограде был голод. Отец не выдержал и вмешался в разговор. «Ну и чего вы добились своей революцией?» — спросил он солдата. Тот стал доказывать, и начался спор. Варуг к отцу подходит матрос с маузером: «А, тут контра завелась! В Чека его!...» И на первой же остановке, Ланской, отца вывели из вагона. Мы с мамой пошли за ним вслед. Мама плакала и говорила отцу: «Ах, Петр Александрович, вы никогда не думаете о своих близких!.. Пощадите б хоть Аиду!»

И когда все вышли на платформу, отец вдруг низко поклонился окружающим его людям и сказал: «Простите старика! По глупости... Погорячился!»

Матросы рассмеялись, посоветовали отцу попридержать язык впредь. Отец, увидев плачущую мать, спросил про меня. «Ах, не все ли вам равно, где Аида, что с нами?» — с упрехом сказала мама. Это, кажется, был единственный случай, когда она осудила его действия.

И главным для отца всегда оставалась тибетская медицина.

«Вплоть сознаю,— писал он,— что эта наука сделается достоянием образованного мира только тогда, когда даровитые специалисты-европейцы начнут изучать ее».

Мне известно, что Петр Александрович получил официальное уведомление властей о том, что по желанию он может принять японское подданство — за него ходатайствовал японский посол — и с семьей выехать в Японию. Отец категорически отказался покинуть Россию.

28.IV.1957 г.

Возвращаюсь к тем бурным годам. Отцу оставили его приемную и кабинет на Литейном, а имение на Поклонной перешло в ведение военных властей. Там должна была стоять батарея. И мы все запасы лекарственных трав перевезли с Поклонной в находящийся поблизости мамин одноэтажный домик на Ярославском с чудесным садом с кустами сирени и жасмина. В нем жила Кулюша. Часть лекарств перевезли на Литейный. В этот период произошло событие, очень тяжело пережитое мной.

Кулюша поехала с тележкой на Поклонную добрать какие-то вещи. И там сцепилась с солдатами, она была боевая, могла отобрить. Началось с пустяка, мол, понорились вещи. Слово за слово... Кулюшу арестовали и отправили в тюрьму. К нам на Ярославский прибежала соседка и рассказала, как Кулюшу повели солдаты. Я ревела во весь голос. Привязанность к Кулюше была, пожалуй, сильнее, чем к матери. Плача, я поехала разыскивать маму в город. Отец в это время тоже находился под стражей.

Эти дни были страшные для меня. С Кулюшей я всегда чувствовала себя под надежной защитой, ощущала ее любовь и заботу; мама была целиком поглощена хлопотами об отце или же вела прием больных за него... После ареста Кулюши мама буквально металась, хлопоча за двоих, и наконец вновь обратилась к Марии Тимофеевне. И я пошла вместе с мамой. Мария Тимофеевна обещала разобраться, но не все зависело от нее. Как первый этап, мне разрешили свидание с Кулюшей. Несла я узелок с бельем и сakoномленные сухие корки хлеба. Час свидания, когда Кулюша подошла в платке к решетке и дрогнувшим голосом сказала мне: «Ну, здравствуй, девонька, не плачь»... голос этот звучит и сейчас в памяти. Я не могла говорить, задыхалась от слез. Скоро свидание кончилось, и я уныло побрела домой.

Кулюшу освободили через две недели с предупреждением «не распускать язык». Вернулась она похудевшая, молчаливая и какая-то притихшая, а я сияла: теперь все было не страшно.

Годы революции, гражданской войны. И вспоминаются не только мрачные картины. Моя жизнь была трудной, но наполненной осознанной деятельностью: мы с моей ровесницей Ольгой, нашей родственницей, приехавшей с Кавказа, брали топор, пилу, ходили заготавливать дрова, то есть разбирали дома, покинутые владельцами, и я научилась пилить — жизнь заставила. Мама занималась тибетской медициной, а Кулюша вела все хозяйство, доставала продукты, меняя их на вещи.

Наступали самые суровые дни моего детства, зима 1919/20 года была очень трудной, голод давал себя чувствовать... Петр Александрович на этот раз действительно находился в заключении, сначала в городской тюрьме, а с ноября был переведен в Чесменский лагерь; этот лагерь находился на другом конце города, в пяти километрах от Нарвских ворот. Трамвай доходил лишь до ворот, оттуда пешком. Однажды я так замерзла, что меня оттирали в конторе начальника вокзала, одета была довольно легко: бархатная шубка, из которой я уже выросла, и кожаные сапожки. А морозы доходили до минус двадцати пяти градусов.

Ездить приходилось через день. Передачи были разрешены в любое время. К отцу пускали даже больных на консультацию. Ездил: день — мама, день — я. В свой день я ехала, снаряженная Кулюшей, а с Удельной начинала свой трудный поход: на поезде до города, трамваем до Нарвских ворот, а там пешком до лагеря.

В ту зиму свирепствовал тиф. И вот случилось самое страшное. Отец, будучи очень вспыльчивым, погорячился и резко поговорил с комендантом лагеря, за что был переведен в карцер — каменный мешок. Помню отчаяние мамы, слезы, которые редко можно было видеть. Бросилась она хлопотать, снова и снова боясь за его жизнь.

Пробыв в карцере двое суток, отец заболел, обнаружился тиф. Его положили в тифозный барак. Мама добилась разрешения оставаться при нем в палате, мне тоже. Настали страшные дни. Спали мы с матерью на соломенном матрасе в длинном, пустом, холодном коридоре, превращенном в палату; там стояли на случай пустые железные койки. Освещения там не было. Одно из жутких впечатлений было ночью, когда мимо нашей койки выносили умерших. Я спрашивала мать: «Кого это несут, куда?» Мама закрывала меня своей шубой и твердила: «Спи, спи, я с тобой».

Я была голодной, но никогда ничего не просила. Мама чувствуя мое состояние, пошла к санитарке, обслуживающей палаты, разносившей еду, и неуверенным голосом попросила: «Дайте, пожалуйста, девочке что-нибудь поесть» И та дала хлбса.

Периодически мама уезжала в город хлопотать за отца, а я оставалась и ухаживала за больными. Иногда спала у него в ногах на койке. Многие удивлялись, как это мама не боялась за меня, двенадцатилетнюю девочку, что я заражусь тифом. Меня эта мысль тоже мучила позднее. Но потом я поняла: мама фанатично верила в тибетскую медицину. Но одно из ее положений гласит, что здоровый организм не подвержен инфекции, то есть он перебарывает ее. Лишь ослабший или больной организм подвержен инфекции. В этом ВНТ видит закономерность. Так или иначе, но ни мама, ни я не заразились. Прошел кризис, температура стала спадать, П. А. начал медленно поправляться. П. А. начал шутить со мной, разговаривать.. И вскоре вернулся в свою палату.

Прерву на короткое время записки матери. Она не упоминает о переписке между Елизаветой Федоровной и Петром Александровичем, а она сохранилась. Это пять записок бабушки, написанных красными чернилами, посланных, как видно, с ее дочерью или через охрану; от деда сохранилась единственная записка.

«Дорогой мой, так как ты поправляешься, то я на радостях посылаю тебе 3 яичка, 1/2 фунта сахара и 5 булочек. Спасибо, спасибо тебе, что ты поправляешься. Мое настроение стало лучше, а то мучалась я очень, что ты больной, один там без меня.

Посылаю суп из телятины, фунт мяса.

Целуем, целуем я и Аида.

Пятница 1920.

Твоя Елизавета».

«Дорогая Елизавета Федоровна.

Сегодня не приходите. Сообщу, когда нужно. Вчера Ольга Федоровна была (родная сестра бабушки. Далее несколько слов неясно, почерк сильно отличается от прежнего.— Б. Г.)... Я давно был прав.. [нрзб]. Вчера поздно был допрос. Сегодня рано [нрзб]. Не нужно быть неблагодарным. Ты знаешь, что я тебя люблю и Аиду ужасно и никому в обиду не дам.

Твой тебя любящий П. Бадмаев».

«В обиду не дам» — это написано из тюрьмы.

«Дорогой друг! Христос воскрес. Целуем, поздравляем. Просим Бога о здоровье, остальное знаю, что все будет. Сегодня мало посылаю: жареное мясо и крупу.

Ваша Е. Ф.

13 апреля 1920».

И последняя записка:

«Дорогой Петр Александрович!

Сейчас я опять из Удельной позвонила Марии Тимофеевне Ивановой, она думала, что Вы уже дома. Сам Иванов читал бумагу, подписанную Председателем Всероссийской ЧК Калининым (очевидная неточность, речь, видимо, идет о ВЦИКе, Председателем которого был Калинин.— Б. Г.) об освобождении Вашем. Сегодня или завтра Вам должны объявить обязательно.

Вчера ужасно небрежно послала Вам передачу, забыла вложить платки и «хадак» (очевидно, лекарство — Б. Г.), сегодня посылаю их. Посылаю кусочек масла и кусочек мяса и жаду Вас и целую.

Грею комнату.

Елизавета».

«Разговоры, которые велись среди заключенных, сводились к одному: когда и по какому поводу будет амнистия, когда выпустят, каково положение на фронтах и т. д. Отец к тому времени понял то, чего не поняли еще остальные люди старого мира,— он высказывал мысль о необратимости происшедшего процесса и спорил с соседями по палате, так что маме потом приходилось улаживать конфликт, о котором я шепотом рассказывала ей. В то время отец обдумывал письмо В. И. Ленину, которое и было написано им и через маму отправлено в Москву.

Так проходила эта суровая зима. Весеннее солнце согревало, и все немножко стали веселей. И вот наконец пришел приказ из Кремля об освобождении Петра Александровича. Связано ли это было с письмом к Ленину или нет — мне неизвестно. Хотя мы с мамой попеременно ездили к нему через дежу, освобождение его было неожиданным».

...Здесь я ненадолго прерву воспоминания мамы. Я приведу рассказ деда о том, как его освободили, и о пути его из Чесменского лагеря домой на Удельную.

Утром его пригласил к себе комендант и объявил, что получено распоряжение Москвы об его освобождении.

— Надолго? — прищурясь, спросил дед.

— Доктор, это полностью зависит от вас,— сказал комендант.

Дед по обыкновению ответил шуточкой:

— Я сам себя сажаю в тюрьму? Какой раз?.. Не знал!

Комендант хотел по-мирному расстаться со знаменитым строптивым заключенным и добродушно сказал:

— Лечите людей, доктор, никто вас не тронет, но не занимайтесь вы политикой! Зачем вам это?

— Какая «политика»? После вашей революции я ушел от всего. И до революции я занимался своей медициной, писал научные книги... Писал и царю, но о чем? Вы хоть читали?

— Доктор, да вы же генералом были! «Ваше превосходительство!» Уже за одно это с вас следовало спросить...

— Статский генерал. В молодости служил по министерству иностранных дел, шли чины... Я служил России!

— Доктор, я знакомился с вашим делом... Не хотелось напоминать, но... Вот, пожалуйста.— Комендант раскрыл папку и полистал ее.— Вот! В вагоне поезда на участке пути между Финляндским вокзалом и станцией Удельная вели контрреволюционную пропаганду, есть свидетели.

— Какая «пропаганда»? Я ехал с приема с женой и дочерью... Два солдата и матрос говорили о революции. Я спросил: «Что же дала вам устроенная вами революция?»

— Вот это и есть контрреволюционная пропаганда и агитация! В чистом виде.

— Это ваша свобода?

— Да, это свобода от контрреволюции, доктор. Идет гражданская война! Вот кончится, тогда... Но и тогда против революции говорить не позволим!

Теперь уже дед не хотел обострять разговор перед своим освобождением. Страсти накалены...

— Ну хорш,— сказал он.— Ваше дело. Я старый человек. Позволяете мне лечь — и на том спасибо. Будет надобность во мне — прошу, приму без очереди.

— Без очереди, доктор, вы царских министров принимали... А мы люди простые, стоим и в очереди, придет нужда.

— Не думаю. Не очень-то любят власть преержавшие в очередях стоять. Все властители похожи друг на друга: встань ты, я сяду. Ты попользовался, теперь дайте и мне.

— Доктор, вот вы опять начинаете! Хотите назад обратно вернуться? — уже с раздражением сказал комендант.

— Молчу-молчу!.. Но это еще Лев Толстой сказал о революционерах.

— И с графа мы б спросили кое за что, будь он жив!..

Дед хотел едко ответить начальнику, но сдержался.

В канцелярии тюрьмы ему выдали нужные документы, делопроизводитель записал в тюремный журнал: «Согласно распоряжения за номером, за подписью... гр-нин Бадмаев П. А. отпущен по месту жительства: Петроград, Удельная, Ярославский, 85». И двери тюрьмы растворились еще раз, выпустили деда. Выйдя из ворот Чесменки, он перекрестился, вдохнул свежий утренний апрельский воздух и зашагал в сторону Нарвской заставы, где ходил трамвай. До него было километров пять. Вскоре его догнала лошадь с подводой. Петр Александрович не стал просить его подвезти, а лишь взглянул на мужика-возницу. И тот остановил лошадь.

— Садись, дед вижу, откуда идешь. Что ж, мы не православные?

— Ну спасибо, подвези, ради Бога.

Бадмаев уселся в телегу, и телега тронулась.

Трамваи не ходили, и от Нарвской заставы дед пошел пешком, озадаченный, как он все же преодолест эти двадцать километров. Еще с саквояжем. Но пройдя с версту, он услышал гудение трамвая. Дед поднял руку. Трамвай остановился.

Он ехал один в пустом вагоне, без остановок. Город был пустынен. Кое-где жалась очередь у хлебных магазинов.

...Трамвай, гул, медленно взбирался на Литейный мост. Слева по ходу открылось невысокое классическое, чисто в петербургском стиле здание Военной медико-хирургической академии. Здесь он учился. И все было впереди: упорный труд, академия, восточный факультет университета, поездки в Тибет и изучение древней науки у эмчи-лам и по рукописям, начало врачебной практики, борьба за признание — за признание тибетской науки наукой...

Помнился еще день, когда прибывший на Поклонную адъютант вручил ему именной рескрипт об утверждении в звании генерала и получении потомственного дворянства. Тогда это казалось важным, значительным.

Трамвай свернул в парк, и дед пошел пешком. Последний километр тяжело идти... Он прислонился к телеграфному столбу. Еще пятьсот шагов. Вот уже и причудливое каменное здание магазина Башкирова. Налево маленький переулок — Мышкинский. Вот и дом... Он отворил калитку. Во дворе стояла Акулина Яковлевна, бывшая няня Аиды и единственная из прислуги, которая осталась в доме. Осталась потому, что любила возвращенную ею девочку. Петр Александрович знал это и особенно ценил Акулину Яковлевну. Когда в 1907 году — год рождения Аиды — Акулина Яковлевна вошла в дом, он взглянул в ее доброе лицо, вышел и сказал Елизавете Федоровне: «Эта будет! Другой няни девочке не нужно».

А Елизавета Федоровна уже сбегала с крыльца ему навстречу. И сейчас она сжимала губы, странно двигая ими, чтобы сдержать слезы радости.

— Вот видите, я говорила, все обойдется,— взволнованно говорила она.— Как себя чувствуете? Сейчас главное — здоровье...

— Я пока полежу с вашего разрешения.— сказал он и мягко улыбнулся.

— Да, да, конечно, вот подушку я подложу, я знаю, вы не любите высоких подушек, но эта будет как раз.

Петр Александрович переделал и прилег на удобную кушетку. Здесь, в этом доме, все было удобно и по его вкусу. Здесь он в былые годы отдыхал от всего на свете. В большой комнате висела картина — фрагмент брюлловской «Гибели Помпеи» — бегущая по улице семья с двумя детьми.

Вошла Акулина Яковлевна, осторожно неся тарелку дымящегося бурятского супа, сваренного по рецепту Бадмаева. Комната наполнилась ароматом крепкого бульона.

А затем потянулись дни дум о жизни. Словно отворилась дверь, увидел он свет, и дверь вновь затворилась.

И ему стало горько. Что случилось? Почему в конце жизни он пришел к таким печальным итогам? Разве он неправильно жил? Разве не трудился в поте лица с утра до поздней ночи? Разве он не оказал помощь полумиллиону больных, принятых им за почти полувековую деятельность? Роздано более восьми миллионов целебных лекарств, сделанных в строгом соответствии с требованиями медицинской науки Тибета. Правда, он еще и пытался исправить мир своими письмами правителям России... Но он обязан был делать это как всякий гражданин, который видит, что делают не так, как следует. А как следовало? Но этого нам не дано знать...

Здесь я вновь предоставляю место запискам мамы.

«Вечерами мать рассказывала о всех делах, читала ему газеты.

Навещали П. А. сын его Петр Петрович, друг его Пчелин Сергей Семенович, Тер-Степанов Иван Степанович, Безобразов Федор Федорович. Навещал его и врач Пастернак по просьбе мамы. П. А. слабел, ему становилось хуже. Он лежал, не вставая с кровати. И вот по роковому недоразумению, несогласованности ночью около двух часов за отцом приехали—последовал новый арест. Отчаянию мамы не было границ, и его с кровати на носилках (из тюремной больницы) понесли в машину. Мать умоляла разрешить ей спросовать П. А. в тюрьму. Когда его увезли с мамой вместе, тут уж и я не переставала плакать, и ночью вместе со старшей сестрой Татьяной пешком мы пошли в город, на Гороховую в Чека, в надежде узнать что-либо, там должны были находиться мои родители.

Так до утра мы проходили с Татьяной перед зданием. Дождались до десяти часов и, не получив никаких справок, вернулись домой.

Даже стойкая Кулюша растерялась и плакала. Куда кинуться, кого просить? Так прошел весь день, и только поздно вечером пришла мама, осунувшаяся, вся потемневшая, со словами: «Увезли не знаю куда, а меня продержали, потом не пустили к нему!..» Мама безутешно рыдала. Утром решила искать отца. Она направилась по очереди по всем тюрьмам, а мне и Татьяне велела также ехать по разным адресам.

Ровно две недели мы начинали ежедневный поход с утра до вечера, повсюду и ко всем, кто только мог иметь малейшее отношение к власти имущим...

Все безрезультатно — П. А. как в воду канул, нигде не числился. Мать телеграммой вновь обратилась к правительству с просьбой помиловать. И вот на пятнадцатый день исчезновения П. А. по телефону незнакомый женский голос сказал матери: «Не беспокойтесь, он жив, находится в Крестах, завтра или послезавтра будет дома». И больше ни слова. Мама ожила и на следующий день караулила у Крестов. П. А. действительно вернулся домой, пролежав эти две недели в тюремной больнице.

Стоя июль 1920 года. Три недели отец боролся с нарастающей слабостью. Мама стала уговаривать его принять сердечное по совету доктора Пастернака, хорошего врача и человека. Когда Петр Александрович махнул рукой и сказал: «Ну что ж, пусть попробует ей помешать», мама поняла, что это конец. Было это за три дня до его смерти. В эти дни он продиктовал завещание, которое заверили его друзья и сын Петр.

В последний день он плохо чувствовал себя, ему было неудобно на кровати. Мать и Кулюша неотступно были при нем. Бывшая семья отца была в Минске, но его средняя дочь Татьяна жила у нас.

Поздним вечером Таню и меня мама послала в Шувалово в санаторий за резиновым кругом. Таня была старше меня на восемь лет. Мы отправились. Ходьба в то время разрешалась лишь до часу ночи. И обратно, достав круг, мы шли уже в недозволенное время, опасаясь патруля. Ночь была тихой. Где-то кричали: «Помогите! Помогите!» Мы не шли, а прямо летели. Подойдя к озерковской церкви, я увидела свет в боковом окне. Церковь была заперта. Мной овладел страх. Я шепотом сказала сестре: «Таня, взгляни, ты видишь свет?» «Вижу, вижу, — быстро отвечала она, — идем скорей». Но по лицу ее я поняла, что она тоже видела свет и объята страхом. И мы бежали, оглядываясь на светящееся окно. Пришли мы усталые и тотчас легли спать.

Около пяти часов утра меня разбудила Кулюша словами: «Вставай, Аида, Петр Александрович!...»

Я вошла в комнату. Отец уже мертвый, полусидел поперек кровати, голова его откинулась, прислоненная к стене... Мать, плача, вышла из комнаты на балкон. Я вышла за ней, не зная, что сказать. На мои же первые слова утешения я в первый раз услышала от матери: «Ах, Аида, ведь это был твой отец...»

Утром мы с Таней поехали сообщить друзьям дома о смерти отца. Похороны в то время были делом сложным. Солдаты из соседней части сколотили гроб, а командир батареи дал лошадей и телегу. И в жаркий день 1 августа П. А. Бадмаева хоронили на Шуваловском кладбище. Телегу с гробом, покрытым елью, извозчик остановил у белокаменного дома с башенкой на Поклонной горе, построенного отцом. Путь на кладбище лежал мимо него.

Умирая, П. А. взял слово с матери, что даже в день его смерти она не пропустила бы приема больных и продолжала его дело.

Елизавета Федоровна выполнила посмертную волю Петра Александровича и продолжала вести прием больных в его кабинете на Литейном, 16. Она получила на это официальное разрешение Ленгорздравотдела. Поскольку у бабушки не было диплома врача, она вела прием вместе с доктором Верой Ивановной Наумовой. В свое время, еще до революции, Вера Ивановна стажировалась у деда, так как увлеклась врачебной наукой Тибета.

Бабушка возобновила связи с Бурятией, и я помню, как в конце лета к нам на Ярославский приезжали буряты с мешками сушеных лекарственных трав. Масштабы приема были, конечно, меньше, чем при деде. Но я помню очереди на Литейном, 16, где изредка бывал. Система оставалась той же. Даже на Ярославском по утрам бабушка, сидя за большим письменным столом деда, отвечала на письма пациентов из других городов.. Я, вырвавшись от няни, вбегал в ее кабинет, и бабушка из-под очков смотрела на меня своими добрыми, ласковыми глазами и улыбалась. Потом она шла в аптеку, то есть комнату, где готовились лекарства. Их дозировали и завертывали в порошки моя мама (когда бывала свободна), приемные дочери Ольга Халишвили, Вера Певцова и помощница Анна Осиповна Лашкова. К двум часам бабушка ехала на Литейный и вместе с Верой Ивановной Наумовой начинала прием больных.

Жили мы все там же, на Удельной, на окраине Ленинграда, в бревенчатом пятикомнатном особняке с верандой. Бабушка сдала дом в ЖАКТ, но к нам никого не поселяли — и в домоуправлении и в Выборгском райсовете были пациенты бабушки. Она занимала угловую комнату, где были ее спальня и кабинет, примыкающую к ней большую занимали я с няней, в следующей, восточной комнате жили мама с папой, в отдельной небольшой комнатке жила Акулина Яковлевна, в огромной столовой готовились по утрам лекарства.

Мой отец Сергей Борисович Гусев-Глаголин до революции окончил шесть классов кадетского корпуса. Потом недолго служил в Красной Армии, работал грузчиком, затем снимался в первых советских фильмах известного режиссера А. В. Иванова в «Совкино». Но ходу отцу не давали — не было образования, да и кадетское прошлое, очевидно, мешало. По сравнению с бабушкой, пользовавшейся большой популярностью в городе, отец зарабатывал немного, как обыкновенный совслужащий. Это его задевало, и он не раз говорил маме: «Нам надо жить отдельно, мой заработок здесь не виден...»

Бабушка была человеком прошлого века, отец хотел быть современным; бабушка тайно нанимала мне гувернанток, бывших смольнянок, слишком баловала единственного внука, и по этому поводу у нее с отцом возникали споры, но эти споры не доходили до конфликтов, наверное, потому, что оба они вышли из одной среды.

По вечерам бабушка с отцом иногда играли в карты, в шестьдесят шесть. На деньги. Отец всегда проигрывал. Бабушке было неловко, и она говорила: «Сереза, я ничего не могу сделать — карта идет». Отец улыбался: «Все верно, Елизавета Федоровна: деньги к деньгам» Моя мама говорила: «Наверху Бог, внизу деньги».

Зато отец выиграл автомобиль «ЭМ-1» по автообязательству первым номером и часто после работы вечером заезжал на Лигейный за тещей.

Помню смешной случай. Бабушка держала корову, специально для меня, чтоб я каждый день пил парное молоко (дед тоже держал коров на Поклонной для семьи, чтоб дети пили только парное). Однажды слышу голос Акулины Яковлевны: «Елизавета Федоровна! Корову сводят со двора... Вы что, продали ее?» И смущенный ответ бабушки: «Нет, я просто отдала... Они обещали ухаживать и носить нам молоко». Акулина Яковлевна разворчалась, и не напрасно. Бабушку бессовестно обманули — молока ни разу не принесли. И вот на моей памяти сцена. Выходной. Отец чем-то занимался со мной. Входит бабушка и — виновато: «Сереза, что ж делать?.. Боречка уже неделю без молока! Нельзя ли как-то вернуть корову?» «Елизавета Федоровна, а кому хоть вы ее отдали?» — «Адрес не помню... Но женщину зовут Феня, и она живет где-то недалеко, у Скобелевского». Отец молча оделся и вышел. Через час он появился, ведя на веревке корову.

В начале 30-х на окраине шли грабежи. Напали и на наш дом. В десять вечера пять человек, разбив единственный в переулке фонарь, стали ломиться в парадную. К счастью, отец был дома. Он взял электрический фонарик и, несмотря на мольбы мамы, выскочил с черного хода. Была свалка. Все пятеро бежали. Отец был человеком необычайной физической силы. Помню, о нем говорили его же братья: «Сергей ни в огне не горит, ни в воде не тонет».

Так мы жили до 1937 года.

Весной 1937 года была ранняя Пасха. По традиции в доме готовились пасха и куличи. И помню какую-то суматоху в доме. Акулина Яковлевна расстроенная сидит на кухне; мама ходит с непроницаемым лицом и курит папиросу за папиросой.

Пасхальное тесто, замешенное по всем правилам, по наставлениям мудрой Акулины Яковлевны, не поднялось. Акулина Яковлевна была суеверна, и это передалось маме. Но дело, конечно, было не только в этом — все в доме ощущали сгушавшуюся в городе атмосферу, хотя внешне всюду улыбки, песни, гулянье, но шепотом передавали слухи об арестах. В газетах появился термин «враги народа». Но менее всего была встревожена бабушка. Единственное, что предприняла она, это позвала своего родного брата, видного юриста Георгия Федоровича Юзбашева, показала ему все бумаги, разрешение горздрава вести прием и т. п. и спросила, все ли верно с точки зрения закона. Георгий Федорович просмотрел бумаги и сказал, что не усматривает каких-либо нарушений, но добавил: «Лизочка, все так, но это еще не гарантирует от каких-либо неприятностей». «А, все вы паникеры! Закон на моей стороне — я спокойна», — ответила бабушка и в конце июля уехала в Кисловодск вместе со своей приятельницей.

В конце августа вечером к нам в дом вошли трое в серых гимнастерках и спросили гражданку Бадмаеву. Мама ответила, что ее нет, она в отпуске в Кисловодске. — Где комната Бадмаевой?

Мама показала, и они прошли туда вместе с мамой. В столовой находились я, папа и Акулина Яковлевна. Не придав значения этому визиту, я встал и хотел выйти на улицу. «Сиди», — коротко сказал отец. Акулина Яковлевна перекрестилась.

Так в безмолвии мы просидели с полчаса в нашей полукруглой столовой. Вообще к бабушке часто приходил участковый, и она давала ему лекарства от язвы желудка; приходили пожарные, бывали из райсовета, но сейчас я уже по одному поведению отца видел, что пришли какие-то особенные люди и что-то должно случиться. Наконец из кабинета бабушки вышла мама и с ней те трое. Мама провела их до выхода. Между тем отец подошел к окну. Хлопнули дверцы, и послышался шум мотора отъезжавшей «эмки». Вошла мама.

— Что? — спросил отец.

— Осмотрели комнату, но ничего не тронули. Уточнили имя, фамилию, год рождения мамы, место рождения... Еще что-то спросили... — отвечала мама, закуривая папиросу.

В тот вечер отец и мама долго совещались в кабинете отца. Я не ложился допоздна.

Часов около десяти вечера мама вдруг сказала мне:

— Смени рубашку, надень новую курточку. Сегодня мы едем с тобой в Москву.

Без четверти двенадцать отец на машине отвез меня с мамой на Московский вокзал. Он пошел к кассам и взял два билета на «красную стрелу» в мягкий вагон (тогда они были свободно), вручил маме билеты, и мы за пять минут до отхода вошли в двухместное купе. Мама сидела молча, опустив глаза. И лишь когда поезд тронулся, облегченно вздохнула и сказала: «Ну слава Богу, едем...»

В Москве мы, как всегда, остановились на улице Грановского, в квартире Ивановых. Туда же должна была приехать бабушка по дороге из Кисловодска, чтоб известить свою старинную подругу и пациентку Марию Тимофеевну — жену Ивана Дмитриевича. Цель приезда мамы состояла в том, чтоб перехватить бабушку здесь, у Ивановых, и уговорить ее переждать здесь некоторое время, задержаться в Москве. Мама, конечно, посвятила в свой план хозяйку, Марию Тимофеевну, не утаив от нее ничего. Я слышал, как Мария Тимофеевна говорила, обращаясь к матери моей: «Аида! Стыдитесь... Как вы могли сомневаться?! Да пусть Елизавета Федоровна живет у нас сколько угодно!.. Хоть год. Я буду этому рада. Если только уж за нами придут!..» «За вами?!» — шепотом воскликнула мама с ужасом в голосе. «Аида!.. Что вы? Такие головы летят!.. Я вообще не понимаю, что сейчас происходит!.. Иногда мне кажется, что я вдруг утром проснусь и по радио объявят о раскрытии какого-то крупного контрреволюционного заговора... И все станет на место».

«Ну хорошо, а он знает?» — спросила мама. «Сталин? Не знаю, Аида. Мы ведь теперь не у дел... Я на пенсии по болезни, а Иван Дмитриевич всего лишь член коллегии наркомата. Мы уже не имеем того влияния, как в революцию. Но я все-таки думаю, что нашей дорогой Елизавете Федоровне не грозит ничего серьезного. Да и возраст!.. Она ведь старше меня. Но чем черт не шутит... Лучше переждать...»

Назавтра приехала бабушка, посвежевшая, помолодевшая на водах. Мария Тимофеевна и Иван Дмитриевич встретили ее как родную. Дело было не только в том, что Мария Тимофеевна верила в нее так, как ни в одного врача Кремлевской больницы, к которой она была прикреплена; кроме врачебного искусства, бабушка обладала огромным обаянием и чувством внутреннего достоинства, которое притягивало людей к ней. И вот в большой столовой все сидят за чаем. На столе вкуснейший пирог, приготовленный самой хозяйкой. Иван Дмитриевич по обыкновению молчит и слушает, иногда улыбается. У него был добрый и даже благостный вид, в доме и за столом царил Мария Тимофеевна.

Тень озабоченности лишь на лице моей мамы. Встретив бабушку на вокзале, она уже успела рассказать ей о тревожном визите. Но на бабушку это не произвело должного впечатления, и сейчас она повторила то, что уже говорила дочери:

— Я не понимаю, господа (бабушка иногда путала, и обращалась по-прежнему, и произносила так — госпа-а), не понимаю, к чему эта паника? Я полагаю, что приходили из инспекции пожарной охраны, у меня на чердаке лежат запасы лекарственных трав, и они предписали иметь там ящик с песком, вероятно, приходили проверить...

— Мамочка, это были не пожарные...

Общими усилиями бабушку удерживают в Москве на два дня, а затем мы вторым возвращаемся в Ленинград. На вокзале нас встречает отец. Он молча целует руку маме, бабушке, берет у нас вещи, и мы молча идем к черной «эмке». Отец садится за руль и уже на подъезде к Удельной произносит:

— Елизавета Федоровна, вы совершаете роковую ошибку...

— Ах, Сережа, вы вечно каркаете... — упрекнула бабушка зятя.

Мы подъезжаем к нашему дому с верандой с разноцветными стеклами. И старенькая Акулина Яковлевна, застывая рукой глаза от солнца, стоит на крыльце.

— Мама, смотри, как трогательно: Кулюша встречает нас, — говорит моя мама.

Бабушка молчит, она всегда немного ревновала свою дочь к Акулине Яковлевне — мама очень любила ее. Однако, поднявшись на крыльцо, бабушка тепло здоровается с Акулиной Яковлевной. После первых приветствий та говорит:

— Елизавета Федоровна, приходили эти... пожарники! Так я упростила нашего водопроводчика Меркурьича поставить на чердаке ящик с песком.

Бабушка торжествующе оборачивается к нам и, чисто по-кавказски вскинув руки, восклицает:

— Ну, госпа-а, что я говорила?!

Ночью за ней пришла.

После ареста бабушки мама обратилась к известному ленинградскому адвокату Я. З. Киселеву. Тот энергично взялся за хлопоты и вскоре сообщил утешительное известие о том, что никаких политических обвинений Бадмаевой не предъявлено и речь идет лишь о «незаконном врачевании».

— Почему «незаконное»? Ведь мама имела официальное разрешение горздравотдела и работала с врачом, — удивилась моя мама.

Старый правовед лишь развел руками:

— Надо радоваться, что Елизавете Федоровне предъявили лишь это обвинение, Аида Петровна... По этой статье — максимум два года. Могло быть гораздо хуже. Запасемся терпением и переждем этот острый момент.

Но мама моя была-таки наивна и уверена в силе закона. Она добилась приема у прокурора города и приступила к нему с теми же вопросами:

— Если Елизавета Федоровна Бадмаева в чем-то виновата, я прошу судить ее открытым судом, как полагается по закону.

Прокурор открыл тонкую папочку и сказал:

— Бадмаева уже осуждена тройкой. Могу сообщить приговор: восемь лет лагерей с правом переписки и раз в год свидание.

— Восемь лет?! — бледнея, воскликнула мама. — Но почему ее не судили открытым судом, как принято по закону?

— Да поймите, что Бадмаеву нельзя было судить открытым судом. У здания суда собрались бы ее пациенты, и это уже носило бы характер политических демонстраций... Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы мы вместо «незаконного врачевания» вменили ей пятьдесят восьмую статью?! Это очень легко делается...

В 1938 и 1939 годах мама, а затем и приемная дочь бабушки Ольга Халишвили побывали в Каракалпакии, где находился концлагерь. Там бабушке разрешили вести прием больных, и мама отвезла ей в лагерь стетоскоп и кое-какие порошки из тибетских лекарств.

Наконец мама все-таки добилась пересмотра дела, и весной 1940 года бабушку освободили, предложив ей для житья Вышний Волочек — между Москвой и Ленинградом, куда мы часто ездили к ней. В небольшом городке скоро узнали, что здесь «сама Бадмаева», и к ней потекли больные. Но каждую неделю она ходила отмечаться в горотдел НКВД.

Судьба ее удивительна. В начале 1941 года бабушке разрешили сто первый километр. И она переехала в Чудово, это совсем близко от Ленинграда. Началась война, и связь с бабушкой прервалась. И лишь спустя год, летом сорок второго, в блокадный Ленинград пришла весть от бабушки из... Вышнего Волочка, который не был оккупирован; немцы находились от него в шестидесяти километрах. Первые недели войны бабушка жила в Чудове, из которого, как считала, не имеет права выезда. Между тем фронт приближался. Обеспокоенная, она все ждала инструкции, как быть ей и имеет ли она право уйти вместе с беженцами. Но до нее ли было властям? В городе начались бомбежки, пожары. Местные власти эвакуировались. Наконец после очередной бомбежки загорелся дом, где жила бабушка. И тогда она, захватив с собой самое необходимое, ушла из города вместе с последними беженцами. Это было за день до взятия Чудова немцами.

Толпа беженцев шла на северо-восток, в сторону Волхова. Бабушке к тому времени исполнилось шестьдесят девять лет. В эти годы она была склонна к полноте, не смогла успеть за уходящей толпой, отстала. Вот как она уже после войны рассказывала о своих приключениях, или лучше — злоключениях:

— ...Я вдруг заметила, что иду одна по лесной дороге. В небе с ревом пронеслись самолеты. Я шла весь день, еды со мной никакой не было. Вечерело, бреду и думаю: вот сейчас сяду на землю и уже не встать... И тут я заметила невдалеке несколько домиков, очевидно, то была лесная деревушка. Подхожу и вижу — у окна сидит девушка и такое у нее чистое, приятное выражение лица. Подошла и говорю: «Милая девушка, я очень устала, иду из Чудова, не ела с утра... Помогите!» (В этом месте рассказа бабушка каждый раз останавливалась и плотно сжимала губы, чтоб удержаться от слез.) Боже, как она восторгалась! Выбежала из избушки своей, подбежала ко мне, ввела на крыльцо... Девушка оказалась очень доброй, сердечной... Дала мне поесть и уложила в постель. И только тогда спросила, откуда я. Ответила: из Чудова. «Так оно же сгорело все!» — «Да, я едва выбралась, кругом был огонь».

В доме никого, кроме этой девушки, не было. Наутро я хотела идти дальше, но она уговорила меня остаться и передохнуть у нее несколько дней. Был вечер, я уже лежала в постели за занавеской, вдруг слышу мужские голоса. Кто-то вошел... И говорит девушке, хозяйке моей: «Настя, собирайся, тебе нельзя здесь оставаться, они взяли Чудово и к утру будут здесь». Потом вопрос, очевидно, обо мне: «Кто такая?» Я вышла и показала свой паспорт. Вооруженный человек бегло взглянул... Оказалось, что это отец Насте и председатель Совета. Настя упростила отца взять и меня. Мы погрузились в машину и поехали, я даже не спросила куда. Приехали в глухой лес. Там было несколько землянок, в одной из них поселили меня с Настей. У костров сидели вооруженные люди в гражданском платье. Были и женщины. Вскоре выяснилось, что здесь есть что-то вроде лесного госпиталя, там лежали больные, раненые... Так что мне скоро нашлась работа. Настин отец, начальник этого лагеря, или отряда, я уж точно не знаю, хорошо относился ко мне. И здесь в лесу я прожила август, сентябрь, октябрь и половину ноября, старалась своей работой отблагодарить за внимание ко мне. Затем начальник объявил, что на зиму мне оставаться в лесу рискованно, и предложил доставить меня в ближайший город, не занятый немцами. Я подумала и назвала Вышний Волочек, где у меня были знакомые. Настя на подводе довезла меня до заставы, посадила на машину в Волочек, и мы распрощались.

В Вышнем Волочке бабушка прожила всю войну. Мама перевела ей свой командирский аттестат, бабушку прикрепили к столовой для семей военнослужащих, и быт ее постепенно устроился. В 1944 году, когда сняли блокаду, мама впервые за войну взяла отпускное удостоверение и при всех орденах поехала к бабушке.

В 1946 году, получив официальное разрешение, бабушка вернулась в Ленинград... Войдя в дом моего отца на Рашетовой, она всплакнула, что нет уже Акулины Яковлевны и моего отца Сергея Борисовича, с которым моя мать счастливо прожила пятнадцать довоенных лет. У отца была интуиция, и в самые безнадежные дни 1937 года он успокаивал маму и говорил: «Айда, поверь, Елизавета Федоровна вернется и будет жить в нашем доме... И более того: она пойдет за моим гробом».

Он ошибся в одном: никто из близких не шел за его гробом, и похоронен он в безвестной могиле на Колыме.

И с 1946 по 1954-й, год своей смерти, бабушка прожила в доме на Рашетовой. 50-е годы были особенно памятные. Бабушка до конца дней сохранила полную ясность ума. Она ласкала моих дочерей Наташу и Катю — своих правнучек. В доме у нас неизменно бывала профессор Театрального института Виргиния Баградовна Арцруни-Титова, и они с бабушкой вспоминали свою молодость... Впрочем, иногда все-таки бабушку находили страждущие: в доме на Рашетовой я познакомился с писательницей Верой Федоровной Пановой и композитором Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем — они были последними пациентами бабушки.

Я часто посещаю родные могилы на Шуваловском кладбище, и дети мои бывают здесь. А по бывшей квартире моей матери бегают чудесное существо — правнучка мамы, которую она немного не дождалась. Ее называли Лизой в честь прапрабабушки Елизаветы Федоровны Бадмаевой.

Завещание П. А. Бадмаева

Июля 25, 1920 года.
[Диктовано за четыре дня до смерти].

Любезнейшая жена Елизавета Федоровна!

Случайным образом брак наш не был освящен ни гражданским, ни церковным законом, несмотря на мои хлопоты, так как первая жена, несмотря на свои обещания дать мне развод, все время затягивала его, хотя она и была мной обеспечена.

Таким образом, мы пятнадцать лет прожили совершенно разлучно, тогда как Вы, Елизавета Федоровна, пятнадцать лет тому назад связав свою жизнь с моей, приняли на себя обязанность не только хозяйки дома, но и помогли мне управлять моей санаторией на Поклонной горе, а равно и всем моим имуществом на Мызе А главное — Вы мне принесли неизмеримую пользу тем, что, интересуясь тибетской медициной, изучили ее столько, сколько возможно под моим руководством, и, заведая в качестве моей помощницы всей аптекой тибетской медицины, поставили ее на высокую степень порядка и, притом помогая мне во время моей практики в приеме моих многочисленных больных, сумели извлечь из этого глубокое знание врачебной науки Тибета под моим руководством на практической почве до такой степени, что во время

моего сидения в Крестах, в Свеаборге, на Шпалерной, в Военной тюрьме и, наконец, в Чесме в продолжение двенадцати месяцев самостоятельно принимали больных и приобрели множество сторонников из новых больных.

Таким образом, Ваша практическая деятельность, на основании которой Вы приобрели своих собственных клиентов, дает мне право признать в Вас знатока той великой науки, которую я хотел сделать достоянием Европы.

Так как я в преклонном возрасте не знаю ничего о будущем и желаю, чтоб эта медицина сделалась достоянием европейской науки, то я просил Вас, когда в нашем Отечестве наступит мир и когда можно будет проезжать повсюду и выезжать за границу, то ехать в Монголию, на мою родину, и ознакомиться с теми лицами, которых я укажу, приобрести все, что необходимо для тибетской аптеки для того, чтобы ими пользоваться в России и чтобы ознакомить с ними европейский ученый мир. Лица же, на которых я укажу, живут в Монголии, в Тибете, в Северном Китае и с большим удовольствием по моей рекомендации окажут Вам содействие во всех Ваших делах, касающихся врачебной науки Тибета.

Ввиду такой совместной работы над больными Вы сделали настоящей хозяйкой над всем имуществом, принадлежащим мне, и это имущество должно считаться нашей общей собственностью с нравственной и юридической стороны. Кроме меня и Вас, никто им распоряжаться не может. Право владеть, пользоваться и распоряжаться им принадлежит нам обоим. Моя бывшая жена, мои дети от первой жены только с разрешения моего и Вашего могут пользоваться чем-нибудь из моего и Вашего имущества, находящегося на Поклонной горе, на Ярославской улице и на квартире на Литейном проспекте, д. № 16, кв. 3 и на Дону, а равно и всеми домами и земельными участками, находящимися в Чите.

Пятнадцатилетняя наша совместная работа на практической почве при приеме больных и Ваша самостоятельная работа над тибетской аптекой в области фармакологии и фармакогнозии дает Вам право быть полным хозяином аптеки тибетской медицины со всеми принадлежностями и материалами. Вы все время руководили составлением лекарственных веществ для больных; дозировка лекарств Вам хорошо известна, с какой целью каждое лекарство принимается, Вы хорошо знаете и с большой пользой употребляли составленные Вами лекарства для больных и приобрели этим личных сторонников. Поэтому никому другому не могу поручить аптеку, как только Вам, так как она является собственностью как моей, так и Вашей.

Завещание заверено подписью сына П. А. Бадмаева П. П. Бадмаевым и другом дома Н. Тер-Степановым.

Из предисловия П. А. Бадмаева к книге «Жуд-Ши»

«...под словом «счастье» врачебная наука Тибета понимает удовлетворенность умственную и физическую в данный момент...»

Разумною жизнью врачебная наука Тибета называет умение содержать в чистоте ум и тело и оберегать себя от всяких излишеств, потому что они препятствуют умственному и физическому развитию. Одним из средств для достижения разумной жизни должен считаться разумный труд.

Что означает слово «разумный» труд? Труд, производимый каждым лицом по состоянию своей индивидуальности... Врачебная наука Тибета... трактует, чтобы труд умственный не утомлял бы центральной нервной системы, как части тела, и труд физический не задерживал бы проявления умственных способностей.

Физический труд только тогда приносит пользу организму, когда он целесообразен в самом широком смысле этого слова и совершается на открытом воздухе. Физический же труд в виде гимнастических упражнений... танцы, фехтование и т. д. безусловно вреден, если он совершается в душных помещениях.

Из всех видов физического труда врачебная наука Тибета рекомендует сельскохозяйственный труд... потому что этот труд имеет значение воспитательное и он легче всего способствует умственному и физическому развитию.

Благодаря сельскохозяйственному труду человек может избежать экономической катастрофы, так как этот вид труда... одевает и кормит не только его самого, но и семью его и весь живой инвентарь. Этот труд дает полное благосостояние и довольство... Сельские хозяева, по существу, жители мирные, доброго нрава, и у них больше, чем у ремесленников, зарождается чувство сострадания к животным и любовь к ним, и возникает легче всего идея человеколюбия. Они враги всевозможных беспорядков, грабежей, разбоя, войн. Они более всех сочувствуют ближним, ценят время и следят за временем года, чтобы предупредить могущие быть бедствия. Они больше всего ценят природу и понимают значение собственности и труда.

Все другие отрасли труда имеют место только при процветании сельскохозяйственного труда, иначе они являются началом, нарушающим умственное и физическое развитие, и влекут за собой гибель рабочих и даже вырождение целой страны».

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

РУССКОЕ ХРИСТИАНСТВО

МЕЖДУ

МИЛЛЕНАРИЗМОМ

И СЕГОДНЯШНЕЙ

ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЙ

Le christianisme russe entre millénarisme d'hier et soit spirituelle d'aujourd'hui (Cahiers du monde russe et soviétique, vol. XXIX (3—4), Juillet—Décembre 1988, p. 285—612).



Э тот объемистый двоянный номер «Вопросов русского и советского мира», издаваемых соответствующим центром при Школе высших исследований по социальным наукам в Париже, представляет собой сборник докладов коллоквиума, состоявшегося в июне 1988 года в Женеве по случаю тысячелетия крещения Руси. В отличие от потока подобных же международных мероприятий докладчики на данном форуме, или по крайней мере большинство из них, собрались, по словам составителя сборника известного слависта Ж. Нива, не для того, чтобы обсуждать «выбор, сделанный Владимиром», князем киевским, или характер «русского средневековья», но чтобы прояснить еретическую, «инославную» традицию милленаризма, ожидания тысячелетнего царства праведников, властвующую, по убеждению Нива, над умами русских людей.

Среди участников — а круг их, так же как круг их тем, чрезвычайно широк — мы встречаем и религиозных деятелей, и светских публицистов, литераторов, литературоведов, историков как отечественного, так и иностранного происхождения. Н. В. Лосский и К. Фотиев повествуют о возрождении богословия и библеистики в современной России. А. Синявский выступает с очерком о благовоинном в Древней Руси отношении к книге как имеющей прообраз в Библии; М. Агурский докладывает об экзотической фигуре «сектанта-отступника Иллидора Труфанова», иллюстрирующей «милленаристский аспект большевистской революции»; А. Левитин-Краснов — о «народном святом о. Иоанне Кронштадтском»; Е. Эткинд погружает нас в прерватности судеб державинских од «Бог» и «Христос». Есть тут доклады о «жажде священного» и о «тоске по Богу» в русской классике вплоть до Солженицына, о мрачном русском патере В. Печерине, об историках Г. Флоровском и Г. П. Федотове, о русских поэтах, о тернистых путях сегодняшнего официального атеизма.

В остроумном докладе П. Серио «Рим, Византия и языковая политика в СССР» на анализе нескольких советских материалов 80-х годов по социальной лингвистике подмечается любопытный факт разжигания сегодня «непонятных политических страстей» вокруг римских католиков и «усиления идеологической борьбы» против них. Судя по этим текстам, замечает Серио, можно подумать, что речь идет о плавном продолжении русского дореволюционного прошлого и что Советский Союз является законным «наследником прежнего христианского Востока». Сам же докладчик раскрывает и секреты подобной «антиисторической» несообразности в позициях этих языковедов, в их панегириках православной церкви за ее «народность, простоту и родной язык». Он не соблазняется модным отождествлением советского настоящего с христианским прошлым, не приписывает русскому национальному мышлению, как это часто делают, проявившейся в разбираемых трудах ксенофобии; скорее он усматривает в этой тенденции приспособление старых схем к нуждам власти и идеологии — отнюдь не религиозной, живущей за счет образа врага; за видимостью ожившего право-

го традиционализма скрывается конкретный социальный заказ. Так на частном примере Серио демонстрирует в высшей степени симптоматичные черты господствующего идеологического сознания, рядящегося в чужие и древние одежды.

Из многих не упомянутых тем остановимся на животрепещущем материале — сжатом, но глубоком обзоре руководителя ИМКА-пресс Н. А. Струве «Булгаков и еврейский вопрос», где на примере русского философа и богослова представлен путь, позволяющий избежать как поверхностного игнорирования вечной проблемы, так и «сблужнов антисемитизма». Исследователь показывает, что у С. Н. Булгакова в его выступлениях по еврейскому вопросу, «реакциях по горячим следам событий», углубляется и при всех видимых, обусловленных ходом истории противоречиях растет из единого корня (послание ап. Павла к Римлянам) взгляд на эту проблему как на принципиально религиозную, связанную с неотменимой всемирно-исторической трагедией. Мысль Булгакова, как доказывает Н. А. Струве, отвечает на жгучие вопросы: устойчивость, «нерастворимость» еврейского народа в диаспоре и драматизм его внешней ассимиляции для окружающей его среды; соперничество нацистского расизма в качестве «светского мессианизма» с библейским, непреложным для Булгакова мессианизмом Израиля; напряженное притяжение-отталкивание в отношениях между евреями и русскими как двумя мессианскими народами. (Избранничество русских, по Булгакову, вторичное, но не менее реальное, и состоит оно в том, чтобы свидетельствовать о чистоте и красоте православного христианства.) Беспокоясь за возможный дух злобы в русской среде по отношению к еврейскому народу в связи с некоей виной его представителей «в разрушении русской души», «в погроме всего наиболее русского в России», Булгаков обращается к обеим нациям: от евреев он ждет акта покаяния, от русских — христианского очищения чувств. Наследуя Булгакову, докладчик анализирует ущемления и трудности на пути к межнациональному согласию в эпоху после его смерти, после сталинских гонений на еврейство и считает философа единственным, кто мог бы помочь перевести повсеместно возникающую сегодня полемику между евреями и русскими на уровень, «где было бы исключено и всякое сектантство и всякое покушение на достоинство человека».

Как бы ни были злободневны, увлекательны и содержательны материалы коллоквиума, они не оправдывают ни заявки на тему миллениаризма в русской мысли, ни мнения о том, что эта тема является центральной для нее. Во-первых, тема эта не находится в фокусе внимания подавляющей части докладчиков. Во-вторых, чаяние тысячелетнего царства правды само по себе не считается в православной традиции ересью, оставаясь частнодогматическим учением. Что же касается того «угрожающего» русского миллениаризма, которого сегодня боятся как тоталитарной утопии, то родина его не Россия. Он был заявлен Иоахимом Флорским, подхвачен в народных движениях гуситов и Т. Мюнцера. Пробивающаяся в сборнике *idée fixe* — подозрительность по поводу всякого стремления к высшему — ставит под вопрос не только чаемое тысячелетие, которое вычитывают из Откровения Иоанна упрямые религиозные оптимисты, но и юбилейное тысячелетие, прошедшее со времен крещения России. И раз Ж. Нива ценит «то, что родилось тысячу лет назад», цитируя строки из стихотворения Б. Чичибабина «Чернигов» («Новый мир», 1987, № 10), ему остается уточнить само понятие миллениаризма, сузив его границы, и взглянуть на этот юбилей не под углом мнимой ереси.

Среди собравшихся на коллоквиуме оказался и носитель национального сознания (в котором доискиваются источника все того же миллениаризма), так сказать, живой предмет исследования — писатель В. Распутин. Однако то, что Ж. Нива истолковывал как «миллениаристскую традицию» в речи писателя, на самом деле было всего лишь выражением обычной человеческой надежды. Можно не соглашаться с тем, что у Распутина как-то выпала главная веха русской социальной истории, Октябрьская революция, и упор сделан на одном только разрушительном ходе «прогресса». Но невозможно усматривать утопическую «ересь» в призывах к «нравственному перерождению человека, самостроительству, самовосстанию из тех духовных начал, которые, — как надеется писатель, — мы продолжаем в себе носить...».

Р. ГАЛЬЦЕВА.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА



«ВСЮ НОЧЬ ЧИТАЛ Я ТВОЙ ЗАВЕТ...»

Образ Христа в современном романе

Иисус Христос — литературный персонаж нашего времени! Это факт, и уже не единственный в современной литературе. Вслед за булгаковским Иешуа Га-Ноцри, вслед за Христом из «Доктора Живаго» Б. Пастернака в последние годы появился и галилейский Учитель, прошедший испытание компьютером, у В. Тендрякова, и герой рукописи «Суд над Христом» в «Факультете ненужных вещей» Ю. Домбровского, и горячий проповедник Царства справедливости на Земле Иисус Назарянин в «Плахе» Ч. Айтматова.

Что же это означает для нас, для современной литературы? Вроде так далеко отошли от этого Образа, его света, его повелений, да что там отошли — отбросили и оказались во враждебном противостоянии. Хотя вспомним, в самом начале нашего более чем семидесятилетнего пути впереди двенадцати его низовых, практических «апостолов», напоенных ненавистью и готовых сеять смерть («Трах-тах-тах! Трах-тах-тах...»), неожиданно явился — трансцендентно выюге мирового распада и разгула зла — в «россыпи жемчужной»... Иисус Христос. Явился загадкой (как, почему, зачем?), и Он ли это, не миражная ли подмена? — вопросы звучат до сих пор. Так странно возник Он на заре литературы советского времени, чтобы вскоре исчезнуть на десятилетия и вновь вернуться сейчас. И в свете этого нового явления брезжит одна из возможных разгадок финала блоковской поэмы: конечно, не как вождь и вожатый двенадцати возникает впереди них Христос, да и отсоединен Он от них, мерцает в другом, «надвыюжном» измерении — а словно подает и этим «Эх, эх, без креста», «без имени святого» надежду стать когда-то, пусть через поколения, «разбойниками благородными», что сумеют покаяться и очиститься...

XX век, на который, по предчувствию того же Блока, «еще чернее и огромней» легла «тень Люциферова крыла», казалось, успешно, в массовом масштабе вытеснил из душ Образ Христа — высший первообраз для человека и человечества (как определял Достоевский, «Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек», «и идеал человека во плоти»). Человек был оставлен самому себе, своему самоутверждению. Бездны зла, индивидуального и коллективного, разверзшиеся в нашем столетии, обнаруживают глубокую порочность идеи создать абсолют из человека в его нынешней, «промежуточной», противоречивой природе. Как только убирается понятие фундаментального несовершенства человеческой природы и вектор восхождения (Христос), человек и общество становятся добычей совсем других первообразов: Зверя и Машины. Человек извращается в бестию, хотя бы и «белокурую» и «идейную»; нивелируется в винтик; в лучшем случае гордо, стоически, в сознании своего достоинства идет навстречу неизбежной гибели. Но и благородно-трагическое мироощущение, как уже обнаружила нам философия, питается от мифологического источника — языческого Диониса, так и не побежденного светлым, дневным Аполлоном. Христов же первообраз как высший идеал движим не трагическим, а литургическим мироощущением, идеей спасения и преображения человека и мира.

Потеряв ориентиры в хаосе относительных, дефектных ценностей и идеалов, мы сейчас как никогда широко — от «умных и разумных», от «совопросников мира сего» до так называемых простых людей — устремляемся к христианской нравственной опоре и Абсолюту. Но вместе с тем, как это ни неожиданно на первый взгляд, само ны-

нешнее катастрофическое, апокалиптическое положение с Землей, с Природой, да и с человеком — имеется в виду страшное понижение его ценности, потеря веры в его разум, его душу — уводит от Христа в трагическую безысходность, а то и в нигилистический демонизм разной крепости и разведения, но едино замешанный на отчаянии в спасении.

Александр Константинович Горский (1886—1943), ученик Павла Флоренского по Духовной академии, выдающийся, но пока еще малоизвестный мыслитель, проведший значительную часть жизни в сталинских ссылках и тюрьмах и погибший там, писал в середине 20-х годов, не находя осуществления этих своих мыслей в искусстве того времени: «Никто не сможет и не сумеет отрицать значимости Христа как х у д о ж е с т в е н н о г о образа. С Ним, следовательно, посчитаться, с Ним встретиться лицом к лицу обязан теперь каждый художник, претендующий на сколько-нибудь крупные задачи в искусстве. Одно из двух: либо это не есть образ Совершенного Человека и тогда художнику предстоит мудреная задача — начертать образ «другого», более «совершенного», более нас удовлетворяющего (но всякая такая попытка роковым образом сводится к «начертанию зверя», обезьяночеловека); либо жизнь этого Человека есть по-настоящему идеальный образ человеческой жизни, вообще — «образ образов». В таком случае в него упирается путь каждого искусства. Этим и только этим образом измерит сам себя до конца человек. Вот откуда вырастает необходимость в наше время для каждого художника сказать какое-то свое слово о Христе, к евангельским повествованиям Матфея, Марка, Луки, Иоанна прибавить рассказ о своей встрече с Тем, Кто к своим пришел, хотя свои Его не узнали. Всякий художник вынуждается ныне силою вещей стать Евангелистом».

Стоит нам оглянуться на мировую культуру, чтобы убедиться: образ Основоположника христианства был всегда одним из самых влекущих центров творческого притяжения. Живопись веками жила трактовками священной истории Его земного пути: неисчислимы все рождества, поклонения волхвов, бегства в Египет, крещения, въезды в Иерусалим, тайные вечера, крестные муки, распятия, оплакивания, воскресения, вознесения! Я уж не говорю о религиозной культуре икон, скульптуры, фрески или о христианском богословии.

Но так ли «густо» было в литературе? Возьмем, к примеру, отечественную. В древнерусской житийной литературе — фи-

гуры православных святых, подвижников, князей-праведников; Христа самого там нет да и быть не могло: ведь Бог же, тут трепет и безглазное поклонение. В XIX веке есть образы людей христианского духа и святости, да и то не так уж и много: у Достоевского — князь Мышкин, Зосима. Алеша, Макар; у Толстого — выразителя народной крестьянской веры вроде Платона Каратаева или ряда героев поздних рассказов... Да и в западной литературе рисуют христиан, не Христа же; и так — от Гюго до Бернанося и Клоделя. Образы собственно Христа или Богородицы встречаются чаще в поэтическом (Мильтон, Клопшток, современные католические поэты) или легендарном («Иисус Христос во Фландрии» Бальзака) переживании и воплощении. Кое-где и в русской поэзии мелькает Спаситель: то у Тютчева, «удрученный ношей крестной», исходил он «землю родную», то у А. К. Толстого одним взглядом любви побеждает вызов греха и падения («Грешница»). А у Достоевского в поэме о великом инквизиторе Христос лишь безмолвно целует несчастного узурпатора... И это почти все.

Не столь часто посягало писательское перо на изображение Христа, останавливало, очевидно, исходно благоговейное отношение к Сыну Божию, которое закладывалось обязательным религиозным воспитанием, как ни вдавались потом в сомнения или даже в атеизм. Существовала некая боязнь если не кощунства, то своей малости и недостойности. Ведь человеческое слово тут становилось бы соперником Слова, божественного Глагола. (Живопись и скульптура было в этом смысле полегче; они переводили священное Слово уже на другой язык: видимых форм, рисунка, композиции, цвета. Здесь художественным поискам простору больше, хотя в религиозном творчестве и выработан строгий канон изображения святых лиц и событий.)

А современный советский писатель Чингиз Айтматов вырастает в среде атеистической и где-то к середине жизни, проблуждав среди учений мира, философских и религиозных, обращается к Евангелию, учению Христа в его этической прежде всего, человеческой, слишком человеческой и рассудку внятной части. И вот для решения своих идейных задач вводится в сюжет фигура Учителя как образец жертвенной реакции на зло, что заставляет заподозрить тут высшую природу и начать пристальнее вникать в его Весть миру сему. Намечается восхождение от этики к метафизике, но останавливается оно на уровне Истории с ее диалектикой богово — кесарево (за ко-

тору, кстати, не выходит и Булгаков в «Мастере и Маргарите»).

Но если Булгаков, выросший в семье профессора Духовной академии, целомудренно оставляет своему герою личное имя Иешуа (столь же обыкновенное у иудеев того времени, как у нас Иван или Степан), как бы не претендуя проникнуть в запечатленную премудрую тайну его богочеловеческой природы, да и высказывается у него галилейский проповедник достаточно сдержанно, то у Айтматова Христос превращается в настоящего ратора, красноречивого софиста, дотошно объясняющего свои «позиции» и оспаривающего противную сторону.

Превращение Христа в моральный образец, в высший идеал прекрасного Человека, страдающего от косности среды, непонимания людей, несправедливого гонения, ощущается уже в русской живописи и скульптуре прошлого века; таков он и у Крамского, и у Ге, и у Антокольского. Особняком стоит, пожалуй, только великое полотно Иванова «Явление Христа народу», где при всем скрупулезно воспроизведенном «местном колорите» Христос никак не может быть принят только за воплощение высшей человечности и социального сострадания. (Недаром сам художник связывал с ним безумную теургическую мечту о чуть ли не мгновенном преображении людей, потрясенных божественным явлением, запечатленным на его картине.) Традиция предельного очеловечивания и морализации фигуры Христа восторжествовала в XIX столетии почти безраздельно: тут и ученые, демистифицирующие жизнеописания Э. Ренана и Д. Штрауса, и гуманно-демократические реминисценции этого образа в народнической литературе или в поэзии Надсона.

По существу, именно такое восприятие Христа дожило до нашего времени, но возникло уже в прозе. В различных вариантах мы встречаем его и у Булгакова, и у Тендрякова, и у Айтматова. В повести «Покушение на миражи» Христос приносит миру невиданную до него, сверхприродную мораль не только любви к ближнему, но и к врагам своим. Запрограммировав на компьютере этот отрезок древней истории, вложив в него версию раннего убийства Христа и тем предоставив миру развиваться без его «благой вести», которую замещает моральная проповедь Павла, ученые-экспериментаторы оказываются перед лицом ошеломляющего их результата: машина «воскрешает» Христа, он и только он — необходимый этап восходящего самосознания че-

ловечества, и без него никак нельзя. В «Плахе» Иисус предрекает Бога-завтра, идеал духовного и нравственного самосовершенствования людей Земли, который приведет их к Царству справедливости и равенства «без власти кесаря».

И в «Мастере и Маргарите» Иешуа прямо утверждает только одну идею: все люди добры. Идею этическую, из круга парадоксальных нравственных идей, взрывающих человеческое сознание, его привычные оценки, и недаром приходящую в противоречие с тем, как обнаруживают себя реальные люди в самом романе Булгакова. Впрочем, ее парадоксальный смысл и не раскрывается. Писатель никак уж не этик, а скорее эстетик (если определить его по знаменитой классификации Кьеркегора). Своего рода эстетизм очевиден и в евангельских эпизодах романа, он-то и создает булгаковскую оригинальность представления этого момента духовной истории мира. Чем эта линия пленяет нас? Глубиной раскрытия учения Христа? Этического или метафизического? Не похоже — скорее художественным визионерством, яркими картинными воплощениями вечного сюжета, будь то допрос Иешуа на «безжалостном ершалаимском солнцепеке» под розовой дворцовой колоннадой, или сцена распятия, облепленное мухами и слепнями, искореженное мукой беспмятное тело Га-Ноцри на кресте, или гремящий соловыным пением ночной Гефсиманский сад...

Внушить читательской впечатлительности какое-то почти видимое, слышимое, ощущаемое мерцание жизни — о, на это Булгаков мастер! Раз и навсегда — как на полотне художника — запечатлеть, «остановить» Пилата или Левия Матвея в каком-то существенном моменте их бытия. И там, в за-жизнь (на «том свете»), — то же художественное бытие запечатленного мига, ставшего вечностью: в мучении бессонницы сидит и сидит в кресле Понтий Пилат со своим псом или, провалившись в недолгий сон, видит одно и то же — желанную прогулку по лунному лучу и беседу с Иешуа... Да и Мастер в финальную награду получает лишь то, во что верит и чему служит: «вечный покой», эстетическое бытие ожившей идилической картины — домик с венецианским окном, вьющийся виноград, камелек, свечи, любимая, друзья, Шуберт, сон в «засаленном и вечном колаке», утренняя свежесть и тишина. И так навсегда в осуществленном «если б навеки так было!». Что это как не спасение искусством — высший идеал Мастера, — как не бессмертие художественного творения, в которое его

создатель сам чудом переселился и стал его персонажем.

Сатана со своей свитой, причудливая фауна «нечистой силы» — вот где раздолье для эстетической игры! «Ведь мы играем не из денег, а только б вечность проводить!» Человек развлекается-отвлекается, играет, чтобы забыть свои тоскливые пределы, свой неизбежный конец, а бессмертная нечисть, обреченная на унылость своей «дурной бесконечности», — чтобы ощутить время, какое-то наполнение мгновения. И сколько здесь просто игры для игры, дурачества для „дурачества! А бал у Сатаны — призрачные грибы зловещей красоты, блеска, игры и веселья, рассыпающиеся тлением и прахом!

Недаром многие страницы романа словно зачарованы луной. Под ее знаком, в ее маяющих призрачных лучах разыгрывается томительно-сладкая игра воображения, которое, может быть, и свободно, но ведь ничего достоверно не знает и не хочет знать о жизни и смерти: откуда, куда и зачем?

Но упоминается ведь и Свет, уже не лунный, а божественный, до которого не дорос Мастер, мелькает даже слово «бессмертие» — пролетает как осколок взрыва неопознанного небесного тела, едва коснувшись сознания Пилата. Да, автор романа подозревает и о других высших реальностях, но как-то больше головой, чем сердцем, отданным луне, искусству и вечному покою.

Недавно на русском языке вышел роман польского писателя Г. Панаса «Евангелие от Иуды», над которым автор работал почти сорок лет. И здесь, глазами Иуды, а он вовсе не оказывается предателем, Христос — просто человек, но высшей на Земле породы и природы, носитель особых способностей и своего рода революционер. И погибает он не на кресте, а в результате подавления восстания против иудейского священства, которое он вынужден возглавить. (В свое время еще более крайней революционизации Христос подвергся у Барбюса в романе «Иисус».) Именно в XX веке в литературе всего очевиднее проявилась тенденция неверующего, но «уважающего» сознания — как бы создать свой вариант этой великой мировой загадки, свой «детектив»: кто Он? И притом буквально: от кого родился, при каких обстоятельствах, чем занимался, как объяснить его чудеса, какой у него был конец, кто были его ученики и существовали ли они вообще... У нас это началось, пожалуй, со знаменитой повести Л. Андреева «Иуда Искариот и другие». Но главное и основное для романских трактовок образа

Христа — понимание его как морального реформатора, учителя новой нравственности, проповедью которой он надеется гармонизировать человека, свести мир с гибельных путей.

Недостаточность и даже убожество только этического понимания евангельской вести утверждал еще К. Леонтьев, усматривая его у «наших новых христиан» — Толстого и Достоевского (в последнем случае его упрек особенно сомнителен). Их христианство он именовал «односторонним», «сентиментальным», «розовым», сближал с утопической и либерально-прогрессивистской верой в «принудительную и постепенную исправимость всецелого человечества» вплоть до благополучного устройства «рая на земле». В противовес такой «гуманитарной идеализации», «воображающей», по словам Леонтьева, что только «несовершенство социального строя и плохое воспитание до сих пор мешало какому-то упоительному катаклизму грядущего любвеобилия», он выдвигает необольщаемость прогрессом и трезвое эсхатологическое видение сползания к «последним временам и срокам». Трагизм земного бытия для него неизбежен; в рамках наличной падшей человеческой природы и природы вещей этого мира «надежды на земную любовь и на мир земной» тщетны, и уж кто-то, а Христос их никогда и не подавал.

Духотомное исследование Евангелий Д. С. Мережковского «Иисус Неизвестный» (Белград, 1932) предваряется таким утверждением: «Мир, как он есть, и эта Книга не могут быть вместе. Он или она: миру надо не быть тем, что он есть, или этой Книге исчезнуть из мира. Мир поглотил ее, как здоровый глотает яд или больной — лекарство, и борется с нею, чтобы принять ее в себя, или извергнуть навсегда. Борются двадцать веков, а последние три века — так, что и слепому видно: им вместе не быть; или этой Книге, или этому миру конец. Так что же несет эта Книга миру: zapлату новой нравственности на ветхий его порядок или нечто более существенное и радикальное? То, чему с большим проникновением может внять наше время, когда «глади и пагубы», отравление самих источников жизни на Земле из апокалиптических угроз превращаются в реальные, когда спасительные онтологические цели и задачи должны перестать быть уделом только умозрения и мечтания? И подходила ли литература, столь упорно начавшая оглядываться на давнюю и вечную «благую весть», к пониманию всей глубины ее?

«Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского, хотя и был закончен в 1975 году,

для нашего читателя стал свежим литературным явлением, в том числе и последним по времени открытием еще одной попытки привить к событиям и героям XX века некоторые особенно дорогие автору ветви евангельского древа. Исследователи жизни и творчества писателя отмечают полторы тысячи специальных источников, проработанных им за пятнадцать лет. Такое важное значение придавал Домбровский этой линии, да и ответственность тут, понятно, была особо велика. (Кстати, среди материалов, отобранных самим Юрием Осиповичем для приложения к третьей части своего романа — вышедших в этом году в первом полном советском издании диалогии в издательстве «Советский писатель», — мы встретим многочисленные ссылки на цитировавшуюся выше книгу Мережковского.)

Как мне кажется, Христос и его история в чем-то органичнее входят в основное повествование произведения, нежели это происходит в «Мастере и Маргарите», явно ближайшем литературном прецеденте и образце для Домбровского. Присутствие образа Христа в «Факультете ненужных вещей» расширяет границы вполне определенной площадки действия: 1937 год, Алма-Ата, музей, раскопки, археологи, рыбаки, отрешившийся от сана священник, следователи и их подопечные... До некоей общемировой и даже метафизической сцены. Евангельская метаистория отчетливо просвечивает в центральной коллизии романа, в тех вечных вопросах о природе человека, о сущности зла и предательства, искупления и жертвы, которые здесь встают.

И в этом романе (как у Булгакова и позднее у Айтматова) исследующий луч направляется прежде всего на один эпизод земного пути Христа: столкновение с Пилатом. Не глубины христианской метафизики, не сущность «благой вести», принесенной Спасителем в мир, интересуют писателей. Художественная психика творца XX века, века тоталитарного прессы, мучительно личных отношений с властью, грубо вторгающейся в его дело и жизнь, заклинива на другом.

В Христовой парадигме берутся те склонения, которые глубже всего заставляют переживать собственная эпоха: преследование, предательство, неправый суд... Более того, в евангельских эпизодах у Домбровского экзистенциальная пульсация наиболее болезненно трепетна и ощутима. Он пишет роман, беря в прототипы, как известно, самого себя и свои мытарства в ежовском застенке (да разве только свои!), и на Тайной вечере накануне выдачи Учитель пере-

живает у него «типичную ночь перед арестом»: он «испытал все, что приходится испытывать в таких случаях, — тоску, одиночество, загнанность, безнадежность, надежду... И под конец у него явилось, как почти у всех: „Ну скорее же, скорее! Что вы медлите!“» Так представляет себе внутреннее состояние Христа бывший поп Андрей Куторга, человек мысли незаурядной, которому автор отдал и свою историческую эрудицию, и свое понимание миссии Спасителя. Но и Куторга успел попасть в шестеренки всемогущего государственного сыска и сам вынужден повторить по отношению к Корнилову роль доносчика и предателя, ту, которую он недаром так пронизательно чует и обнажает в окружении галилейского учителя. На первый план выходит психология предательства еще более потаенного и тонкого, чем знаменитое Иудино. Домбровский вспоминает другого предателя, свидетеля на суде Синедриона, оставшегося миру неизвестным, но, похоже, человека, близкого Христу, может, даже одного из его учеников. Жгуче актуальна эта темная коллизия в романе! С особой личной заинтересованностью обсуждают ее Корнилов со следователем, а тот как раз уже затеял подобную игру с самим Корниловым и Куторгой, соделав их друг для друга такими вот тайными свидетелями, заставив их, по существу, вновь разыграть эту вечную роль «маску».

Не случайно у Домбровского нет самостоятельного повествовательного пласта, отдельных евангельских сцен. Рассказ о Христе вплетен в основное действие, в тревоги, сомнения и тоску современных героев, в их разговоры и споры. Система перекличек и аналогий здесь не скрывает себя, работает напрямую. Вплоть до политической статьи из римской древности «Критика действий императора приравнивается к оскорблению величия римского народа», страхом перед которой и предрешается в романе пресловутое Пилатово «умывание рук».

Пожалуй, Домбровский глубже других задел один из самых тонких и чутких нервов, ответственных за благополучие мира: благополучие и самое общее, так сказать, фундаментально-онтологическое, и самое конкретное — историческое, социальное и житейское. Этот нерв — вера в человека. Смысл подвига Христа объясняется так: ко времени его пришествия «мир смертельно устал и изверился. У него нет сил жить. Выход один — надо восстановить человека в его правах. Но знал он (Христос. — С. С.) и еще одно — самое главное! За это при-

дется умереть!.. нагой и наглой смертью». Эту смерть писатель рисует так, как еще никто, по крайней мере в литературе. Мы помним то потрясение, которое испытал Достоевский (а затем передал своим героям) перед картиной Гольбейна Младшего «Мертвый Христос». Тут был изображен просто измученный труп, принадлежащий целиком царству смерти, и смерти окончательной. Ни лучика надежды на возможность ее преодоления, на оживление и преображение этой богооставленной смертной плоти Федор Михайлович здесь не увидел. Перед такой картиной можно потерять веру — так оценил ее особую силу автор «Идиота». То, что в прозительных деталях представит читателю Домбровский, могло бы стать частью диптиха, триптиха или целой серии страстей Христовых, ведущих к этому страшному, «гольбейновскому» финалу. Не случайно писатель позволил себе чуть ли не впервые в художественной словесности такую въедливо-натуралистическую картину, собственно, не картину, а замедленную киносъемку мук распинаемого, да еще с каким-то рентгеновским проникновением в агонию его внутренностей. Ведь впечатывается в нас некая образцовая — на все времена — матрица крайнего физического страдания, тот предел измывательства человека над своим ближним, который так размножило наше столетие. Размножило, ридя к страшному падению самой идеи человека. Какие бездны зла, садизма обнаружилась извращенно направленная, корыстная человеческая воля! И сколь часто на дыбе физического и нравственного унижения изничтожался весь человек и оставалось только жалкое, затравленное животное! «Человек — это звучит гордо!» — коржились в сатанинскую усмешку.

Страх умаления жизни, страх муки и смерти стал самым эффективным орудием массовой эксплуатации людской психики, рождая в ней покорность, трусость, лицемерие и предательство. Но ведь это случилось нередко в истории, особенно при «упырях и уродцах» (так зовутся в романе римские императоры, «вожди народа» своего времени). А Христос побеждает этот страх, более того, претерпев крайнее измывательство от людей, не отрекается от любви к столь подлым и жалким существам. Вот этим-то любовно-жертвенным подвигом он и искупает, по мысли автора, саму идею человека. И Зыбин через девятнадцать с небольшим столетий ставится (конечно, в неизмеримо меньшей степени) в прямую параллель к этому образу и примеру. «Немощный и слабый» «се — человек», над кото-

рым издевались его позднеантичные философские гонители за колебания («Отче, все возможно Тебе, пронеси сию чашу мимо меня»), недостойные «даже просто мудреца, презирающего смерть», тем не менее «остался богом! Богом людей». А столь подверженный человеческим слабостям — и к прекрасному полу, и к возлияниям — герой Домбровского в своей нестигаемости и презрении к палачам оказался выше многих «раскальвавшихся» и поносивших себя под напором насилия и бесстыдной демагогии. Зыбин тоже из тех, кто возрождает веру в человека.

Корнилов же, «глумливо» насмехающийся над Зыбиным с его «помните, самое ценное на свете — человек» (да какое там: «Тряпка рваная больше стоит, чем человек!»), втягивается в роль осведомителя не случайно. Ибо сама ситуация с единым непогрешимым вождем, требующая тотального страха и осведомителей, рождается в последнем анализе из убеждения, что «тряпка рваная больше стоит, чем человек». Самый заветный, тайный завет большого и малого демонизма, нигилизма, злодейства свивается как раз из глубокого презрения к человеку как твари. Это чувство как раз и подчеркивается в размышлениях Сталина в главах, ему посвященных: «Все на свете может быть, ничего нельзя предрешить или принимать на веру, если дело касается людей. Всяк человек слаб, грешен и податлив, ни про кого нельзя сказать: „На это он не способен“».

Если обратиться непосредственно к евангельскому тексту, то мы столкнемся с поразительным сочетанием: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: „возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим“: Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: „возлюби ближнего твоего, как самого себя“; На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф. 22, 36—40). Казалось бы, загадка христианской психологии: почему ее основатель так связывает веру в Бога с верой в человека, любовь к Творцу с любовью к ближнему? Но дело в том, что единственно возможная и первая религиозная предпосылка есть вера в абсолютно благого и любящего Бога. Такая вера предполагает разумность творения, то, что человек, его венец, созданный «по Его образу и подобию», не может быть слепой игрушкой фатально заданной метафизической игры. Вера в Бога, в образец доброго всемогущества и любви, невозможна без веры в человека, без высочайшего к

нему требования стать осуществителем зысшей, благой воли.

К концу «Факультета ненужных вещей», когда уже и над палачом, над следователем Нейманом, заносится секира, встает еще один проклятый вопрос, воистину из самых последних, — и вновь всплывает вечная Христова парадигма, один из ее самых существенных моментов: возможно ли прощение злодеев, полное искупление зла?

Писатель разворачивает удивительную сцену, из ряда сильнейших в романе: ночь, берег реки, старик рыбак, молодая утопленница, отпевающий ее божий человек Яша, забредший сюда в предарестной тоске и смятении Нейман. Несколько фантастическая, чуть ирреальная атмосфера, декор вечности — такое: вода и костер, рыбаки и мертвое тело, молитва над ним, разговоры о тщете земной суеги... можно представить хоть во времена хождения Христа вдоль Генисаретского озера. Вот тут-то, воистину в пограничной ситуации, перед лицом смерти не только чужой, но и возможной собственной, с Нейманом происходит нечто неожиданное, в некотором роде экзистенциальное «пробуждение» от автоматизма своего ремесла, своего отношения к миру. Что-то «возвышенное и непознаваемое», исходящее от молодой покойницы, «ясная смертная красота» и «спокойная ясность преодоленной жизни» пронзают его. «И понял, что вот сейчас, сию секунду он делает что-то невероятно важное, такое, что начисто перечеркнет всю его прошлую жизнь». Он как бы встает на пороге какого-то радикального сокрушения о себе, того покаяния, о котором рассуждает отпевающий покойницу бывший семинарист Яша как о необходимом условии высшего прощения человеку. Яша вспоминает евангельский эпизод с одним из двух разбойников, сораспятых с Христом. Ему, извергу и душегубу, тем не менее отпустил его страшные грехи Христос, причем в момент пика собственной страстной муки на таком же позорном кресте. Простил в ответ на искреннее покаяние и порыв веры великого грешника; и с этого момента вошел тот в историю с постоянным эпитетом «благоразумный разбойник» — первый из смертных, получивший обетование искупления в новую, после-Христову эру человечества. Так в финале земного пути Иисуса особо «показательно»-ярко была подтверждена та надежда на возможность всеобщего спасения, которой дышат известные евангельские притчи о блудном сыне, о заблудшей овце, о потерянной драхме, о рабочих последнего часа...

Вспомним, Христос не раз утверждал, что он пришел всех спасти, и прежде всего погибающих в грехах и преступлениях. Грешники, больные нравственно и физически, были основным предметом его заботы. С ними возлежал, им проповедовал, их исцелял, искал спасти «заблудшую овцу». «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих... Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Матф. 18, 10, 11). «...Не здоровые имеют нужду во врачах, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лука. 5, 31, 32). Христово обещание всеобщего спасения, тогда как Мессия должен был явиться грозным, карающим судьей, было настолько поражающей чертой проповеди Христа, что она ошеломляющим ожогом врезалась в память учеников, и они не могли не передать ее в Евангелиях. «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Иоанн. 12, 47). Притом что сами ученики, находясь среди упорного в грехе, враждебного окружения мира сего, не могут — «слишком человечески» — удержать сердце, измышляют в его глубине мстительные картины на своих врагов. Перед входом в Иерусалим селение Самарянское не захотело принять Иисуса. Разгневанные ученики просят его послать огонь с неба, истребить селение и жителей. «Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лука. 9, 55, 56).

Дух прощения и спасения погрязшего во зле человека и мира выражает у Домбровского «божий человек» Яша. Ему возражает старик рыбак, согнанный с земли бывший крестьянин, усматривая в этом оскорбление чувства моральной справедливости, идеи воздаяния за зло и добро, своего рода индульгенцию, обеспенивающую нравственное качество жизни разных людей. Конечно, он выражает подобное отношение по своему, без «ученых» слов: «Что, Другую шкуру тебе выдадут, что ли? Вот, мол, Яша, тебе новая кожа — иди заслуживай, был ты Яша, стал ты Маша. Так иди, Маша, добывай Яше рая. Нет, я тут что-то никак в толк не возьму. Сколько время ты грешил и вдруг...» И ссылака Яши на искренность отречения от себя прежнего («от чистого сердца») не очень убеждает рыбака. И покаяние может быть тонко корыстным: прижмут тебя обстоятельства к стенке, и возопишь, как разбойник на кресте — наподобие поповского сына Мишки Краснова,

отрекшегося от отца, «умывшего руки» при его расстреле, затем комиссарившего власть, пока свои же не пришли пресечь его радикально, вот тут-то он и вспомнил о Боге.

Казалось бы, за стариком есть своя правда, своя логика. Ведь у Христа рядом с обещаниями всеобщего спасения возникает угроза вечных мук для нераскаявшихся грешников в «печи огненной», где «плач и скрежет зубов». Такое очевидное противоречие останавливает и разрывает человеческое сердце, как всякая безысходная земная трагедия. Эта реакция ставит, впрочем, под сомнение само противоречие, обличая его земную, мстительную природу, особенно когда оно воспринимается в методичной раскладке Откровения Иоанна Богослова: праведники, «овны», обретают бесконечную радость жизни вечной, обóженной, а большинство, навсегда проклятые, сбрасываются как скверные «козлы» «в озеро огненное, горящее серою». Однако так буквально понимаемое разрешение конечных судеб не есть ли казнь для всех: и не только для грешников, но и для праведников — настолько ли уж сладко им, самым чистым и совестью, быть свидетелями мук своих ближних, да и просто других людей? И возможен ли садизм в Царствии Небесном, может ли оно держаться таким страшным напряжением полюсов?

Да будет позволено предположить, что слова самого Христа дают основание полагать другое: грозя истреблением «соломе», «плевелам» человеческим, они имеют в виду не людей, которым Христос открывает возможность всем стать участниками нового божественного порядка бытия («...и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым». — Лука, 6, 35). Погибели, полному уничтожению подлежат природные, греховные качества людей. Подобная операция просеивания или выжигания разной интенсивности не может не предстоять всем. «Ибо всякий огнем осолится...» (Марк, 9, 49). «Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любодеятель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Ефес. 5, 5). Действительно, носители этих качеств совершенно там немислимы. Конкретный человек и не может быть воплощением одной отрицательной черты. Ведь даже к подвижникам такие соблазны подкрадывались и одерживали временную победу. В качествах можно раскаяться, от них можно освободиться, для этого не надо всего человека губить. «Он же сказал

в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Матф. 15, 13). Как это понимать? Ведь тут же сказано, что и добрые и злые — его творения и над ними равно всходит природное солнце, как и взойдет солнце преображения и спасения. Следовательно, искоренению подлежат те черты, что не от Бога, не от его собственной сущности, не от Высшего Идеала, в который должны облачиться его творения.

Для понимания учения Христа о спасении важна притча о должнике, которому царь простил огромный долг, а он сам не простил и маленького долга, избив своего должника. Узнав об этом «и разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга» (Матф. 18, 34). (А поскольку притча толкует о конечном спасении, то это «пока» весьма многозначительно.) «Так и Отец Мой Небесный, — разъясняет Христос, — поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Матф. 18, 35).

Развязка драмы мировой истории в виде неудержимого и неустрашимого каскада страшных казней, запланированных Высшей божественной инстанцией, больше всего парализует всякую волю к человеческому действию в деле достойного онтологического устройства. Устрашенное несовершеннолетнее воображение видит это действие не только ненужным, но и служащим к тем большему осуждению и наказанию. А если речь идет не о фатальной развязке? А о картине тех реальных бедствий, которые ждут человечество как раз при его пассивности, при упорстве на избранном пути рабствования порядку вещей, где царит взаимное вытеснение и борьба, при заклинаниях в нынешней промежуточной, еще далеко несовершенной природе человека. Пророчество о дурном конце может иметь характер угрозы, разворачиваться «как если» — как исполнение определенного условия: «если будешь упорствовать». Во всяком случае, так его трактовал ряд религиозных мыслителей, в том числе Н. Федоров и Г. Федотов. Понимание условного характера пророчеств встречается в пророческих книгах Ветхого завета. «Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; Но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему» (Иерем. 18, 7—8). Пророки — обличители заблудшего состояния «мира сего», и их обличения — предупреждение, угроза, а не фа-

тальный приговор. Ниневитяне, на головы которых был низвергнут приговор осуждения Господня, покаяться от проповеди Ионы, и проклятие было снято с них (Книга пророка Ионы). «Ибо, как Иона был знамением для Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего» (Лука. 11, 30).

Кстати, в финальном стоп-кадре романа Домбровского, когда на одной парковой скамейке запечатлеваются художником Калмыковым навеки вместе трое таких нравственно неоднородных людей: и Зыбин, и Корнилов, вольно-невольный предатель, и бывший уже следователь Нейман, побитый судьбой, но ведь и не вышедший в свет покаяния («А я разве во что верю?.. Ведь даже «господи, господи» крикнуть и то некому!»), — все же подспудно-эмоционально преобладает нота не гнева и отлучения, а понимания и конечного прощения.

Теперь осталось обратиться еще к одному знаменитому произведению, в котором явственно прозвучали не столько нравственные стороны евангельского учения, сколько другие, связанные с главной надеждой, принесенной Христом человечеству. Ее-то до сих пор фактически и не услышала литература, обращавшаяся к образу Христа. «Смерти не будет» — так звучал один из авторских вариантов названия будущего «Доктора Живаго»¹. Этот возможный заголовок появился среди прочих прикидок в черновой рукописи первых глав романа в начале 1946 года. В октябре того же года Борис Пастернак писал двоюродной сестре Ольге Фрейдберг о своем романе, называя его уже «Мальчики и девочки»: «Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным». Для того чтобы по-настоящему понять, что и как художественно претворил в своем романе Пастернак из важнейших для него «сторон Евангелия», необходимо более основательно обратиться к самому этому древнему тексту.

Слово «евангелие», как известно, означает «благая весть». А о чем же она, собственно, эта весть? Христос не устает повторять, что его проповедь, его весть — о Царствии Божием. Оно должно сменить царство мира сего, иначе говоря — природный порядок существования, основанный на всеоб-

щем пожирании, смерти, половом расколе, дурной бесконечности вытесняемых и рождаемых поколений. Во всех канонических Евангелиях благовествование Христа описывается не иначе как: «...пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия...» (Марк. 1, 14). «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие...» (Лука. 8, 1). «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам...» (Матф. 24, 14). Россыпь притч Евангелия от Матфея, открывающихся словами «Царствие Небесное подобно», обнаруживает, насколько важно для Христа намекнуть, задеть, разбудить ум и душу содержанием своей вести. Раскрывает ее Христос всегда иносказательно, обещая только ученикам дать более прямое знание: «И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах...» (Марк. 4, 11). Но вот Христос уже окончил земную проповедь, перед смертью прощает со своими учениками, и оказывается, что до сих пор это знание еще не явлено даже им: «Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце» (Иоанн. 16, 25).

Так евангельские слова Христа обнаруживают свой иносказательно-образный характер и должны быть еще поняты в своей прямой сущности. Это относится прежде всего к теме «Царствия Божия». Нравственное учение представлено ясным поучением, точным указанием, а «благая весть» чаще всего облекается в символический образ. Есть объяснение самого Христа, его «не вмещается», в котором — трезвая оценка доставшегося ему уровня человечества. Идея преображения природного порядка существования в радикально иной, божественный строй столь дерзновенна и откровенно безумна, что с трудом вмещается в понимание самых близких, пошедших за ним. Ученикам, будущим апостолам, проповедникам его учения, Христос открывает тайны Царствия Небесного осторожно и постепенно, испытывая и закаляя рождающуюся впервые, новую для земли логику, идущую против всех ее жизненных и умственных привычек.

Хотя черты Царствия Божия дорисовываются и в проповеди апостолов и в видении конечных судеб мира в Откровении Иоанна Богослова, главное содержание дает сам Христос, поистине богочеловек, ставший на грани двойного бытия — данного, природного, и другого, бессмерт-

¹ См.: В. М. Борисов. «Река, распахнутая настежь. К творческой истории романа Бориса Пастернака „Доктор Живаго“» (в кн.: В. П а с т е р н а к. Доктор Живаго. М. «Книжная палата». 1989, стр. 420).

ного, божественного. Сам Христос называет себя «Сыном Человеческим» (единственный раз в его устах звучит согласием: да, Сын Божий.— Иоанн. 10, 36). Только другие, видя его божественную мудрость и сверхприродную власть, явленную в чудесах, удостоверяют: «...истинно Ты Сын Божий». Он действительно первый Сын Божий, первый вестник неприродного, бессмертного, божественного бытия. Поверивши в дерзание и веру Христа в Себя как Сына Божия, все люди, сыны природных отцов, приглашаются к усыновлению духовному, божественному Отцу. «Да будете сынами Отца вашего небесного...» (Матф. 5, 45).

Через все благовествование Христа и позднее в поучениях апостолов проходит последовательное разделение двух порядков бытия, двух царств, земного и небесного. Христос сразу же предупреждает, что он пришел не «с новой заплатой к ветхой одежде», не с проповедью улучшения, нравственной реформы природной жизни, а с требованием решительной ее перемены. Главное и очевидное для всех следствие природной жизни, обличающее ее глубинное несовершенство, есть «рабство тлению», подвластность слепым, смертоносным силам и самого человека и всей твари. За всеми формами рабства, экономического, юридического, социального, которые единственно доступны пониманию вопрошающих его: «...мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь „сделаетесь свободными“?» (Иоанн. 8, 33),— Христос указывает на глубочайшее натуральное рабство человека у самого природного порядка, у первородного греха пожирания и вытеснения, из которого человек вырваться не дерзает, а потому и гибнет неизбежно, ибо «раб не пребывает в доме вечно...» (Иоанн. 8, 35). Этому рабству смерти противостоит та «свобода славы», что дается господством над слепыми силами, победой над тлением.

Ибо главное обетование, возвещенное Христом, есть победа над смертью и тлением, «жизнь вечная». Одно слово — ж и з н ь — становится его определением: «начальник жизни», «жизнь явилась», «слова жизни». «Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком» (Иоанн. 10, 10). Одно из самых чеканных самообозначений Христа — в ответе Марфе, сестре умершего Лазаря, непосредственно перед его воскрешением: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет...» (Иоанн. 11, 25).

Идея воскресения умерших была в вестии Иисуса наиболее безумной, с трудом вхо-

дила даже в его учеников, вызывая сначала их растерянное недоумение: «И они удивлялись это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых» (Марк. 9, 10). Вера в воскресение отталкивает от Христа многих, принявших его вначале: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Иоанн. 6, 66). Но для ближайших, все более проникающих светом этой главной, радостной вести, — напротив: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни...» (Иоанн. 6, 68). Так тайна тайн Царствия Небесного влечет к себе все больше, чтобы в проповеди Павла раскрыться с исключительно страстной силой.

«Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» (I Кор. 15, 12). Апостол утверждает факт воскресения Христа как пример, матрицу будущего воскресения всех. Но далее Павел предлагает замечательный логический перевертыш: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес...» (I Кор. 15, 13). Этот парадоксальный ход от следствия к причине обнаруживает внутренне необходимую связь воскресения Христа и воскресения умерших не как двух событий, а как двух идей.

Как событие религиозной веры Христос мог воскреснуть, и это вовсе не значило бы, что и мертвые должны воскреснуть. Но Христос воскресает именно как проект всеобщего воскресения. Если же этот проект не осуществится (по формуле Павла «если нет воскресения мертвых»), то и сам факт недействителен («то и Христос не воскрес»). «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (I Кор. 15, 14), то есть если и самого проекта нет, не было явлено, то нет и веры христианской. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (I Кор. 15, 19). Только в этой жизни надеяться на Христа — значит принимать его как учителя морали, нравственного реформатора, пришедшего по-доброму, по-христиански уладить эту, земную, природную, жизнь. А ведь только так надеются на него многие, выпускающая главное: активный прорыв в новый тип воскрешенного, бессмертного бытия. «Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» (I Кор. 15, 29). Итак, все в жизни тщетно, если безвозвратно пожирается последним врагом — смертью.

До того как умереть и воскреснуть, Христос воскрешает сам. Это его высшее, дерзновеннейшее чудо: в Евангелии от Матфея

и в следующем, от Марка, Христос воскрешает только что умершую дочь Ианра, начальника синагоги; в Евангелии от Луки — единственного сына вдовы из Наина, которого уже выносили для погребения; и, наконец, в Евангелии от Иоанна — своего друга Лазаря, брата Марфы и Марии, бывшего в гробу целых четыре дня и уже начавшего смердеть. Последнее воскрешение не только описано так подробно, как ни одно из его чудес, но здесь — впервые и единственно — переданы чувства самого Христа. «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился, И сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойдй и посмотри. Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его!.. Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу» (Иоанн. 11, 33 — 36, 38). Порыв скорби и возмущения охватывает Христа при виде плачущих по умершему. Отчего возмущение? Возможны два толкования: возмущение безверием их, не представляющих возможности Его возвратить к жизни мертвого. Но и самим безобразным фактом смерти, вырвавшей живого человека от любви и общения с близкими. И второе толкование подкрепляется дальнейшим: слезами и скорбью Христа при виде самого гроба. На символическом экране этого величайшего евангельского эпизода как бы проступает завет людям: только любовь, скорбь по умершим, невозможность принять их исчезновение могут привести к священному делу — делу восстановления жизни.

«Но народ узнав пошел за Ним; и Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления исцелял» (Лука. 9, 11). Тут обозначены два главных дела, которым предавался Христос до самой своей крестной смерти: проповедь Царствия Божия и явление того, что названо чудом. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Иоанн. 2, 11). Уверовали ученики, через чудеса приходят к вере и другие. Итак, чудо рождает веру. Но не только. Вера в Христа обещает чудо, чудеса, которые смогут творить все. «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море», и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет» (Марк. 11, 23).

Но что есть чудо? Приостановка естественных законов природы, отмена их на время. Какие же чудеса являет Иисус? Его

чудеса объемлют весь круг власти над слепыми, смертоносными силами мира. Он повелевает стихиями, укрощает бурю, идет по водам и т. д. Он умеет накормить, создать, если нужно, любое количество еды (насыщение пяти тысяч пятью хлебами и двумя рыбами и т. д.). Он исцеляет немощи физические (увечных, слепых, больных) и психические (изгнание бесов из одержимых). И наконец, возвращает к жизни умерших. Чудеса Христа не просто проявление и засвидетельствование его сверхъестественного могущества. Чудо — «проект» такой власти над миром, когда глубочайшие чаяния получают свою материальную реализацию. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, делá, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит...» (Иоанн. 14, 12).

Чудеса, осуществленные Христом, можно рассматривать как лабораторную демонстрацию будущих возможностей всех и каждого, если они пойдут за Христом, решатся дерзать на Царствие Небесное, новый бессмертный порядок бытия. Через чудеса, совершаемые Христом, приоткрывается окошечко в этот иной строй, проглядывает небесная слава человека. Что чудеса Христа — именно лабораторное, показательное предварение будущего, говорит тот факт, что они действуют на время и самих законов природы не отменяют: бури продолжают бушевать, люди болеть, да и воскресенные им в конце концов умирают, как все смертные. Чтобы предварение стало действительностью, нужно всеобщее участие в опыте чуда овладения стихийно-природным ходом вещей.

Требование активности людей в стяжании Царствия Небесного проходит через проповедь Христа и апостолов. Оно выражено в самом общем виде. «От дней же Иоанна Крестителя доньше Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12). Читая Новый завет, можно выделить два направления в строительстве Царствия Небесного: первое — нравственная работа над собой, внутренний отказ от закона плоти, соблазнов мира сего. В Новом завете этому направлению уделено значительное внимание: заповеди Нагорной проповеди, постоянные подробнейшие наставления первохристианам в апостольских посланиях. История христианства отмечена замечательными нравственными подвигами, опытом духовного художества. Это одно и было, по существу, принято к действию.

Нравственное учение Христа как будто исходит из сердцевины уже достигнутого,

осуществленного Царствия Небесного, где оно станет естественной нормой отношений. Поэтому это учение и может выражаться только заповедями, то есть императивами, ибо оно — прежде всего сверхчеловеческое требование «возлюби ближнего, как самого себя» — не мотивировано естественной реальностью, не вытекает неудержимо из природы человека, а как бы идет против нее и может осуществляться только через ее преодоление. Эти заповеди — порождение проективной сущности человека. И как они ни над человеком, но призывают тянуться; ну хоть на вершок, да подтягивать свою природу к идеалу.

Второе направление домостроительства нового порядка бытия явлено действием самого Христа: управление стихиями природного мира, победа над ним в самом его жале — пожирании, похоти, смерти: воскрешение мертвых, собственное воскресение и преображение, обретение новой природы. Тут наиболее дерзновенное преткновение для Евклидова ума, «соблазн» и «безумие». Нравственное совершенствование само по себе, без преображения натуральной основы существования человека, достигает лишь единичных, легко стираемых результатов. Апостол Павел, цитируя библейский псалом о величии человека, которому Бог «все покорил под ноги его», продолжает: «Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено...» (Евр. 2, 8). Как раз это важнейшее направление человеческой деятельности в мире по реальному покорению материальных сил и стихий, освобождению от «рабства тлению» было глубоко осознано и развито русским мыслителем Николаем Федоровичем Федоровым.

Чуть ли не на первых страницах «Доктора Живаго» философ Николай Николаевич Веденяпин (тезка Федорова), идейный наставник главного героя романа, так говорит о заветном чаянии человечества, о его высшей цели и задаче: «...надо быть верным Христу... можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное

оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии». Это рассуждение вовсе не случайная мыслительная аппликация на романную ткань. В семье Леонида Осиповича Пастернака (известного художника, отца поэта), рисовавшего Федорова, необыкновенного библиотекаря Румянцевского музея, и оставившего о нем воспоминания², хранилась память об этом оригинальном человеке и мыслителе. Но только в самом начале Отечественной войны идеи философа «общего дела»настоящему входят в сознание Бориса Леонидовича. Он знакомится с молодым историком Екатериной Крашенинниковой; а она входила в кружок молодых людей, преданно изучавших наследие Федорова и его последователей Александра Константиновича Горского и Николая Александровича Сетницкого. Сетницкий, экономист, философ и поэт, к этому времени уже был расстрелян, а Горский отбывал ссылку в Калуге, откуда вел интенсивную переписку с дочерью погибшего соратника Ольгой Сетницкой и ее ближайшей подругой Катей Крашенинниковой. Именно они привезли Пастернаку работы Федорова и его учеников. Борис Леонидович изучает эти материалы и под впечатлением открывшегося ему круга новых идей углубляет и переосмысляет свое представление о христианской задаче в мире. Его как художника увлекает сама столь удивительная и какая-то запредельно неуместная для сталинской эпохи общность юношей и девушек, увлеченных идеалом бессмертия. Не случайно и будущий роман в «магическом кристалле» творческого предвосхищения увиделся тогда как своего рода продолжение «Братьев Карамазовых». В романе Достоевского, отмеченном влиянием федоровских идей, как мы помним, собирается некая как бы малая «церковь» мальчиков, объединенных вокруг Алеши Карамазова, утверждающего в своей речи на могиле Илюшечки основу их кредо: надежду на востание умерших. И вот выросшие и помещенные в нашу эпоху «мальчики и девочки» (а так и должен был называться задуманный роман) уже на «совершеннолетнем», обогащенном философским и научным знанием уровне стремятся активно нести в мир свои убеждения. Однако сама жизнь внесла коррективы в подобный замысел. Война разметала кружок федоровцев, кто погиб на фронте, кто исчез, реальность не дала оснований для прямого сюжетного развития первоначального идейного импульса. Но импульс остался, он

² См.: Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М. 1975, стр. 142—144.

ушел в размышления и философа Николая Веденяпина и умницы Симы Тунцевой (кстати, ее прототипом была как раз Катя Крашенинникова³) — их обоих Живаго признает единомышленниками и вдохновителями многих своих мыслей («Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определения здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности, как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушкиным...»).

Что касается воскресительного лейтмотива «Доктора Живаго», то он и явно и подслудно вплетен в сложный романый ансамбль. Первые страницы книги (похороны матери Юры, вьюжная ночь после погребения, переживания ребенка) — смысловой и музыкальный зачин этой темы. В чувстве маленького Юры явлена идеальная детская реакция на смерть («будьте, как дети»); нерелефированный порыв «бежать на улицу, чтобы что-то предпринять», как-то помочь засыпанной землей и покрываемой снегом матери «оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю». Вьюга, бушующая в этом начальном эпизоде, вводит один из постоянных мотивов романа. Его символические обертоны связаны с угрозой хаотических, разрушительных, смертоносных сил. Герои романа прямо высказывают свое ощущение этой связи: «Каждому она (снежная буря.— С. С.) что-нибудь напоминала. Юрию Андреевичу — детство и смерть матери, Антоне Александровне и Александру Александровичу — кончину и похороны Анны Ивановны».

Апофеозом царства смерти становится в тифозном бреду Живаго «буря черной червивой земли». Это было первое самое серьезное и почти увенчавшееся успехом посягновение Смерти на земное существование доктора. Борьба его воли к жизни складывается в бреду на еще одно великое вселенское сражение. Юрию Андреевичу мнится, что он пишет поэму «Смятение» о тех днях, которые протекали между смертью Христа и его воскресением, о том как бы ничейном пространстве и времени, когда шла незримая битва между воскреситель-

³ «...Сотрудница музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг», о которой, не называя имени, вспоминает Пастернак в «Автобиографическом очерке», рассказывая о пролаже писем Цветаевой к нему, это и есть Е. А. Крашенинникова. Духовное общение с ней Борис Леонидович поддерживал до самой своей кончины.

ной и преображающей потенцией Жизни и «черной земной бурей», препятствующей ее раскрытию и торжеству. «И две рифмованные строчки преследовали его: Рады коснуться и Надо проснуться. Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И — надо проснуться Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть».

Позднее то, что брезжило в воображении больного Живаго, его полубессознательные переживания и образы — все это сгустилось в поэтические строчки, в ясной красоте явившие чувство и мысль героя. И здесь его больше всего влекут особые предвоскресные «три дня» (в определенной символической проекции они представляют тысячелетнюю историю человечества, до сих пор находящегося в этой смутной, промежуточной, трагической поре). Но в известном всем метафизическом сценарии (далеко обогнавшем или предвосхитившем историю) радостный, снимающий трагедию финал уже известен:

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

И сколь знаменательно и смыслодержавще именно это «усилье», так перекликающееся с Христовым «Царствие Небесное силою берется». Творческое понимание христианства, требующее человеческого сотрудничества в богочеловеческом мировом процессе, было свойственно, по существу, всей русской религиозно-философской традиции конца XIX—XX веков, от Владимира Соловьева до Николая Бердяева, ее же представителем является и вымышленный Николай Николаевич Веденяпин, вобравший в свои размышления основной пафос этой мысли.

Среди его соображений, рассыпанных по роману, есть одно, особенно близкое Юрию Живаго и его автору: «До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна. Такими же «притчами из быта», из окружающей природы говорит с нами и Пастернак.

В числе наиболее волнующих и живых персонажей романа — сама природа в многообразии своих явлений, существ, вещей, состояний, распахивающаяся кладезем (ве-

ликой притчей) смыслов и тайного послания людям. Прямо объявленный принцип «соответствия между физическим и нравственным мирами», своего рода эстетически преломленный «антропный принцип» (выявленный в науке позднее и суть которого в том, что человек, его присутствие в мире, его восприятие организует мир, придает ему определенное бытие), лежит в основе «поведения» этого природного персонажа в «Докторе Живаго». Постоянно поэтически рифмуется то, что происходит в людской душе и житейском укладе, с наружным состоянием мира. Молодой месяц встает «предвестием разлуки, образом одиночества» героя; по кишащим отъевшимся мышьяными стаями пространствам полей после гражданской войны как будто «змеится насмешливая улыбка дьявола»; лес вырастает из-под земли «для изъявления сочувствия» страдающему человеку; «небывалым участием» дышит и «зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель»; запах становится «задушевно-разумный, как какое-то слово, сказанное шопотом в темноте»; а «сквозящий огнем зари вечерний лес» может предстать природным аналогом «внутреннего лица» героя, его «юношеского первообраза». На своем языке природа способна напомнить даже о самом заветном: «Очнись! Очнись — звал и убеждал он (соловей.— С. С.), и это звучало почти как перед Пасхой: „Душе моя, душе моя! Восстани, что спиши!“».

В самом названии «Доктор Живаго» можно увидеть (и увидели) некую переключку с доктором Фаустом⁴. Знаменитый мировой образ воплотил в себе идеал познания явных и тайных пружин мира, с тем чтобы, овладев ими, реализовать цель полножизния, влекущую героя. В самом имени Живаго звучит жизнь и буквально повторено старославянское определение «Бога Живаго». Но доктор Живаго — это не доктор ка-

⁴ Кстати, и «Мастер и Маргарита» Булгакова — в известной степени русский «Фауст». Только договор с Сатаной задвинут к середине романа, к самой, так сказать, «Вальпургиевой ночи», к сцене «Великого бала у Сатаны». Интересно, что заключает его Маргарита, чтобы спасти Мастера, которому самому скорее пристало быть Фаустом. Очень характерно, что здесь женщина выступает в этой роли, а Мастер пассивен и страдатель, как мужик на Руси. Причем русская Маргарита-Фауст спасает Маргариту Гёте, жертву немецкого Фауста. Спасает — даже ценой отказа от собственного счастья (ведь ей разрешено только одно желание, и она его расходует на просьбу снять проклятие с Фриды — так зовут в романе воплощенный архетип вечной Маргариты-детоубийцы).

ких-то там наук, а тем более тайных, себе на потребу обращенных. Он буквально просто доктор, врач — для помощи больным. Правда, подчеркнут его особый талант: он необыкновенный диагност, интуитивно точно чувствующий, где завелась порча в организме. Жизнь в целом на своем бессознательном уровне движется великим инстинктом, а на мыслящем, человеческом этот инстинкт оборачивается интуицией. И тут наш доктор наиболее представитель Жизни. Да и как наблюдатель, как врач, как поэт, он ищет прежде всего восчувствовать жизнь изнутри, в ее, так сказать, творящем стане; его особо волнует явление мимикрии, приспособления организма к среде, тут внутреннее (потребность, нужда организма) переходит во внешнее, внутреннее умеет создать себе необходимое внешнее (нужный орган, окраску и т. д.). Доктор Живаго — сознательный антимеханицист, потому так чует влияние над органикой, естественностью со стороны реформаторов его времени. Корсет их схем стягивает живую жизнь, затрудняет ход ее кровообращения, разрывает, а то и омертвляет ее ткани. Самое для него чуждое — механистичная «отвлеченность» (вот его слово) жрецов нового уклада. Ряд противопоставлений тут очевиден: за конкретное — против отвлеченного, за личность, за единственную «животинку», за теплый быт, за живое, трепетное ядрышко семьи — против абстрактных единств и множеств. Простейшие бытовые дела, хлопоты домашнего устройства облиты в романе поэтическим чувством, подняты чуть ли не в онтологический ранг, в вечную «антиэнтропийную» службу обращения беспорядка, хаоса, холода в обустроенный теплый космос, пусть самый малый. Но из суммы этих малых порядков и рождается большой осмысленный человеческий порядок, и только на нем могут прочно надстраиваться этажи социальные и культурные. И насколько, наоборот, стремясь по идейной схеме, казалось бы, организовать, упорядочить жизнь, приходят к царству хаоса, одичания, противоестественности. Идея, мыслительное построение торжествует над жизнью, оказывается первичнее ее, а значит, внедряется отвлеченный, механистический идеализм — и это при всех громогласных декларациях верности материализму и только материализму. Все устраивается как-то мимо и упорно мимо фактов, мимо давности человеческой природы, требований сердца и совести, законов мира физического и нравственного.

Можно вычленивать как бы три уклада (уровня) бытия в романе. С одной стороны,

естественное: человек в родственно-натуральной, любовной связи с другим человеком, быт, природа, культура. С другой — противоестественное: все насильственно-схематические перекройки действительности. Но с третьей — есть еще и «сверхъестественное»: надежда на победу над силами распада и смерти, на возможность управления материи духом, явленная Христом, его воскресением. Материальное, природное, человечески-личностное потому так и свято в каждом миге и мелочи своего живого бытия, что ему заповедано вышнее: одухотворение и преображение.

На определенной временной дистанции, когда мнившее себя единственно значительным, достойным исторического, культурного прославления вышло вовсе не столь «вечным» и «великим», а, напротив, обнаружило суету, поверхностность, преступления, такой вроде бы аполитичный, незначительный (для текущей злости и грома дня) герой, как Живаго, оказалось, жил тем, что не состарится и не сойдет со сцены, что всегда будет нужно людям. На время это может быть заклеено как обочинный, ненужный сор, ан нет... блестит крупными нетленным духовного золота.

Лара для Живаго не просто любимая и прекрасная, необходимая ему женщина. Она вошла в каждую его клетку как запах и звук, как тонкая проникающая вибрация, которой он живет, движется и радуется вышему дару жизни. «„Лара!“ — закрыв глаза, полупештал или мысленно обращаясь он ко всей своей жизни, ко всей божьей земле, ко всему расстилавшемуся перед ним, солнцем озаренному пространству». Она в своей какой-то чуть ли не «космической» ипостаси воистину — вечно женственное начало Жизни (Живаго), тайный энергичный источник, влекущий своими возвышенно-эротическими токами к восхождению и творчеству. Блоковские смысловые ноты тут очевидны. Но чего нет, так это разрыва и контраста софийной прекрасной дамы и профанической любовной практики с ее площадными венерами. Вообще нет дуализма небесного и земного, а есть одно земное, в котором сквозит небесное и вечное, есть Лара в романе и Магдалина в стихах. Эту бывшую блудницу ждет громадное восхождение («...за этот страшный промежуток Я до Воскресенья дорасту»).

Трепетная, любящая ученица Христа выражается вдруг так, что «вечность» благодаря Спасителю встала перед ней и ждет «как новый, в сети ремесла мной завлеченный посетитель». И это не кощунство, не невольная словесная неуместность, а осознанная верность впечатлениям единственно прожитой жизни, именно своей бытовой «притче».

«Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения»; рядовое, пропитанное конкретностью, принадлежащее именно этому человеку и мигу жизни, запечатлеваемое искусством, исходит в вечный, духовный ряд. Так искусство всегда на протяжении своей тысячелетней истории посвоему противостояло смерти и забвению. Рассказывая о напечатанных работах Николая Николаевича, автор отмечает, что «душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием — новая идея искусства». Одним из самых глубоких сюжетов Юрия Живаго является как раз вдумывание в эту идею искусства. Ближе всего к действительно новому повороту в его понимании он приходит в следующем рассуждении: «...искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой, форма же есть органический ключ существования, формой должно владеть все живущее, чтобы существовать...». Здесь искусство, тождественное творчеству, объявляется внутренним органическим принципом бытия, которым бессознательно владеет природа на путях инстинкта и органосозидания; человек же в существующих формах искусства владеет только художественной формой, позволяющей ему создавать совершенные духовные, но буквально не-живые творения. И Федоров, ставивший высшей целью искусства реальное житнетворчество, и символисты с их теориями теургического искусства безусловно входят в поле идейных сил, формирующих прозрения доктора Живаго, касающиеся «новой идеи» искусства. А поскольку эта идея вытекает из «по-новому понятого христианства», а также истории «как установления вековых работ» по преодолению смерти, то искусство, до сих пор компенсировавшее смертный порядок бытия только в культуре, уже не встает в известную оппозицию к «Свету» и «бессмертию» (как в «Мастере и Маргарите» Булгакова), а становится в перспективе активным орудием их воцарения на земле.

Ю. ШРЕЙДЕР



СОЗНАНИЕ И ЕГО ИМИТАЦИИ*

В наше переломное время все громче раздаются жалобы на утрату веры. Отнестись к ним нужно серьезно. Но не спешить с сочувствием. Вера — это способность непосредственно воспринимать Истину, Добро и Красоту. Но чаще верой называют приверженность «всемству» (Достоевский) — ходячим или санкционированным мнениям, тому, что дает успокоительную возможность не прислушиваться к потоку жизни и голосу совести. Проваливаются одни теоретические эталоны, хочется тут же найти другие, чтобы создавать новые утопии или латать старые. Дело не в том, хороша или плоха принятая мерка, а в том, что она из рабочего инструмента становится диктатором сознания.

В недавно опубликованной статье, написанной в 1968 году, Анатолий Якобсон, демонстрируя жестокость и опасность идейных схем, которыми жили поэты — революционные романтики, надеется найти защитительное знание в идеологии толстовства, предлагающей свою мерку добра. Но не от лукавого ли вообще стремление получить веру как готовое знание, а не как таинство, требующее сосредоточенности души? Об этом и пойдет речь.

1. Человек сознающий (*homo consciens*)

Основной клубок литературных публикаций, журналистских выступлений и споров вокруг них, завязавшийся в 1987—1988 годах, выражает нарастающее стремление обрести историческое сознание — и одновременно страх расстаться с некими смысловыми клише. «Принципы или правда» — вот первая дилемма, вокруг которой идут яростные споры. «Принципы важнее правды» — вот пафос «знаменитого» письма Нины Андреевой в «Советской России». И в этом есть свой резон: принципы полезны и удобны, а правда болезненна и дискомфортна.

* Статья есть плод совместных размышлений с Н. Л. Мухелишвили и без него не могла быть написана. (Прим. автора.)

Подумать только! Человек точно знал, за что терпит материальные лишения, не имеет приличного медицинского обслуживания, не может дать детям полноценного образования. Это все было платой за право декларировать высокие принципы, право ощущать себя представителем «самой прогрессивной части» человечества. И вот это последнее, но все оправдывающее право у человека пытаются отнять. Как тут не закричать от боли и обиды!

Поэтому попытки общества обрести историческое сознание сопряжены с многочисленными личными трагедиями. В этом смысле замечательно по своей выразительности следующее письмо читателя в редакцию журнала «Огонек»: «В № 48 вы дали трибуну жене Бухарина. Не могу описать чувство возмущения, охватившее меня. Меня буквально дрожь бьет, как в лихорадке. Я потерял здоровье, перенес клебеллоу энцефалит, именно из-за таких выродков, как этот шпион Бухарин и его жена, которых я пять лет охранял в системе Дальстроя... Я пришел к выводу, что журнал ваш антисоветский, и читать его больше не буду». Боль, выраженная в письме этого человека, искренна, ибо рушится предмет веры, оправдывающий его существование и его деяния. Он тоже жертва навязанных смысловых клише.

А. С. Ципко справедливо пишет о том, что «мы просто не имеем права судить о поступках Сталина, не утруждая себя критическим анализом тех принципов, которыми он руководствовался» (А. С. Ципко, «Истоки сталинизма», очерк 2.— «Наука и жизнь», 1988, № 12, стр. 40).

Однако было бы упрощением считать, что основной источник наших бед в неразумии, в неспособности накопить и использовать нужные знания о происходящем историческом процессе.

Утопия, которой мы подчинили свою жизнь, выгадала вполне разумной. Собланительно было бы считать, что несоответствие великой идеи и ее чудовищных воплощений в жизнь есть плод неизбеж-

ных практических ошибок, нехватки честных и умелых кадров и т. п.

Между тем не хватало нам не «разумности», но способности ясно осознать происходящее.

Речь идет об особом, специфичном для человека духовном феномене — способности активного выхода навстречу действительности. Сознание — это то, что существует совместно со знанием, сверяет его с реальностью. Исходное латинское слово «conscientia» имеет аналогичную начальную частицу *con*, переводимую как предлог «с» или «со». Но это латинское слово одновременно означает со-весть как осознание смысла собственных действий и вытекающую отсюда нравственную ответственность за них. Сознание (соответственно совесть) контролирует знания и основанные на них (диктуемые ими) разумные или просто привычные действия. Характерно, что в эпохи «просветительства», культа разума возникает стремление вывести разум из-под контроля сознания: «...самое важное, по-моему, — это освободить человека от угрызений совести». Высказывание одного из видных французских просветителей XVIII века (Ламетри) неожиданно смыкается с обещанием Гитлера освободить немцев от «химеры совести». Совесть оберегает свободу человеческой личности от посягательства внешних авторитетов, будь то авторитетные рекомендации разума или влиятельной идеологии.

В сознании (совести) реализуется личная экзистенция человека, оно требует личных усилий понимания происходящего, в то время как разум нуждается только в ясном выражении знаний и соблюдении объективных правил оперирования ими.

Теоретическая мысль способна увидеть неразумие и несправедливость происходящего и предложить многообещающие модели преобразования общества. Если эта мысль не считается с реальностью, неподконтрольна совести, то она в состоянии создать самые чудовищные утопии. А. С. Ципко подчеркивает, что «революционный пролетариат и социалистическая интеллигенция явились инициаторами наших великих скачков... Не может крестьянин, деревенский житель додуматься до таких фантазий и утопий, на какие способен интеллигент» («Наука и жизнь», 1989, № 2, стр. 54). Здесь слова «революционный» и «социалистическая» указывают, что речь идет о целом слое людей, для которых революция и социализм уже не средства достижения социальной справедливости и человеческого счастья, но самоценные идеи,

ради которых дозволено пожертвовать и справедливостью, и человеческим счастьем, и жизнями миллионов.

Человеку, занятому реальным созидательным трудом, сам опыт повседневной жизни помогает отличать осмысленные действия от дурных и бессмысленных. Ему достаточно обыденного сознания, чтобы ясно ориентироваться в происходящем. Здравый смысл и впитанные с традицией моральные устои — достаточно прочная опора в привычной деятельности. Однако в ситуациях смены жизненного уклада, при совершении поступка, определяющего свои и чужие судьбы, проявляется то, что уместно назвать замутненностью обыденного сознания.

Человек ведь не просто разумное существо.

Разумно ведут себя собаки, крысы, дельфины и вороны. Но только человек стремится сознавать себя, смысл своих поступков и своего существования. Человек — единственное живое существо, отделившееся от Природы, обитающее не только в Природе, но и в духовном мире, где действуют категории добра и зла, красоты и уродства, истины и лжи, которых в Природе нет. Натуральное, естественное существование обходится без этих категорий. Естественное поведение определяется необходимостью достигнуть ясно очерченной цели: получить пищу, избежать гибели или увечья, осуществить спаривание для получения потомства. В последнем примере мудрая Природа сумела сделать так, чтобы индивидуум ощущал цель, существенную для воспроизводства вида, как свою собственную цель получения удовольствия. Компьютер, решающий интеллектуальную задачу, также обладает запрограммированной извне целью, достижением которой определяется успешное завершение его работы.

Только человек, вообще говоря, не относится к своим целям как к чему-то естественному и безусловному, но соразмеряет свои цели со своими ценностными ориентирами, то есть с реальностью не природного, но духовного мира. Человек способен не только целесообразно (разумно) действовать, но и осознать смысл своих действий, ставить под сомнение непререкаемость естественных целей. Казалось бы, тогда человека как биологический вид следовало бы и называть-то не человек разумный (*homo sapiens*), а человек сознающий, или *homo consciens*, что имеет еще один важный перевод: человек совестливый. Однако такого переименования мы явно не заслужили. Способность к сознанию актуализируется далеко не всегда и не в каж-

дом из нас. Пока у человека нет устремленности к акту осознания, можно говорить лишь о замутненном сознании. (Таково обыденное состояние сознания любого из нас, будь он хоть трижды гением.) Для его прояснения, для преодоления управляющих нами автоматизмов нужны личные усилия. А на них трудно отказаться. Прожитая нами эпоха требовала от каждого не только не отклоняться от провозглашенных принципов, но не показывать и тени сомнения. Эти принципы оказались эффективным средством манипулирования людьми, отчуждения нашей совести.

Опасен был сам запах сомнения, способность к личной точке зрения на происходящее. Этот запах в большинстве случаев приводил человека к гибели. Безопаснее было не сознавать подлинную суть происходящего вокруг. Важнее зыбкого деления на преследователей и жертв было деление на горсточку пытающихся осознать происходящее безумие и большинство боящихся сознавать. Эта тема в нашей литературе только начинается. Пожалуй, одним из первых коснулся ее С. Есин в романе «Соглядатай, или Бег в обратную сторону» («Знамя», 1989, № 1, 2), где установку героя-кинорежиссера сверстница его матери, пытавшаяся когда-то спасти ее от грозящего ареста, характеризует фразой: «Вам тогда еще казалось, что в жизни и в искусстве можно проскользнуть каким-то третьим путем между правдой и ложью». Дело здесь не в том, чтобы не высказать известную тебе правду публично (почти все вынуждены были от этого отказаться), а в том, чтобы утаить беспокоящую правду от самого себя.

Рубашов — герой романа А. Кёстлера «Слепящая тьма», опыненный утопической идеей, неуклонно приносивший ей в жертву чужие судьбы и сам ставший ее жертвой, только в тюрьме начинает осознавать свою реальную, а не приписываемую вину, за которую он пойдет на расстрел. Можно было бы уподобить его раскаявшемуся на Голгофе разбойнику (Евангелие от Луки, 23, 40—43), но тут случай запутаннее.

Признав фальшивое обвинение, он усугубляет свою истинную вину, усиливает царящую ложь во имя все той же идеи. Сегодняшняя реабилитация Рубашова в лице его прототипов необходима как снятие лжи, но не исторической вины. Думается, что отказ в снятии с Ягоды ложных обвинений был неоправдан, ибо их отмена только подчеркнула бы несоответствие приговора истинной вине подсудимых.

Для обретения исторического сознания отнюдь не достаточно выяснения конкретной

вины очередного Рубашова. Исторический процесс есть равнодействующая многих причин, уходящих беспредельно далеко в прошлое по цепочке влияния друг на друга. Знать их все практически невозможно. Но даже если и допустить, что мы знаем некоторую решающую причину, воздействовавшую как спусковой крючок на лавину последующих исторических событий, это будет только знание истории, но не историческое сознание. История не повторяется, и то, что было спусковым крючком минувших событий, может не иметь решающего значения сегодня.

Историческое сознание пытается понять, что было дурным историческим деянием, за которое нам приходится сегодня нести ответственность и платить собственной судьбой. Знание ошибок не предохраняет от новых ошибок. Моральная же оценка укрепляет совесть и помогает не совершить еще одного дурного деяния. Библейская мудрость, говорящая о том, что за грехи отцов страдают их потомки до седьмого колена, выражает не «мстительность Ветхозаветного Бога», но исторически первый опыт исторического сознания: зло порождает зло, карающее не только носителей этого зла, но и их потомков, не оценивших старое зло как зло. Историческое преступление не остается безнаказанным для потомков, если их совесть о нем молчит.

Расстрел царской семьи вместе с несовершеннолетним наследником, женщинами и матросом-нянкой был одним из таких преступлений. И дело даже не в том, кто это совершил, а в том, что деяние это не было сразу названо преступлением тогдашней центральной властью и было принято как нечто естественное значительной частью страны да и цивилизованного мира. Тем самым оно как бы узаконило образцы того, как можно и должно поступать в условиях революции, а затем — «нарастающей классовой борьбы» или «сложной международной обстановки». Жизнь царской семьи может считаться и не более священной, чем судьбы миллионов других семей. Но уж тогда и не менее. А как образец вседозволенности, снятия любых нравственных запретов на убийство без судебного разбирательства, на убийство беззащитных женщин и детей, расстрел в подвале Екатеринбург был одним из наиболее ярких и потому губительным для общества. Не удивительно, что в этом обществе стало возможным уничтожение детей раскулаченных и детей «врагов народа».

Нашим обществом было надолго утрачено представление о чудовищности любых

действий, направленных на манипулирование судьбами других людей. Это поставило нас перед угрозой необратимой катастрофы — аннигиляции человеческого сознания¹.

2. Знание и реальность

Итак, быть человеком сознающим — это способность, позволяющая человеку формироваться в качестве свободной личности, не запрограммированной готовыми знаниями и господствующими предубеждениями. Каждому из нас дано стать человеком сознающим лишь при условии индивидуальных усилий. В то время как человеком разумным является любой представитель нашего биологического вида за исключением патологических случаев.

Удача «Верного Руслана» («Знамя», 1989, № 2) зиждется на том, что главный герой этой повести, будучи псом, заведомо не может осознать происходящее с ним и окружающим его миром, но обладает всеми свойствами человека разумного. В этом псе выражена человеческая трагедия неспособности обрести личное сознание при наличии разума. Но это еще и пародия на «осознанную необходимость» как подчинение себя не подвергаемой сомнению идее, слепо перенимаемой из окружения.

Представлять себе требования разума неким абсолютом, на котором зиждется человеческое существование, очень соблазнительно, ибо тут есть шанс снять с человека бремя свободного выбора. Если знания и разум однозначно диктуют наиболее целесообразное поведение, то о свободе говорить не приходится — тогда она находит себе место лишь в несовершенстве разума и неполноте знания, как временная неопределенность поведения. Знание оказывается высшей гарантией при решении всех проблем собственного существования. Представление о спасительности знания, позволяющего преодолеть изначальную испорченность мира (следствие ущербности его создателя — демиурга), возникло, по сути, в древних гностических учениях. Учения эти противопоставили знание (по-гречески: гнозис) как средство спасения человека стремлению к самосовершенствованию, основанному на сознании собственной греховности, то есть на совести и покаянии. Слово «покаяние», которое мы сейчас робко учимся произносить, стало в русском языке переводом греческого «метанойя», буквально означающего: перемена ума, или

перестройка сознания. Гностицизм издавна противостоял ортодоксальному течению христианства, принесшему в нашу культуру категории совести, покаяния, совершенствования личности путем преодоления зла внутри себя и вовне — как смысла существования. Разумеется, голос совести столь же внятны современному атеисту, как и человеку, исповедующему то или иное религиозное учение. Но закрывать глаза на источник, откуда эти категории вошли в нашу культуру, значило бы отказываться от исторического сознания.

В сущности, речь идет об очень старой дилемме: «знания важнее действительности» или, напротив, «действительность, раскрывающаяся сознанию, выше любого знания о ней». Эту дилемму можно представить еще и так: чему отдать приоритет — знанию, программирующему личность, или личности (как онтологической реальности), свободно соотносящей знание с жизнью.

В «маленькой трагедии» А. С. Пушкина Моцарт существует в мире действительной гармонии, а Сальери хочет предписать ей накопленные о ней знания. «Музыку я разъял, как труп», — признается Сальери и этим показывает, что знание о музыке для него важнее самой музыки, открывающейся Моцарту в личном акте сознания. Дело не в том, что алгебра бесполезна для композитора. Наверное, Моцарт не хуже Сальери знал законы контрапункта и принципы организации звуковой материи. Но Сальери «поверил алгеброй гармонию», то есть сделал алгебру, собранное по крохам знание, судьей над гармонией, над действительностью миростроения.

Именно личные усилия понять мир, увиденный как бы в первый раз, отличают акт сознания от имитаций сознания. Одна из удач В. Гроссмана в романе «Жизнь и судьба» — изображение того, как возникает значительное открытие Штрума в сфере ядерной физики. Сначала герой полностью подавлен авторитетом уже принятого научного знания: «Покушаться на теорию казалось немислмым, словно солдату срывать золотые погоны с плеч маршала». Чтобы покунуться на общепринятую и, как выясняется, неудовлетворительную теорию, Штруму нужно сначала реализовать человеческую свободу в вечерних беседах у своего робкого коллеги Петра Лаврентьевича Соколова, с которым он разделял казанский эвакуационный быт. (Кстати, в дальнейшем Штрума лишает свободы необщая атмосфера страха, но боязнь утратить неожиданную благосклонность власти.)

Сама ситуация с научным открытием

¹ Об этом см. в статье М. К. Мамардашвили «Сознание и цивилизация» («Природа», 1988, № 11).

Штрума опровергает чекиста Каценеленбогена, воспевающего величие лагерной утопии. Каценеленбоген убежден, что «только в лагере принципу личной свободы в абсолютно чистой форме противопоставлен высший принцип — разум... Каценеленбогену приходилось руководить лагерными КБ — конструкторскими бюро,— и он убеждался, что ученые, инженеры способны решать самые сложные задачи в условиях лагеря. Им по плечу любые проблемы мировой научной и технической мысли. Нужно лишь разумно руководить людьми и создавать им хорошие бытовые условия. Старинная байка о том, что без свободы нет науки — начисто неверна». В этом кредо, конечно, есть и фактическая ошибка. Да, мы теперь уже знаем, что в шарагах создавались боевые самолеты и другие технические объекты. Но тюрьма отсекала — как ненужные — попытки заниматься наукой Н. И. Вавилова и наверняка многих других, которым нет числа. Журнал «Изобретатель и рационализатор» опубликовал яркое свидетельство очевидца о «туполевском шараге», где действительно были созданы замечательные военные самолеты². По сравнению с лагерями Колымы быт шараги представляется идиллией, хотя и он порождает свои жизненные трагедии. Но эта шарага напоминает не столько лагерный каторжный труд, сколько является апофеозом несвободы творчества в самых обычных «почтовых ящиках» (не случайно принявших самоназвание «шараг» в конце 40-х годов), где очень часто некомпетентные администраторы «организовывали» труд создателей новой техники. Как Берия требовал от Туполева создания бессмысленного в военном отношении тяжелого бомбардировщика, так и властители незарешеченных шараг определяли направление работы специалистов, ориентировали их на следование устаревающим зарубежным образцам. На поиски новых направлений не хватало уже жизненных ресурсов. Не хватало свободы мысли. Это вечный дефицит лагерной системы. Лагерный режим не терпит ничего личностного, выходящего за пределы общего ранжира. Предвосхищая лагерную идиллию, Шигалев (в «Бесах») предлагал всякого гения задушить в колыбели.

Но Шигалев и его последователи одного не сообразили: для того чтобы создать хоть что-то, необходим ресурс духовной свободы. В повести Л. Кербера четко показано,

что только запас духовной свободы позволил Туполеву противостоять Берии и его камарилье и тем самым создать бомбардировщик, необходимый фронту. Ничто творческое не создается благодаря управлению и субординации, но только вопреки.

Копшмар, намеченный подследственным чекистом Каценеленбогеном и воплощенный его последователями (и одновременно следователями), основан все на том же противопоставлении разума и знания как высшей силы существованию свободной, творящей себя самое и мир вокруг себя личности. От просветителя Ламетри до воспевателя лагерного мира Каценеленбогена расстояние не столь уж далеко — они выбрали одну и ту же альтернативу.

Ленивое сознание апеллирует к разуму как источнику знаний, гарантирующих успех в заданных обстоятельствах и очищенных от произвола личных мнений, вкусов, интерпретаций. Надежда на создание идеального языка, обеспечивающего правильность мысли не за счет усилий сознания, а за счет правильности самой знаковой формы, многократно высказывалась в различных вариантах. Достаточно вспомнить идею Лейбница решать споры путем совместных вычислений на некоем универсальном формализованном языке. Гораздо позже, однако, было отмечено, что язык, на котором невозможны «неправильные» утверждения, служит верным средством подавления сознания и одновременно знаком социальной утраты сознания. Это открытие, как известно, принадлежит Дж. Оруэллу, в романе «1984» описавшему феномен «новояза». На первый взгляд идее конструирования совершенного языка противоположна рекомендация учиться у языка, который традиционно функционирует в культуре, и считать, что в нем уже достаточно полно заданы все необходимые смыслы.

Но готовое знание, предлагаемое утопией или даже традицией (сколько она сама по себе ни прекрасна), способно подавлять сознание в обществе, если в нем не бодрствует самосознание. В. Кожинев («Литературная газета» от 8 марта 1989 года) справедливо называет о. Сергия Булгакова, Бердяева, Карсавина, Розанова, о. Павла Флоренского и М. Бахтина представителями народа, осуществлявшими его самосознание.

Разумеется, речь идет об осуществлении самосознания для народа, а не вместо него. Само наличие в народе таких представителей стимулирует развитие личного сознания у каждого, если этому не создавать

² См.: Л. Кербер, «А дело шло к войне...» («Изобретатель и рационализатор», 1988, № 3—9).

специальных поэм, Указанный В. Кожин-вым список легко можно продолжить и в глубь истории и в сторону современности. (Тут представляются бесспорными только сейчас открывающиеся народу имена художников А. Платонова и В. Шаламова.) Всех этих людей объединяет общая способность к личным усилиям сознания, способность критически относиться к тому, что предлагают окостеневшая традиция и новейшая утопия.

Подлинная поэзия, подлинная литература служат не описанию жизни в готовых смысловых клише и не целенаправленному воспитанию читателя, но пробуждению сознания.

Пророк, как и сам автор, не пытается буквально описывать в одноименном стихотворении Пушкина «неба содроганье и горный англов полет». Его задача — пробудить у слушателей совесть — соведение. Для этого нужна притча (художественный образ, иносказание) как символ неопишемого. Сама невозможность буквального понимания притчи побуждает ее адресата к усилиям осознать реальность, на которую притча символически намекает.

Эти качества поэзии коренятся и в глубоко личностном опыте творца, в совершенных им самим усилиях понимания. Характерен в этом смысле самоотчет Варлама Шаламова: «Так вот, в написании стихов необходимо усилие, прыжок на какую-то высшую ступень, и пока она не достигнута, стихи не пишутся — существует лишь версификация. Необходимо нервное сосредоточение, отключение от всего на свете, свободный ход слов. Это состояние и есть способность принимать художественное решение. Не поиски — в творческом процессе никаких поисков нет. Есть лишь отражение всего бесконечного, что проходит сквозь мозг. Остается выбрать (записывать). Но это не выбор в настоящем смысле слова, а лишь подобие выбора. Это эмоциональное мгновенное решение. Состояние это называется иначе вдохновением и предполагает наличие тайны, чуда, озарения — превосходящего силы автора. Но это — не религиозное состояние. Это совсем другое чувство — чувство победы, радости, находки, завершения работы, подавление одного и высвобождение другого в одно и то же время... Поводы появления стихов очень различны, но обстоятельства их возникновения всегда одинаковы — работа на каком-то высшем уровне, вполне, впрочем, человеческом» (из письма автору).

Впрочем, Шаламов не пишет о том опыте, который предшествует чувству победы

и радости, об опыте постижения действительности, который затем реализуется в состоянии сознания, позволяющем этот опыт выразить. Возможно, Шаламов об этом не пишет потому, что для него этот опыт был невероятно тяжел и требовал сохранять способность сознания в тисках голода, холода и изнурительного труда.

В этом самоотчете поэта важна отрицание выбора между готовыми клише, технического перебора вариантов, вместо чего возникает проблема адекватного воплощения. Наконец, здесь подчеркивается мгновенность акта создания, отсутствие характерной для имитации сознания постепенности, внезапная ясность видения: «Смотря на себя как на инструмент познания мира, как на совершенный из совершенных приборов, я прожил свою жизнь, целиком доверяя личному ощущению, лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Что бы ты в этот момент ни сказал — тут не будет ошибки»³.

3. Антисознание

В корне противоположно установке художника на пробуждение своего и читательского сознания представление о писателе как инженере человеческих душ. Это отнюдь не метафора — задача переделки человеческих душ по типовому проекту вполне аналогична деятельности обычных инженеров «нечеловеческих тел». Такая задача литературы удачно выражена современным продолжателем традиций ОПОЯЗа А. К. Жолковским, написавшим: «Мы хотим представлять себе всякое художественное произведение как своего рода машину, обрабатывающую сознание читателя...»⁴ Конечно, это позиция исследователя, а не создателя, но навечно она именно идеологией инженерии человеческих душ.

Никто не станет отрицать, что любое произведение литературы обращено к сознанию читателя и как-то на него воздействует. Пушкин откровенно вменял себе в заслугу перед народом тот факт, что чувства добрые в нем лирой пробуждал. Но одно дело — пробуждать в чьей-то душе добрые чувства, апеллируя к ее способности и желанию их испытывать, а совсем иное — пытаться формировать в читателе заранее спроектированную душу. В последнем случае адресат художественного произведе-

³ В. Т. Шаламов, «Поэзия — всеобщий язык» («Литературное обозрение», 1989, № 1, стр. 103).

⁴ «Ученые записки Тартуского государственного университета». 1967, т. 3, вып. 198, стр. 146.

ния оказывается не личностью, способной к самостоятельным усилиям сознания, но лишь сырьем в руках «инженера человеческих душ», насильственно перерабатываемым по заготовленному проекту. В действительности обработка сознания, словно пассивного объекта, возможна лишь как поражение сознания, подавление его той идеологией, которую заложил в свой проект соответствующий инженер.

Да и сама идеология, лежащая в основе такой инженерии, фактически убивает писателя как художника, апеллирующего к личностным началам. Вместо открытия новой реальности писатель начинает заниматься пропагандой готовых, уже признанных обществом мнений, а в конечном счете утверждением принципов, которые считаются полезными теми, кто обладает реальной властью в обществе.

Идеология возникла как механизм воздействия на умы, целиком подчиняющий жизнь общества реализации заданной идеи⁵. Для этого было необходимо, чтобы идея утратила свой идеальный характер и превратилась в инструмент повседневной человеческой практики. Такую идею уже не требуется постигать путем погружения в особые духовные состояния. Ее можно применять как лопату или ружье. Как только идее приписывается способность полностью организовать человеческую практику, она порождает соответствующую идеологию, подчиняющую практику этой идее. А идеология — средство манипулировать человеческим сознанием. Именно здесь коренится принципиальное отличие идеологии от учения (в том числе и религиозного и гностического). Последнее всегда предполагает соотношение с идеей (Богом, смыслом, мифом, идеей добра, любви или милосердия) самого человека, предполагает освоение идеи (делание ее своей) духовным миром данной конкретной личности. Разумеется, это освоение опосредованно влияет и на человеческую практику, но духовное видение личности направлено здесь на встречу с чем-то трансцендентным этой личности, чем-то существующим в совсем иных измерениях. Вот почему любая религия предполагает чудо — освоение личностью того,

что ею по всем разумным соображениям освоено быть не может.

Такая направленность на идею как личный идеал свойственна самым разнообразным учениям. Она характерна и для толстовства и для различных моральных учений, в том числе и вовсе не религиозных. Далеко не всех людей, серьезно относящихся к морали, следует причислять к верующим в Бога. Идея для них и не выступает в качестве такового. Но общее с религиозным отношением к миру здесь в том, что идея не идеологизируется, она выступает как идеал, которым поверяется человек и на который можно сориентировать свой духовный мир.

Лейтмотив современной литературы и публицистики связан с выяснением того, «как все это получилось». Эта проблема волнует и «западников», и «почвенников», и тех, кто считает, что сталинизм привел к «социализму с деформациями», и тех, кто сомневается в социалистической природе нашего общества, каково оно сейчас. Грубо говоря, ответы сводятся к двум вариантам: а) хорошая идеология оказалась в руках дурных людей, сумевших обманным способом пробраться к власти; б) в основе господствующей идеологии лежала дурная идея, которая и привела к выдвигению дурных людей. Оба эти варианта достаточно явно выражены и в художественной литературе и в публицистике. Но есть и третий вариант ответа, который нашей публицистикой и критикой не был еще явно выражен, хотя именно этот вариант можно вычитать в открывшейся сегодня прозе Андрея Платонова, Варлама Шаламова, да и в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Ответ этот состоит в том, что дурная сама идеологизация как превращение идеи в инструмент для манипулирования людьми, когда эта идея теряет онтологическую укорененность и объявляется подручным орудием преобразования жизни.

Идея как трансцендентная сущность требует личных усилий, чтобы ее осознать. Между тем, будучи идеологизированной, она задается человеку в единственно допустимой интерпретации, бласти которую становится прерогативой особых лиц. Идея оказывается уплощенной, обыденной, лишенной развития. Творческое участие человека в ее развитии становится не только ненужным, но и социально запрещенным.

Фундаментальная наука основана на истине, которая выше любых человеческих возможностей и именно потому заставляет человека напрягаться в служении истине. Однако на базе науки скла-

⁵ Хотя генетическая связь идеологических систем с гностическими учениями выглядит достаточно очевидной, идеология как явление культуры родилась сравнительно недавно — в эпоху Просвещения. См.: Р. А. Гальцева, И. Б. Роднянская, «Summa ideologiae: «Ложное сознание» как фактор социальной практики» («Формирование идеологии и социальная практика». М. ИНИОН. 1987, стр. 1—147).

дывается сциентистская идеология «науко-верия», наделяющая науку ролью верховного обладателя умопостигаемой истины. Тем самым сциентизм требует служения не истине, но самой науке как социальному формированию, обладающему правом окончательных суждений.

Социализм как идея социальной справедливости есть (на наш взгляд) несомненное достижение человеческого сознания, идеал, с которым честный человек не может не считаться. Этически недопустимо, чтобы бедные, больные, слабые оставались без организованной общественной помощи. С другой стороны, полная социальная справедливость — утопия, которую опасно пытаться осуществить любой ценой. Многие поняли призыв «больше демократии, больше социализма» в том смысле, что демократия есть средство для достижения социализма. Нам представляется все же, что социализм как определенная гарантия социальной справедливости и общественной поддержки слабейших есть условие полной демократии, необходимой для полноценного развития человеческой личности.

Национальное самосознание — это очень важный момент духовного развития общества, оно необходимо для ощущения исторической укорененности собственного существования, но в идеологизированной форме оно превращается в национализм. Вот этой опасности идеологизации любой самой прекрасной идеи мы пока еще не осознали как следует.

Самоотчеты жертв идеологизации сознания очень важны для понимания природы этого феномена. С этой точки зрения интересны воспоминания писателя А. Авдеенко («Отлучение». — «Знамя», 1989, № 3, 4). Автор отлично передал свою тогдашнюю готовность принять за чистую монету все, что ему внушала пропаганда. Он не пытается ретушировать свой прежний образ мыслей, хотя сегодня он уже способен недвусмысленно написать об А. Фадееве: «Человек, изменяющий своей сущности, переставший видеть в другом человека, не способный верить, сочувствовать, жалеть, прежде всего убивает человека в себе». Судя по воспоминаниям (не только по описанным в них событиям и переживаниям, но и по их тональности), автор не убил в себе человека. Он еще тогда способен был заметить кое-что настораживающее в атмосфере домашнего окружения М. Горького. Путешествуя по Беломорканалу с бригадой писателей, он тоже не теряет зоркости, хотя сам безоговорочно верит в гуманизм «пеперковки». Опыт работы в мундире «гене-

рала» НКВД на канале Москва — Волга существенно поколебал эту веру и привел его даже к конфронтации с окружением Ягоды, но не пошатнул идеологической убежденности. По внушению Л. З. Мехлиса он провозглашает раблепную здравицу Сталину со съездовской трибуны, но, заметив, самому ему эта безудержная лесть в голову не пришла. Авдеенко не скрывает, что, как многие другие замороженные идеологией люди, он всерьез верил в засилье врагов народа и вину даже тех из них, кому он лично доверял. Прозрение приходит к нему, когда он сидит в кресле того же Мехлиса на заседании Оргбюро ЦК, но уже как «подсудимый». В этот момент он «почувствовал и увидел, что Сталин не уважает ни одного из тех, кто находился в зале», и ему открывается его истинное лицо. Увы, это прозрение еще не окончательно. Идеологическая инерция возобновляется в нем после того, как Сталин объявил его «искупившим свою вину» (!!).

Даже сегодня автор мемуаров не в силах «до конца понять, как могла возникнуть эта сталинская машина в стране революционной и благородной идеологии». Ему все еще невдомек, что сталинизм есть плод идеологизации общества. И то, что эта идеология противопоставлялась гитлеровской, было средством усиления идеологизации и основанного на ней рабства и террора. Автор вполне адекватно оценивает сталинизм как «преступление вселенского масштаба», но все еще не понимает, как возможно преступление, оправдываемое человеколюбивыми словами. Механизм духовного уничтожения человеческой личности за счет идеологизации общества был им испытан на себе, но не осознан. А ведь именно духовное уничтожение личности сделало возможным террор в таких масштабах.

Афинская демократия приговорила Сократа к смертной казни большинством голосов. Уважая законы страны, Сократ выпил чашу с цикутой, отказавшись от возможности побега. Но Сократу и в голову не приходило согласиться с правой обвинением. Демократический правопорядок требует согласовывать свои действия с волеизъявлением большинства, но не посягает на личные мнения. Иначе невозможны были бы ни свобода личности, ни развитие общества. Новое никогда сразу не признается большинством, поэтому демократическое общество обеспечивает свободу мнений. Тотальная идеологизация, наоборот, требует подчинения личных убеждений мнению, высказанному от имени большинства. По свидетельству старого члена КПСС З. Немцо-

вой (см. «Огонек», 1988, № 27), привычка принимать мнение большинства в качестве окончательной истины была одной из существенных причин самооговоров на процессах 30-х годов. Вот отрывок из ее беседы с корреспондентом «Огонька» В. Глотывым:

«— «Подчиняться большинству» — было нашим воспитанием, буквально. Так и к Сталину относились. Он поддерживается большинством.

— А когда возникло не просто подчиняться большинству в действиях, но и отказываться от убеждений?

— Когда троцкизм нарекли контрреволюционным течением...»

Смерть Сократа послужила утверждению истины и ударила по его гонителям, а расстрелы идеологизированных противников Сталина послужили укреплению его диктатуры и усилению террора, ибо они засвидетельствовали его правоту, что позволило обмануть кое-кого не только внутри страны. Сам психологический механизм, с неизбежностью приводивший носителей идеологизированного квазисознания к самообвинению, к согласию с заведомо несправедливыми обвинениями, четко изображен А. Кёстлером. Для идеологизированного квазисознания чистота идеологии важнее истины и тем самым даже идеи, лежащей в основе идеологии. Вот в этом отказе от личного сознания, в готовности исполнить все по воле того, кто присвоил право высказать от имени идеологии, лежит истинная вина многих ныне реабилитируемых жертв сталинских репрессий. В этой вине им покаяться уже не дано, осознать ее выпало на долю ныне живущих. Речь идет отнюдь не только о метафизической вине отчуждения собственной совести в пользу идеологии. Наряду с реабилитацией осужденных по фальсифицированным обвинениям мы узнаем об участии реабилитируемых в репрессиях на идеологических основаниях. Крыленко выступал обвинителем на ряде фальсифицированных идеологических процессов. Пятаков несет вину за массовое убийство сдавшихся белых офицеров в Крыму. И так далее. Устраивать судебные заседания спустя полвека после смерти действующих лиц было бы нелепым фарсом, но суд истории еще только свершается.

...Мы не хотели бы здесь заниматься анализом произведений Платонова, используя их по ходу дела для отдельных иллюстраций. Нам важно лишь подчеркнуть, что фундаментальный конфликт героев Платонова лежит не в плоскости личность — государство, но в той размерности, где пе-

реживание идеи как идеала сталкивается с идеологизацией последней. Глубинная мечта человека о счастье сталкивается с идеологической структурой, предписывающей за самого человека, в чем это счастье состоит. Герои Платонова не размышляют в идеологических категориях, но идеологизация проникает в их язык как нечто ужасающе остранинное, как символ обесчеловечения.

Сегодня наш читатель встречается наконец с лучшими образцами прозы Шаламова. Но огорчительно, если они будут восприняты просто как сцены тяжкого лагерного существования. Сам Шаламов писал⁶ в оставленном им своеобразном литературном манифесте о «новой прозе»: «Для нынешнего времени описаний мало. Новая проза — само событие, бой, а не его описание. То есть документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ. Эффект присутствия, подлинность только в документе. Письма — выше надуманной прозы». И далее там же он пишет о моральных долгах литературы: «Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов. Этот грех им не замолить. От их наследия новая проза отказывается». Разумеется, Шаламов не имел в виду обвинять Льва Толстого в терроризме. Он фактически предупреждает об опасности идеологизации идей добра, милосердия и справедливости в результате литературного («описательного», по Шаламову) проповедничества.

Рассказ Шаламова «Все умерли» — это реквием по людям самых разных судеб: троцкистам, ярым борцам с троцкизмом, коминтерновцам, крестьянам, — в лагере были представлены все социальные срезы. Шаламов не позволяет себе кричать «ату его!» даже вслед тем, кто был виновен в арестах других. Тем более для него не существует категории людей, для которых он бы посчитал колымские лагеря заслуженным местом пребывания. Это место вообще не для людей. Но для многих героев Шаламова лагерь — это место возвращения сознания перед лицом неотвратимой гибели независимо от исповедуемой идеологии Пробуждение сознания и отторжение от идеологии (разочарование) происходит у шаламовских героев одновременно Сам рассказчик (иногда выступающий под фамилия-

⁶ См.: В. Т. Шаламов, «Манифест о „новой прозе“» («Вопросы литературы», 1989, № 5, стр. 243).

ми Крист или Андреев) — человек идеологически свободный, но и для него главная проблема — сохранить сознание, постигая и запоминая совершающееся в лагерях. Проза понимается Шаламовым как бой, потому что мысль о таком повествовании подспудно зрела в нем в самые трудные минуты и служила ему оружием в борьбе за сохранение личности. Стальные характеры вонтелей за идеологию ломались под натиском той же идеологии, а стремление сохранить в неприкосновенности душу и передать осознанный опыт великой российской литературе, ее пушкинской традиции, к которой причислял себя Шаламов, укрепляло в нем стойкость борца. Еще для этого нужно сохранить и жизнь и чистую совесть. Вот почему Шаламов с самого начала отказывался от бригадирских мест, но постарался попасть на фельдшерские курсы, когда такая возможность открылась. В рассказе «Сентенция» описана радость возвращения сознания, когда в задавленном голодом и холодом узнике всплывает слово из Другого мира — «сентенция», символ не утраченной жизни духа. Многими описывалось, как опасно в лагере утверждать достоинство собственной личности. Но Шаламов показывает и то, как опасно допустить разрушение личности.

Комиссар Крымов из романа Гроссмана, побывав в осажденном доме, пишет донос на героя сталинградской обороны Грекова, сумевшего продержаться с горсточкой бойцов против натиска немцев. В глазах Крымова этот герой — явный антисоветчик, ибо он свободен от идеологических штампов. Он и воюет потому, что хочет свободы и внутренне готов к ней. Это-то и дало ему возможность удержать позицию от немцев. Реальное дело способны делать только внутренне свободные люди. Туполев мог создать в тюрьме самолет только потому, что у него хватило сил сохранить внутреннюю независимость. Пока комиссар Крымов в плену идеологических клише — его деятельность на войне бессмысленна. Но попав на Лубянку, он в какой-то момент преображается и становится свободным человеком. Каким-то чудом ему удалось усилием сознания разорвать идеологические путы и понять недопустимость дальнейшего саморазрушения путем самоговора. В идеологизированном квазисознании нет настоящего понятия чести или совести, ибо веления идеологии и тех, кто говорит от ее имени, доминируют над трудно вырабатываемыми личностными представлениями об этических ценностях, а культурные механизмы,

через которые в обществе передаются эти представления, оказываются подавленными. Отсюда понятна восстановительная забота об «экологии культуры», о чем еще в годы застоя активно писал Д. С. Лихачев. Мы не знаем, долго ли Крымов продержится в таком состоянии (физические возможности человека ограничены, а духовная стойкость часто зависит от ресурсов организма), но сам факт обретения им сознания, его отказ обвинить бывшую жену в предательстве — все это значимо как символ неутраченной человечности в ситуации, когда жизнеохранительные инстинкты побуждают к отказу от нее.

4. Идеологизация и практическая эффективность

Но мы же выиграли войну, когда во главе страны и армии стояло живое олицетворение антисознания! В шарагах делали боевую технику, задавленное крестьянство кормило тыл и фронт. Под пристальным взглядом Берии ученые создали атомное оружие. Может быть, для эффективного функционирования государства сознание менее полезно, чем его идеологизированная имитация, превращающая людей в бессловесные винтики государственной машины? И тогда оказывается, что наш действительный исторический опыт был вполне — по Гегелю — разумен и не имел практических альтернатив, так что нечего искать в своем прошлом иной возможной дороги к храму. Действительно, движение идеологизированного общества детерминировано, ибо застраховано от серьезных новаций прочными заслонами идеологических стереотипов. Оно способно осуществлять лишь заранее разрешенное новое, то есть осуждено непрестанно догонять более активные и свободные общества.

В этом, собственно, и состоит ответ на вопрос о практической пользе идеологизации. Да, человек становится более управляемым, но соответственно менее способным к осмысленному поведению, когда надо осознавать требования реальности, а не просто слушаться блюстителей идеологии. Однако, несмотря на уничтожение людей, обладающих сознанием, в решительные моменты такие люди всегда находились. Так, «идеологически неуправляемый» Греков внес свой незаменимый вклад в оборону Сталинграда. Эта неисчерпаемость людских ресурсов приучила административно-управляющую систему с ресурсами не считаться, уничтожая крестьянство, бросая бессчетные армии в топку войны, выжигая образованный слой. Богатство России исторически

обернулось трагедией русского общества, утерявшего естественное представление о цене человеческой личности.

Но все дело в том, что человек, не свободный в действиях и, что более важно, не свободный духовно (не обладающий сознанием), — негодный работник, фактически способный лишь имитировать активную деятельность. Такой человек соотносит свои действия не столько с реальным результатом, сколько с идеологическим контекстом. То, что в идеологизированной структуре мышления называется сознательностью, есть отсутствие сознания, вытесненного имитацией. Скажем, требование выполнять и перевыполнять план становится для такой имитации самодовлеющим независимо от содержательного результата. Это ведет к переворачиванию ценностей, когда труд оказывается важнее результата. По Марксу, расширенное воспроизводство возникает, когда работник стремится как можно дороже продать свой труд, а капиталист — получить максимальную прибыль. В силу этого из отсталой области производства утекают и рабочая сила и капитал. Но в обществе, где эти стремления подавлены, закономерности, вскрытые К. Марксом, не действуют. Доминирует желание сохранить статус-кво, связанное с боязнью утраты достигнутого неустойчивого равновесия. Как уже отмечалось, защитники «жесткого управления», требующего исполнительности в ущерб личному осознанию стоящих задач, обычно оперируют примерами успешно достигнутых целей: эффективностью результатов туполевской шараги, успешным созданием атомной бомбы и баллистических ракет и т. п. Но каждый из этих примеров при непредвзятой интерпретации читается ровно наоборот.

Как учесть потери от того, что самолеты Туполева и Петлякова разрабатывались в условиях несвободы, когда мысль конструкторов была направлена только на удовлетворение требований тюремщиков? На необходимое наращивание технологических мускулов сил уже не оставалось. И не потому ли нашей авиационной технике долго приходилось догонять передовой зарубежный опыт? Конечно, работа в шараге спасла жизнь С. П. Королеву, но насколько бы лучше было для нашей военной техники, если бы он продолжал свои работы по ракетостроению! У нас немало написано о героических усилиях ученых-атомщиков, сумевших в относительно короткий срок наверстать разрыв с США. Было бы интересно проанализировать причину возникновения этого разрыва. И тогда бы выяснилось, ка-

кое идеологическое давление оказывалось до войны на физиков, занимавшихся атомными проблемами и неотъемлемыми от них физическими теориями. Сколько было обвинений в идеализме и практической бесполезности! Эти обвинения всегда идут рядом, как видно и на примере генетиков — противников Лысенко. Не в результате ли такого давления Курчатов в начале войны переключился на достаточно далекую от него область — защиту кораблей от магнитных мин? Если проследить историю нашей вычислительной техники, где отставание от Запада неуклонно увеличивается и стало совсем катастрофичным после появления персональных компьютеров, то и здесь без особого труда можно обнаружить конкретное влияние идеологизации. Математическая логика в предвоенные и первые послевоенные годы считалась формалистическим заблуждением, а переводы зарубежных книг по логике снабжались разгромными предисловиями. Кибернетика была объявлена реакционной лженаукой. Лишь в 1949 году было принято правительство постановление о разработке двух электронных вычислительных машин⁷.

Отметим, что первую персональную ЭВМ создали инициативные любители, после чего стали включаться серьезные фирмы. Но жестко управляемая и насквозь идеологизированная структура не оставляет практически места для свободного поиска «любителей», для накопления идей, которые не апробированы заранее. В таком случае можно рассчитывать только на появление идей извне и, соответственно, навсегда остаться догоняющими. Между тем в современной информатике и вычислительной технике прогресс достигается не медленным наращиванием потенциала крупных предприятий, но за счет неожиданных открытий, возникающих в маленьких лабораториях или в эфемерных фирмах. Так было с персональными ЭВМ, так произошло с созданием экспертных систем, основанных на методах извлечения и представления в ЭВМ личного знания экспертов. Первые такие системы возникли в лабораториях искусственного интеллекта лучших университетов США. Техника не только все более зависит от нау-

⁷ К счастью, до этого в Киеве академик АН УССР С. А. Лебедев без афиширования работал над малым вариантом ЭВМ, так называемой МЭСМ, ставшей прообразом созданной его коллективом уже в Москве машины БЭСМ. Одновременно в Москве молодой инженер Б. И. Рамеев разработал по собственной инициативе основные электронные схемы на германиевых диодах, положенные в основу ЭВМ «Стрела».

ки — она и развивается все более похожим на науку способом. Важнейшим фактором становится появление независимо мыслящих творцов, людей, способных видеть проблемы в нестандартных ракурсах. Науку (как и современную «наукоемкую» технику) не могут создавать рабы, не способные к самостоятельным усилиям сознания. Подлинная (фундаментальная) наука не идеологична, ибо нуждается в идее истины, на достижение которой она нацелена. Настоящие ученые ощущают присутствие некоей тайны (чуда!) в том, что с помощью очень ограниченных средств наука способна добывать знания, в которых чувствуется дыхание абсолютной истины. Когда наука отвергает истину как высший ориентир и превращается в «игру по правилам», требующим определенным образом решать определенные задачи (скажем, имеющие непосредственное практическое значение), то она идеологизируется и деградирует. Отношение же к идее как идеалу, находящемуся вне досягаемости повседневной практики, толкает к тому, чтобы самому подниматься выше своих повседневных возможностей.

Может быть, первый шаг к идеологизации науки сделал Рене Декарт, признавший свои физические построения условно гипотетическими, оправданными только тем, что они позволяют объяснять и предсказывать явления, не претендуя на выражение истины об этих явлениях. Эта уступка господствующему скептицизму низвела идею истины до уровня идеи практической полезности. С истиной стало возможно обращаться как с инструментом. А отсюда уже есть не столь непосредственный, но ясно видимый ход к использованию научных выкладок для обоснования предпочтительных данному сообществу или лицу мнений. Такого рода научное прикрытие всякого рода прожектов преобразования природы столь хорошо известно, что даже как-то неловко лишний раз об этом напоминать. Но именно здесь видно, что низведение идеи на уровень, допускающий ее идеологизацию, совершаемое якобы во имя практических нужд, очень больно ударяет именно по этим нуждам. Совесть представляется нам чем-то в высшей степени не-

практичным, однако попытка поступиться ею ради насущных практических целей непрактичней во сто крат.

Но наиболее болезненно отчуждение совести в общественной жизни, ибо здесь оно связано с мыслью о вседозволенности средств ради великой цели. Мысль эта подкрепляется преступлениями и порождает лавину последующих. Открытые фальсифицированные процессы ведут к многочисленным закрытым. Процессы над «идеологически выдержанными» оказались возможны, поскольку преследование «идеологически невыдержанных» стало общественно принятой нормой. Судебные и административные преследования определенных категорий населения, оправдываемые классовой борьбой, стали возможны, ибо образцы были заданы гражданской войной с массовыми расстрелами как участников белого движения (в том числе сдавшихся в плен под обещание жизни), так и вполне мирных «буржуев».

Идеологизированное сознание ищет виновников обнаруживаемых бед вне себя и даже вне своего общества. Так, в сталинские годы все неудачи списывались на «вредителей» или «врагов народа». Многого списывалось и на трудности международной обстановки. Можно было жить со «спокойной совестью», пока сам не попадешь в жернова карательного механизма. Поиск внешних агентов избавляют от переживаний, связанных с осознанием внутренних причин, с неизбежностью духовной перестройки. Но в эпидемиях духовных болезней важны не столько носители заразы (в их числе может оказаться любой), сколько потеря иммунитета.

Самый радикальный способ сопротивляться и выживать — это укреплять иммунитет организма, в данном случае — уровень сознания личности. «Экология культуры» — это важно, но недостаточно. Необходима защита сознания от идеологизации, от превращения в имитацию.

Сегодня спасение человечества возможно только через попытку спасти каждую душу, имеющей на это хоть какой-то шанс и как минимум желание. Все остальное — приложится.

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Мирон Петровский. Жизнь и судьба Михаила Булгакова. — Андрей Васильевский. Опыты занимательной футуро(эсхато)логии.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Одесский. Д. Фельдман. Целесообразность или необходимость?

Литература и искусство

ЖИЗНЬ И СУДЬБА МИХАИЛА БУЛГАКОВА

М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М. «Книга», 1988. 672 стр.

Если читатель, желая получить справку о Михаиле Булгакове, заглянет в Краткую литературную энциклопедию, он будет удивлен до крайности.

Там, в первом томе КЛЭ, написано, будто М. Булгаков родился 2(14) мая 1891 года. Но ведь дата рождения писателя — 3(15) мая? Там написано, что будущий писатель родился «в семье профессора». Но доцент Киевской духовной академии А. И. Булгаков стал профессором лишь незадолго до смерти — в 1907 году. Там далее сообщается о двух прижизненных сборниках произведений Михаила Булгакова — «Дьяволада» и «Роковые яйца», — вышедших будто бы в одном и том же 1925 году. Но тираж сборника «Дьяволада» в 1925 году был арестован, и книга появилась в 1926 году, а сборника «Роковые яйца» вообще не существует в природе...

Там же сообщается, что в повестях «Роковые яйца» и «Дьяволада» «отразилось неприятие действительности писателем, не сумевшим за «гримасами нэпа» разглядеть истинное лицо времени». Отрицательное отношение Булгакова к нэпу — конечно, фикция. Бюрократизм и администрирование, на которые обращена булгаковская сатира, не были порождением нэпа, а суждения о писателе по типу «не понял», «не сумел оценить», «не отобразил» и так далее представляются сомнительными в принципе.

О пьесах «Зойкина квартира» и «Бег» из того же справочного издания можно узнать

только то, что они «вызвали резко отрицательную оценку в критике». Пьеса «Последние дни (Пушкин)» там датирована 1940 годом, хотя она, несомненно, была завершена пятью годами раньше. Булгаков не мог сотрудничать в газете «Накануне» в 1920—1922 годах, как сообщает энциклопедия, поскольку газета в означенный период просто не существовала. Она начала выходить в марте 1922 года, и Булгаков печатался в ней по 1924 год. На самый снисходительный взгляд почти ни одно сообщение справочного издания не соответствует действительности. При этом в энциклопедии не упомянут роман «Мастер и Маргарита», в чем, впрочем, нет ничего удивительного, поскольку до публикации вершинного произведения Булгакова оставалось еще шесть лет.

Эти ошибки и неправды извлечены на свет не для уличения или спора: нет, справочник сообщал о Булгакове то, что о нем было известно в ту пору, и так, как принято было тогда о нем писать. Перед нами — исторический документ, красноречиво свидетельствующий о своем времени. Последующие годы, начиная с публикации «Мастера и Маргариты», стали временем «булгаковского бума», которому вначале пророчили быстрый спад, а теперь уже не пророчат, так как стало ясно, что успех Булгакова не мода, не пресловутая накипь на явлении, а само явление. Замолчанный, неизданный, писатель выбрался из-под глыб и прочно занял место в центре литературного процесса, сломал официальную табель о

рангах, изменил всю картину отечественной литературы: «...так ложная мудрость мерцает и тлеет...»

Вспомнить о давней энциклопедической статье нужно именно для того, чтобы, взяв ее как точку отсчета, оценить усилия, направленные на опубликование Булгакова, долгую работу многих исследователей жизни и творчества писателя. Пройденный путь значителен, а книгой М. Чудаковой на этом пути взята высота, позволяющая оглянуться, оглядеться. Открывается обнадеживающая картина «сложения сил», в которой заметно выделяются непрерывные и ценные вклады автора «Жизнеописания».

М. Чудакова избрала путь «последовательного жизнеописания»¹ — жанр трудный для русского литератора, зачастую еще скованного традицией жития, жанр, разработанный куда основательней в литературах, где сильнее традиция уважения к частной жизни частного человека. Жанр жизнеописания становится у М. Чудаковой исследовательским эквивалентом того личностного начала, которое с такой силой заявило о себе в творчестве Булгакова.

У М. Чудаковой была особая возможность в право оставить за пределами своей книги вопросы творчества Булгакова. Огромный массив этих вопросов уже был разработан ею раньше — в цикле статей, примыкающих к «Жизнеописанию» и образующих вокруг него как бы ореол: в уже несомненно классической работе об архиве Булгакова, в исследованиях о творческой истории «Мастера и Маргариты», о Булгакове и Гоголе, о библиотеке писателя, в статьях об отдельных произведениях и общих проблемах творчества Булгакова, о булгаковских «источниках». В «Жизнеописании» едва ли не на каждой странице проглядывают клемы, куда легко подключаются эти работы.

Монументальное сооружение М. Чудаковой возводилось не на пустом месте — какие-то сваи были забиты, какие-то секции были поставлены исследователями, работавшими одновременно с нею. Для изучения кавказского периода жизни писателя много сделал безвременно погибший Д. Гиреев, автор книги «Михаил Булгаков на берегах Терека» (1980); ряд существенных моментов выяснен в книге Л. Яновской «Творческий путь Михаила Булгакова» (1983); историю взаимоотношений писателя с МХАТом обстоя-

тельно рассказал А. Смелянский в книге «Михаил Булгаков в Художественном театре» (1986), не говоря уже о массивном пласте ценных журнально-газетных публикаций.

И все же надо признать, что биография Булгакова досталась М. Чудаковой в пестроту фрагментов, белых пятен, легенд и мифов. На каждом шагу сказывался дефицит документов. Бурное время гражданской войны не благоприятствовало их накоплению, последующие годы не располагали к хранению личных архивов. По причинам, которые едва ли требуют пояснений, Булгаков старался стереть или заретушировать некоторые эпизоды своей биографии, другие оказались стертymi или заретушированными помимо его воли. Аутсайдерское положение Булгакова в советской литературе — вне групп и объединений — тоже не способствовало документальным отложениям. Тем более впечатляет размах документальности «Жизнеописания Михаила Булгакова». М. Чудакова не только перевернула государственные архивы и частные собрания, она в известном смысле создавала документы, разыскивая людей, способных свидетельствовать о Булгакове, и побуждая их записывать свои свидетельства.

Количество документальных материалов, привлеченных М. Чудаковой, вызвало бы уважение, даже если бы они были представлены в сыром виде. Но в том-то и дело, что разрозненные свидетельства разного качества подвергнуты жесточайшей критической проверке и сращены в единое целое объединяющей мыслью исследователя. М. Чудакова сделала, кажется, невозможное, соединив трезвую аналитику тыняновской школы с биографическим методом. Научная критика позволяет автору извлекать положительные биографические сведения даже из заведомо недостоверных источников — из слухов, например Или — со всей осторожностью и необходимыми оговорками — из собственных произведений писателя. «Среда обитания» — житейской и литературной окружение Булгакова (особенно в 20-е и 30-е годы) — реконструирована с такой полнотой, что книга о писателе вырывается за титульные рамки и становится ценнейшим источником по соответствующему периоду советской литературы. М. Чудакова сделала для биографии Булгакова то, что для биографии Пушкина сделал П. В. Анненков. Рассказ о творчестве отделен от жизнеописания писателя словно бы для того, чтобы эффективно продемонстрировать их неразделимость.

С момента выхода «Мастера и Маргариты» миллионы читателей видели в булгаковском романе некую замену другой, не-

¹ Нужно обратить внимание читателя на то, что книга М. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова» вышла одновременно двумя изданиями: пятидесяти тысячным тиражом с иллюстрациями и девяностотысячным без иллюстраций, на место которых добавлены страницы текста.

Доступной им книги о днях и делах Христа, наивно полагая (подобно машинистке Томаса Манна), будто теперь-то им доподлинно известно, как там было на самом деле. Но с ортодоксальной точки зрения, насколько можно судить, апокриф Булгакова — версия едва ли не еретическая. Возникает нешуточный вопрос о соотношении романа и веры, и М. Чудакова, осторожно, но уверенно перебирая факты биографии, дает на него развернутый ответ.

Конечно, воспитание в семье преподавателя Духовной академии наложило отпечаток на представления юного Булгакова; увлечение естественными науками, изучение биологии и медицины сделали его сторонником позитивизма и — атеизма; духовные искания писателя привели его к построению нравственного абсолюта, гаранта справедливости бытия, той нормы, которая, как показала М. Чудакова, составляла основу миропредставления Булгакова. Герой булгаковского апокрифа — скорее бог этики, нежели метафизики, но в исследовании, проведенном здесь, как и везде, с аналитической смелостью, окончательного ответа на вопрос о религиозности Булгакова М. Чудакова не дает — и это, конечно, свидетельство интеллектуальной честности исследователя. Выводы, соответствующие наличным фактам, — то, что называется корректностью исследования, делают эту книгу произведением нашего времени, жаждущего правды, всей правды и ничего кроме правды.

«Его современники нередко старались ухудшить его анкету, сегодняшние поклонники стремятся ее „улучшить“», — иронически замечает М. Чудакова, и в этом замечании — один из ключей к «Жизнеописанию Михаила Булгакова». Но клеветники и злопыхатели — дело прошлое, они обесоружены ходом времени, и исследовательница главных своих оппонентов видит в украшателях. Старания украшателей подчистить биографию писателя и заверить, что в ней все в порядке (особенно по части идеологии), имели благую цель — поскорее возвратить Булгакова в печатную литературу, но вливались — пусть с другой стороны — в систему лжи. М. Чудакова бестрепетно рассматривает самые, казалось бы, рискованные сюжеты биографии и взгляды писателя, доискиваясь до правды — в той мере, в какой факты позволяют судить о ней. «Жизнеописание» — книга последовательно антипатетическая и, являясь в определенном смысле итоговой для отечественного булгаковедения, принципиально «не завершена» — то есть открыта для продолжения исследований.

В азарте полемики М. Чудакова времена, кажется, берет лишку и понемногу начинает вновь «ухудшать» анкету писателя — чуть ли не в пику украшателям, но, конечно, не в том смысле, в каком это делали современники писателя. Полемическая увлеченность — прекрасная, но вместе с тем и опасная вещь: вместо защиты собственных ценностей полемист сосредоточивается на опровержении чужих, как бы присваивая их себе с противоположным знаком. Чудакова, кажется, несколько преуменьшает сопротивление художника эпохе, которая ему досталась.

Самый страшный грех, по Булгакову, — страх. У бесстрашного художника было право сказать об этом: он жил в эпоху, которая пугала и грубо и изощренно. Энергично, короткими документальными мазками М. Чудакова рисует обстановку тотального страха, в которой писатель работал над знаменитым ныне романом. В писательской среде уже не говорили: «Если тебя возьмут...» — а только: «Когда тебя возьмут...»; квартиры писательского дома пустели одна за другой, то же происходило в других домах на просторах отечества, а писатель не поднимался от стола, спешил окончить роман — светлый творческий пир во время репрессивной чумы.

После книги М. Чудаковой нужно заново прочесть повести, пьесы и романы Булгакова — в контексте эпохи, с такой грозной серьезностью восстановленном исследователем. По-видимому, в этом состоит задача «Жизнеописания»: восстановить жестко определенный историко-биографический контекст булгаковского творчества. Задача тем более основательная, что, как неоднократно показала М. Чудакова, «путь от биографии к искусству временами... у Булгакова подчеркнута короток».

Короток — но вот прям ли? И здесь, кажется, место для наиболее существенного упрека исключительному по своей добросовестности труду. Пассажи от биографии к творчеству у М. Чудаковой порой прямы и обоснованы главным образом интуицией исследователя. Читатель же, обладая правом доверять автору, обладает и обязанностью не доверять — и требовать доказательств. Прямое взывание от интуиции автора к интуиции читателя — ход эффектный, но едва ли достаточный в столь строго рациональном исследовании. К примеру, выведение реплики Маргариты «Опустите его» из надгробной речи сотоварища Афанасия Ивановича Булгакова Д. И. Богдашевского выглядит впечатляюще, но недостаточно убедительно. Ведь эта

реплика может восходить и непосредственно к молитве «Ныне отпускаеши», приведенной Богдашевским.

Странно, мне кажется, выглядит обращение к сообразительности женской части читателей книги в рассказе об интимной жизни писателя: «Женская половина наших читателей разделит, мы думаем, уже собственное наше предположение...» о том, кто был отцом младшего сына Елены Сергеевны.

С этой материей вообще следовало бы обращаться деликатней. Иронически отзываясь о «страсти горожан к пересудам», следует ли давать для них хоть малейший повод? Об этом стоит сказать, потому что «Жизнеописание Михаила Булгакова» — книга надолго, и хотелось бы видеть ее безупречной.

Мирон ПЕТРОВСКИЙ.



ОПЫТЫ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ФУТУРО(ЭСХАТО)ЛОГИИ

Станислав Лем. Профессор А Донда. Из воспоминаний Ийона Тихого. Перевод с польского Игоря Левшина. «Химия и жизнь», 1988, № 9.

Станислав Лем. Мир на Земле. Из воспоминаний Ийона Тихого. Перевод с польского Константина Душенно и Игоря Левшина. «Звезда Востока», 1988, № 9, 10.

Станислав Лем. Футурологический конгресс. Из воспоминаний Ийона Тихого. Перевод с польского Константина Душенно. «Иностранная литература», 1987, № 7.

Станислав Лем — «возвращающийся» автор? Ийон Тихий — «задержанная» литература? Да, отчасти так. После бурных польских событий начала 80-х годов и отказа Лема вступить в новый союз писателей любовь наших книгоиздателей к сверхпопулярному фантасту сменилась холодной сдержанностью; к счастью, ненадолго — лед отчуждения таял так быстро, что писатель уже вынужден протестовать против пиратских публикаций его произведений в СССР¹.

В контексте этого «возвращения» мне представляется принципиально важным недавнее интервью писателя «Не может бытьрая на Земле» («Огонек», 1989, № 13). «...Отношение моих «миров» к действительности почти всегда характеризовалось реализмом и рационализмом», — говорит Лем, объясняя, что «реализм» в данном случае означает реальность поднимаемых им проблем, а «рационализм» — отсутствие «сверхъестественного» элемента. Признание существенное и не неожиданное. На предпоследке, что именно «максимально рационалистическому» типу культуры и человека принадлежит будущее, покоился жутковатый оптимизм знаменитого лемовского трактата «Сумма технологий» (1967), вызывающего (ныне) мое принципиальное неприятие именно гордыней рационализма (гордыней, в частности, антихристианской — «ни одна религия не может ничего сделать для человечества, потому что она не является опытным знанием», характерно, что Лему при

этом изменяет даже несомненное чувство юмора); с высоты «чистого интеллекта» автор «Суммы...» взирал на многогрешное несовершенное человечество, явно нуждающееся в переделке («Надо же дать ему какой-то шанс...» — великодушно замечал он).

Между тем упомянутое интервью указывает, как мне представляется, на определенную мировоззренческую эволюцию писателя, который говорит о том, что сегодня ему «автоэволюция человека, то есть самопреобразование вида (в этом был пафос «Суммы...».— А. В.), кажется.. нежелательной и — к счастью — чрезвычайно удаленной во времени возможностью». Лем справедливо считает, что «РАЗУМНОЕ и ПОТОМУ внутренне свободное существо никакими переделками нельзя превратить в „элемент совершенного общества“». Нельзя и — добавлю я — не нужно.

«Догнать и перегнать Природу!» — таков был сформулированный самим автором лейтмотив «Суммы технологий». Ныне Лем говорит: осторожнее, осторожнее, «человек — существо творческое, и необходимые stagnирующие системы (я думаю, что скорее церковь, чем государство.— А. В.), чтобы обуздать в нем неуправляемый творческий порыв». По выражению самого фантаста, ныне для него на первый план выходит вопрос о «производстве ЗЛА» как побочном явлении научного творчества. Этому в значительной степени посвящены недавно напечатанные у нас художественные работы Лема из большого цикла, объединенного одним главным персонажем и рассказчиком Ийо-

¹ См «Открытое письмо советским издателям» Станислава Лема («Книжное обозрение», 1989, № 14).

ном Тихим, превратившимся за долгие годы из космического Мюнхгаузева (см. «Звездные дневники Ийона Тихого») в своего рода полномочного представителя писателя. Тихий не вполне альтер эго Лема, но, может быть, отчасти воплощение не рационалистической ипостаси его писательского «я».

Эти книги рисуют нам кризис разного рода цивилизаций. Лем не пугает, да нам и не страшно — так занимательны его антиутопии. «Профессор А. Донда» (1976) — вещь скорее сатирическая, даже юмористическая. «Мир на Земле» (1987) — великолепная игра ума с приключенческим сюжетом на тему гонки вооружений, но, как ни странно, за живое она не задевает, «это мы переболелись», как говорил Солженицын. «Футурологический конгресс» (1970) — сатирическая повесть о построенной на многослойной лжи галлюцинирующей цивилизации. Эти художественные произведения так или иначе связаны с философскими трактатами Лема, у нас пока не переведенными.

«Футурологический конгресс», может быть, наиболее задевает нас своими не фантастическими смыслами, затрагивающими наше повседневное существование.

В этой книге Ийон Тихий, попадая в будущее, застаёт на Земле общество торжествующей «химеократии», где невиданное благополучие имитируется за счет непрерывного приема наркотиков направленного действия, вызывающих галлюцинации, не отличимые от реальности, притом «сфера реального тает с невиданной быстротой». Всевластию миражей сопутствует подкуп и пр.; существуют специальные «очуханы», чтобы знать, как все выглядит на самом деле — кто-то ведь должен быть в курсе.

Ийон Тихий тайком принимает отрезвин в роскошном ресторане — и зал с майоликовыми стенами и укрытой от глаз капеллой исчезает; «мы сидели в бетонированном бункере, за грубым деревянным столом, под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему — из репродуктора, который висел на ржавой проволоке», «серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке», «ветви пальмы, стоявшей неподалеку, оказались тесемками от кальсон: какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами — не на антресоли, а скорее на полке»; но действие отрезвина прекращается, реальность дрожит и расплывается, тесемки кальсон снова зеленеют и покрываются листьями, помойное ведро

превращается в резную цветочную кадку, снова мелькают вокруг фраки официантов...

Но, как позже выяснит Тихий, «бункер» — еще не вся правда. Отрезвин способен устранять действие наркотиков-«масконов» (от слова «маска») старого образца², но против новейшей лжи... простите, новых «масконов» он бессилён; и вообще это не отрезвин, а лжеотрезвин, закамуфлированный «маскон» — «так некогда устраивали в мексике ложные тайники — чтобы отвлечь грабителя от настоящих, запрятанных куда как искуснее!».

И так без конца: стряхивая морок лжи, мы обольщаемся убедительно горькой полуправдой, искусно скрывающей за собой что-то более ужасное. Хуже некуда? Всегда есть куда.

И чем глубже погружается Ийон Тихий, принимая все более сильные отрезвины, во все более ужасную реальность, тем более одиноким чувствует себя; «...я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне», — думает отщепенец Тихий, беспокоящийся прежде всего о том, не кончится ли действие отрезвина и не окажется ли он снова в блаженной Аркадии: «...при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения, словно мне было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что я наяву, чем обрести утешенье в иллюзии».

Добравшись до одного из сильных мира сего, Тихий узнает, что мир сей вообще обречен; «...мы с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии», — говорит ему «химеократ», «последний Атлас этого мира».

С конца света начинается и повесть о профессоре А. Донде, утверждающем, впрочем, что это не конец света, а конец всего лишь нашей цивилизации. Спутник Донды Ийон Тихий пипет на глиняных табличках мемуары о том, как это произошло. Но самыми любопытными страницами повести является не история конца света или искусственного происхождения А. Донды, а описание страны Гурундувайю, куда жизнь вытолкнула Тихого и Донду.

Мифическая Гурундувайю, страна тотальной коррупции, «по всем европейским понятиям» должна была развалиться, но она жила; правда, к приезду в нее наших героев механизм несколько забуксовал — «взятки по-прежнему брали все, но никаких услуг взамен не полагалось». Теперь страна дер-

² Искренняя уверенность (до самого последнего времени) значительной части наших соотечественников, что в СССР при всех прочих явных пороках все-таки нет безработицы, — не типичный ли «маскон»?

жалась благодатью и кумовством, а высокий прирост населения объяснялся тем, что каждый отец семейства старался связаться кровными узами с жизненно важными учредителями.

Так почтмейстер Мваги Табуин через старшую дочь установил тесные связи с электростанцией и обувной фабрикой, через вторую — породнился с тамошним привратником продовольственного комбината («Одно руководство за другим отправлялось за решетку, лишь привратник оставался на месте, потому что сам ничем не злоупотреблял, а только принимал подношения»), третью просватал за ревизора ремонтных кооперативов, поэтому даже в период дождей крыша дома не протекала и во всех окнах были стекла, четвертую на всякий случай выдал за тюремного надзирателя, на пятой женился писарь городской управы («именно писарь, а не, скажем, вице-бургомистр... управы менялись, как облака на небе, но писарь держался на своем месте, и только взгляды его менялись, словно фазы луны»)... Лишь отсутствие родственников в кладбищенском хозяйстве беспокоило Мваги. В семейных связях с почтой он, будучи почтмейстером, не нуждался, поэтому письма и посылки приходили не вскрытыми — дело в той стране редкостное. Почтальоны, выходя с почты с полными сумками, вываливали прямо в реку пачки писем, отправленных без проекции, а почтовые чиновники забавлялись игрой, по очереди угадывая, что находится в посылке, угадавший выбирал себе вещь по вкусу...

(...О, родная Гурундувайю! Не случайно повесть о профессоре Донде ходила у нас в «самиздате»...)

Что в гурундувайюском Антиалкогольном комитете варят самогон (повесть, напомним, написана в 1976 году) — пустяки; но любопытно, что там додумались до национализации коррупции и создали Коррупционный банк, в котором «каждый серьезный предприниматель мог получить долгосрочный кредит на взятки, если, конечно, дирекция установит, что его интересы совпадают с государственными».

Описание Гурундувайю несколько затеняет (для нашего читателя) главную линию повести: плотность информации достигает, согласно Закону Донды, критической массы, и в результате случайной вспышки вся информация исчезает («Мы недооцениваем, мой дорогой, творческой роли ошибки как фундаментальной категории бытия», — говорит Тихому профессор; это тема специального трактата С. Лема «Философия случая»).

Вероятно, переводчики К. Душенко и И. Левшин даже усиливали мотивы социального разложения и распада, сознательно или бессознательно переакцентируя «русского» Лема. И это не удивительно — сегодня «конец света» не является достоянием только фантастов и теологов, а наша повседневная «эсхатология» не столь занимательна и забавна, как в книгах С. Лема. Мы, это уже очевидно, живем внутри процесса распада. Исчезновение прежних иллюзий и образование новых (см. лжеотрезвин) сопровождается исчезновением реальностей. Официально развиваются товарно-денежные отношения, но на деле деньги обесценены так, что не могут играть роль всеобщего эквивалента, а товаров попросту нет. Несмотря на декларированный переход к «социалистическому рынку», все движется в обратном направлении — от торговли к распределению (талоны, карточки, заказы, торговля по предприятиям...). Реальность устремляется в сторону, противоположную намерениям наших «управляющих», но обвинять именно их в развале — значит не отдавать себе отчета, насколько этот процесс (уже) неуправляем.

Шансов избежать катастрофы немного. «...катастрофы, в которую может быть втянут весь мир», — уточняет С. Кордонский в зияющей неестественными типографскими пустотами статье «Можно ли нам помочь?» («Век XX и мир», 1989, № 4); одним из этих шансов он считает напрямую помощь всего мира государству, пострадавшему от попытки воплотить в жизнь «великую идею» («еще ни одна идея не обошлась человечеству так дорого»), но помогать можно «чему-то реально существующему», а в условиях сломанной экономики, растерзанной природы, распада социальных связей, возможно, эпидемий, блокировки систем связи и транспорта помощью будет направляться только на «спасение отдельных людей, а не на поддержание существования государства, каким бы оно ни было», а это уже «не помощь, а милостыня, как было с деятельностью АРА после гражданской войны».

Не менее пессимистичен публицист Ю. Калешук («Дружба народов», 1989, № 5), которому уже видится, как мы отправляемся под контролем войск ООН в отведенные нам мировым сообществом «резервации», ибо однажды Объединенные Нации решат, что мы уже исчерпали «кредит доверия человечества», что мы не имеем права «жить так плохо, как мы живем».

Усталость и апатия захватывают и тех, кто, казалось бы, менее всего к этому предрасположен. «Я очень люблю свою Родину,

Россию, но не в нынешнем ее облике — в гражданской глухоте и полураспаде, наверное, я уже и не люблю, больше жалею как старую, неизлечимо больную (разрядка моя.— А. В.), немощную мать», — вырвалось у Виктора Астафьева еще в годы «застоя» (напечатано недавно); писатель признается, что его все больше тянет бежать куда-нибудь на Фарерские острова, где солнце бывает одну декаду в году, но зато нет ни вождей, ни партий, ни грохота прогресса.

Отчаяние это принимает и собственно эсхатологический характер; как написала нам в редакцию читательница Л. Ф. из Воронежа, нац «последний шанс на спасение — покаяние через гласность перед концом света. Больше ничего хо-

рошего не будет. Поздно спохватились, все разрушили до основания...»³.

Но мы — читатели лемовских эсхатологических фантазий — живем и действуем, ибо в отличие от выкладок пессимистического знания оптимизм доразумен. «Сущностью воли к жизни является ее стремление прожить жизнь... — писал Швейцер. — Мы не знаем, каким образом возникло в нас это стремление. Но оно дано нам вместе с жизнью».

Эта таинственная воля к жизни даже перед «концом света» удерживает нас от «эсхатологической паники» (выражение С. Н. Булгакова), питая в нас предчувствие неожиданных прорывов на еще неведомые просторы.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



Политика и наука

ЦЕЛЕСОБРАЗНОСТЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Смертная казнь: за и против. Составители О. Ф. Шишов, Т. С. Парфенова.

Под редакцией доктора юридических наук С. Г. Келиной.

Вступительная статья О. Ф. Шишова. М. «Юридическая литература». 1989. 528 стр.

Эта книга явно «обречена на успех». И выбор авторов (среди которых Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. Г. Короленко, В. С. Соловьев, А. Д. Сахаров), и тема, и вступительная статья, изобилующая сведениями, до недавнего времени старательно замалчиваемыми, — все это, несомненно, вызовет к книге интерес. Появился подобный сборник лет пять назад (невероятно!), какие-либо критические замечания были бы вообще неуместны. Действительно, давно ли большинство названных имен считались полузапрещенными? Давно ли одно их упоминание без привычных оговорок свидетельствовало о гражданской смелости?

Мы обучены читать между строк — это не так уж плохо. Гораздо хуже то, что мы привыкли довольствоваться малым, извлекая нужную информацию из шелухи неприменной «идеологически ориентированной» упаковки. Однако пора бы и отказаться от рабских привычек. Пора перестать списывать недостатки публикаций на цензуру.

Вопрос о допустимости смертной казни не только юридический. Это вопрос об отношении к человеку, о признании самодовлеющей ценности человеческой жизни. Вот

почему составители сборника должны были выявить связи, то есть представить не сумму, но концептуально оформленную систему суждений, — ведь отношение к смертной казни характеризуется уровнем нравственности общества в целом.

Сложная и ответственная задача объединения и организации материалов, собранных под одной обложкой, поставлена во вступительной статье О. Ф. Шишовым. И если бы автору удалось решить ее, то и весьма значительный объем статьи — четверть общего объема сборника — был бы вполне оправдан. Но, к сожалению, не удалось. Да и о какой научной постановке проблемы может идти речь, если автор статьи стремится любой ценой доказать, что до Октябрьской революции узаконенное убийство — проявление реакционности режима, а в Советском государстве смертная казнь была необходимой мерой?

³ Ср.: «...самое время каяться, — писал Солженицын еще в 1973 году, — уж не для загробной жизни... но чтоб на Земле-то нам уцелеть. Тот, много раз предсказанный прорицателями.., конец света — из достоинства мистики подступил к нам трезвой реальностью...» («Раскаianie и самоограничение»).

Возмущение правоведа вызывает, в частности, Соборное уложение 1649 года — «свод законов крепостнической России, отражавших и закреплявших феодально-помещичьи отношения». Если верить О. Ф. Шишову, смертной казнью карался «заговор против царя, ближних его людей, бояр, сокольничих, воевод». Конечно, смерть за умысел против сокольничего, то есть распорядителя соколиной потехи, — необъяснимо жестокое наказание. Но не будем торопиться с осуждением. Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, в самом деле увлеклся соколиной охотой и даже написал ее устав. Однако недоброжелателей сокольничих он не карал так сурово, как полагает О. Ф. Шишов. В Соборном уложении речь идет об окольничих — втором по старшинству (после бояр) сане приближенных к царю лиц: «Также самовольством, скопом и заговором к царьскому величеству, и на его государевых бояр, и окольничих, и на думных и на ближних людей, и в городех и в полках на воевод, и на приказных людей, и ни на кого никому не приходит, и никого не грабити и не побивати». Вот что имелось в виду. Доказывать деспотизм Алексея Михайловича и жестокость законов его эпохи следовало бы другими примерами.

Равным образом, характеризуя нравы и законы петровской эпохи, не следовало бы приписывать царю и русскому народу в целом уважительное отношение к ремеслу палача. Спору нет — император пытал и казнил собственноручно. Однако, палачеству и вынуждая палачествовать своих сподвижников, Петр I сознательно унижал их. Таков был «карнавалный» метод: смирать «первых», заставляя выполнять обязанности «последних». Палачей же народ презирал и в XVIII веке, а в петровской армии, к примеру, профосы не только осуществляли экзекуции, но и следили за состоянием отхожих мест. Какое уж тут уважение — само прикосновение к профосу считалось позором.

Принципиально ошибочно и то объяснение, которое О. Ф. Шишов дает настойчивому, но не сразу реализованному стремлению императрицы Елизаветы Петровны отменить смертную казнь: «Гуманные побуждения русской императрицы не нашли поддержки ни у дворянства, ни у представителей тогдашней чиновничье-бюрократической системы. Напротив, вызвали определенное противодействие... Да и сама императрица не была последовательна в реализации своего замысла, ибо проводимая ею линия на отмену смертной казни характеризовалась

известной двойственностью». Двойственность эта, по мнению правоведа, проявлялась в том, что, с одной стороны, императрица «считала необходимым сохранение смертной казни для устрашения разбойников, а с другой — довольно четко выражала отвращение к смертным казням и приостанавливала их». «Гуманные побуждения», как и «отвращение» к казням, тут, разумеется, ни при чем. Дочь Петрова бывала не менее жестока и мстительна, чем ее отец. Так, например, в 1742 году, следуя пожеланиям императрицы, Н. Ф. Лопухину приговорили к наказанию кнутом и усекновению языка. И все же смертные приговоры в царствование Елизаветы не приводились в исполнение. Палачи пытали и клеймили преступников, но — не убивали. Неслучайно знаменитый итальянский юрист Ч. Беккариа, первым восставший против высшей меры в трактате «О преступлениях и наказаниях», считал именно «варварскую» Россию образцом для подражания. Однако русская императрица вовсе не намеревалась опережать просвещенных европейских монархов на пути гуманизации законов. Напротив, она следовала древней традиции. Как свидетельствует известный историк и публицист М. М. Щербатов, набожная Елизавета при восшествии на престол дала обет во все свое царствование не лишать никого жизни. Странно, что автор вступительной статьи, цитируя М. М. Щербатова, почему-то не считает христианский обет достаточно веской причиной прекращения узаконенных убийств.

Представляются также неуместными упреки О. Ф. Шишова в адрес Екатерины II, которая, по его словам, двойственно декларировала желательность отмены смертной казни и в то же время беспощадно расправлялась с пугачевцами. Особенно странно это звучит в устах юриста, безоговорочно оправдывающего красный террор эпохи гражданской войны. Тут, по мнению автора вступительной статьи, без казней обойтись нельзя было, поскольку «обострилась внутренняя и международная обстановка молодой Советской республики». Крестьянское же восстание, вспыхнувшее во время войны России на два фронта (в Польше и с Турцией), О. Ф. Шишов обострением обстановки не считает. Чтобы обличить императрицу, можно было бы обойтись без демагогических приемов. Да, Екатерина II порою преступала законы, ею утвержденные. Достаточно вспомнить, например, казнь Падурова, депутата Комиссии об Уложении, ставшего одним из ближайших соратников Пугачева. Вот что писал об этом А. С. Пушкин:

кин: «Падунов, как депутат, в силу привилегий, данных именным указом, не мог ни в коем случае быть казнен смертию. Не знаю, прибегнул ли он к защите сего закона; может быть он его не знал; может быть судьи о том не подумали: тем не менее казнь сего злодея прогивузаконна».

Знакомый ход рассуждений прослеживается и при оценке О. Ф. Шишовым так называемой стольпинской реакции. Отчасти он прав: меры, принятые П. А. Столыпиным, были действительно жестоки. Военно-полевые суды и многочисленные внесудебные расправы вызвали справедливое возмущение даже у тех, кого нельзя было заподозрить в сочувствии революционерам. Все так. Но ведь карательные акции осуществлялись не сами по себе. Они использовались как средство подавления крестьянских восстаний, сопровождавшихся кровавыми эксцессами, как средство борьбы с терроризмом, принявшим неслыханный размах. Боевики-эсеры (да и не только эсеры) не считали зорным пристрелить или взорвать любого «опричника самодержавия», иногда и вместе с семьей. По сравнению с этим участвовавшие экспроприации, то есть грабежи, посредством которых пополнялись партийные кассы, — просто мелочи.

Нет, мы не собираемся оправдывать П. А. Столыпина. Но уж если порицать его методы, то следовало бы дать соответствующую оценку и методам подавления крестьянских восстаний в годы гражданской войны, например антоновщины в Тамбовской губернии. Царские генералы по крайней мере не казнили тех, кто давал приют раненым повстанцам. Не было в ту эпоху речи и об ответственности семьи преступника. А как быть с борьбой ВЧК против тех же эсеров, которые раньше так досаждали самодержавию? Сколько их расстреляли без всякого суда только за принадлежность к враждебной партии? Но об этом О. Ф. Шишов не упоминает, поскольку борьба с контрреволюционерами, по его мнению, — случай особый.

Тенденциозность автора особенно отчетливо проявилась во второй части вступительной статьи, посвященной истории применения смертной казни в Советском государстве. Прежде всего вызывает удивление своеобразный хронологический разнобой. Так, в одном месте О. Ф. Шишов, ссылаясь на В. И. Ленина, сообщает: «До лета 1918 года карательные органы Советской власти не применяли смертной казни по отношению к своим политическим противникам», а буквально на следующей странице указывается, что «21 февраля 1918 года СНК

РСФСР принимает декрет „Социалистическое отечество в опасности“», который «провозгласил переход к чрезвычайным мерам и допустил возможность применения расстрела на месте за совершение преступлений неприятельскими агентами, спекулянтами, погромщиками, хулиганами, контрреволюционными агитаторами, германскими шпионами». Выходит, «контрреволюционные агитаторы» — не «политические противники»? Кстати, «неприятельских агентов» вкупе с «германскими шпионами» тоже не стоило бы причислять к уголовникам. Кроме того, фраза «допустил возможность применения расстрела на месте» искажает смысл декрета. Там сформулировано точно: «расстреливаются на месте преступления». Значит, речь идет не о допустимости смертной казни — она стала обязательной. Остается добавить, что в объявлении ВЧК, опубликованном 23 февраля 1918 года, список особо опасных преступников дополнен «саботажниками и прочими паразитами». Автор вступительной статьи, вероятно, относит и обвиненных в саботаже к уголовникам. О «прочих паразитах» судить не беремся — загадочная категория...

Статистическим данным о применении смертной казни, которые приводит О. Ф. Шишов, говоря о гражданской войне, верить нельзя. К примеру, на странице 99 он пишет: «По свидетельству одного из руководителей ВЧК М. Я. Лациса, за первую половину 1918 года было расстреляно 22 человека, затем репрессии ужесточились, а с середины осени 1918 года их число пошло на убыль. В октябре расстреляли 641 врага Советской власти, в ноябре — 210, в декабре — 302, в январе 1919 г. — 144, а в феврале — 34. Это явилось результатом того, что сопротивление свергнутых классов в стране в значительной степени было преодолено». Примечательно, что автор вступительной статьи, ссылаясь на изданную в Москве в 1921 году книгу М. Я. Лациса «Чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией», не указывает соответствующую страницу цитируемого издания. И правильно делает. Потому что таких данных в книге нет. Да и не могло быть: они попросту несопоставимы с масштабами репрессий той поры. Как сообщает известный чекист Г. И. Бокий, только в Петрограде с 5 сентября по 15 октября 1918 года вынесено и приведено в исполнение около 800 смертных приговоров. Согласно отчетам чрезвычайных комиссий, действовавших в районе чехословацкого фронта, с июля по сентябрь 1918 года расстреляно более 500

контрреволюционеров: священнослужителей, бывших офицеров и чиновников, врачей, студентов, так называемых представителей кулачества и т. п.

Странной представляется интерпретация О. Ф. Шишовым некоторых декретов. В частности, он указывает, что постановление VI Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов «О точном соблюдении законов», принятое 8 ноября 1918 года (а не 8 декабря, как полагает юрист), «закрепило требования революционной законности и стало основой для дальнейшей работы органов ВЧК». Однако именно это постановление можно назвать двойственным. Оно гласило: «...непрекращающиеся попытки контр-революционных заговоров и война, навязанная империалистами рабочим и крестьянам России, делает в некоторых случаях неизбежным принятие экстренных мер, не предусмотренных в действующем законодательстве или отступающих от него. Впредь установить, что меры, отступающие от законов Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или выходящие за их пределы, допустимы лишь в том случае, если они вызваны экстренными условиями гражданской войны и борьбы с контр-революцией». Получается, что название документа — «О точном соблюдении законов» — противоречит его смыслу: с одной стороны, законы соблюдать нужно, а с другой — власти могут их и нарушить.

Принципиально неверно описывает О. Ф. Шишов и юридическую сущность красного террора. «Смертная казнь,— утверждает он,— может отождествляться с террором только в условиях ожесточенных классовых битв, в условиях проведения революций и гражданской войны, когда террор являлся важным средством в борьбе за защиту завоеваний революции, для подавления сопротивления свергнутых классов».

С точки зрения автора, идея террора как политики полностью выражена в постановлении СНК от 5 сентября 1918 года, которое предписывало расстреливать всех «прикосновенных к белогвардейским организациям, разговорам и мятежам». Поясним, что термин «прикосновенные» (заимствован из дореволюционного уголовного права) был впоследствии эквивалентно заменен на «пособники», каковыми, согласно «Руководящим началам по уголовному праву», признавались «те, кто, не принимая непосредственного участия в выполнении преступного деяния, содействует выполнению его словом или делом, советами, указаниями, устранением препятствий... т. е. непрепятствием совершению преступления».

Постановление о красном терроре максимально расширило область применения. Однако террор не сводится к жестоким законам, назначающим пусть и непомерную кару, но все же за вполне конкретные правонарушения. Террор как политика государственного устрашения в принципе отрицает законность: государство уничтожает заведомо невиновных потенциальных противников, дабы парализовать ужасом волю масс к сопротивлению. В первые годы советской власти террор понимался именно так, а не иначе.

16 января 1918 года газета «Правда» уведомляла читателей: «Среди буржуазии сейчас колоссальная ненависть, бешеная злоба против Советской власти... Но пусть они помнят — за каждую голову наших они будут отвечать сотней голов своих». Четко сформулированная угроза вскоре была реализована. И не случайно автор вступительной статьи замалчивает знаменитый «Приказ о заложниках» наркома внутренних дел Г. И. Петровского: «Все известные местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицества должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый расстрел. Местные Губисполкомы должны проявлять в этом направлении особую инициативу».

Расстреливали и «безоговорочно», и «масово» в течение продолжительного времени. Например, 12 февраля 1921 года Сибревком издал приказ, согласно которому следовало: «Жители сел и Деревень, расположенных в десятиверстной полосе по обе стороны от железной дороги, несут ответственность жизнью и имуществом за целостность железнодорожного пути и телеграфной сети. Возлагается на них обязанность доносить немедленно начальнику ближайшей воинской части, расположенной на охране железной дороги, о всяких бандах, проходящих по их деревням и селам». В сентябре 1921 года, чтобы предотвратить рост отрядов мятежников, Сибревком постановил: «В связи с ликвидацией на территории Сибири белогвардейщины и повстанческих банд обнаружены случаи мобилизации местного населения, осуществляемые начальниками этих банд... Сибревком объявляет населению, что мобилизация в банды — преступление, всякий явившийся в них будет наказан. Имущество лиц, вошедших в банды, подлежит конфискации, а семьи — заключению в лагеря для принудработ».

Таким образом, родственники повстанцев объявлялись заложниками. Пройдет не так уж много лет, и аналогичные репрессии обрушатся на «кулаков», «подкулачников» и так называемых ЧСИР — членов семьи изменников родины. Это закономерно. Сталинизм возник не на пустом месте.

В годы гражданской войны заложников брали не только с целью устрашения потенциального противника, но и для того, чтобы принудить население в любых условиях исполнять трудовые повинности. Так, зимой 1918/19 года нарком путей сообщения В. И. Невский столкнулся с проблемой расчистки от снега железнодорожных линий. У местных крестьян не хватало на это ни сил, ни времени, поскольку их постоянно то отправляли на работы для фронта военные комиссары, то совнархозы мобилизовывали на подвоз дров и продовольствия. 15 февраля 1919 года «вопрос об освобождении от мобилизации всякого рода населения на расстоянии 20 верст от линии железных дорог» обсуждался Советом рабочей и крестьянской обороны, который постановил «взять заложников из крестьян, с тем, что, если расчистка снега не будет произведена, они будут расстреляны. Доклад об исполнении со сведениями о количестве арестованных назначить через неделю». Столь радикальный метод не сочли чрезмерно жестоким.

К сожалению, такого рода вопросы остались за рамками статьи. Что и понятно: в противном случае автору пришлось бы менять концепцию. Гораздо проще полагать, что террор начинается, когда расстреливают за правонарушения, ранее каравшиеся иначе, и прекращается, как только власть сужает область применения смертной казни.

На основе прямолинейного и упрощенного понимания террора автор пытается объяснить и суть сталинщины: «Отождествление смертной казни и террора характерно для сталинизма как авторитарного режима. Эта концепция возникла на основе ошибочных положений Сталина об усилении классовой борьбы по мере строительства социализма, о необходимости расширения чрезвычайных мер в условиях мирного времени. Разумеется, террор в обстановке сталинщины являлся не формой подавления сопротивления эксплуататорских классов, а безудержной расправой с миллионами ни в чем не повинных людей». Надеемся, что приведенные нами выше документы эпохи красного террора достаточно убедительно опровергают этот вывод. В первые годы советской власти репрессии тоже были массовы-

ми (важно, с чем сравнивать), и тогда тоже казнили невинных. Как тут угадать, где количество переходит в качество?

«Следует, однако, отметить,— пишет О. Ф. Шишов,— что Советский Союз внес в 1949 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложение об отмене смертной казни во всех странах мира. Но тогда это предложение не получило поддержки». Спору нет, гуманная была инициатива, и можно предположить, что и правительство наше было гуманнее всех прочих. Но надо ли объяснять, кто в 1949 году определял внешнюю политику СССР? И неужели прекратился бы сталинский террор, если бы ООН поддержала инициативу Страны Советов?

Итоговые выводы вступительной статьи читатели, надеемся, уже предугадали. Разумеется, О. Ф. Шишов в принципе отрицает смертную казнь, но в современных условиях считает необходимым сохранить ее, ограничив, естественно, область применения. Возвращаясь к заглавию сборника, можно уточнить, что это высказывание за, а не против. Впрочем, и такого рода вывод имеет право на существование — как личное мнение. Правда, в данном случае мнение защищено ученой степенью и пространным историческим экскурсом.

Отметим несколько фактографических и библиографических погрешностей, которыми, к сожалению, изобилует книга. Например, Екатерина II, составляя «Наказ» Комиссии об Уложении, не посылала его на отзыв Дени Дидро. «Наказ» был отпечатан Сенатской типографией в 1767 году, а отзыв французского философа датируется 1774 годом.

Удивляет и то, что в перечне основных работ С. Н. Булгакова из четырех упомянутых две — «Проблемы идеализма» (1902) и «Из глубины» (1918) — он никогда не писал. Так назывались коллективные сборники, а помещенные в них статьи философа были озаглавлены соответственно — «Основные проблемы теории прогресса» и «На пиру богов». Н. А. Бердяеву тоже досталось от автора библиографической справки. Места и даты публикации всемирно известных трактатов русского мыслителя указываются в справке не по первому изданию, как принято, а, вероятно, по тем, которые находились на ближайшей книжной полке. Иначе трудно объяснить, почему «Миросозерцание Ф. М. Достоевского» (Прага, 1923) впервые публикуется в М. (Москва? Мюнхен?) в 1968 году, а «О рабстве и свободе человека...» — в 1972 году вместо 1939-го. основополагающая работа извест-

ного правоведа Г. С. Фельдштейна вышла не в Москве, а в Ярославле, где он много лет преподавал в Демидовском лицее.

Неизвестно, на чей счет (составителей? редакторов? корректоров?) отнести ряд досадных, искажающих смысл опечаток: местом ссылки в царствование Елизаветы Петровны был не Рочервик, неизвестный географам, а Рогервик; убрав шкодливую запятую, можно увидеть, что «Дж. Стюарт, Милль» — это не два человека, а один, Джон Стюарт Милль (1806—1873), выдающийся английский философ-позитивист, и т. д.

Тем не менее издание такого сборника — событие. Значит, уходит нам навязанная традиция замалчивания проблемы и начинается научное обсуждение. Возвращается украденное наследие русских философов, писателей, правоведов. Исходный замысел — сопоставление разделов «Смертная казнь и рус-

ское общественное мнение конца XIX — начала XX века» и «Смертная казнь в оценке современников» — был не так уж плох. Сама книга могла бы стать своеобразным диалогом, связью времен. Кстати, случайно или нет, но все «старорежимные» авторы безоговорочно отрицают узаконенное убийство, а подавляющее большинство современников признают смертную казнь как меру целесообразную, а значит, и временно необходимую. Для российских интеллигентов гуманность — цель, а для советских — средство. Вот на что стоило бы обратить внимание...

Остается добавить, что нет в сборнике ни научного комментария, ни даже оглавления. Однако все это уже не столь существенно. Самое главное, что книга как единое целое не получилась.

**М. ОДЕССКИЙ,
Д. ФЕЛЬДМАН.**



КОРОТКО О КНИГАХ



АЛЕКСЕЙ КОРОЛЕВ. Эклибрис. Стихи. М. «Советский писатель». 1988. 144 стр.

Стихи Алексея Королева не каждому, наверно, придется по вкусу. В них слишком мало внятного рассказа, выводов, положительных идей. С чего бы автор ни начинал, все неизбежно сводится к тому же монологу, к бесконечной тяжбе с самим собой.

В сущности, это тип современного гамлетизма. «Подгнило что-то в Датском государстве» — такова теза. И развитие ее: «Что благородней духом — покоряться... Иль, ополчась на море смут, сразить их?..» Современный Гамлет (точнее, Гамлет 70—80-х) не выбирает ни то, ни другое: не покоряться и уж, конечно, не ополчаться. Это — Гамлет, но без шпаги. Это — поэт сомнения, рефлексии и того смирения (больше самоуничтожения!), что паче гордости. Доказательства — на любой странице.

И сколько книжек ни поставь на полку — от них уже ни радости, ни толку, одно томление да маета...
И смахивает стих на барахолку,
где силу духа обили втихомолку,
а прочее не стоит ни черта.

О стихе, смахивающем на барахолку, сказано не случайно. Действительно, язык Королева — сплав всех мыслимых высоких и низких стилей от современного жаргона до славянизмов и золотого далевского пласта речений и поговорок. С явным преобладанием в синтаксисе высокого стиля (инверсии и т. п.), а в лексике — народного и книжного «крылатого слова», но — сдвинутого, смещенного по смыслу, а то и вывернутого наизнанку.

Какие ни баяли бы рубаи,
на то мы и стреляные воробьи,
чтоб нас провели на мякине
лирические героини.

Это простейший пример. Вот чуть посложнее, повитиеватей:

Радости втихаря,
загода спорби
наши до фонаря
urbi et orbī.

Что замечательного взял Королев у народной поговорки (кроме смыслового глубинного эха), так это удивительную складность, когда звуки непременно ауканются, поддерживают друг друга, образуя затейливую вязь. Роль этого ауканья такова, что в пору вспомнить древнескандинавский аллитерационный стих. «Эка околесица — в пору ей в пояс, но опростоволоситься все-таки боязно... Поросла осокою юности старица. На звезду высокую некому зариться. Пота-

каю облаку, под его пологом все, что добыл,— побоку, а волок волоком» («Угрызения совести»).

Подвижность и трансформированность поэтического слова (и впрямь подобно облаку) в сочетании с жесткостью заданной формы характерны для Королева. Среди его стихов, в частности, много сонетов — простых и обратных, сонетные циклы и немало весьма оригинальных (скажем осторожнее: нешаблонных) строф с многократной рифмой и разностопной строкой.

(Жаль только, что такого рода стихи, построенные на реализации идиом, на игре оттенками слов, видимо, принципиально непереводимы на другие языки. Разве что дать переводчику вместо текста канву для импровизации, как это делалось в старинном итальянском театре масок, нечто вроде: «Выходит Труфальдино и презабавно жалуется на судьбу».)

Этот приоритет формы («Самое трудное — выбор размера, все остальное возьмется само»), конечно, не случаен. Ибо океанное ремесло — способ сопротивления залгающемуся времени. Тот последний плацдарм, за которым конец, окончательное обесмысливание мира.

Отсюда ожесточенность и горечь, проникающие всюду. Даже «прекрасные дамы» и соответственно любовная лирика здесь та же печка, от которой танцует замысловатый танец одиночества. Как и положено по классическому гамлетовскому канону:

От души они нас жалели
и успехов больших желали,
но не петрили в нашем деле,
ни бельмеса не понимали.

Кажется, вырисовывается образ весьма замкнутого, эгоцентрического поэта. Но это не совсем так. В такую пору, когда паяцы выступают в роли оракулов, уход в герметичность, в бормотание, в тотальную иронию — позиция понятная.

Существует гипотеза, согласно которой в шекспировском театре роль Корделии и роль шута исполнял один и тот же юноша-артист. Нет ни одного эпизода, где участвовали бы оба эти персонажа. Лир изгоняет Корделию, и тогда рядом с ним появляется верный и насмешливый дурак. В четвертом акте на сцену возвращается Корделия, но исчезает шут: до самого конца трагедии мы уже не увидим бедного Тома.

То есть у любви и стойкости два обличья. В мире, где «житейские скáчки находят ся в кровном родстве с готовностью стать на карачки», где даже «у моря за душой взбалмошной и бешеной много общего с лапшой,

на уши навешанной», существует все-таки неистребимая гармония, которая только ждет творческого жеста, чтобы открыться, предстать перед глазами:

И, невзирая на блезир,
не жди подвоха,
страннопринимен этот мир,
и темперирован клавир
не так уж плохо.

Старый парадокс заключается в том, что когда поэт внушает сам себе: мол, пиши пропало,— удивительным образом что-то прибавляется, а не пропадает. Видно, у поэзии всегда достаточно внутренних степеней свободы, чтобы оставаться собой. Да и ямбы с дактилями еще на что-то сгодятся.

Г. Кружков.



ТИМУР ГАЙДАР. Голиков Аркадий из Арзамаса. Документы, воспоминания, размышления. М. Полятиздат. 1988. 318 стр.

Голиков—это Гайдар, ставший героем уже нескольких вышедших книг, и вот — еще одна, особенная, написанная сыном. Книга содержит прекрасные страницы, воскрешающие историю создания «страны Гайдара»: привлекательного, жизнестойкого литературного мира, с которым более полувека не расстанутся читатели. Но, как ни странно, при всех своих достоинствах книга Тимура Гайдара не является принципиальным шагом вперед в познании этого мира и, пожалуй, оказывается даже некоторым отступлением по сравнению с другими работами.

Из прежних исследований мы знаем факты, в данном своде документов и воспоминаний просто отсутствующие, — факты, бывшие едва ли не центральными, по крайней мере в психологическом отношении, для формирования гайдаровской личности. Прежде всего это расстрел большой группы пленных, произведенный в годы гражданской войны по приказу Аркадия Голикова, будущего Гайдара. Мы не чувствуем себя вправе и даже не заинтересованы обсуждать здесь необходимость и оправданность подобных действий. Это дело военных историков. Но для понимания писательской психики, отразившейся в книгах, которые мы читаем и любим, знать о таких фактах необходимо. Ведь за подобные действия воевавший чуть ли не с детских лет Аркадий Голиков дважды исключался из комсомола, был исключен из партии и не восстановлен; едва не лишившись всех званий и наград, он закончил кадровую армейскую службу неизлечимым инвалидом на нервной почве. Причем помимо медицинской помощи Гайдар время от времени прибегал к такому «самолечению», которое могло служить разве что средством медленного самоубийства. А из его переписки с друзьями, опубликованной пока, к сожалению, только за рубежом, стало известно, в каком состоянии душевного дискомфорта существовал этот человек, запомнившийся сыну как «сильный, добрый, улыбчивый, справедливый, смелый».

Показания сына мы не только не ставим

под сомнение, но считаем их исключительно ценными, однако сложной задачи они не разрешают, а лишь усложняют ее. Скажем, забота, тень которой сын подчас замечал на светлом челе своего отца, была, надо полагать, не мимолетным воспоминанием о «молодости и своих на войне промахах», а неутихающей, неотступной внутренней болью, которую Аркадий Гайдар старался заглушить всеми средствами. Иначе говоря, не гармония, а глубочайшая дисгармония служила двигательной силой в создании гайдаровского мира, где действуют замечательные мальчишки и девочки.

Мое мнение о Гайдаре таково: это наш Стивенсон, и ему суждена та же судьба, что выпала на долю знаменитого писателя-романтика, которого Гайдар, конечно, читал не бесследно для себя. Такие писатели со временем «взрослеют»: в их книгах, созданных вроде бы исключительно для детей, открывается недетское содержание. С Гайдаром в будущем произойдет, я думаю, то же самое. Когда отступят наши страсти, лопнут дутые литературные величия, Гайдар как талант, наш советский Стивенсон, будет по-прежнему жить, но если полвека его читают как детского писателя, то лет через сто за него возьмутся и взрослые. И вот тогда будет особенно нужны полные свидетельства из первоисточника: что же это была за личность?

Тимуру Гайдару после краткого варианта воспоминаний об отце («Новый мир», 1986, № 7), переросших в эту книгу, следует, вероятно, подумать о втором ее издании с учетом новых, недавно появившихся данных об Аркадии Гайдаре.

Д. Урнов.



М. М. САФОНОВ. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л. «Наука». 1988. 248 стр.

В последнее время в советской исторической науке наметился определенный поворот в сторону более глубокого осмысления сущности того, что традиционно определялось как «кризис мысли». Речь идет о пересмотре ценностей общественного прогресса, на которых основывалось Просвещение и которые самым безжалостным образом были попораны в эпоху «ужаса» (terreur) Великой французской революции. Появление монографии М. М. Сафонова является еще одним шагом к объективному и целостному изучению воздействия этой революции на русское общество.

По мнению автора, влияние французских событий на Россию отразилось в деятельности правящих верхов, осознавших необходимость перемен.

Система дворянских привилегий, получившая свое окончательное оформление в последней четверти XVIII века, явилась завершением поисков со времени смерти Петра I средств к стабилизации внутриполитической обстановки. Найденный выход — опора на господствующий класс путем максимального расширения его привилегий —

должен был стать гарантией устойчивости существующей формы политического режима. Но неограниченная власть дворянства над принадлежавшими ему крестьянами, отсутствие у него «крепости» в пользу государства в форме обязательной службы, наконец, стремление к дальнейшему расширению привилегий и активное противодействие любым невыгодным переменам в своем положении, исходящим со стороны государственной власти («сервальная» революция, возведшая на престол Александра I), — все это не могло не привести к застою. Французская революция и события, непосредственно ей предшествовавшие, показали, что строптивость первого сословия может вызвать куда более серьезные последствия, чем просто дворцовый переворот. Еще летом 1791 года А. Р. Воронцов в записке, поданной А. А. Безбородко по поводу французской революции, отмечал: «Если сей образ правления и мнимого равенства хоть тень окоренелости во Франции примет, оно будет иметь пагубные следствия и для прочих государств и правительств и с тою только разницею, что в одном ранее, а в другом позже». Годом позже аналогичное высказывание мы встречаем в письме русского посла в Лондоне С. Р. Воронцова: «Как я вам и говорил, это война на смерть между теми, кто ничего не имеет, и обладающими собственностью, а т.к. эти последние в меньшинстве, нужно ожидать, что они погибнут. Зараза будет всеобщей. Наша удаленность спасет нас на некоторое время; мы будем последними, но мы будем также жертвами этой эпидемии».

Логическим продолжением таких мыслей и стала политика преобразований, или, говоря современным языком, перестройка общественной системы.

По мнению М. М. Сафонова, суть реформаторской деятельности царизма на рубеже XVIII и XIX веков заключалась в попытке стабилизации политического режима в стране путем претворения в жизнь наиболее умеренных идей французского Просвещения (и это в условиях отмеченного «кризиса мысли»!). Автор уделил большое внимание процессу формирования политического сознания будущего императора Александра I. Обнаруженные М. М. Сафоновым новые архивные материалы позволяют судить о степени увлечения Александра в юношеском возрасте идеями французской просветительской мысли и революции, восторженное отношение к которой он сохранял на протяжении ряда лет уже после падения якобинской диктатуры, продолжая именовать себя якобинцем и сторонником эгалитаристских идей равенства состояний, а также республики без наследственного дворянства.

Конечно, здесь можно упрекнуть автора в определенной идеализации. Чрезмерный радикализм будущего императора — что это? След, оставленный в своем воспитателе швейцарцем Ф.-Ц. Лагарпом, которому Александр, по собственному признанию, был обязан «всем, кроме рождения», или следствие страстного стремления юношеского сердца к осуществлению «всеобщего блага», понимаемого им достаточно абстрактно? Однако в искренности его намерения реформировать Россию сомневаться не приходится. Открытый М. М. Сафоновым дневник Алек-

сандра позволяет утверждать, что у него имелась далеко идущая программа реформирования общества, в том числе постепенной ликвидации крепостного права. Теоретическим ориентиром в осуществлении реформ была концепция «истинной монархии» Монтескье с ее фундаментальными законами, вытекающими, по выражению самого императора, из «слишком известных прав человека».

Автор подробно исследует ту непростую обстановку, в которой приходилось действовать императору, анализирует и причины неудач его реформаторской деятельности, которая свелась в конце концов к укреплению единоличной власти. Так было положено начало превращению великого, по замыслу, реформатора в «великого монарха», восстановившего и укрепившего былой абсолютизм.

Н. Кирющенко.



НАСЕЛЕНИЕ СССР. 1987. М. «Финансы и статистика». 1988. 440 стр.

Подготовленный Информационно-издательским центром Государственного комитета СССР по статистике сборник необычен, потому что содержит показатели (например, поло-возрастной состав), которые долгие годы хранились за семью печатами. Особенность сборника и в том, что он охватывает продолжительный период — 1913—1987. Можно утверждать, что за сухими цифрами, их динамикой скрывается жизнь практически всех поколений советских людей.

Книга открывается таблицами общей численности населения страны начиная с 1897 года, года первой Всероссийской переписи. За последующие девяносто лет население страны возросло со 125 до 282 (1987) миллионов человек.

Между датами переписей разные временные интервалы. Одни из них объясняются войнами (две мировых, гражданская), другие... Что сказать о других, когда к ним относятся 1926—1939 годы (такой вот огромный интервал)? Статистика роста населения страны в эти годы хранит зловещее молчание. 1939 год выглядит в таблицах вполне благопристойно. Встает, однако, вопрос: насколько можно верить приведенным показателям? Ведь позади были и 1929—1933, и 1937—1938 годы. Позади были и аннулированные Сталиным результаты «забракованной» переписи населения 1937 года.

Многочисленные таблицы дают представление о численности населения по союзным и автономным республикам, краям, областям, экономическим районам. Отражена доля городского населения, которая возросла с 18 процентов в 1913 году до 33 процентов в 1940-м и 66 — в 1987 году. Интересны данные о распределении городов по числу жителей. Они ясно свидетельствуют о процессе концентрации населения в крупных и крупнейших городах, доля которых в общем числе городов относительно невелика. В сборнике приведены сведения о городах с населением 50 и более тысяч жителей. За основание отбора приняты данные 1971 года, что, естественно, искажает современ-

ную картину: за истекшее двадцатилетие в число пятидесятитысячников вошло немало новых городских поселений.

Конечно, всегда важны и интересны данные о соотношении мужчин и женщин. Если в 1897 году на долю сильного пола приходилось 49,8 процента, а в 1940 — 47,9, то в 1987-м (хотя война уже давно позади) лишь 47 процентов. Выдвинутый когда-то профессором Б. Ц. Урланисом призыв «берегите мужчин!» остается в силе.

Национальный состав населения (по стране и союзным республикам) приведен по данным переписи 1979 года, а социальные показатели — на 1987 год. На эту дату рабочие и служащие составили 88 процентов населения СССР. Конечно, внутренняя дифференциация этой социальной группы достаточно широка, и требуется ее детальная расшифровка.

В книге много таблиц, отражающих ход воспроизводства населения (рождаемость, смертность, естественный прирост, соответствующие коэффициенты) по СССР, республикам, регионам. Эти важные показатели дополнены подробно разработанными материалами по бракам и разводам, абортam и младенческой смертности, причинам смерти. Такие показатели в общем и региональном разрезе долгие десятилетия у нас не публиковались.

Заключительный раздел книги позволяет сравнить многие демографические показатели нашей страны с соответствующими пока-

зателями других государств. Раздел так и называется — «Международные сравнения». Чувствуется, что он прямо направлен на то, чтобы мы не убаюкивали себя долгое время распространявшимся мнением, будто в демографическом отношении у нас все хорошо. Увы, это не так.

Ожидаемая продолжительность жизни в СССР 69 лет (64 для мужчин, 73 года для женщин), в то время как соответствующий показатель в Болгарии — 71, ГДР — 72, США — 75, Японии — 78, Венесуэле — 71 год... Коэффициенты младенческой смертности в 1986 году составили: в СССР — около 25 умерших в возрасте до 1 года детей на каждую тысячу родившихся, в Болгарии — 15, в США — 10, в ГДР — 9, в Швеции — 6, в Японии — 5... Есть над чем задуматься.

Сборник не лишен недостатков. Кроме уже упомянутых, следует указать на нехватку в нем относительных показателей, что заставляет читателя постоянно прикидывать в уме процентные соотношения. И все же Госкомстат сделал огромный и принципиальный шаг вперед. Это позволяет надеяться, что по мере разработки данных переписи населения 1989 года они станут достоянием широкого круга лиц, практически нуждающихся в демографических сведениях. Да что говорить — эти материалы нужны и каждому цивилизованному человеку.

Ю. Дмитриевский,
доктор географических наук, профессор.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Очередные задачи Советской власти. 128 стр. Цена 15 к.

Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927—1932 гг. 526 стр. Цена 1 р. 60 к.

Н. Жданов, А. Игнатенко. Ислам на пороге XXI века. 352 стр. Цена 1 р.

О Станиславе Косиоре. Воспоминания, очерки, статьи. 271 стр., с илл. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Т. Каипбергенов. Последний бой. Романы. Перевод с каракалпакского. 831 стр. Цена 3 р. 90 к.

Н. Тряпкин. Стихотворения. («Библиотека советской поэзии») 431 стр. Цена 1 р. 40 к.

Д. Фонвизин, А. Грибоедов, А. Островский. Избранные сочинения. («Библиотека учителя») 608 стр. Цена 4 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Бахревский, Виктор Васнецов. («Жизнь замечательных людей») 368 стр., с илл. Цена 1 р. 90 к.

В. Замлинский, Богдан Хмельницкий. («Жизнь замечательных людей») 336 стр. Цена 1 р. 60 к.

Г. Федосеев. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. 639 стр. Цена 2 р. 70 к.

М. Цветаева. Стихотворения и поэмы. («XX век: поэт и время») 238 стр. Цена 55 к.

«РАДУГА»

К. Портер. Корабль дураков. Роман. Перевод с английского. 638 стр. Цена 4 р.

Е. Тершанский. Легенда о заячьем паприкаше. Повести. Рассказы. Перевод с венгерского. 264 стр. Цена 2 р.

Французская элегия XVIII—XIX веков в переводе поэтов пушкинской поры. Сборник. 687 стр. Цена 4 р. 10 к.

Б. Хайнс. Пустельга для отрока. Взгляды и улыбки. Романы. Перевод с английского. 350 стр. Цена 2 р. 30 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Набоков. Избранные произведения. 399 стр. Цена 4 р.

А. Островский. Вся жизнь — театру. («Русские дневники») 367 стр. Цена 1 р. 80 к.

Б. Пастернак. Доктор Живаго. Роман. 640 стр. Цена 4 р.

О. Сенновский. Сочинения барона Брамбеуса. 492 стр. Цена 2 р. 60 к.

«СОВРЕМЕННОИ»

В. Бурцев. В погоне за провокаторами. Репринтное издание 1928 г. 271 стр. Цена 4 р.

Е. Замятин. Мы. Романы, повести, рассказы, сказки. 560 стр. Цена 5 р.

В. Корнилов. Польза впечатлений. Книга стихов 111 стр. Цена 45 к.

А. Яшин. Земляки Повести, рассказы. Из дневника писателя. 590 стр. Цена 2 р. 40 к.

«ИСКУССТВО»

А. Банфи. Философия искусства. Перевод с итальянского. 384 стр. Цена 2 р. 30 к.

Д. Дидро. Салоны. В 2-х тт. Перевод с французского. Т. 1. 270 стр. Цена 2 р. 90 к. Т. 2. 399 стр. Цена 3 р. 80 к.

М. Козанов. Фрагменты. 351 стр. Цена 1 р. 70 к.

Ст. Рассадин. Новые приключения в Стране Литературных Героев. Радиопьесы. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

«НАУКА»

Европеец. Журнал И. В. Киреевского. 1832. («Литературные памятники»). 536 стр. Цена 3 р.

Е. Ермилова. Теория и образный мир русского символизма. 176 стр. Цена 1 р. 30 к.

История Урала с древнейших времен до 1861 года. 605 стр. Цена 5 р. 40 к.

Русские: семейный и общественный быт. 335 стр. Цена 1 р. 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Н. Бердяев. Эрос и личность. Философия пола и любви. М. «Прометей». 158 стр. Цена 3 р.

Латышский детектив: М. Стейга. Последняя индугенция; Г. Цирулис. «Магнолия» в весеннюю метель; А. Колберг. Ничего не случилось... Перевод с латышского. Рига. «Лиесма». 575 стр. Цена 5 р.

В. Набоков. Машенька. Камера Обскура. Саратов. Издательство СГУ. 224 стр. Цена 3 р.

Дж. Х. Чейз. Весь мир в кармане. Перевод с английского. М. ДЭМ. 206 стр. Цена 4 р. 30 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Адрес редакции 103806. ГСП Москва К-6 Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 22.08.89 г. Подписано к печати 24.10.89. А 04300.

Формат бумаги 70×108^{1/16}. Бумага кн-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.

(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл.-кр. отт.). 27 02 уч.-изд. л.

Набрано и сматрировано в ордене Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», 103798, Москва, Пушкинская пл., 5. Отпечатано в типографии ордена Ленина «Красный пролетарий». 103473. Москва, Краснопролетарская, 16.

Тираж 1.629 000 экз. (4-й завод 699.001—1.049.000 экз.). Зак. 809 Цена 1 р. 20 к.

Цена 1 р. 20 к.

70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1989, № 11, 1—272.